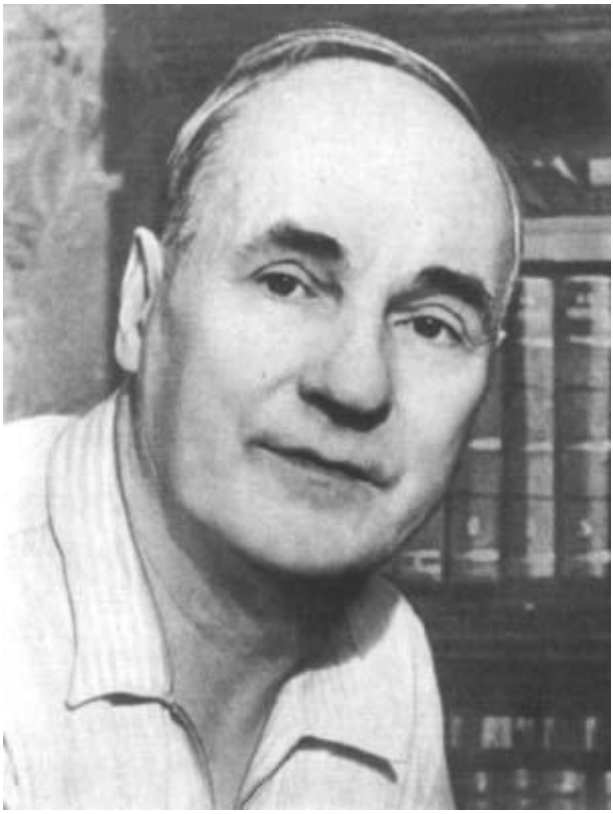

Борис Дмитриевич Четвериков
(1896-1981)

УФИМСКАЯ СИРЕНЬ

**(Уфа в художественной
и мемуарной литературе)**

Борис Четвериков

БЛАГОСЛОВЕННАЯ УФА

Уфа 2022 г.

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6–444.23
Ч-52

Четвериков, Б.Д. Благословенная Уфа [Текст] / Борис Дмитриевич Четвериков; подготовка текста и фотографий С.В. Мотина и П.И. Фёдорова; ред.-сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров; коммент.: Я.С. Свице, Т.Е. Поповой, А.П. Масловой. — Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2022. — 450 с.: ил. — (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 9).

Настоящее издание «Благословенной Уфы» Бориса Дмитриевича Четверикова (1896–1981) включает в себя произведения писателя, связанные с уфимской тематикой. В книге впервые собраны вместе проза, поэзия и мемуары писателя об Уфе, созданные на протяжении всей его творческой деятельности. Во вступительной статье П. И. Фёдорова в контексте творческой биографии Б. Д. Четверикова рассматриваются его произведения, посвящённые Уфе. Статья Я. С. Свице посвящена стихотворениям в уфимском гимназическом журнале «Мозаика». Об истории Уфимского Благовещенского женского монастыря, лёгшей в основу рассказа Б. Д. Четверикова «Жестяной ангел», рассказывает Т. Е. Попова. Переписку писателя и его жены с учащимися 11-й школы г. Уфы и основателем школьного музея Е. И. Никуличевой комментирует А. П. Маслова.

В приложении помещены библиография сочинений Б. Д. Четверикова и литературы о нём, а также фотографии писателя.

Редколлегия серии: Г. О. Иванова, А. П. Маслова, С. В. Мотин, И. О. Прокофьева, С. Н. Сабирова, Я. С. Свице, О. С. Тарасенко, П. И. Фёдоров, А. Л. Чечуха, С. Р. Чураева

Составители книги выражают благодарность директору Аксаковской гимназии г. Уфы Насиме Рафаиловне Ганеевой и социальному педагогу Ольге Михайловне Григорьевой за помощь в подготовке данного издания.

ОТ «СИНЕЙ ГОВЯДИНЫ» К «БЛАГОСЛОВЕННОЙ УФЕ»

(Уфимская тема в творчестве Б. Д. Четверикова)

«Как-то в кругу моих знакомых мы занялись статистикой, — писал в своих мемуарах Б. Д. Четвериков. — Оказалось, — подумать только! — я жил при девяти властях, печатался в восемнадцати издательствах и в тридцати трёх журналах, сменил в жизни двадцать одну профессию. Дважды меня водили на расстрел. Три раза мне пришлось заводить библиотеку, пианино и обстановку — вообще начинать жизнь заново, так сказать, с нуля. Казалось бы, вполне достаточно познакомиться с одной тюрьмой, а я ухитрился побывать в четырёх. А женитьбы? За свою жизнь я был пять раз женат. Правда, из них только два официально зарегистрированных брака (и один церковный), но всё же… Всё же это необычно: пять жён! И вовсе не потому, что я по натуре какой-то Дон Жуан или Казанова, так уж сложилась жизнь»[1]. Четвериков принадлежал к поколению, принёсшему в Россию Серебряный век и Великую русскую революцию, пережившему три войны, голод, репрессии, дважды поднявшему страну из руин и открывшему дорогу в космос. «Я – просто так, совершенно случайно уцелевшая щепка, соринка из многолюдного, щедрого, могучего, как кедр, поколения, в силу разных исторических причин истреблённого до основания, до последнего человека», — писал он о себе.

Борис Дмитриевич Четвериков (1896–1981) родился в городе Уральске (ныне Казахстан) в интеллигентной семье. Отец — Дмитрий Никанорович Четвериков, учитель словесности и истории, разъездной инспектор училищ. Мать — Клавдия Витальевна, учительница словесности, организатор самодеятельных театральных трупп. В семье родилось пятеро детей. Братом деда по материнской линии был писатель Михаил Васильевич Авдеев (1821–1876). Отца будущего писателя как политически неблагонадёжного переводили из города в город (Чердынь, Ирбит, Троицк, Уфа, Томск, Омск, Златоуст, село

[1] Четвериков Б. Д. Всего бывало на веку / предисл. и подготовка текста Н. Четвериковой. Ленинград: ЛИО «Редактор», 1991. С. 145.

Богдановка под Прилуками). Борис окончил Уфимскую гимназию и с 1917 года учился в Томском университете. Образование не завершил, а занялся литературной деятельностью.

Творческий путь писателя Бориса Четверикова начался 26 апреля 1919 года с публикации стихотворения в колчаковской газете «Вперёд», куда он был принят на должность военного корреспондента по рекомендации Василия Яна (Янчевецкого), будущего лауреата Сталинской премии за романы «Чингиз-хан» (1939) и «Батый» (1941–1942). Вот что об этом событии пишет современный исследователь И. В. Просветов: «Вместе с Бурлюком в Омск приехали молодой художник Евгений Спасский и начинающий поэт, недоучившийся студент-медик Борис Четвериков. Повстречавшись с Борисом на выставке и узнав, что ему грозит арест по подозрению в дезертирстве, Василий Григорьевич предложил поэту место в своей редакции. “Меня поразили его глаза — острые, пронизывающие. И добрые”, — вспоминал Четвериков. — Янчевецкий участливо и как-то успокоительно произнес: “Это действительно того — плохо. Что ж, надо выручать”»[2]. В агитпоезде он познакомился с работавшим там будущим писателем Всеволодом Ивановым. При отступлении белой армии Четверикову удалось затеряться в Сибири и перейти на сторону красных. Всю дальнейшую жизнь ему приходилось скрывать этот факт своей биографии. И только в примечаниях к его автобиографической эпопее «Стёжки-дорожки» в главе «Между жизнью и смертью» (1999) были впервые обнародованы эти сведения.

В 1923 году по приглашению Вс. Иванова Четвериков переехал в Петроград. Был редактором журналов «Литературная неделя» (приложение к «Ленинградской правде») и «Зори» (литературное приложение к «Красной газете»). Одним из создателей литературного объединения «Содружество», куда входили Б. А. Лавренев, В. Я. Шишков, Н. Браун, А. С. Чапыгин, Вс. Рождественский, М. Э. Козаков и др. В 1924 году вышла его первая книга — сборник рассказов «Сытая земля». Затем появились повести: «Малиновые дни» (1927), «Синяя говядина» (1927), романы: «Бунт инженера Каринского» (1927), «Любань» (1928), «Заиграй овражки» (1928), «Голубая река» (1933), «Де-

[2] Просветов И. В. Десять жизней Василия Яна. Белогвардеец, которого наградил Сталин. Москва: Центрполиграф, 2017. С. 133.

ловые люди» (1939).

В 1920-е годы Б. Четвериков впервые обратился к уфимской теме в повести «Синяя говядина» (1927) и рассказах «Братья», «Жестяной ангел» (1926) и «Фатима» (1927). Все эти произведения носили явный идеологический характер, обличая дореволюционную гимназию, семейные привязанности, религиозные и национальные предрассудки. Но будучи настоящим художником, Четвериков под внешним идеологическим покровом сумел донести трагедию гражданской войны и ломки традиционного уклада в первые годы советской власти.

Образ дореволюционной гимназии был популярен в советской литературе 1920–1930-х годов. Достаточно вспомнить повести «Кондуит и Швамбрания» (1928–1931) Льва Кассиля, переработанную и изданную в новой редакции в 1955 году, и «Гимназия» (1938) Корнея Чуковского, позднее переделанную в «Серебряный герб» (1961). В этом ряду заметное место занимала повесть молодого писателя Бориса Четверикова «Синяя говядина» (1927), написанная раньше вышеупомянутых произведений и входящая в автобиографическую трилогию 1927–1928 годов, наряду с повестью «Малиновые дни» и романом «Заиграй овражки». Обращаясь к теме своего отрочества и юности в годы учёбы в Уфимской мужской гимназии, писатель в этом произведении шёл от примитивной формы повествования, уходящей в анекдот, к постижению психологии человека в изображении противоречивой и развивающейся детской души. По мысли А. Г. Разумовской, «Повести строятся как цепь нравственных испытаний мальчика, но впечатления его освещены пониманием вещей зрелого человека, что достигается слитностью лирического и повествовательного начал»[3]. В «Синей говядине» события развиваются вокруг семьи Чердынцевых, переехавшей в Уфу под негласный надзор полиции из-за революционных взглядов отца семейства — Петра Никаноровича. Автор живо и иронично рассказывает обо всех семи

[3] Разумовская А. Г. Борис Четвериков. Творческая индивидуальность писателя и проблема историзма: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.62 — Литература народов СССР (советского периода) / Разумовская Аида Геннадьевна; науч. рук. А. И. Хватов; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Ленинград, 1991. 17 с. URL: https://cheloveknauka.com/v/471423/a?#?page=1 (дата обращения: 21.03.2022). Текст: электронный.

членах этой семьи, живущих по совести, но имеющих свои неповторимые особенности. Так Пётр Никанорович пользуется большим уважением среди учащихся городского училища, впитывающих его крамольные лекции по истории России. Но при этом он плохо понимает своих детей, предоставив эту обязанность своей жене. Елизавета Ивановна представлена мудрой женщиной, умеющей найти путь к сердцу каждого из своих близких. Она практичнее своего мужа, но тоже имеет свою чудинку, увлекаясь при всей своей домашней занятости театральной самодеятельностью. Три старших сына учатся в мужской гимназии. Автор, подобно другим советским писателям 1920–1930-х годов, критически оценивает дореволюционную школу. Образы учителей и воспитателей даются сатирически. Гимназисты в свою очередь делятся на свободолюбивых бунтарей, зубрил, запуганных, тупых «первых учеников», фискалов, лизунов и циников. Виктор Чердынцев, в котором угадываются автобиографические черты автора, увлекается литературой и редактирует крамольный журнал «Классный сартирикон», в котором высмеиваются наиболее ненавистные учителя и даются рекомендации по организации бунта.

Хотя в годы гражданской войны Четвериков побывал в рядах и белых, и красных; он никого не убивал, и эта война не стала для него такой же трагедией, как для многих его современников. Этим, вероятно, можно объяснить светлое и радостное мировосприятие автора, пронизывающее всё его раннее творчество. Чистота души и близость к христианскому взгляду на жизнь позволили писателю не впасть в агрессивное очернительство уфимских попов и буржуев, подобно фельетонам Я. Гашека 1919 года в газетах «Красный стрелок» и «Наш путь». В «Синей говядине» Четвериков пытался следовать традициям «Воспоминаний» С. Аксакова, «Гимназистов» Н. Гарина-Михайловского и гимназических рассказов А. Чехова и, как пишет А. Разумовская, «двигался в глубины человеческой души»[4] вслед за Л. Толстым. В «Синей говядине» повествование ведётся от лица автора, а внутренний мир героев раскрывается с помощью их авторских описаний.

В среде уфимской интеллигенции сложилось общее мнение о счастливой семье Чердынцевых. Но в повести оно уточняется

[4] Разумовская А. Г. То же.

целым рядом противоречий, тянущихся из прошлой жизни Петра Никаноровича и Елизаветы Ивановны. Пётр Никанорович с юных лет порвал отношения со своим отцом, желавшим пристроить его к купеческому делу. Позже он расстался и с верой своих предков, став убеждённым материалистом. Стремясь вырваться из многолетней нужды, он решил приобрести в кредит участок земли возле Уфы и создать из членов своей семьи трудовую артель, чтобы обеспечивать её продуктами питания. Увлекаясь идеями Писарева и презирая лирическую поэзию, он на новом витке истории повторяет судьбу Базарова и Рахметова, но в менее радикальном и трагическом виде. Драма Елизаветы Ивановны в повести связана с разрывом её мечтаний о красивой и творческой жизни на театральной сцене и реальной жизнью матери пяти детей в весьма небогатой семье. Но оптимизм и стойкость старших Чердынцевых позволяют им преодолевать все трудности и на самом деле распространять вокруг себя атмосферу счастья.

Важное место в повести занимают первые влюблённости Виктора и Глеба Чердынцевых. Но их возвышенные, платонические чувства разбиваются о грубую действительность. Если Глеб стремится укрепить себя физически, занимаясь гимнастикой и борьбой, то Виктор укрепляет свою волю ненавистью. «Ты как думаешь, папа, — спрашивает он отца, — ненависть укрепляет волю? Пётр Никанорович внимательно посмотрел на сына: — Ненависть? Это такое же великое чувство, как и любовь»[5]. Пётр Никанорович при всём своём материализме вторит здесь заповеди Христа: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»[6]. Хотя Евангелие предписывает любить всех, даже своих врагов, но, оказывается, существует ложная любовь. И Христос призывает отречься от этой ложной любви ради любви истинной. Через семью Чердынцевых проходили многие модные увлечения русской интеллигенции начала XX века: идеи толстовства, свободной любви, просвещения народа. Но чаще всего они бесславно завершались в столкно-

[5] Четвериков Б. Д. Уфимские зори: повести и рассказы. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1977. С. 104.
[6] Лк., 14: 25.

вении с реальной действительностью. «Думал Пётр Никанорович создать артель трудовую, толстовскую колонию, а вышла дача»[7]. Не нашла поддержки и идея Елизаветы Ивановны сделать свою подругу второй женой Петра Никаноровича.

В повести тонко и с доброй иронией описываются свидания братьев со своими девушками, проходящими на фоне их учёбы в ненавистной гимназии. Оскорбления надзирателей и учителей доводят Виктора до мысли о бессмысленности жизни. Самоубийство гимназиста Алфеева вызывает бунт его одноклассников против инспектора Соколовского (Крысы), завершившийся переводом ненавистного инспектора из Уфы. Унылому болоту провинциальной жизни в повести противостоит романтичная и полная опасностей борьба революционеров-подпольщиков с царским режимом. Образ революционера Андрея Жука, убившего уфимского губернатора, идеализируется в традициях советской литературы 1920-х годов. Контрастом ему служат гимназисты в лиге любви Ловцовых, разлагающиеся модным развратом и хиромантией, а также авантюристка Мурочка Бабичева, спасающая Жука от преследования полиции и укравшая для него у своего отца-казнокрада пятнадцать тысяч рублей на революционную деятельность.

В повести Уфа представлена унылым провинциальным городом: «Город Уфа ничем не славился. Были в нём две мужские и две женские гимназии, реальное училище и учительский институт. Была река, по которой каждое лето гнали плоты к лесопильным заводам. Было много церквей, дворянские бани с душами и номерами. Но жили в нём прескучно. Ходили на любительские спектакли, служили, по воскресеньям ели капустные или рыбные с сагой пироги»[8]. Эту размеренную жизнь разрушили Первая мировая война и революция. У заведующего крестьянским банком, монархиста и черносотенца Снегирёва погибли два сына. Сергей был повешен в уфимской тюрьме за революционную деятельность, а Дмитрий погиб на войне и был похоронен под звуки траурного оркестра на Сергиевском кладбище. Четвериков не обладал глубоким психологизмом, поэтому трагедию отца Снегирёвых он решил в повести поверхностно, объяснив арест Сергея доносительством его отца

[7] Четвериков Б. Д. То же. С. 125.

[8] Четвериков Б. Д. Уфимские зори. С. 187–188.

в полицию. Кульминацией повести явилось отпевание восьми гимназистов, убитых на австрийском фронте. Витя Чердынцев при этой церемонии едва сдержал истерический смех, когда понял новый и страшный смысл прозвища гимназистов. «Синяя говядина» — это не только синие фуражки с белым кантом, но и посиневшие трупы с фронтов войны.

Повесть заканчивается в духе советской литературы 1920-х годов известием о Февральской революции в России. Но война продолжается, и Глеба Чердынцева родители и братья провожают в артиллерийское училище. Виктор женится на Ане Ивановой и готовится к поступлению в вуз. К Чердынцевым в гости приходит рабочий-большевик Матвей, бывший ученик Петра Никаноровича, и приглашает Виктора вступить в их подпольную партийную ячейку, на что тот радостно соглашается.

Рассказ «Братья» посвящён гражданской войне и написан в реалистическом стиле. Главный герой — Егор Чердынцев — вступил добровольно в Красную Армию и готовится к отправке на Восточный фронт против белой армии Колчака, в которой воюет его старший и любимый брат Виктор. Под безымянным городом, где живут Чердынцевы, угадывается Уфа. Егор несёт службу в коммунистическом батальоне и охраняет морозными ночами городскую водокачку от возможных диверсионных вылазок. События в рассказе происходят во время наступления белых на всех фронтах. Поэтому консервативно настроенные преподаватели гимназии готовятся к возвращению дореволюционных порядков. Автор однозначно рисует чёрной краской учителей, оппозиционно настроенных к советской власти. Один из этих монстров приходит к матери Егора и просит её отговорить сына от службы в Красной Армии. Революционно настроенная Елизавета Ивановна с возмущением выпроваживает непрошенного гостя. Но когда возвращается сын, с тревогой расспрашивает его о положении в стране. Егор не сомневается в конечной победе большевиков. Коммунистический батальон весело и с песнями отправляется на войну. В первом же сражении белоказаки переходят на сторону красных, доказывая тем самым правоту советской власти. В новом бою с офицерской частью Егор видит среди колчаковцев офицера, похожего на его брата Виктора, бросается звать его к себе и погибает от вражеской пули. При всей своей пафосности и дидактичности автор

в этом рассказе пытался передать трагедию братоубийственной гражданской войны. Его позиция в этом рассказе под внешней приверженностью коммунистической идеологии близка демократическим идеям о возможности диалога противоборствующих сторон, трагически оборванного одной из сторон. Но общая тональность рассказа приводит к мысли о вреде семейных привязанностей в условиях классовой борьбы.

Истории Уфимского женского монастыря в первые годы после гражданской войны посвящён рассказ «Жестяной ангел», написанный в характерной для автора сказовой манере. Образы обитателей монастыря и пришедших в него военных писатель выстраивает с помощью речевых характеристик персонажей в их диалогах и монологах. Многолетний уклад монастыря рушится после размещения в его стенах кавалерийской школы. Автор с юмором рассказывает об этих событиях, не подвергая сомнению такое решение властей по принудительному изживанию религиозных пережитков. В этом он был достаточно искренен, поскольку большинство выпускников российских гимназий и вузов в начале XX века были убеждены в реакционности православной церкви и необходимости освобождения народа от её тлетворного влияния. Рассказ заканчивается разгульной свадьбой в стенах монастыря бывшей монахини Ольги с красным командиром. Но это торжество новой идеологии оттеняется исчезновением жестяного ангела с креста на куполе храма. Для верующих людей это был знак того, что Бог перестал удерживать этот монастырь и покинул погрязший в грехах город.

Формированию нового советского человека мешали не только семейные и религиозные, но и национальные предрассудки. В рассказе «Фатима» в обрушившийся на страну голод 1921–1922 годов башкирская семья вынуждена была привезти в Уфу свою маленькую дочь Фатиму и оставить её на крыльце больницы, чтобы спасти ей жизнь. Девочка оказалась в детском доме, где вскоре обрела себе друзей и забыла о своих родителях. А в аул, к её отцу и матери пришла голодная русская женщина с мальчиком и ночью умерла. Кукобай решил оставить белоголового мальчика у себя, дав ему имя Ахмет. Шло время, Ахмет забыл русский язык, стал говорить на башкирском и помогать отцу по хозяйству. Однажды они с отцом поехали в Уфу на базар и встретили там Фатиму в компании детдомовцев. Кукобай рассказал жене об этой встрече и решил вернуть

дочь домой, обменяв её в детдоме на Ахмета. Но из этой затеи ничего не вышло, поскольку Фатима уже привыкла к новой жизни и наотрез отказалась вернуться в свою семью. А Кукобай решил, что это Аллах не допустил его совершить большой грех и променять верного помощника Ахмета на оставленную в городе дочь. Рассказ заканчивается грустной башкирской песней Кукобая, возвращающегося в родной аул по необъятной степи.

В годы Великой Отечественной войны Четвериков жил и работал в блокадном Ленинграде и создавал патриотические поэмы «Ленинград», «Ночной смотр», «Наше поколение», а также рассказы «Сахар», «Ладанка», «Бессмертие». В апреле 1945 года был арестован и осуждён за антисоветскую деятельность. Реабилитирован в 1956 году. Вернувшись в Ленинград, женился на Наталье Борисовне Евграфовой (1923–2005?). Благодаря её заботе и поддержке сумел в короткий срок продолжить литературную деятельность.

Следующий рассказ уфимской тематики «Свидание» (1959) был написан через тридцать лет после первого уфимского цикла, за которые Четвериков пережил большой террор 1930-х годов, блокаду Ленинграда, ложные доносы и сталинские лагеря. Заключение не сломало его, но заставило во многом пересмотреть своё отношение к жизни. В новом рассказе уже нет прежней самоуверенности и иронии, зато появилась трепетная любовь к городу своей юности и зрелый психологизм. И при этом он в те годы ещё не утратил веры в социализм и оставался советским человеком до мозга костей. Его герой — известный столичный писатель Сергей Астахов (почти Аксаков) — едет после тридцатилетней разлуки на свидание с Уфой по приглашению своего однокашника из уфимской мужской гимназии Ивана Балашова, инженера одного из местных заводов. Уже сами сборы в дорогу и путь до Уфы передают целую гамму чувств главного героя. Его колебания относительно этой поездки и нетерпение поскорее увидеть родные места явно напоминают чувства влюблённого человека. Ещё на подъезде к Уфе, на узловой станции Дёма он видит насколько изменилась эта когда-то маленькая станция, в окрестностях которой, в имении помещиков Россинских, он работал репетитором двух гимназистов четвёртого класса, позднее погибших на гражданской войне. Встреча с Уфой оправдала его ожидания. Однокашник

Ваня встретил его на своей легковой машине, и они съездили в бывший Ушаковский парк, ставший парком Александра Матросова; посетили и бывшую мужскую гимназию, в здании которой разместился мединститут. Вместо ироничных и предвзятых описаний в рассказах и повести 1920-х годов в «Свидании» звучит восторженная ода Уфе и её знаменитой сирени: «Нигде нет таких ярких ослепительных полдней, как в Уфе. Нигде не бывает такой бурной сумасшедшей весны, такого шума и блеска вспененных вод, такого одуряющего запаха цветущей черёмухи, таких тяжёлых, крупных гроздьев сирени!»[9]. Проснувшись в квартире Балашовых, Астахов обнаружил возле своей кровати роскошный букет сирени, принесённый заботливыми хозяевами для дорогого гостя: «… Астахов заметил, что на стуле возле кровати стоит огромный букет сирени — пышной, богатой, хоть сейчас уткнись в неё лицом или ищи счастье: цветочки, у которых вместо обычных четырёх — пять, шесть, восемь лепестков. Такое «счастье» надо съесть, и тогда будешь счастлив в продолжение всей жизни. Астахов восхищённо отметил, что цветы ещё влажные, на мясистых тёмно-зелёных листьях задержались крупные капли и переливаются солнечным светом и сиреневыми вспышками. Сирень поставлена в глиняную кринку. Наверное, Люся? Или сама Елена Владимировна?»[10]. В последующие дни Астахов посетил Сергиевское кладбище, Случевскую гору, Черниковку, библиотеку, дом, в котором жил его дядя, домик на улице Зенцова, где когда-то жил сам. Нахлынувшие воспоминания и новые впечатления постепенно накапливались и разрешились посещением новой и пустой квартиры № 9, рядом с квартирой Балашовых. Иван добился у городских властей этой квартиры для него, известного московского писателя, чтобы он мог жить и работать в Уфе. В этот решающий момент по законам свидания должна была произойти проверка его любви к родному городу. И Астахов, представив реакцию жены на переезд из Москвы в провинциальную Уфу, ответил, что это невозможно. Но в финале рассказа он вопреки своему благоразумию всё же совершил безрассудный поступок, свойственный не умудрённому жизнью писателю, а юному гимназисту. Астахов пришёл

[9] Четвериков Б. Д. Уфимские зори. С. 285.

[10] Там же.

на почту и дал телеграмму жене: «Переезжаем Уфу постоянное жительство Получил отличную квартиру подробности при встрече Приеду чтобы забрать тебя и отправить вещи Не думай возражать Решил бесповоротно Целую Сергей»[11]. В реальности Четвериков после поездки в Уфу вернулся в Ленинград и прожил там до конца жизни.

Великая Отечественная война обострила интерес Четверикова к историческому прошлому русского народа, к проблеме его национального характера. Прошлое открывалось в его связи с современностью. Уже в 1961–1964 гг. выходит дилогия «Котовский», затем трилогия «Утро», «Навстречу солнцу», «Во славу жизни» (1967–1971), стихотворные сборники «Страна задумчивых берёз» (1967) и «Половодье» (1976). В последние годы он работал над книгой воспоминаний «Всего бывало на веку», вышедшей посмертно в 1991 году. Писатель здесь не только вспоминает о лагерных мытарствах, но и размышляет о проблемах жизнеустройства, о судьбе родного народа, о его историческом и духовном достоянии. «Всего бывало на веку» — это лишь одна из книг широко задуманного мемуарного повествования под названием «Стёжки-дорожки». «Это будет рассказ о тех поколениях, — писал Четвериков, — которые варились в котле Первой мировой войны, которые оказались вслед за тем в самом пекле революции и Гражданской войны, а потом — Великой Отечественной. Мне же довелось ещё попасть из огня да в полымя: после войны и блокады — в бериевские застенки и лагеря. Так что в четвертую книгу моей повести войдут 1941–1945 годы, проведённые мной безвыездно в Ленинграде, а в пятую — 1945–1956 годы — страшные для меня одиннадцать лет, прошедшие вне Ленинграда и вне жизни»[12]. Замысел в значительной мере был осуществлён — в архиве писателя остались рукописные материалы и текст повествования «Стёжки-дорожки». Часть из них была опубликована в 2011–2013 годах в журнале для учёных «Клио» с комментариями А. Г. Разумовской.

Особое место в этих мемуарах заняла глава «Благословенная Уфа», в которой Четвериков во многом переосмыслил свой прежний взгляд на город своей юности и людей, окружавших

[11] Там же. С. 295.

[12] Четвериков Б. Д. Всего бывало на веку. С. 8.

его в те далёкие годы: «Теперь, на закате своей жизни, я жалею, что охаял там гимназию — всю целиком. Это несправедливо, и случилось это потому, что писал я «Синюю говядину» в двадцатые годы, когда модно было отрицать всё старое, писал по своим гимназическим дневникам, не задумываясь над фактами, не оценивая их и выплёскивая из ванны вместе с водой и ребёнка. Сейчас я вижу, как много дала мне моя гимназия, старинная, отметившая столетие, вырастившая в своих стенах очень много людей, достойных того, чтобы о них вспомнить. Сейчас я понимаю, какое это было великолепное учебное заведение по существу, по своей сути»[13]. Мемуары, написанные через полвека после «Синей говядины», представляют собой обширный комментарий к этой повести с экскурсами в историю, политику и культуру. В своих итоговых мемуарах Четвериков не ограничился годами своей учёбы в Уфимской гимназии, а дал широкую и свободную панораму истории этого края с древнейших времён до второй половины XX века. В его живом и эмоциональном рассказе история гимназии переплетается с историей его семьи, историей Уфы, известных дворянских фамилий, судьбами выдающихся уфимцев и раздумьями о пути России в прошлом и настоящем. Помня об идейных революционерах, отдавших свои жизни за освобождение народа от гнёта самодержавия, писатель в своих мемуарах не скрывает своего разочарования в реальном социализме. С искренней благодарностью и теплотой он вспоминает не только первых большевиков, но и представителей трудовой интеллигенции далеко не революционных убеждений, таких, как директор Учительского института А. Н. Лисовский, директор гимназии В. Н. Матвеев, молодые учителя П. Д. Жуков и В. А. Ефремов, уфимский губернатор П. П. Башилов и его сын, гимназист Никита. Все они были глубоко нравственными и порядочными людьми, формировавшими в окружающих гуманизм и чувство собственного достоинства. Писатель искренне сожалеет о взорванных храмах, снесённых маленьких домиках с яблоневыми садами и пышной сиренью, переименованных улицах прежней Уфы. С ностальгией вспоминает жизнь и радостный труд на их семейном хуторе возле станции Черниковка. Думается, что эти

[13] Четвериков Б. Д. Стёжки-дорожки: (повесть о человеке XX века): Благословенная Уфа // Клио. Санкт-Петербург, 2012. № 9 (69). С. 3.

поэтические страницы были навеяны ему популярной в 1970-е годы деревенской прозой. Подобно своим старшим современникам М. А. Осоргину, М. М. Пришвину, К. Г. Паустовскому, Четвериков высоко ценил живую природу, учась мудрому отношению к растениям и животным от местных крестьян. Это был стихийный пантеизм, отголоски древних ведических культов. Семья Четвериковых была безбожной, но умевшей уважать и ценить красоту церковных обрядов и торжество жизни над смертью, которое завещал Христос. Само слово «благословенная», вынесенное в заглавие мемуаров, говорит о возвращении писателя к мировоззрению своих предков. В целом, на закате жизни Четвериков в своём творчестве совершил эволюцию от революционного романтизма к просвещённому консерватизму. Мемуары об Уфе завершают воспоминания о первых шагах автора в литературном творчестве и его встречах с известными литераторами. Письма Четвериковых 1910–1917 годов помогают лучше представить дух того переломного времени, завершившегося войной и революцией. Писатель завершает эту главу на пороге своей взрослой жизни: «Я верил в свою звезду, в свое светлое завтра. Я готов был бесстрашно вступить в это завтра, в новое, какое оно будет, какое сочинит неистощимая выдумщица Жизнь. А она сочинила страшное…»[14].

Жена Четверикова и его литературный секретарь Наталья Борисовна рассказывала: «Последние десять лет Борис Дмитриевич много работал над воспоминаниями, задумав 5–6-томный труд — не только о себе, но о России, о людях своего поколения, о XX веке. Он начал эти свои “Стёжки-дорожки” издалека, с корней, с предков (уральских казаков по материнской линии и пензяков по линии отца), с рассказа о родителях, с портрета брата своего деда — весьма популярного писателя XIX столетия Михаила Васильевича Авдеева. Но, записав страниц 800, всё-таки дошёл в своём жизнеописании только до 1920-х годов. А потом оборвал хронологический ход событий и переключился на тюремно-лагерные воспоминания, сказав: “Не могу умереть, не записав этот период. Если доживёшь до времени, когда это можно будет напечатать, издай мои записи, если не доживёшь — отдай в надёжные молодые руки:

[14] Четвериков Б. Д. Стёжки-дорожки: (повесть о человеке XX века): Благословенная Уфа // Клио. Санкт-Петербург, 2012. № 12 (72). С. 17.

пусть сохранят для истории, когда-нибудь должен народ узнать всё”»[15]. Н. Б. Четверикова наказ мужа выполнила.

Смерть прервала работу писателя в 1981 году. «Жаль. Много чего не успел…» — записал Четвериков в дневнике. Однако многое и успел. Помимо литературы, талант Четверикова проявился в музыке и живописи. Пройдя вместе со своей страной суровые испытания, он не утратил веру в высокое предназначение человека и светлое будущее русского народа: «…мой вывод из всего пережитого таков: чингисхановские повадки, установки на уничтожение, истребление, испепеление дают обратный эффект. Возникает в народной душе облик Георгия Победоносца — символ возмездия, попрания злобного чудовища, кровожадного змия, многоголовой гидры. Это то неистребимое, величавое, грозное, о чём следовало бы помнить всем чингисханам прошлого и грядущего. И я верю, что основной миф русского христианства — сошествие на землю, мучения, смерть и воскресение в третий день по писанию — это тоже символ, это исторический путь русского народа. Третий день настанет, я уверен, и народ наш воскреснет!»[16].

Пётр Фёдоров

---

[15] Акулова-Конецкая Т. Писательский дом на Широкой. — Текст: электронный // Родина. 2017. № 1 (117). URL: https://rg.ru/2017/01/23/rodina-dom.html (дата обращения: 18.12.2021).

[16] Четвериков Б. Д. Всего бывало на веку. С. 146.

Борис Четвериков

БЛАГОСЛОВЕННАЯ УФА

СИНЯЯ ГОВЯДИНА

«КЛАССНЫЙ САРТИРИКОН»

В зимние дни встают при лампе. В окнах мерзлая муть. Вода в умывальнике со льдинками. Уфимская зима дает о себе знать!

Сонные, тычутся в коридорах, переругиваются. Около умывальника налито, набрызгано. Широко расставляют ноги, фыркают и выискивают местечко посуше в мокром полотенце.

И через полчаса:

По тротуарам, по проторенным тропинкам торопятся, бегут, трут на ходу уши.

Чиновники. Чиновничьи дети — гимназисты, реалисты, с блестящими пуговицами, кокардами, с малокровными лицами, сутулые, с одним плечом выше и с одним ниже — от сиденья на партах, от тяжеловесных книг.

Торопятся, перебирают в памяти служебные обязанности: балльник за подписью родителей, письменная по алгебре…

Стране нужны чиновники. Рецепт изготовления: награды, повышения, похвальные листы. Меры пресечения; надзор, карцер.

Поведение, прилежание, успехи… Единица — весьма плохо, два — плохо, три — удовлетворительно, четыре — хорошо, пять — отлично. Есть еще плюсы и минусы, нотабене и множество таинственных знаков, решающих судьбу «синей говядины», как прозвали гимназистов за синие их фуражки с белым кантом.

Ученик пятого «б» класса Уфимской правительственной гимназии Виктор Чердынцев! Помни: образованных, умных людей нанимают, чтобы сделали тебя послушным. Двадцатого числа платят им жалованье, чтобы сшили себе мундиры и устрашали тебя.

Царя слушаются министры. Министров слушаются чиновники. Чиновников слушается народ.

Виктор Чердынцев, наскоро напившись чаю, бежит по проторенным тропинкам в класс. Каждое утро встречает по дороге в гимназию одних и тех же. Около ворот — чиновника казначейства. По нему определяет: опоздал или не опоздал. На углу — Витя торопится на угол — тоненькую гимназистку.

Встречая ее, испытывает какое-то особенное, сладкое томление. Но, перекинувшись взглядами, они расходятся, чтобы не встречаться до следующего утра.

Виктор Чердынцев — редактор журнала «Классный сартирикон», который выходит по большим переменам. Витя Чердынцев — автор стихотворения «Боже, студи учителей!». Это стихотворение знают даже в женской гимназии.

Витя Чердынцев бежит по проторенным тропинкам, мерзнет, трет уши и повторяет:

— Боже, студи учителей!

Витя знает: сейчас за углом покажется желтая, словно с больной печенью, близорукая гимназия. Ржавые ворота. Чахлый двор. А внизу, как войдешь через боковую дверь (средняя — для архиерея), обступят темные сводчатые коридоры, а окна и двери будут казать желтые и зеленые стекла, похожие на очки.

Вдоль коридора — вешалки. Налево от дверей — вешалка для старшеклассников и учителей. Отдельно — вешалка директора гимназии, Владимира Николаевича Матвеева. Рядом нагромождены синие с белым кантом фуражки, рядом топырятся одна на другой серые гимназические шинели. А директорская вешалка почтительно поддерживает одинокую накидку и старую шляпу. Директорская шляпа — вроде туза, и покрыть ее не смеют ни короли, ни валеты.

Один только раз нарушены были права, освященные временем и швейцаром Федором. Гимназисты приходили толпами к вешалке, глазели, как на солнечное затмение; шляпа директора была покрыта меховой шапкой, накидку притиснула тяжелая хорьковая шуба.

— Попечитель округа! — погрозил швейцар Федор.

Глазеющая толпа рассеялась.

Это было в знаменитые дни «крысиного бунта». Один-единственный раз.

Нижний коридор отделяется от лестницы во второй этаж резными деревянными воротами, крашенными охрой. Без четырнадцати минут девять ворота закрываются — выдумка нового инспектора: говорят, выслуживается в директора. Без четырнадцати минут девять наверху классы выстраиваются попарно и идут на молитву в гимназическую церковь, возглав-

ляемые классными наставниками.

Опоздавшие остаются внизу, по ту сторону ворот. Они направляются в «курилку» — место зловонное, прокуренное, но зато недоступное цензуре (о, если бы в жизни было больше «курилок»!). Здесь громко говорится о ненависти к инспектору и гимназии. Здесь читается «Класный сартирикон».

Федор Федорович Зубыхин, классный наставник пятого «б», не любит курилку. Федор Федорович ловит опоздавшего на молитву Чердынцева и записывает в кондуит. Два раза ловил Чердынцева Зубыхин. На третий раз Чердынцев отомстил.

Пришел вовремя. Побывал в церкви, показался инспектору. А после молитвы забрал книги, спустился вниз и вперевалку стал подниматься по лестнице снова. Никого не встретил, вернулся опять.

Весь пятый «б» высыпал в коридор. Зубыхин издали заметил нарушителя правил. Бросился, преградил путь:

— Третий раз, Чердынцев!

У Федора Федоровича Зубыхина ласковый голос, когда ученик пойман и находится в его руках.

Чердынцев ненавидит каждую пуговицу классного наставника, каждую нотку ласкового голоса, каждое движение руки. Но — выдержка, выдержка! Двигается медленно со ступеньки на ступеньку. Делает виноватое лицо. Он побежден. Он во власти Зубыхина. Торжествуй, классный наставник!

И вдруг — бешеный хохот. Зубыхин оглядывается, понимает, что одурачен. Чердынцев расшаркивается перед аплодирующей публикой. Зубыхин убегает в нижний коридор.

Ненависть. На каждой парте, в каждом классе, в каждом коридоре. Все желтое здание набито ненавистью доверху. И оттого что ненависть не имеет выхода, закупорена, она начинает плесневеть.

Швейцар Федор треплет, подняв над головой, шепелявый звонок. Учителя докуривают в учительской папиросы.

— Кто за Чижика?

— Ставлю на Воблу!

— Пятак на Лесгилье!

Это своеобразный тотализатор. Ставят на учителей: какой учитель первым выйдет из учительской. Почти непобедим на скачках учителей латинист Николай Егорыч Сухотин, он же

Вобла.

Витя Чердынцев знает, что на первом уроке словесник Словоохотцев будет лениво мямлить об одах Державина, и в голове будет киснуть мозг.

Затем придет математик Мемнонов. Отвернется от класса — класс он ненавидит и считает тупым, — углубится в сложные вычисления, перемажется мелом.

Витя Чердынцев будет вяло разглядывать его странную шестигранную голову с громадным покатым лбом, исписанным формулами морщинок.

На уроке закона божия поп-законоучитель запустит лукавую бороду в журнал. И в сотый раз перехитрят его гимназисты, разыграв невинными голосами хорошо составленную инсценировку.

— Батюшка, а у меня сомнение…

— Скажите.

— Как же так… Бог всемогущ, батюшка?

— Всемогущ.

— Он сотворил мир, батюшка?

— Сотворил.

— А откуда же зло, батюшка?

Поп снисходительно улыбнется и долго будет цитировать апостолов дремлющим ученикам. Он не успеет никого вызвать и никому не успеет поставить пару. Бедный обманутый поп с лукавой бородой!

И еще будет латинский — язык, на котором не говорят ни один народ, но который необходимо знать «синей говядине». Какая же будет «синяя говядина» без латинского языка?

На последнем уроке француз Лесгилье, не знающий по-русски ни слова, станет набожно лицом к классной доске и карте Европы. Гимназисты будут истово крестить лбы, а дежурный по классу выступит вперед и нараспев прочитает вместо «Молитвы после ученья» стихи Чердынцева:

Боже, пошли ты мне боль головную!
Я захвораю и в класс не пойду.
Двойку исправь ты мою четвертную
И простуди латиниста в среду!
Пусть разразится суровая вьюга
И заметет все пути в «желтый дом»!

Не заскучаем в минуты досуга
И на каток к гимназисткам пойдем.
Пусть рождество будет дольше и краше,
Без опасенья колов впереди!
Главное ж — кашель, пошли, боже, кашель!
Учителей поголовно студи!

И никогда не поймет Лесгилье, почему давятся от смеха русские школьники во время общения с богом.

— Классный сартирикон! — шепчет Витя, укладывая книги.

Но он рано собрался домой. Нововведение инспектора: вешалки пронумерованы, номера записаны в балльники. Во время уроков инспектор со сторожами обшаривает карманы, забирает папиросы, портсигары. И что еще можно забрать в кармане гимназической шинели? Ириску? Карикатуру на инспектора? Пятак?

После уроков инспектор вызывает в учительскую по списку, ласково расспрашивает:

— Не знаете ли, Чердынцев, чей это портсигар?

Чердынцев внимательно рассматривает свой портсигар:

— Не знаю, Константин Васильевич.

— Может быть, ваш?

— Что вы, Константин Васильевич!

— Ну, значит, он по ошибке попал в карман вашего пальто?

— Не может быть этого, Константин Васильевич.

— Вот представьте.

— Не могу поверить.

— Да почему?

— Разве инспектор гимназии будет лазить по чужим карманам?!

— Н-ну, идите, — не говорит, а свистит через зуб инспектор. — Очень шустры вы на язык!

Стена. Ненависть. Учителя сильнее. «Синяя говядина» изобретательней. Борются. Ненависть тупая, застоявшаяся. Изо дня в день.

Виктор Чердынцев — редактор журнала «Классный сартирикон». На обложке в сегодняшнем номере: инспектор, выворачивающий гимназический карман. Иллюстрации: пятиклассник Трусов «заговаривает» попа, дежурный по классу Маковкин читает «Молитву после ученья» французу. Пере-

довая — воззвание: кому не хочется в стенах гимназии стать окончательным идиотом, сопротивляйтесь! Спасение — бунт. Редакция «Классного сартирикона» бесплатно дает рецепты изготовления бомб из спичечных головок…

СЕМЬ «Я»

Братья Виктор и Глеб в одном классе. Виктор — второгодник, Глеб догнал его. А на второй год Виктор остался, как он пояснял, по обязательству дружбы: его первый друг и однокашник Саша Федоров провалился на экзамене по латыни — Виктор Чердынцев умышленно плохо отвечал по математике, а когда Саша Федоров не сдал и переэкзаменовку, Виктор Чердынцев, подал пустой листок при переэкзаменовке по математике. Таким образом, оба приятеля снова оказались на одной парте.

С Глебом же они сидят на разных партах, и у каждого свои друзья. Виктор — председатель кружка самообразования. Глеб — футболист и гимнаст.

Виктор говорит:

— Гимназия притупляет. Нужно сопротивляться.

Он организовал журнал и кружок.

Глеб еще давно подслушал «взрослый разговор». Взрослые, если говорят, не сюсюкая, не под детский язык, то думают, что дети их не понимают. Глеб играл в той же комнате. Взрослые говорили:

— Старшенький у вас, Елизавета Ивановна, слава богу.

— Виктор? Да, — ответила гордо Елизавета Ивановна. — Только худеет что-то.

— Это ничего, растет. А вот второй (Глеб понял, что говорят о нем, даже показали на него глазами) — совсем заморыш. Примите меры.

— Изнежила я его.

— А вы бы попоили рыбьим жиром…

Взрослые после этого разговора пили чай, а Глеб навсегда запомнил каждое слово и принял меры.

Заморыш? Изнеженный? Значит, нужно себя закалять!

Глеб потихоньку от всех раздевается, голый выскакивает на мороз. Снежинки щекочут голые плечи. На первый раз до-

вольно, увеличивать надо постепенно, как сказано в «Моей системе» Мюллера. Глеб высовывается в форточку, ест снег. Пробует спать на голых досках. Поднимает гири. Глеб всегда был слабее Виктора. Когда стал делать гимнастику, окреп и налился мускулами.

Виктор заявил, что мускулы всякий дурак отрастить может, что он, Виктор, признает только силу ума.

Виктор ведет дневники. На первой странице у него объяснение слова «семья». Взять хотя бы семейство Чердынцевых: двое родителей, пятеро детей, каждый на свой лад — семь «я» и получается.

После пяти уроков возвращаются гимназисты домой. С тупой болью в затылках, с урчащими животами, с испорченным ирисками аппетитом. По дороге домой очередная драка с «тухлой яичницей» — реалистами в фуражках с желтым кантом.

Первый в драке Глеб. Последний в драке — «подлиза», «пятерочник» Беленьков. Вероятно, и в будущих драках жизни все расположатся в таком же порядке.

«Тухлая яичница» наступает. Камни градом летят в опешившую «синюю говядину».

Виктор считает себя выше «всего этого» (как же так — редактор «Классного сартирикона» и вдруг драться!). Но тут не утерпел и бросился на выручку. За ним последовали другие.

Неожиданное подкрепление решило исход битвы. Реалисты подобрали полы шинелей и бегут. «Синяя говядина» — ура!

Гимназистки шлют победителям многообещающие улыбки. Гимназистки за «синюю говядину», гимназистки влюбляются больше в гимназистов, чем в реалистов.

— Гимназистки — наши женщины, — говорит Глеб.

Обедают Чердынцевы в три часа. Обед проходит почти молча.

— Крыса не вызывала? — испуганным голосом спрашивает мать.

— Сегодня пятница!

Мать смущенно умолкает. Ей следовало бы знать, что по пятницам Крысы нет в расписании.

За столом кроме Чердынцевых — ученик Петра Никаноровича Мардыгалям Махмутов. В доме всегда живут два-три паренька, которых учитель Чердынцев готовит для поступления

в училище или на какие-нибудь курсы. Живут они на полных хлебах и приняты как члены семейства.

Мардыгалям пришел к Чердынцевым два года назад. Ему было лет пятнадцать, он был тощ и грязен, космат и смугл. По-русски не знал ни слова. Остановился на пороге, снял калоши, остался в белых шерстяных носках, долго копался в карманах, извлек откуда-то из глубины заветный сверток, развернул тряпицу и протянул Петру Никаноровичу семнадцать рублей тридцать семь копеек, коротко пояснив: «Ущить», что означало «учить». Себя же назвал солидно: Мардыгалям Нагуманович.

Третий год он жил у Чердынцевых за эти семнадцать рублей. На первых порах с ним занималась вся семья и всех усерднее дети: надо было прежде всего научить его говорить по-русски хотя бы самые обыкновенные разговорные фразы. То и дело слышалось, как ребята теребили Мардыгаляма:

— Нагуманыч! Скажи: та-рел-ка, лож-ка…

— Мана[17] нос, Мардыгалям, Мана ухо. Ну, повтори! ухо! А покажи, где нос?

И Мардыгалям повторял:

— Та-рилка… Лужка… Мана нос…

Постепенно он стал довольно бойко разговаривать по-русски. Правда, иногда случались с ним казусы, когда он путал слова и употреблял какое-то слово не к месту. Но в общем дело подвигалось, и теперь уже Петр Никанорович давал Мардыгаляму настоящие уроки, причем занимался с ним по всем предметам.

К обеду Мардыгалям выходит с книжкой. Пока все усаживаются, пока наполняют тарелки, он спрашивает что-то у Виктора, и тот наспех объясняет ему непонятное место.

Щи ест со смаком только Петр Никанорович. Гимназисты супа вообще не любят. Петр Никанорович крепко солит, а капуста застревает у него в бороде, в усах и висит желтыми ниточками. Елизавета Ивановна ест на ходу. Даже когда нечего суетиться, она, по привычке, ест стоя!

— Где Глеб? — спрашивает уже за вторым блюдом отец.

— К Бабичевым уехал.

— Опять к Бабичевым?

Вытирает салфеткой капусту с бороды и усов, уходит

[17] Это, вот (башк.)

в спальню, час-другой спит, потом на урок. Петр Никанорович преподает историю и словесность в городском училище. И частных уроков у него полно. Он занимается с сыновьями заведующего крестьянским банком — Снегирева. Кроме того, согласился преподавать словесность дочери князя Кугушева.

Ежедневно отправляется он в белое, как больничный халат, здание, звонит и подает швейцару «санитарный листок»: княгиня поставила преподавателям дочери условие приносить каждый раз листок за собственной их подписью, извещающий, что «в доме моем, имярек, не воспоследовало никаких заболеваний, а также я сам, имярек, нахожусь в состоянии здоровья».

— Пройдите, — возвращается через некоторое время швейцар, похожий на фельдшера.

Петр Никанорович попадает в чистую, белую комнату, без мягкой мебели, уставленную шкафами. В комнате пахнет карболкой и формалином. Здесь нужно переодеться в специальный костюм, который хранится в отдельном шкафчике, и вымыть руки однопроцентным раствором сулемы.

После всей этой процедуры проводят сперва к княгине, которая еще раз справляется о здоровье, а затем в классную, где ожидает бледная, чахлая девушка, поражающая с первого же взгляда неимоверной длиной своей косы.

Татьяна Кугушева проходит курс гимназии на дому… Татьяна — последняя дочь у княгини. Двух дочерей потеряла княгиня: они заразились в гимназии скарлатиной и умерли одна за другой в какой-нибудь месяц. Княгиня еле перенесла утрату. Очнувшись, она изолировала последнюю уцелевшую дочь и всю жизнь посвятила борьбе с бациллами, которые, ей представлялось, кишат в загрязненном городе и стукаются в стекла княжеской квартиры.

Девушка утомлена уроками, девушка тоскливо смотрит в глухо заколоченные круглый год окна. Но она воспитанна и чутка. Она знает, что учителям платят за каждый час, проведенный с нею. Они, наверно, не очень богаты, они очень дорожат уроками в княжеском доме. Девушка делает внимательное лицо. Изредка переспрашивает. А уроки готовит тщательно и на совесть.

Урок прерывают на десять минут. Княжна кушает яйцо всмятку. Петру Никаноровичу подают какао и сухарики. Княж-

на с извиняющейся улыбкой рассказывает Петру Никаноровичу, как она не любит яйца всмятку.

— Маман настаивает, приходится есть…

Урок окончен. Петр Никанорович получает обратно свой форменный сюртук, свои брюки и ботинки. Чистенький, продезинфицированный швейцар провожает его до двери.

Хорошо выбраться из затхлой княжеской квартиры на свежий, зараженный воздух!

Дома Володя, третий сын Елизаветы Ивановны и Петра Никаноровича, шелестит учебниками. Витя на катке. Малыши — Гора и Зиночка — на улице. Глеб еще не пришел от Бабичевых. А Елизавета Ивановна запирается в спальне, разучивает роль.

Слышно, как она кричит, плачет, смеется. Молчание. Перевернута страница. И снова поток слов, снова вскрикивания и вопли. Скоро в любительском кружке спектакль…

Глеб возвращается поздно. Открывает ему Оксинья. Босая, заспанная, — утром вставать в семь. Но протерла глаза, улыбнулась. Задорная девка Оксинья! Глеб на цыпочках прокрадывается в столовую и пьет холодный чай. Хлопает дверь. Елизавета Ивановна шебаршит туфлями, чтобы достать из буфета припрятанную для Глеба холодную котлетку.

Глеб жадно ест и думает о челке Мурочки.

Мурочка Бабичева — нет, она не красива. Но вся она такая непокорная, а в глазах — серых, с лучиками — вызов:

«Думаете, не посмею? Думаете, не решусь?»

И Мурочка смеет, Мурочка решается. И вся жизнь Мурочкина в этом. В нарушении, в диких выходках — ни к чему, из удали одной, чтобы показать себя.

Глеб встречается с Мурочкиной матерью. Светская дама, со строгим лицом и накрашенными бровями, перед дочерью робеет и унижается.

— Опять намазались! — кричит на нее Мурочка.

— Мура! (Круглые глаза) При посторонних!

Мурочка теребит Глеба.

— Идите к черту! Может быть, это мой любовник.

Отца Бабичева Глеб никогда не видел. Говорили, что он какое-то важное лицо, и добавляли, что — взяточник и казнокрад.

Глеб знал только Муру, думал только о Муре. Здоровяк, по-

хвалявшийся мускулами, дубасивший крепкими ногами футбольный мяч, при сумасбродке Мурочке немел и бросался со всех ног исполнять ее приказания.

Иногда она была с ним нежна. Приезжала в гимназию (у Бабичевых свои лошади), катала его по городу, увозила домой, показывала матери. Потом вдруг гнала вон, и Глеб злыми глазами следил, как она кокетничала с учителем словесности Словоохотцевым, по прозванию «Чижик». В такие дни Глеб плакал потихоньку от домашних, писал Бабичевой письма и думал о самоубийстве.

В семье знали о Бабичевой, о влюбленности Глеба. Почти ничего не знал один Петр Никанорович. Петр Никанорович знает столько, сколько считает нужным Елизавета Ивановна.

Петру Никаноровичу некогда. После уроков он устает, лежит в постели и поправляет ученические тетради. Думает. О своей семье, о своем доме, о своей жизни. Везде условия, условия, плюс непроглядная работа… В город въехал — условие: не заниматься политикой. Частный урок у Кугушевой — условие: не занести бацилл…

Вот тоже — сыновья. Надо бы их вовлекать в настоящее дело, да вроде еще малы… А потом пропустишь момент, опоздаешь…

Все собирается Петр Никанорович порыться в книгах, выяснить, почему это современная молодежь вешается, почему устремляется в лиги любви, почему столько стихов пишет. Вот выберется свободный вечер — прочтет Петр Никанорович и во всем разберется. А впрочем, разве узнаешь? Разве отцы узнавали когда-нибудь, почему это дети хотят все по-своему и не верят житейскому опыту, и кажутся им смешными дедовские порядки, вера и сюртуки?

Издавна Петр Никанорович ненавидит правительство. Оно платит грошовое жалованье и не оставляет времени на воспитание сыновей. Оно сделало безвременье, а безвременье губит мысли, волю, губит и отцов и детей. Правительство Петр Никанорович представляет не то губернатором, не то попечителем округа. И еще ненавидит царя. Царя за манифест пятого года считает личным врагом.

На уроках в городском училище гневом прорывается Петр Никанорович. Слушает, слушает ученика, добросовестно вы-

зубрившего про благоверных царей и возлюбленный народ, взъерошится, подбежит к парте:

— Молодец, Сотников! Здорово зазубрил, пять тебе поставлю! И вы все, ребята, зубрите, не то капут вам, училища не кончите, пойдете на подтирку… Только помните, что здесь, в этой книжице, сплошное вранье…

Щелкнет по переплету Иловайского, и точно ждут этого сигнала ученики. Сгрудятся на передние парты, шушукаются:

— Сейчас начнет… Сейчас начнет…

Выволакивает взъерошенный учитель одно за другим

миропомазанные чучела из истории Иловайского, сковыривает позолоту, показывает пустое, как выгнившее дупло у зуба, нутро. Либо про крамольного Степана Разина поведет речи, и вскоре из разбойника злого превратится Разин в славного народного героя.

Звонок давно известил о наступлении большой перемены, а никто не шелохнулся в классе, и гомон голосов в коридоре представляется ученикам отдаленным гулом восстания.

Что это? Двое учеников поднялись и идут к двери. Не хотят слушать? Нет, это пикет. Встали, дозорят.

И если бы Петр Никанорович остался дольше, он подсмотрел бы смешное зрелище, как Ерофейчика подводят под присягу.

Ерофейчик — сын околоточного надзирателя. Он может выдать. Его тащат к иконам, ставят на колени, подостлав историю Иловайского, чтобы не запачкал брюки.

— Повторяй, — командует верзила Гнедков. — «Клянусь…»

— Клянусь, — повторяет Ерофейчик, тараща смешные розовые глазки. И видно, что присягу дает он не в первый раз, потому что на лице ни испуга, ни удивленья. — Клянусь родным отцом и матерью перед иконой в четвертом классе городского при Уфимском институте училища, что никогда не буду рассказывать дома, о чем говорил Петр Никанорович.

Все серьезно его слушают.

— И тетке тоже? — спрашивает Ерофейчик, чтобы посмешить товарищей.

— Никому, — обрывает Гнедков. — Перекрестись теперь трижды. Целуй учебник закона божьего. Говори: «Чтоб мне

провалиться».

— Чтоб мне провалиться.

— Еще раз.

— Еще раз.

Нет, еще раз повтори: «Чтоб мне провалиться».

— Чтоб мне провалиться, чтоб мне провалиться…

— Ну, теперь это видишь?

— Вижу.

Ерофейчик смиренно рассматривает большой кулак.

— Сознаешь?

— Сознаю.

— Чувствуешь?

— Чувствую.

— Ну, иди с богом.

Однажды на уроке истории Петр Никанорович вместо положенного повествования о «святом благоверном князе Александре Ярославовиче Невском» принялся за матушку Екатерину, как она вотчины любовникам своим раздавала.

Вдруг распахнулись двери. Ввалился сам его большое превосходительство, попечитель округа. А за ним комочком-засушенкой маленькое превосходительство, директор института Лисовский.

Отгавкали дрессированные ученики «здравия желаем». Превосходительства проследовали на пустые парты, и почтительно слушали ученики, как парта подалась и скрипнула под грузом.

— Продолжайте, — не сказало, а кашлянуло на учителя большое превосходительство.

Петр Никанорович побледнел, растерялся и никак не мог припомнить от неожиданности, какой урок на сегодня задан.

Воцарилась страшная тишина. Петр Никанорович смотрел в растерянные глаза учеников. Хотя бы подсказали, о чем сегодня… Крещение Руси? Василий Темный?

И вот среди тишины, показавшейся Петру Никаноровичу целой вечностью, с задней парты раздался отчетливый смелый голос. Когда все ученики сели, остался стоять Мустафа Акрямов, старательный и толковый ученик. Как бы продолжая прерванное, Мустафа стал описывать подвиги Александра Ярославовича:

— Святуй благовирный князь Аляксандр Яруславич, — го-

ворил он, коверкая русскую речь, — побиждал шведов на реке Неве. Бог помогал во всем святому благовирному князю. Скоро он побиждал рыцарей и получил прозвище Невский…

Сегодняшний урок! Спасен Петр Никанорович, задает дополнительные вопросы. Оба превосходительства узнают много подробностей о благоверном князе Александре…

Ах, как будут качать сегодня Мустафу!

Вспомнился этот случай, и мысли опять перекинулись на своих детей. Со своими детьми Петр Никанорович видится редко. Беседы отца с детьми сводятся к его мрачным обвинениям в лености, к раздраженным ответам сыновей. Елизавета Ивановна в таких беседах играет роль педали. Она приглушает в слишком резких местах.

Правда, бывают светлые моменты, когда у Петра Никаноровича с детьми, особенно с Виктором, вдруг, без всякой видимой связи, возникает серьезный разговор, и тогда оба они чувствуют, что близки по вкусам, по взглядам.

Но это только моменты. Елизавета Ивановна ближе с детьми. Она живет их интересами, переживает с ними их беды и неудачи. Она считает их всех до одного талантливыми, незаурядными. А в жизни она ценит главным образом искусство, талант.

Елизавета Ивановна крадет и читает у сыновей дневники (с воспитательными целями!). Еще водится в доме обычай переписки. Елизавета Ивановна пишет длинные письма детям. Иногда сочиняет прозрачные рассказы, в которых каждый может угадать себя. Рассказы прочитываются вслух. Письма вызывают ответные.

Петр Никанорович расценивает поэзию «по Писареву», терпеть не может стихов, а переписку Елизаветы Ивановны с сыновьями называет «голубиной почтой».

Елизавета Ивановна в восторге от стихов и картин Вити. Бегает, показывает знакомым. У Глеба находит большие драматические способности. Володя, по ее мнению, будет замечательным ученым. Даже в малышах — Горе и Зиночке — что-то такое есть…

Беспокоит Елизавету Ивановну замкнутость Вити, тревожит «несчастная любовь» Глеба, не нравятся ей странности тихого Володи. Бывает, запрется в спальне Елизавета Ивановна и всплакнет: «Что-то будет? Что-то будет?»

Но такое случается редко. Много по хозяйству у Елизаветы Ивановны хлопот, а тут еще репетиции…

КАК ЖЕ МОЖНО СДАВАТЬСЯ?

Из города в город гоняли Петра Никаноровича. И в каждый город еще до приезда Петра Никаноровича приходил пакет с надписью: «Весьма секретно». В пакете сообщалось кому следует, что Петр Никанорович замешан в политике и, по данным полиции, чуть ли не социалист.

Давно бы выгнали Петра Никаноровича со службы. И постановление губернатора подходящее было. Только взмолился попечитель округа: у него разогнали всех учителей. Тогда стали перекидываться губернаторы, как мячом, крамольным учителем: пермский гнал к оренбургскому, оренбургский — к уфимскому. У Елизаветы Ивановны даже привычка выработалась — никогда окончательно не распаковываться и в случае чего делать наклейки на окнах с извещением о продаже вещей.

Последний город был Троицк. Степной городишко с верблюдами, киргизами, пылью, с непременной холерой летом, обязательным дифтеритом зимой.

Инспектор училища Скрипов болел язвой желудка. Был желт с заостренным костлявым носом, ненавидел здоровых людей, боялся всего беспокойного, хлопотливого и упрашивал Чердынцева:

— Уезжайте, пожалуйста, куда-нибудь! Я понимаю, что вы, может быть, основ не подрываете, но как я им докажу? Шлют о вас бумаги, запросы всякие, на них надо отвечать, а у меня бок болит…

Было и отрадное. Где ни появится Чердынцев, разносится слух о его крамоле. Передают друг другу: «Чердынцев пострадал». Шушукаются. Льнет к нему молодежь, вопросы задают жадные, допытываются. Расшевелят, глядишь — на уроке истории не стерпит и забредет в дебри запретные. А молодежь всегда чутка к живому слову.

Висело над ним увольнение, да повезло неожиданно. В губернском городе Уфе учительский институт открывался. Сунулся с запросом Петр Никанорович. Скрипов только бы отделаться — ходатайство поддержал. Пригласили, подъемные

дали. Продал Чердынцев мебель, пожал руку остроносому Скрипову. Ученики провожали. Поехал.

В Уфе подписку дал: «Обязуюсь ни в каких опасных обществах не состоять, никакими вопросами не интересоваться».

Попечитель округа любил этакий либеральный тон пустить. Взял под личную ответственность и даже сочувствие выразил и сесть пригласил.

Однако не успел вселиться Петр Никанорович в казенную квартиру при институте, как призвал его директор института действительный статский советник Лисовский и говорит:

—- В прятки играть не будем. Прямо вам скажу, что кроме меня надзор за вами поручен законоучителю отцу Амврозию и вашему коллеге по институту Добродееву.

Пожал старику руку Петр Никанорович.

— Спасибо, — говорит, — за предупреждение. Я ведь стреляный воробей, на рожон не полезу и вас не подведу. Да и то учтите: семья, хвост… Один малярийный, другой малокровный, третий нервный, у четвертого понос. Вот раньше я обстановку, фикусы разные мещанством обзывал. А теперь хожу да мечтаю дюжину стульев венских купить, чтобы свой хвост по стульям рассажать. Жалованье, жалованье человека съело!

Вышел от действительного статского советника — и так хорошо стало! Вот и надзор установили, и подписку берут. Значит, не совсем износился, есть еще порох. Не укатали сивку крутые горки!

Стрекнули мысли вольные. Про митинги, про народные чтения. Вспомнился съезд учителей, манифестации, нелегальные собрания…

Годы проскакивали, как миндаль ошпаренный, стиснутый между пальцев. Чердынцев, конечно, понимал, что есть у него теперь шесть ртов голодных, на этом и сыграл в разговоре с начальством. Себя сравнивал Чердынцев со станком, чеканящим деньги. Станок устарелой конструкции, неловкий, неудобный, выстукивающий медяки. И когда расписывался в ведомости и получал ворошок денег, казалось ему — ухватил ворох штанов, касторки, картошки, тетрадей общих и тетрадей для чистописания… Хватал и волочил домой. Но деньги деньгами, а никогда Чердынцев не отречется от самого себя, от убеждений.

Больше всего в доме Чердынцевых боялись неожиданных

звонков. Так и на этот раз: вдруг дернулся звонок в прихожей, и впечатление от звонка походило на взрыв.

Петр Никанорович только было воздел очки на нос и расположился с чтением. Услышав звонок, он взлетел со стула и поспешно засунул книжку в красной обложке под диванный чехол.

Елизавета Ивановна заметалась по комнате, заахала, что в доме такой кавардак.

Впрочем, ахала она напрасно. Правда, вокруг был невообразимый беспорядок, но не более, чем вчера, третьего дня и каждый любой день. Однако замечала беспорядок Елизавета Ивановна, только когда кто-нибудь приходил.

Вот и сейчас она увидела, что половина стола завалена неубранной с утра посудой, а на другой половине накрыт обед. На стуле возле двери шуба Елизаветы Ивановны. Шубу она бросила тут впопыхах, воротясь с базара. У стула на полу гиря, которую не убрал за собой Глеб. Буфет рядом распахнут. Из него выглядывают разбитые абажуры, посуда, корки, кульки и еще что-то наваленное грудой, что именно — в доме не знал никто. Пол не подметен, а залитый чернилами столик Володи (у каждого в семье Чердынцевых свой столик) так загроможден, что первый привлек внимание Елизаветы Ивановны.

Она схватила газету, прикрыла столик. Забрала сразу шубу, гирю, роли, нераспакованный кулечек сахару и скрылась в спальне, попутно ногой захлопнув шкаф.

— Оксинья, отпирай! — крикнул Петр Никанорович, скрываясь вслед за супругой.

Оксинья стояла, онемев от изумления, что в такое неурочное время — звонок. Затем очнулась и побежала к двери. Через минуту она ворвалась в спальню и ткнула пальцем на Петра Никаноровича.

— Вас.

— Меня дома нет, — замахал на нее Петр Никанорович.

— А я сказала — есть.

— Да кто, кто? — шептала Елизавета Ивановна, прикрывая плотней двери. — Ты спросила, кто такой?

— Так вообще… Брунет…

— Может быть, жулик? Что ты оставила его одного?

— Ты что-нибудь напутала, — ворчал Петр Никанорович. —

Я сегодня никого не жду. Только мне еще не хватает визитера! Поди и скажи, что я… Да подожди, куда же ты побежала? Ведь я еще ничего не сказал… Словом, я болен. Понимаешь, болен! Лежу в кровати!

И Петр Никанорович для чего-то стал разуваться. Потом подумал минуту и решительно направился к двери:

— Или постой, ладно, я выйду сам. Но если это опять Добродеев, приставленный ко мне полицией, — вышвырну вон. Ей-богу, вышвырну! Вот повадился, чтоб ему!..

— Петр Никанорович! — увидев его, шагнул вперед щетинистый человек с молодыми глазами.

У Петра Никаноровича встопорщились и насторожились усы. На языке вертелось:

«Ну-ну. Я-то Петр Никанорович, а ты кто такой?»

Молча остановился, вглядываясь.

— Не узнали? — улыбнулся пришедший. — Ну конечно, дело давнее, можно и не узнать. По пятому году знакомы. По Ирбиту.

— Матвей! Неужели все-таки Матвей? Вот чудо-то! Значит, живы?!

— Он самый. Стригановский. Ваш, можно сказать, питомец.

Матвей оглядел бегло желтые обои, старые занавески и печально поникший со стены портрет Льва Толстого с выпавшей кнопкой.

— Да-а, — сказал он не то удовлетворенно, не то озадаченно. Затем стал разглядывать Петра Никаноровича. — Малость постарели… — сказал огорченно. — А так — ничего. Ну, историю-то нашу знаете? Стражники в Стригановке были еще при вас? Спасибо им, стражникам, за великий сев.

— Великий сев? — переспросил Петр Никанорович.

— Великий — озлобление. Озлобление всколосилось ненавистью, ненависть вызревает в бунт. В пятом не вышло — в другой раз выйдет. Мы миллионеры, и наши миллионы растут. Каждые десять дают сотню, каждые сто — тысячу… Эх, славный Петр Никанорович! Тороплюсь я, а сказать много хочется. Ведь я о вас столько думал! В тюрьме сидел — думал, по этапу гнали — думал… Со мной ведь чего только не было… Арест, Сибирь, побеги… Одним словом, академия, после которой получают почетное звание революционера. Академия!

Матвей засмеялся. Смех у него был короткий и горьковатый. Видно было, что человек много перенес, много передумал и весь насквозь пропитался какой-то одной мыслью, одной целью. И в то же время смех был не острый, не злой.

«Ишь какой! — подумал Петр Никанорович. — Апостол ненависти. А вид предобродушный».

— А все вы, — продолжал Матвей. — Подтолкнули, приобщили к делу: иди, сопротивляйся, ненавидящее зерно сей, поднимай на борьбу!

Петр Никанорович слушал и удивлялся, как вырос Матвей, как складно стал говорить.

— Между прочим, в настоящий момент я вполне при документах и все прочее, так что можно меня не опасаться.

— Я не опасаюсь, что вы! Думал — какой непрошеный гость. А вам всегда рад. И даже… может быть, чуточку завидую.

— Завидуете? Вы? Вам можно гордиться! Вырастили, подняли на ноги, натолкнули на путь не мало людей. Вот и я. Понимаете, дело ваших рук я. Ведь спал я, а вы подняли ото сна. От вас от первого услышал правду, вовек вас не забуду. И пришел я вам низко поклониться и сказать русское спасибо. От всей души, Петр Никанорович!

— Так-так, — произнес Петр Никанорович. — Это хорошо. То есть, я имею в виду — хорошо, что не сдаетесь. А за доброе слово благодарствую. Я и сейчас свою линию веду. Уверен, что из числа моих теперешних учеников тоже немало вырастет стоящих. Так что и я не сдаюсь.

— Как же можно сдаваться! — поддержал Матвей. — Ни сдаваться, ни останавливаться на полпути нельзя. Ну как же я рад, что вас повидал! Теперь и дальше двигаться можно. Спешу!

— Так-так. Ну что ж, весьма рад. Захаживайте, если это вам удобно. От вас бодростью веет. По средам, например, у меня бывает кое-кто… Только учтите: с предосторожностями! У нас перед окнами всегда торчит унылый шпик — так сказать, дежурное блюдо.

— Уезжаю, Петр Никанорович. Я сейчас проездом. Может, потом и буду в Уфе, тогда непременно зайду, а сейчас только наведать кой-каких знакомых и сразу же дальше. Вот и к вам

забежал. Страсть как хотелось на вас взглянуть. Рад, что вы прежний. Прежний, вижу. А ведь некоторая публика перепугалась насмерть репрессий и отшатнулась от революции. Это на пользу дела, по крайней мере, не мельтешат под ногами. Ну, бывайте здоровы. Поприветствуйте от моего имени Елизавету Ивановну, а мне пора.

Когда он ушел, Петр Никанорович руками развел:

«И Матвей — и вовсе не Матвей. Как меняются люди! Пожалуй, еще в глазах осталось прежнее деревенское удивление, да и то мало. Жестче стали глаза. Да-а… Как же можно сдаваться, говорит. Молодец! Как же можно сдаваться?»

ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

Человек трудный, несворачивающий Петр Никанорович. Вот уж непохож на Елизавету Ивановну — та наступающим днем живет. Вопросы жизненные Петр Никанорович решает трудно, со взвешиванием, предпосылками и планом. Планы рушатся, и раздражается Петр Никанорович, думает — помешали ему, обманули. Не понимает, что жизнь — выдумщица, каждому плану делает поворот.

Вот и теперь. Задумал нищету победить, из нужды выкарабкаться. Задумал детей к труду приучить. Клок земли купить задумал в рассрочку, трудовую артель из семьи создать. А решив, принялся осуществлять. Упрямо, в одиночку, без поддержки. Так всю жизнь пробивался, с того дня, как с отцом разошелся еще в младших классах гимназии и стал расплачиваться с жизнью за свой счет.

Первый разрыв — с отцом, пензенским купцом, который хотел Петра Никаноровича по торговой части пустить.

Второй разрыв — с богом. Пеплом в сердце наследовал от отцов веру в бога Петр Никанорович. Веру эту долго грузилом свинцовым волочил по дну. Зато после всю жизнь с богом у Петра Никаноровича были особые счеты.

Бог даже женитьбе Петра Никаноровича подсобил. Так рассказывает Петр Никанорович про свою женитьбу:

— На богомолье ехал, указания правильной жизни искал. — При таких словах Петр Никанорович смеется всегда извиняющимся смешком (видите, дескать, какой дурак был!). — Ну-с,

указания… Еду, значит, на перекладных, по станциям клопов кормлю, с ямщиками ругаюсь. На станции паршивой — хуже быть не может — встречаю румяную помещицу с дочкой. Мало ли на станциях людей встречаешь? Вся человечья жизнь на перекладных идет. Повстречался и разъехался. Кажется, чего проще? Нет. Запало мне в голову, что помещица эта не зря на моем пути сидит, а со смыслом специально для меня посажена. Расспрашиваю: что за помещица? Оказывается, ограбили их, без копейки денег сидят, доброго человека поджидают. Опять кажется: ну чего особенного в том, что гурьевскую помещицу на дороге ограбили? А мне опять в голову лезет, что ограбили ее неспроста, что, может, сам господь разбойничком прикинулся и хапнул помещицын кошелек.

Петр Никанорович рассказывает, усмехается:

— Посмотрел я, вижу: помещица сидит и чай пьет. Ну, думаю: перст божий! Женюсь на ее дочке! И, поглядывая на Елизавету Ивановну, с хохотом добавляет:

— Вот когда в первый раз меня бог надул.

Елизавета Ивановна обижается:

— Ну, еще неизвестно, кого надул.

О своем замысле — насчет покупки земли — Петр Никанорович до поры до времени помалкивал. Ни гугу! Даже Елизавета Ивановна не знала. В тот день, когда решиться должно было все и Петр Никанорович собрался для окончательных переговоров к Снегиреву, с утра все ладилось. У Петра Никаноровича заменили два урока. Он вернулся в двенадцать, пообедал, пел «Не плачь, дитя, не плачь напрасно» и даже подшутил над Оксиньей, которая, по обыкновению, недосолила суп.

Елизавета Ивановна, видя доброе настроение мужа, завела разговор о рождественских подарках, о елке, о приглашении гостей… Петр Никанорович стал перед ней в оперную позу и пропел:

Не плачь, дитя, не плачь напрасно,
Но елку надо отменить…

И прибавил уже словами:

— Я вам сделаю нынче подарок лучше елки.

Елизавета Ивановна тотчас согласилась не делать елки, думая про себя, что сделает все же так, как сама решила.

— Конечно, — сказала она, — коли так, можно почти ни-

чего не устраивать. Купим подешевле елку просто для запаху в доме — и все.

— Никакого запаху! Мой подарок не только для запаху, но и на ощупь. Собирай вечером семейный совет — расскажу. А сейчас пошел. Дело наклевывается такое, что всю жизнь изменит.

Гимназисты вернулись в этот день поздно. После уроков было собрание в парке, на морозе. Произносились речи, иногда говорили сразу несколько человек. Пришли к выводам, что гимназия оказывает следующие услуги всем, кто в ней учится:

1. Убивает все живое.
2. Уничтожает пытливость ума.
3. Притупляет мозг.
4. Уродует нравственно и физически.
5. Мешает жить.
6. Не дает никаких знаний.

Еще постановили: довольно терпеть это, надо бороться.

Над кроватью у Вити в рамке за стеклом висит прошлогодний табель. В нем двойки по французскому и латинскому, сердитый заголовок: «Табель об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика четвертого «б» класса…»

И в графе примечаний:

«Балл 4 (четыре) за поведение выставлен по постановлению педагогического совета от 2 марта сего 1912 года за то, что на фразу, сказанную преподавателем французского языка А. А. Лесгилье, после сделанного замечания: «Sortez!»[18] дерзко ответил: «Avec plaisir»[19], за что своевременно был наказан арестом и о чем своевременно было сообщено отцу ученика. Кл. наставник М. Зубыхин.»

У Вити Чердынцева называлось это «кормить гусей». Он ненавидел гимназию, преподавателей и то, что преподавали. «Кормить гусей» — поддерживать постоянную злобу — вот чего хотел Витя.

Рядом с табелем, вставленным в рамку, развешаны карикатуры, стихи и дальше — портрет незнакомки гимназистки, встречавшейся на углу по утрам. Портрет был добыт с большим трудом. Висел он в самом уголке, так что сразу и не при-

[18] Выйдите! (франц.).

[19] С удовольствием (франц.).

метишь. Ведь он был нарушением системы «кормления гусей», он смягчал злобу. Вечерами можно было подсмотреть, как Витя целует портрет, желая ему спокойной ночи. Но сам Витя никогда не сознался бы в таких сентиментальных поступках.

Когда Петр Никанорович, вернувшись от Снегирева, торжественно призвал все семейство, Витя спросил его:

— Ты как думаешь, папа, ненависть укрепляет волю?

Петр Никанорович внимательно посмотрел на сына:

— Ненависть? Это такое же великое чувство, как и любовь. Ты что, читал об этом? Почему у тебя возник этот вопрос?

— Ха! В гимназии преподавали.

— Ты не паясничай. Тебя серьезно спрашивают.

— Странный вопрос! Почему мне непременно надо «вычитывать»? Сам выдумал. Да и выдумывать не надо, и без того ясно. Правда же?

Петр Никанорович подумал:

«А ведь будет из него толк. Вот бы еще стихами поменьше увлекался».

Тут собралось все семейство вокруг, сели, ждут.

Петр Никанорович торжественно начал:

— Вы знаете, что я похожу на клячу, на заезженную клячу…

— Знаем, знаем, — разочарованно затянули все.

Отец поглядел строго и продолжал:

— Я придумал избавление. Вы должны мне помочь. Я куплю в рассрочку землю. Мы обработаем ее своими силами. Это даст нам продукты на зиму, и добудем эти продукты мы сами, своим трудом.

— Прекрасно, прекрасно! — закричала Елизавета Ивановна. — Мы разведем цветники, будем делать экскурсии…

Петр Никанорович поморщился.

— А бабочки там есть? — спросил Володя.

— А река?

— А лес?

Петр Никанорович дал выговориться.

— Теперь, — сказал он наконец, — условие…

— Ну да, — перебила Елизавета Ивановна, — что будем сами работать? Так о чем говорить? Конечно, мы согласны. Это даже интересно.

— А можно разводить виноград?

— Подождите, я вам все объясню. Это будет трудовая артель. Мы все будем приучаться к труду. Будем ближе к природе, к народу, а все это необходимо, чтобы стать человеком. И другое условие: надо денег на покупку земли.

— Так ведь в рассрочку?

— Но взнос-то, лопаты, какой-никакой дом наконец. Согласны ли вы остаться без елки в этом году и вообще сжаться, чтобы приобрести хутор?

— Согласны, согласны! — закричали гимназисты, но уныние было в разрозненных голосах: предложение быть ближе к природе им вполне улыбалось, а все остальное нравилось гораздо меньше.

Первый вечер такой, что не разбрелись по своим комнатам. Сидели, обсуждали, придумывали, как назвать хутор.

— А все-таки хороший у нас отец, — убежденно сказал Виктор, укладываясь спать.

Братья согласились, но добавили:

— Елку жалко.

Петр Никанорович сидел до рассвета. Чертил планы.

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

Глеб еще в постели составил отчаянный план: притвориться заболевшим и упросить мать, чтобы послала записку о его болезни через Виктора. Одеваясь, он уже верил, что болен. У него даже появился озноб. Подошел к простенку перечитать расписание уроков. У Чижика можно отказаться. История — наверное, опять пустое. Но алгебра… Конец четверти… Сквозная пара! Глеб явственно ощутил головную боль. Одновременно заныли зубы, засверлило в горле…

С понурой головой побрел к матери. Дорогой наткнулся на Виктора, почуял недоброе.

— Не пойдешь? — спросил напрямик.

— Ты должен догадаться по моему болезненному виду, — простонал Виктор. Покрутил головой, как бы сам тому не веря, показал на живот и сам посмотрел с удивлением: — Болит!

Глеб тоже покрутил головой:

— А ты по моему виду не догадываешься?

— Догадываюсь, но…

Оба хорошо знали слабое место Елизаветы Ивановны. Она в головной боли подозревала менингит, в боли живота — брюшной тиф, а если жаловались на горло, бросалась читать в медицинском справочнике о признаках скарлатины, ангины и дифтерита.

Однако появление умирающего Глеба ее не очень растрогало.

— Ты что? — закричала она с испугом и — увы! — недоверием в голосе.

— Голова что-то… самочувствие… — бормотал Глеб, безучастно разглядывая свои невычищенные сапоги.

— Простудился? — заботливо спросила мать.

— Да, да, — оживился Глеб.

— Ну так застегнись хорошенько, когда пойдешь в гимназию. И шарф не забудь надеть.

Глеб понимает, что никакой надежды, и меняет роль.

— Конечно, — говорит он, — я пойду. Если бы у меня голова лопалась, я все-таки пошел бы.

Глеб набрасывает шинель, забывает взять общую тетрадь и учебник алгебры.

Мерзлая мгла окутывает его, лишь только он высовывается на улицу. Глаза слипаются. Трудно дышать.

Глеб подмигивает на ходу гимназистке — «симпатии Виктора». Сшибает снежный рулет с карниза. Настороженно останавливается возле гимназии. Кучка серых людей с пятнышками инея вместо блестящих пуговиц толпится, машет руками, кричит:

— Гимназисты! Вольно!

— Флаг! Мороз!

— Не подходите к гимназии: там надзиратель Комаров ловит северных орлов!

— Да здравствует двадцать пять градусов!

— К женской гимназии!

— Ура!!

Из мерзлого тумана выныривает инспектор. Стая крикунов рассыпается по переулкам. Глеб делает крюк и возвращается, пританцовывая, домой.

— Пустой урок? — встречает встревоженный Виктор.

— Мороз!! — взрывается восторгом Глеб.

Виктор вздыхает:

— А я касторки принял…

Пять коротких зимних часов — подарок декабрьской стужи.

Петр Никанорович вернулся и засел опять чертить планы. Виктор доволен: ему доверено раскрасить планы акварелью. Тут точно расписано: участок картошки, капусты, поле под высадку малины, ягодники, парники.

Мардыгалям зубрит. Нынче он едет в Казань (в Казани у него родственники), будет там поступать в училище.

Глеб и Володя шпарят на гитаре и мандолине дрыгающие марши. Петр Никанорович поет: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно». Елизавета Ивановна, словно сегодня праздник, раскраснелась у плиты — делает преснушки.

«Но если гимназия отвратна, — думает Виктор, водя кисточкой, — значит, к черту ее. Зачем она?»

И угадывает ответ старших:

«Без гимназии не поступишь в университет, без университета не поступишь на службу, без службы нечего будет есть».

Узкий коридор. Безошибочный. Стране нужны чиновники. Рецепт изготовления: прилежание, поведение, успехи. Пять с плюсом и карцер. Здесь, в немощеном губернском городишке, гимназист Виктор Чердынцев, мальчик в переходном возрасте, ощущает чью-то жесткую руку.

«Министерство народного просвещения. Циркулярно. Ввиду угнетающего действия серого цвета на психику учащейся молодежи, предлагается заменить форменные серые гимназические шинели черными».

Витя Чердынцев мазал зеленой краской капустное поле. В соседней комнате ухала гитара и мандолина скороговоркой частила чардаш.

Гимназистка приготовительного класса Зина не могла равнодушно слушать музыку: она начинала тотчас приплясывать и делать преуморительные прыжки. Елизавета Ивановна предсказывала, что Зиночка сделается балериной.

Витя заехал зеленой краской в малинник. Пришлось замывать водой.

Оксинья пришла с дровами. Ах, как весело бывает людям, когда в лютый мороз жадно пылают дрова! А тут еще нет гимназии, голова свежая, полная выдумок! Обедать? И обед такой

вкусный!

— Куда ты?

— На каток.

— Да ведь холодно.

— Мне не холодно!

— Да ведь у тебя живот болит!

— Уже прошел!

На катке почти никого нет. Но вот эту гимназистку, которая зацепилась снегурочками и упала на лед, ее нужно подхватить, поднять, помочь добраться до скамейки и, сделав зигзаг на гладком и хрупком льду, скромно удалиться.

— А ведь я вас знаю!

«Она! Она!»

— Я часто забываю учебники, только бы поспеть встретить вас на углу.

Витя шаркает ногой и притрагивается к потрепанной фуражке:

— Виктор Чердынцев.

— Аня.

Аня! Есть ли на свете имя красивее? Витя считает, что нет на свете красивее имени Аня. Все эти Тамары, Людмилы, Клеопатры хороши, но очень уж гремучи. Аня. Просто и радостно. Колосья, избы, ситец, караси в пруду… Вот что значит Аня.

Прозябший, взбудораженный легким прикосновением к Аниной руке, Витя лег спать в этот вечер не умываясь: он берег свою руку — от нее пахло Аниными духами. Витя подложил руку под голову и так уснул, а во сне был гладкий лед и веселый танец на морозе. Вите снилось, что он не передвигался на коньках, а просто летал и держал за руку Аню.

Когда летают во сне или, бывает, вздрагивают всем телом, толчками, — это, говорят, потому, что растут. Толчками, неровно росли гимназисты. Переходный возраст — мука матерей и преподавателей. Вдруг сломается голос, и вихрастый подросток то басит, то пускает петуха. И еще — вдруг перестает слепо верить, сомневается во всем, всему делает проверку. И еще — щиплет перышки, пушок на верхней губе. И еще — тайно мечтает о женщине, непонятной, заманчивой, прекрасной.

Виктор часто чертит на краешке тетради или вырезывает

перочинным ножом на парте две буквы: А. И. От этих двух букв делается милее и тетрадка и парта. И весь класс наполняется звенящими, как коньки-снегурочки, буквами: выгнутое тонкое А и пронизывающее, пронзительное И.

Аня Иванова — конечно, это самое прекрасное имя. Вите кажется чудом, что он нашел такую девушку. Вите кажется, что они двое всегда были предназначены друг для друга и только потому каждое утро встречались на углу.

Тысячи раз представляет он ее головку. Белокурую, слегка склоненную, прячущую волнение в глазах и в лице. Коричневое платье, тонкие ноги… Кощунство было бы дальше заглядывать и обнажать.

Витя часто шепчет:

— Стоит жить уже только ради того, чтобы созерцать женщину. Женщина!.. Неведомое, всегда неведомое существо. Прекрасная постройка природы. Символ бессмертия. Женщина!

Когда это произошло? Бродили в теле смутные силы. И вдруг вот понял, что хочет любить и, потому что хочет любить, любит Аню Иванову.

Теперь они часто виделись. Теперь для Вити существовали два состояния. Одно — ожидание блаженства, оно было все часы, когда Витя не видел Аню. Другое — часы с ней. Когда он видел ее издали, вдруг пронизывало его какое-то острие, и, пока был с ней, по телу ходила истома, мозг был заострен. Витя делался находчивым, храбрым, остроумным.

Один раз она забыла у него в кармане перчатки. Перчатки он целовал и ходил дома с таким победным видом, что Елизавета Ивановна взволновалась и написала сыну письмо.

— Самая счастливая семья, — говорят о Чердынцевых в городе.

— Берите пример с Чердынцевых, — говорят матери.

— Берите пример с Чердынцевых, — говорят мужья.

Иные приходят даже советоваться с Елизаветой Ивановной относительно всяческих семейных дел. Елизавета Ивановна умеет создать в доме беззаботность, и если случается гимназистам пережить втихомолку горечь заплат на гимназических брюках, то горечь скоро забывается в возвышенных рассуждениях о творчестве, о смысле жизни. Елизавета Ивановна презирала деньги, а если они появлялись, то бежала по магазинам,

возбужденная тем, что может доставить радость всей семье, всем до одного.

В то время как Петр Никанорович чертил планы и сметы будущей своей частной собственности, Елизавета Ивановна разрабатывала программу вечера, с играми, обязательным чеховским «Юбилеем» и стихами Виктора Чердынцева в исполнении автора…

Самая счастливая семья. И Виктор и Глеб сказали бы так, не задумываясь. Ведь только двое знали о том, что переживалось в спальне. И одна Елизавета Ивановна помнила горечь многих, многих минут.

Так было когда-то: учитель, чернобородый ласковый человек, вез венчаться девятнадцатилетнюю Лизу. Лиза думала, что только простые бабы и мужики сходятся меж собой, как быки и коровы. А учитель — особенный человек, ученый. Он будет только пожимать руку и говорить о любви. До брачной ночи надеялась девочка, что грязное, отвратительное минует ее.

От детства — оргий на глазах девочки в вымиравшем помещичьем доме — к замужеству, от замужества через всю жизнь несла отвращение к телесному общению женщина Елизавета Ивановна. В проклятиях и слезах зачались и родились пятеро детей у женщины Елизаветы Ивановны, не ведавшей чувственной дрожи, исступления, спазм. Насмешливая природа наделила Елизавету Ивановну плодородием, убив приманку наслаждения.

Брак по ошибке чувственного, жадного Петра Никаноровича и Елизаветы Ивановны — рыбой она себя называла.

Бывает же так: жизнь загибалась как-то по-своему, не так, как мечталось. Елизавета Ивановна сцену любила, мечтала актрисой быть, — как-то не вышло: дети пошли, потребовали свое. Дыры, заплаты пошли.

И стала актриса Елизавета Ивановна хозяйкой, матерью. Веселой матерью, режиссирующей домашние спектакли, чеховский обязательный «Юбилей».

Приходили соседи, слушали чеховский «Юбилей», декламацию Виктора Чердынцева, неугомонное веселье актрисы-матери. Завидовали. Веселая семья. И, может быть, сама Елизавета Ивановна не догадывалась, что жизнь гнет куда-то не туда, как мечталось, как думалось. Образовалось такое нагро-

мождение, городок целый, семь «я» — разношерстных, неожиданных…

С ужасом смотрела мать на детей, проросших сразу как-то в переходный возраст, в петушиные срывы, в сладкую мечтательность. Поняла: в них просыпается то, отцовское, косматое, жадное, ненавистное.

Петр Никанорович, поклонник Писарева, старый бунтарь, презирал стихи о закатах, о любви и нежности. Петр Никанорович, подслушав тревогу матери, радовался превращению детенышей в мужчин. Петр Никанорович призвал к себе Виктора, остался с ним наедине.

— Есть вещи, о которых не принято говорить с детьми, — и это глупо. Я замечаю, что ты стал каким-то нервным, рассеянным. Мать тоже замечает. Давай-ка, брат, поговорим по душам…

Говорил больше отец. Виктор слушал, кивал, молчал, думал об отце с благодарностью, тепло и нежно, но на откровенность не пошел. Спрятал в себе волнующее имя «Аня». Самое красивое из всех имен.

Виктор прислушивался. Силы какие-то бродили в теле, неведомые, непонятые. Выход искали в исступленном поклонении, в молитве женщине, — женщине с лицом Ани.

Гимназия не предусматривает зарождения любви в своих воспитанниках. Нет ни одного циркуляра, затрагивающего щекотливый вопрос. И когда Витя пропадает целые дни на катке, а Глеб остается до часу ночи у Бабичевых, классный наставник Зубыхин говорит на педагогическом совете об исключении неудобных учеников.

СТУЖА

Наступили рождественские каникулы.

Желтая, как китайский дракон, гимназия нехотя разжала когти и выпустила расправить шерстку замуштрованных мышат.

В последний день занятий по обычаю, который передавался из выпуска в выпуск, не спрашивали заданного. Учителя приносили книги — рассказы, сказки, стихи — и читали вслух всему классу.

И сразу преображался класс. Сгрудившись около учитель-

ского столика, слушали, не шелохнувшись. Переговаривались с учителем. Сами усмиряли шумливых. Между воюющими сторонами — учительством и гимназистами — устанавливалось перемирие. Перебрасывались шутками. Выходили из окопов, братались.

Какой-то храбрец осмелился даже прикоснуться к классному журналу.

— Ого! — говорил он, перелистывая последние страницы. — Две двоечки у меня!

И отчетливо видно было, какие вырастут из этих головастиков лягушки.

Вот пятерочник Беленьков, который говорит учителям приятные вещи, — конечно, он в течение всей жизни будет «на хорошем счету»… А Сережа Снегирев — вспыльчивый, самолюбивый, болезненно правдивый головастик Снегирев? Ему, вероятно, будет трудно. Сосед Вити по парте, Саша Федоров, из года в год удерживающий звание последнего ученика, — что ждет его? Футбольное поле? Мировая слава или тихая семейная жизнь под башмаком жены?

Витя озирается, вглядывается. Спрашивает себя:

«Как-то мы будем квакать?»

Урок кончился. Следующий — инспектора, Крысы. Беленьков принес целую стопку книг: томики Чехова, Шеллера-Михайлова, Данилевского. Книги услужливо сложены на учительском столе.

— Это что? спросил инспектор, войдя быстро в класс и осматривая вставших с мест для уставного приветствия гимназистов.

Все посмотрели туда, куда он показывал.

— Это книги.

— Уберите их.

Книги нехотя унесли со стола.

— Кто дежурный?

— Я.

— Почему не стерто с доски?

Стерли.

Минута молчания. Стена против стены. Там — прищуренный, похожий на старую, седеющую крысу инспектор. Здесь, на партах, сорок иксов, сорок головастиков, которых хотят вы-

растить снулыми налимами.

— Алфеев, сегодняшний урок!

— Я не принес учебника.

— Почему?

— Думал, что будет чтение.

— Какое чтение? Садитесь. Беленьков!

— Я, Константин Васильевич…

— Да?

— Не принес учебника.

— Зато принесли пуд какой-то ерунды?

— Чехов — не ерунда, — басит Чердынцев.

— Поумнее вашей чепухи, — рычит Алфеев.

— Что вы сказали, Алфеев?

— Я сказал, что Чехов не стоит мизинца вашей ноги.

— Я передам ваше заявление педагогическому совету.

— Какое-то избиение младенцев! — громко говорит кто-то на задних партах.

Что нужно инспектору? Ему доставляет удовольствие смотреть в эти сорок пар ненавидящих глаз? Знает ли он, что уже давно готовится «крысиный бунт»? Что уже и ворохи воззваний готовы — «Долой Крысу!» — напечатанных на игрушечном печатном станке «Колдун» с крохотными каучуковыми буквами? Что «крысиный бунт» только откладывался из-за сопротивления «лизунов»?

Класс — сорок человек будущих чиновников — не был, оказывается, един. Если в младших классах били ябедников, фискалов, то теперь фискалов сменили лизуны. Это были вежливые, приятные юноши с гладкими зализами причесок, щеголи в новеньких фуражках удивительнейших фасонов. Они очень мягко показывали презрение к остальным. Учились не прилежно, однако гонялись за отметками. Вымаливали пятерки и четверки с плюсами, увозили балльники с пятерками в экипажах, которые прибывали на гимназический двор в конце пятого урока.

Витя Чердынцев и его приятели — верховоды класса, отчаянные лентяи, зачисленные в «неудобные ученики», они против всех групп в классе. Против зубрил, запуганных, тупых «первых учеников». Против «циников», как прозвал Витя компанию рассказывателей анекдотов специалистов по части

«девочек» и цирковых акробаток! Но больше всего ненавидят чердынцевцы лизунов.

Сашка Федоров, приятель Вити, подошел как-то к Биркелю — долговязому Биркелю, обладателю искривленного позвоночника и близоруких глаз. Молча, озлобленно залепил ему пощечину. Никакой ссоры между ними не было. Биркель мирно шел с портфельчиком под мышкой на свое место.

Сашка Федоров, последний ученик в классе, непоседа шумливый и беззлобный Сашка, стоял и щурился на Биркеля, выжидая, что будет.

Биркель поднял выпавшую из рук фуражку. Посмотрел удивленными близорукими глазами. Спросил:

— За что?

— Так, ответил, нагло разглядывая Биркеля, Сашка. — За то, что у тебя манжеты.

— Ну, тогда ты дурак, — тихо сказал Биркель.

Сашка Федоров вмиг вышиб у него из рук и фуражку и портфель. И, вероятно, избил бы его, если бы не вошел надзиратель.

Витя смотрел на всю эту сцену издали. После, когда шли из гимназии, спросил Федорова:

— Ты его за что?

Федоров смущенно рассмеялся:

— Не знаю… Очень ненавижу его…

И оба не знали, что ответить, когда нападали на них за несправедливость. Но про себя, втихомолку, решили что правы.

Витя вспомнил сегодня об этом, думая о «крысином бунте» и глядя в крысиные глазки инспектора. Зря откладывали бунт! Многое сходило с рук инспектору. Но сегодня он затеял опасную игру. Сегодня уже повеяло свободными днями каникул. Сегодня нельзя дразнить.

Когда наставлено несколько единиц, выгнаны из класса Алфеев и Федоров, вдруг срывается с места Сережа Снегирев. Дрожит, заикается и кричит инспектору:

Стыдно! Стыдно! Вы знаете, что вы сильней… Нельзя издеваться!.. Стыдно!..

Инспектор, опешив, топчется на месте.

Гимназисты срываются с мест, кричат, стучат партами, шикают.

Инспектор выбегает из класса…

Может быть, выгонят всех? Или сбавят поведение всему классу?

Унылые, подавленные, вливаются пятиклассники в жизнерадостную толпу распущенных на каникулы.

И вот отголоски стычки с инспектором уже в каникулы: обещанный пятиклассникам вечер запретили.

Чердынцевы — Виктор и Глеб, — получили пригласительные билеты на традиционный вечер шестиклассников. Были неизбежные киоски в русском стиле. Один изображал гриб, другой — голову из «Руслана». В программе оркестр балалаечников, декламация Апухтина и отрывок из «Недоросля». В буфете пролитый чай и быстро пожираемые бутерброды. В классах, превращенных в гостиные (целую неделю мотались шестиклассники по квартирам и, выпросив мебель, ехали на возах в гимназический двор), — лампочки, обернутые в красную бумагу, полумрак и шепоток влюбленных пар.

В одной из гостиных, уставленных елками, Глеб спугнул две тени. Вынырнула в коридор сперва гимназистка. Охорашиваясь, как уточка, подождала. Ее догнал старшеклассник.

В гимназистке Глеб узнал Мурочку Бабичеву. Выбежал из гостиной, затерялся в толпе, густо плывшей по коридору.

Коротенькие девичьи юбки, кружевные воротнички, ленты… Пышные банты распорядителей… Говор, визготня, запах бенгальских огней, духов и чайной колбасы…

Вон Виктор под руку со своей Аней… Вон Биркель важно вышагивает около хромой губернаторской дочки…

Ах, не смотреть бы ни на кого, не видеть бы!.. Или, назло ей, ухаживать за другой!

Еле выбрался из толпы, из сутолоки и людского водоворота на улицу. Вместе с ним вырвался рев духовых инструментов, смех, шум. И сразу дух захватило от ледяного дыхания ночи.

Холод. Мороз. Стужа.

Мурочку отвозил с гимназического вечера учитель словесности Словоохотцев. Ехали на извозчике, и Словоохотцев говорил ей всю дорогу о том, что он не человек в футляре, что в нем жива душа. Еще сообщил, что может два часа говорить на тему, которой не знает, например, без подготовки рассказывать гимназистам о Пушкине или Ломоносове, и что это и есть искусство красноречия. В заключение заявил, что его,

Словоохотцева, жена — женщина без воображения, и у них нет «касания душ».

Мурочка зарылась в свою беличью шубку, спрятала нос в воротник и всю дорогу молчала. На полпути велела остановиться извозчику.

Вам тут до дому близко, — сказала она, — а я доеду одна, без провожатых.

И не успел учитель опомниться, как очутился один среди дороги.

СИРЕНЬ

Глеб не пошел к Бабичевым ни на другой день, ни на встречу нового года, как было условлено раньше с Мурой.

Мура была раздосадована сначала. Потом стала жалеть гимназистика. Она сама не знала, чего хотела от него. Но ей нравилось, что Глеб влюблен в нее как-то не так, как чиновники, сослуживцы отца, молодые люди со стриженными усиками и расчетливыми головами.

Может быть, бессонные ночи и постоянные выпивки подействовали на Мурочку. Ей захотелось видеть влюбленного мальчишку, выслушивать его смешные, неуклюжие признания, смотреть в его преданные глаза, глаза послушного кутенка.

Она прикатила в маленьких санках к Чердынцевым, привязала лошадь, прошла на кухню и попросила вызвать Глеба.

Оксинья не любила Бабичеву. Насмешливыми глазами рассматривала гостью с минуту и наконец не очень любезно ответила, что Глеб в бане моется, во дворе.

Мурочка не нашла во дворе тропку и по сугробу пробралась к банному окошку.

— Глебушка! — постучала она. — Едем кататься!

Глеб сразу узнал ее голос.

— Иду, иду! — закричал он весело.

Наскоро вытерся мохнатой простыней, не домывшись, размазывая в ушах мыло. Наскоро оделся, нахлобучил на мокрые волосы фуражку и, распаренный, растрепанный, выскочил на улицу.

Как хорошо было после банного духа на морозе! Как торопливо вякали санки, а полозья пели тоненькой струной!

Мура на улице, на глазах у гуляющих уфимцев, целовала мокрое, банное лицо Глеба, пахнувшее веником. Не выпуская из рук вожжей, приговаривала:

— Глебушка! Любишь меня? Не сердись на Словоохотцева. Я высадила его дорогой с извозчика. Ни за кого не сердись. Я над ними над всеми издеваюсь. Глебушка, я и над тобой издеваюсь. Я злая, но я знаю, что ты больше всех любишь меня, кутеночек мой!..

Глеб вернулся домой продрогший. На висках из мокрых волос образовались сосульки. Выслушав брань матери, но, кажется, не поняв ни одного ее слова, потому что думал в это время о Мурочке, залег спать.

На ночь ему дали выпить рюмку водки. И все-таки утром у него начался жар.

Через несколько дней комната приняла вид лазарета. У кровати притиснулся столик. На столике запестрели розовые, белые, желтые сигнатурки на хорошеньких, веселых пузырьках. Градусник лег рядом с длинным листком — записью температуры.

Елизавета Ивановна озабочена. У нее даже как-то удлинилось лицо. В дверь то и дело заглядывают малыши, у них испуганные и любопытные глаза. Все в доме встревожены.

Доктор почему-то не сразу сказал, что у Глеба воспаление легких, а только в прихожей, когда надевал калоши.

Выпив чаю с лимоном, с брусничным вареньем, Глеб лежал и думал о том, что вот он умрет и Мурочке будет его жалко. Потом переставал думать. Думы переходили в бред. Ночи казались длинными, одеяло невыносимо давило, простыня и наволочки противно нагревались, и Глеб метался в постели, дожидаясь наступления утра. Но дни и ночи, и недели перемешались в какую-то путаницу, только длинный температурный листок говорил, что хворает Глеб давно.

Иногда он вспоминал и радовался, что не ходит в гимназию. А когда приходил Виктор и непривычно ласково рассказывал про гимназические дела, все казалось далеким, ненастоящим, как написанным в книге. Глеб переспрашивал фамилии и острил об учителях.

Приходили навещать Трусов и Алфеев. Мурочка прислала с кучером конфеты, и Глеб без конца угощал приятелей, хва-

стаясь красивой коробкой.

На другой день принесли от Муры веточку сирени. Она еще не распустилась и перегибалась книзу через стакан.

— Разве уже весна? — спросил Глеб.

И всем доставляло большое удовольствие рассказывать Глебу, что на улицах лужи, что на углу Телеграфной улицы завязла пролетка извозчика, что в воскресенье непременно съездят за город на Воронки и привезут Глебу подснежников, но что сирень еще не цветет, а эта веточка или из цветочного магазина, или искусственно выращенная в комнате.

— Да, да, — оживился Глеб, — это она для меня выращивала в комнате!

После он узнал, что сирень была из букета, поднесенного Мурочке Чуфаровским. Но тогда носился с этой веточкой и наблюдал, чтобы меняли в стакане воду.

В гимназии надвигались экзамены. Они должны были начаться тотчас после пасхи.

Петр Никанорович возился с какими-то посадками. На подоконниках он расставил длинные, узкие ящики с землей. Из ящиков тянулись бледно-зеленые побеги помидоров, ранняя выгонка виктории и редиски.

Елизавета Ивановна получила письмо с извещением, что Валентина Филипповна, ее давняя подруга, приедет на все лето к Чердынцевым и привезет с собой на хутор «одну очень симпатичную курсистку Сонечку». Еще Валентина Филипповна писала о Флерове, что он женился на какой-то сельской учительнице, оставил ее в деревне, а сам поступил в казанский ветеринарный институт.

Какая-то большая жизнь ворошилась вокруг Глеба. И, выздоравливающий, блуждая по солнечным лужам, он готов был кричать — так хотелось жить.

Ноги еще не научились после болезни ходить. Глаза отвыкли от солнечного света. Грудь разучилась дышать таким богатым воздухом. Нос не успевал схватывать резкие запахи тополей, навоза, талого снега, земли…

Глеб бродил по базарной площади, там вкусно пахло сеном, селедками, сарпинкой. Глеб заглядывал в мелочные лавочки и покупал ириски.

Ты слишком долго гуляешь — разглядывала Елизавета Ива-

новна утомленное после прогулки лицо Глеба.

Но опасения ее были напрасны. Глеб быстро поправлялся, розовел, собирался ехать первым на хутор, потому что приближалась страстная неделя и пасхальный отпуск.

Вот такой, вытаращенный, большеглазый после болезни, встретил на улице Бабичеву. Бросился к ней, закричал.

Бабичева посмотрела на взволнованное лицо гимназиста, усмехнулась. Шла она нараспашку, шапочка у нее съехала набекрень.

— Иди вон! — сказала негромко. — Интереснее, если бы ты умер. Тогда я бы тебя всю жизнь любила.

Глеб посмотрел ей в глаза, разглядывая — шутит или не шутит. Рванул ворот, стал расстегивать пальто, рубашку:

— Вот тебе! Простужусь — осложнение будет! Бабичева насильно отняла его руки, застегнула и проводила домой.

— Дурачок! — говорила она. — Чего ты на меня обращаешь внимание? Понимаешь: неестественная я…

ХУТОР

Полотном железной дороги до хутора двенадцать верст. Земля хуторская примыкает к железнодорожной. Лошадьми дорога окольная — все восемнадцать верст.

Земля досталась Чердынцеву потому, что мужики не покупали. Неудобная земля, болото, не будет там хлеб расти.

Смотрели мужики, как строится Чердынцев, говорили.

— Для отдыха с большим семейством, конечно, подходяще. Вольные духа.

Избу Петр Никанорович поставил, дощатыми пристройками окружил. Битое стекло купил, маленькую теплицу соорудил. И вот среди поля жильем запахло.

Канаву Петр Никанорович прорыл, болотная вода утекать стала. Кустарник болотный проредил, покрупнее деревья оставил. Дубняк поправился и пошел в рост.

Смеялись сначала мужики, куликом болотным учителя прозвали. Однако смотрят — лес растет, земля вскопана. Гряды учитель сделал не высокие да бокастые, как полагалось в деревнях, а лунками, чтобы не выветривало. И стали у него ягоды расти, овощи всякие. Еще мужикам помидорную рассаду

давал. Вся округа помидоры разводить стала.

Придут мужики, глядят. Про дело огородное учитель книжки покупает. Возьмет учитель книжку, посмотрит и начнет сажать. Барин — барин и есть. Чудит, за навоз цену назначил. Везут мужики, посмеиваются.

Из села Богородского кривой Павел приходил. Из деревни Каловки — Арсентий. И еще приходило много народу. Иной придет, постоит, посмотрит, да и уйдет молча. Казалось Петру Никаноровичу — слова они какого-то ждут.

Слова Петр Никанорович пока не говорил, а давал мужикам семена кормовой свеклы да приглядывался. Валентина Филипповна такой подход одобряла: нужно, дескать, овладеть культурой — и тогда сама по себе, бескровно, совершится революция. Петр Никанорович яростно с ней спорил.

Курсистка Сонечка, которую привезла Валентина Филипповна с собой, страдала малокровием. Никто из Чердынцевых так и не узнал до самого ее отъезда, какая она: умная или глупая, веселая или скучная, потому что Сонечка беспрестанно лечилась.

— Ах, какой воздух! — говорила она, вытягивая рыбьи губы и глотая воздух, словно лекарство. — Сто процентов кислорода!

Разбивая утром яйцо всмятку, сообщала:

— Куриное яйцо равно по питательности четверти фунта мяса.

А когда приносили с гряд землянику, то все узнавали, что земляника содержит железо.

Во время прогулок с Сонечкой казалось, что вокруг какая-то лаборатория, а природа начинала смахивать на провизора, развешивающего на аптекарских весах аспирин.

Утром Сонечка принимала солнечные ванны. Оксинья подсмотрела и после всем рассказывала, что у очкастой «прямо-таки ничего нет». Оксинья объясняла подробно, где ничего нет, и плевалась:

— Тьфу! А еще бабой называется!

В семье Чердынцевых никто пенсне не носил, а обе их гостьи умно поблескивали стеклышками. У гимназистов сохранилась на всю жизнь уверенность, что образованные женщины должны быть в пенсне, так же как носить гладкие прически.

Витя спросил их:

— В чем смысл жизни?

— В том, чтобы приносить пользу обществу, человечеству, — ответили они в один голос.

— А зачем жить человечеству? А зачем общество?

— Странный вопрос…

Витя без них знает, что вопрос странный, не тот, может быть. Но вопрос есть, а только задать его не умеет.

Берет бумажку, записывает по пунктам:

«1. Выяснить мои отношения с родителями. Имею ли я право сидеть на их шее? Обдумать слова отца, когда он говорил, что мне пора уже настоящим делом заниматься. Каким это — настоящим? Он как-то по-особенному это слово произнес.

2. Нужна ли гимназия? Не трусость ли бояться сойти с проторенного пути, позволять издеваться над твоей личностью?

3. Стоит ли жить вообще? Когда я сказал Сонечке, что живу просто так, она ответила: «Не имеете права просто так».

Вот, скажем, возникли у тебя вопросы, ты в классе обращаешься к учителю, волнуешься, обдумываешь, как сказать, готовишься.

— Федор Федорович!

— Что такое?

— Я хотел вас спросить…

— Прежде всего встаньте хорошенько. Что вы стоите какой-то раскорякой!

Ах, встать хорошенько… Ученик забыл, что он подчиненный, что есть правила…

Инспектор подзывает в коридоре:

— Вам пора остричься.

Директор останавливает на улице:

— Не умеете кланяться.

Из дому не выходить после восьми часов вечера. Не попадаться на глаза начальства с папиросой. На лекции и спектакли брать разрешение в канцелярии гимназии.

Правила.

На гимназических вечерах Витя чувствует себя привязанным на веревочку. Ему позволили попрыгать, а сами сели около, чтобы в случае чего — «прекратить». И вот он прыгает, а сам мучается мыслью: «Можно ли мне смеяться, когда я пры-

гаю? Ведь позволили только прыгать?»

Однажды Витя задержался после спектакля в театре. Актеры в Уфе плохие, декорации потрепанные, а в суфлерской будке, по-видимому, очень тесно, потому что публике слышно, как пыхтит и ворочается в ней суфлер. Но пьеса на этот раз была хорошая, и Витя был весь под впечатлением. Театр всегда его взбудораживал, и долго еще после ходили в душе круги.

Заиграла музыка, в зале убрали стулья, начались танцы.

Вдруг подошел надзиратель.

— Чердынцев, вы намерены когда-нибудь уйти? Или вы не изволите знать, что гимназистам на танцы оставаться запрещается?

Горячее, злое захлестнуло мозг. Надзиратель ушел, Витя стал пробираться к выходу через вспотевшую, запыхавшуюся от вальсов и краковяков толпу. И сразу стерлось впечатление от пьесы. Ненавидел в этот момент и театр, и музыку, и жизнь. У вешалок швейцары, казалось, презрительно улыбались и знали, что гимназиста прогнал надзиратель.

«Гимназия — это где объезжают горячих жеребчиков. Уходятся и полезут в чиновничью меринову упряжь. И хоть немножко претит — примутся верой и правдой служить миропомазаннику…»

Это в дневнике, ночью, после спектакля.

Кто-то надеялся, что девятьсот пятый год будет воротами в новое. Кто-то разочаровался. Кто-то устроил безвременье. А гимназист Витя блуждает по жизни, обмакнутой в студень, и не понимает, отчего это так муторно жить…

Хутор. На хуторе все идет своим порядком. Дядя Володя, Вольдемар, как зовет его Сонечка, не задается «животрепещущими вопросами». Работает, курит и спит. Валентина Филипповна его не замечает. Елизавета Ивановна презирает за то, что он пьет. А Петр Никанорович терпит своего брата, потому что куда же его девать? До того он жил где-то в Одессе. Голодал, подбирал на садовых дорожках окурки, тоскуя по табаку. Приехал к брату. И был принят им со строжайшим условием — не пить.

И каждый живет на хуторе своей жизнью, замыкается в какой-то свой круг.

Оксинья полет гряды и поет:

Я сажала в гряды лук,
Думала, не горький.
Лук-от горький, глаза ест,
Милый бойкий — надоест.

И не может понять Витя, отчего ей всегда весело.

После обеда гостьи завесят одеялами окна от мух, изнемогают в нагретых постелях.

На телеге под навесом сарая спит старый холостяк Вольдемар. И другой холостяк — пес Мильтон — спит, распушивши хвост, под телегой.

Петр Никанорович похрапывает в чуланчике. Елизавета Ивановна и Зина — в гамаке.

Оксинья собирается купаться. (Если бы не спала Сонечка, сказала бы, что купаться можно только через два часа после еды.) Гора охотится на бабочек. Он собирает коллекцию, у него вышел весь эфир, поэтому он не убивает своих жуков, и они шевелятся на булавках иногда целую неделю.

Вечером, когда схлынет жара, хуторяне начинают один за другим просыпаться.

Какие дубки на хуторе! Какие травы косматятся у плетня! А клубника на грядах — даже не верится, что такая может расти. Иные ягоды — чуть не с кулак.

Высыплет саранча на гряды и ягоды поглощает. После всем стадом в лесок — костры жечь. И до рассвета выпиликивает веселье кургузая мандолина.

Во время купанья Валентина Филипповна иной раз через кусты разглядывала барахтающихся в песке мальчишек. Было ей тридцать девять, ходила в ней кровь румяной просвирни, а тут еще солнце и душные ночи… Жаловалась Елизавете Ивановне, что женское своего просит, зачем только она не вышла замуж за Флерова. Елизавета Ивановна посоветовала послать Флерову телеграмму:

«Ждем повидаться хуторе встречей многое может перемениться».

На полустанке появление отправителей телеграммы произвело смятение. Вызвали самого начальника. Совещались. Подсчитывали слова. Спорили.

Елизавета Ивановна уверяла, что Флеров женился с отчаяния, что стоит Валентине Филипповне моргнуть, и он момен-

тально прикатит.

Но ответ получился неблагоприятный?

«Ожидаемых родов выехать не могу Флеров».

Валентина Филипповна острила, что Флеров сам родит. Елизавета Ивановна твердила:

— Сплошная ошибка! Сплошная ошибка!

Петр Никанорович неодобрительно слушал и думал, что если есть где ошибка, так у них с Елизаветой Ивановной.

Елизавета Ивановна веселье ладит. А к Петру Никаноровичу в чуланчик придет, — повянет, поскучнеет…

Если бы, — говорит, — любил по-настоящему, отказался бы от супружеских отношений, раз я к ним неспособна.

— Ну, матушка, я не из лунного сияния соткан. Может, мне из любви к тебе и чай не пить?

Вышел Петр Никанорович из чуланчика на прохладу. Идет и считает до ста. А ночь-то какая! Звезды по небу перекатываются. Кряхтит коростель от избытка любви.

Петр Никанорович глубоко вдохнул сладкую гречишную сырость. И пришло успокоение. Внимательная ночь к человеку, не то что рассеянный день. Не разводиться же, в самом деле! Жизнь уходит. Вон как расплодились — что картофельный куст. Поздно что-то перестраивать.

У гимназистов затея: завтра с утра на рыбалку. Поздно вечером Глеб и Володя идут за полотно и копают червей.

Сонечка попросила разбудить ее перед уходом на рыбалку.

— Я, конечно, сейчас же опять усну, — объясняет она, — но, понимаете, в этом острое наслаждение. Разбудите… Рассвет… Всем надо куда-то идти… А я повернусь на другой бок и засну преспокойно…

Зачем ее надо разбудить — так и не поняли. Но разбудили.

Утро на хуторе!

Туман мягкими шарами перекатывается по мокрым травам. Месяц, застигнутый врасплох, тает, как кусок сахара в синем стакане неба. И вдруг — солнце, веселый капельмейстер, взмахнуло золоченой палочкой лучей. И грянул хор. Птичьи дисканты заспорили с лягушачьим контральто.

Спешите выпить летнюю радость до полудня, до жары, когда одни скрипачи кузнечики способны, разомлев, водить смычками!

Удочки цепляются за куст, стряхивают росу. Рыболовы идут гуськом, и на траве остается мокрый след: оглянешься — виден путь до самого дома.

Сапоги мокрые, прохлада проникает за рубашку. Продрогли, даже трудно говорить, свело челюсть.

Тогда по команде «бегом» срываются с места, и звякает котелком Володя, поспевая где-то позади.

Миновали пшеницы, гречихи, пробежали казенный лес, просеку, крестьянские луга…

Река. Какой-то старик уже удит и называет окуня, склевавшего червяка, грубияном.

Протяжно скрипят плоты. Гимназисты размотали удочки. И вот уже грузила чмокнули и пошли ко дну. И поплавки чуть подрагивают от течения… Скоро сварят уху, которая, стараниями Глеба, будет отдавать перцем и лавровым листом…

Дома с увлечением, захлебываясь, рассказывали о рыбалке. Петр Никанорович слушал неодобрительно, не разделяя их восторгов. Думал о себе, о том, что он — запаренная кляча, и быть бы ему по штату мерином — сенцо жевать и воз везти. И делалось от таких обидных сравнений грустно. Умается Петр Никанорович, руки черные, в земле, поясница не разгибается. А где же помощь? Что же это получается у него? Ошибся, опять ошибся! Может, назначение жизни его — ошибаться? Или все так?

Вот обещали, как хутор заводили, помогать в работе. Овощи зарастают, гряды сохнут, а на работу никого не зазвать. Елизавете Ивановне не под силу. Виктору недосуг: сидит круглые ночи, пишет про какую-то Аню Иванову — Елизавета Ивановна показывала. Глеб с Володей рыбачат. Гостьи солнечные ванны принимают голышом…

Валентина Филипповна отличным человеком Петра Никаноровича считает. Думает часто: раскачать бы его, подзадорить, от хлопот оттянуть, — крупным бы работником вышел. Но так вот, пойти на грядах помогать ему («размениваться», она говорит) — нет, так она не согласна. Надо культурно дело поставить. Орошение провести, двигатель установить…

На грядах под солнечным варом, а вечером с дымилками от комаров копаются, не разгибаясь, трое: Оксинья, Петр Никанорович и Вольдемар.

Думал Петр Никанорович создать артель трудовую, толстовскую колонию, а вышла дача.

Оправдывается Елизавета Ивановна, заступается за всех: лето, отдохнуть хочется, малокровные.

Еще больше сердится Петр Никанорович:

— К хомуту приучаться надо. Растим мы барчат, в обмане держим. Вырастут — окажется: надо лямку тянуть, хлеб добывать. С жизнью конфликт выйдет. Э-эх, воспитатель! Вот уж поистине говорится правильно: сапожник без сапог!

Умолкали супруги. Петр Никанорович горько размышлял о женской логике, Елизавета Ивановна — о тяжелом характере мужа.

И опять все шло по-прежнему.

ЧЕМПИОНАТ

Зимой Виктор посылает Ане городские письма на гимназию.

Письма начальница гимназии получит, положит на колени, на темно-зеленую шерстяную юбку, и гимназистку Аню Иванову позовет.

— Вот, Иванова, на ваше имя письма.

Аня от одних этих слов раскраснеется, словно подсмотрели, как она целовалась.

— Толстые какие! — хлопает по колену конвертами начальница.

Аня Иванова сгорает от нетерпения.

— Что прикажете с ними делать? — спрашивает начальница дружелюбно. — Послать родителям… или разорвать?

Аня все поняла. Аня разглядывает абрикосовые щеки начальницы и думает о том, как ненавидит ее.

— Так как? Решайте.

Глаза у начальницы навыкат и какие-то разочарованные, словно она ожидала от жизни большего.

— Переслать?

— Изорвите, — шепчет Аня.

И когда летят мелкие клочья блекло-синего конверта и густо исписанных почтовых листков, Ане кажется, что бумаге больно. Ане хочется кусаться, царапаться и кричать.

Вместо этого она спрашивает вежливо, делая книксен:

— Теперь можно идти?

Летом условились посылать письма на домашний адрес. Аня дает денег прислуге, чтобы прислуга забирала с почты письма и передавала ей.

Витины письма отличить нетрудно. Это не письма — целые тюки.

Неужели когда-нибудь люди перестанут писать письма? Сколько можно рассказать в крученых строчках такого, чего не выговорит тяжеловесный язык! И какое прекрасное изобретение — ритмическим скрипом перышка вызывать послушные видения и знать, что видения услышат! Услышат и поймут!

Витя сидел на хуторе. Вокруг толпились неграмотные деревни. Витя сидел и писал Ане, писал Ане о своей любви.

А после, когда письмо исчезало в щелочке конверта, топырилось в кармане и грузно падало на дно желторотого почтового ящика, какие танцы отплясывало сердце! Какая радость стучалась, стучалась изнутри в ребра! Походило, будто невод из тонких ниточек-строчек закинул в голубые пространства. И уж будь уверен — добросится невод до недоступных взору водорослей, и где-то там, куда устремляются мысли рыбака, зачерпнет стаю плескучих рыбок.

Ждать писем! Неужели когда-нибудь люди лишат себя счастья ждать писем?

Витя ждал и посылал спасибо каждому почтовому поезду, проходившему мимо.

И, когда поезда обманули, затосковал, забеспокоился и поехал в город.

В пустой квартире было неприветливо. Там еще ютилась по закоулкам скучная прожитая зима.

Глеб уехал в город на два дня раньше Виктора. Где же он? В квартире никаких следов его пребывания.

У Вити на корке дневника выписка из Геббеля:

«Я считаю величайшей обязанностью человека, который вообще пишет, собирать материал для своей биографии. Если он даже не сделал никаких открытий в области духа, то он, во всяком случае, впадал в многообразные заблуждения, и его заблуждения столь же важны человечеству, как и истины величайших людей».

Думая о Глебе, Витя вспоминал эту надпись. И вдруг показалось Вите, что каждое его заблуждение в самом деле кому-то нужно, и стало приятно жить. Повеселевший, бодрый (у него часто так вот, сразу, от одной мысли, меняется настроение), бегал по городу, искал кого-нибудь, кому бы рассказать о своем открытии.

«Сейчас же, сейчас же объясню им, что наши заблуждения важны человечеству! И если какой-нибудь гимназист наделает ошибок, напутает, то человечество посмотрит на него и скажет: не буду больше ошибаться, как ошибался гимназист. И не будет».

Глеба нашел в «чемпионате». Это был просторный сарай во дворе двухэтажного дома. На полу восемь матрацев, на стенах открытки с борцами, на гвоздике гимназический ремень и кем-то забытый крестик с цепочкой.

Борются. Пыхтят. Потеют. Катаются по полу. Один лежит, уткнувшись носом в грязный матрац, другой гнет ему руки, силится перевернуть на обе лопатки.

Потом судья подает звонок будильником, и борцы расходятся, красные, с багровыми пятнами и царапинами на теле.

Гимназист Коротаев, сын офицера, близорукий — и как-то весь близорукий: и подбородком, и узким лбом — склонился над записями, выкликает:

— Вторая пара: чемпион Польши Гирайтис и чемпион Мексики Мартинсон!

«В классе его и не слышно, а тут командует», — презрительно подумал Виктор.

На чурбаше сидит какой-то чиновник. Он переживает, волнуется, на висках у него надуваются жилы. Ерзая на чурбаше, он выкрикивает:

— Вспомни приемы, Женя! Вспомни, Женя, приемы!

Глеб польщен, что Витя посетил чемпионат, но боится критики, неодобрения. После чемпионата братья зашли в мелочную лавочку, пили лимонад из грязных, клейких стаканов.

— Ну, как, ничего? — не выдержал и спросил Глеб.

— Чемпионат? Здорово! — ответил покровительственно Витя и понял, что покривил душой. У него был план: послать Глеба с письмом к Ане — вот и хвалил этот дурацкий чемпионат. Глеб дружил с Аниным братом, ему было удобно зайти,

а появление Вити вызвало бы подозрение у мамаши.

Когда Глеб направился с запиской к Аниному дому, Витя остался ждать и разглядывал дом, где живет Аня.

Дом казался ему самым красивым, самым любимым из всех домов на свете. Витя любил даже крашеные парадные двери, даже канаву перед окнами и стриженые головы тополей.

Глеб пробыл что-то очень долго. Но вот он вышел. Вите почудилось, что рука, которая закрывала за ним двери, — Анина рука. Скорее, скорее! Что ж он медлит?

— Ну?

— Передал.

Глеб тащит брата за угол.

— Вот ответ.

Витя схватил записку. Хотел удержаться, не читать при брате. Но потом не вытерпел, развернул и прочел:

«Завтра в семь на прежнем месте. Аня».

По Витиному лицу Глеб мог бы заключить, что в записке сообщалось об отмене смертной казни. И то, что он видел лицо брата во время чтения записки, Глеб счел за выражение большого доверия. Он помолчал деликатно и, как бы отплачивая интимностью за интимность, проговорил:

— Бабичева в Крым уехала.

Виктор обращался с Глебом, как с существом особенным: ведь он только что видел Аню, говорил с ней, смотрел на нее. Не каждому доверяют передать Ане записку!

Братья шли домой на редкость дружные. Дома ставили самовар, играли на мандолине и гитаре.

Летним вечером, в сумерки, Уфа зарывается в садах. В Уфе много зелени. Тополя шепчутся холодными, как девичьи губы, листьями, а из Ушаковского парка плывет запах левкоя, похожий на запах женских волос.

Витя сидит на окне, слушает стукоток женских каблучков по асфальту. Думает об Ане, о том, что опять и опять нужна борьба. Родители Ани против того, чтобы Аня видалась с Витей. И везде, каждый шаг нужно брать усилием, наперекор.

Витя вслушивается в замирающий вечер, и верится Вите, что в борьбе с мускулистой жизнью он положит ее на обе лопатки.

В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

Смешная дружба у Валентины Филипповны с Елизаветой Ивановной. Упрямые обе, ни одна не хочет вторить.

Привязчивые обе, но зорко следят, чтобы не нарушилась у какой-нибудь стороны свобода суждений и поступков.

Клятву дали говорить друг другу в глаза о замеченных недостатках. День за днем плетется, один жарче другого, а подруги с тетрадками ходят. Толстые тетрадки, много вместят «недостатков». Ходят и записывают.

Уединятся, минуту свободную выберут — и давай замеченное друг другу перечислять.

Вернутся зареванные, злые, оскорбленные. День-два друг с другом не разговаривают. Потом отойдет от сердца опять жизнь на старый лад. А в тетрадках для записи пороков запестрят новые и новые страницы.

Кроме самовоспитания, наметили в программу лета воспитание детей. Конечно, не кое-как, а по научному методу.

В книжной груде в чуланчике был разыскан «Половой вопрос» Фореля. Учитывая переходный возраст, решили, что пора Вите «открыть глаза».

Позвали Витю, захватили одеяло, подушки. Валентина Филипповна огляделась на зеленые тени, прислушалась к пощелкиванию падающих веточек и сказала:

— Наша затея напоминает мне «Эмиля» Жан-Жака Руссо.

С этими словами она открыла книгу и стала читать.

Сначала речь шла о молекулах и клетчатке. Дальше началось о человеке.

Вдруг Валентина Филипповна, а за нею Елизавета Ивановна принялись хохотать. Хохотали до слез, только Витя молчал, съежился. А после долго бродил по хлебным межам и плакал, словно нанесли ему грубое оскорбление.

Если бы знали радивые воспитательницы, что чтение Фореля запомнит Витя на всю жизнь!

Была у Вити вера, что, кроме мускулов и слизистой оболочки, есть в любви еще что-то, огромное и прекрасное. Что — он и сам не знал. Ночью в дневнике жаловался, что люди грубы, что люди сами обворовывают себя, грязной тряпкой стирая лунное сияние.

«Чем больше узнаешь, тем некрасивее становится познаваемое. Были домовые — стал хорек. Были русалки — остались жабы. Была «неземная страсть» — остались живчики. Был Громовержец, в гневе потрясающий землю, — стало трение паров.»

Проделав неудачный опыт с Форелем, Валентина Филипповна и Елизавета Ивановна подняли вопрос о талантах.

— Нельзя так гордиться сыновьями, как ты гордишься, — заявила Валентина Филипповна.

Сонечка рассказала к этому случаю анекдот из казанской жизни.

Купец Лаптев катал на пароходе студентов и дочку. По реке плыли плоты. Всякий раз, как встречались плоты, купец влезал на капитанскую вышку и кричал плотовщикам в рупор: «Чьи плоты-те?» — «Лаптева». — «Какого Лаптева?» — «Фелофей Матвеича». Тогда купец оборачивался к студентам, среди которых искал зятя, и говорил скромно: «Мои плоты-те».

Елизавета Ивановна хотела обидеться на притчу, но Валентина Филипповна разъяснила, что «на принципиальные споры обижаться нельзя».

Две гостьи и послушная мать взяли карандаши, бумагу и записали по рубрикам положительные и отрицательные качества гимназистов. Основательно изучив конспектик, Елизавета Ивановна написала письма Виктору и Глебу, приглашая их «поговорить по душам».

Виктор и Глеб поняли, что такое приглашение не обещает ничего хорошего. Наверное, разговор пойдет о дармоедстве, об отце, у которого опускаются руки, о переэкзаменовках…

Они не угадали темы, но оказались правы по существу. Мать повела разговор о том, что всякий человек состоит из отрицательных и положительных черт.

— Я, — говорила она с раскаянием, — развила в вас чуткость, любовь к искусству, правдивость, но не сумела вложить в вас сознание долга, трудолюбие и практичность.

Выходило так, что месила она какие-то булки и забыла соли положить. Глеб обиделся, Виктор огрызнулся. Но стояла такая жара, что обида глубоко не проникла, и разговор не пошел ни во вред, ни на пользу.

Горячее небо. Душно, неподвижно. Над обеденным столом

жужжат мухи. Солнце — поставленный без воды самовар. Если сидеть на месте, накаляется одежда и жжет тело. Ослепительная синь. Как только могут играть в такую жару ребята!

Володя провел мимо старших братьев команду. Гора, Зина, татарчата из железнодорожной будки сделали «смирно». Володя отдал Глебу честь.

— Пожалуйте, сэр, на корабль.

— Гм… На корабль? А куда он отправляется?

— В Индию, сэр.

— Виктор, едем в Индию?

Глебу хочется ехать в Индию, но он стесняется старшего брата. Виктор отказывается. Виктору лень ехать в Индию. Глеб выпячивает грудь и спрашивает:

— Кто боцман?

Гора, с пугачом в одной руке и палкой от серсо в другой, левое плечо вперед, приближается, топая ногами.

— Вы боцман?

— Да, капитан.

— Что вы делаете?

— Исполняю приказания, капитан.

— Да, — волнуется за выправку команды Володя, — он исполняет приказания и говорит «есть».

— Смирно!

Команда построилась и зашагала к палубе корабля — телеге.

Солнце все печет. Пролетела бабочка, кувыркаясь, шатаясь из стороны в сторону, пьяная от восторга. На краю неба, невесть откуда, нагромоздились круглые облака — воз голубых арбузов.

Виктор побрел в тень. Тень-коротышка отыскалась под кустом за домами. Виктор лег в траву. Вероятно, так вот лежат на грядах дыни. Смотрел в небо, и казалось ему, что он бессмертный.

Засуха изжевала огуречные листья. На капусте появилась тля. К вечеру Петр Никанорович организует «генеральную» поливку.

Все население хутора мобилизовано. Даже Сонечка отложила в сторону мохнатое полотенце для обтирания, вышла к колодцу и рассказывает Оксинье, что огурцы содержат девяносто пять процентов воды.

Из кухни вытащены все ведра. Бадейки, лейки, еще теплые после дневного зноя, иссохшими донышками ждут студеной воды.

Заскрипел ворот. Все столпились у колодца и ждали. Где-то в глубине колодца вздохнула вода. Скрип насоса стал влажным.

Через минуту хлынула по желобу вода. Вереницей побежали водоносы. Все чувствовали, как доволен Петр Никаиорович. Бежали взапуски, обливая ноги. И удивлялись: как, оказывается, интересно работать!

Серая, пересохшая земля глотает жадно. Политые лунки чернеют на серой пыли гряд. У политых овощей вид довольный и бодрый.

— Через сито! — кричит Петр Никанорович. — Лейте через сито и не под самый корень!

Дяде Володе хочется покурить — и некогда. Сонечка промочила ноги.

— Живей! Не отставай!

Жара схлынула. Появились мошки.

Валентина Филипповна предлагает разбиться на водоносов и поливальщиков. Проект принят. Петр Никанорович благодарно смотрит на Валентину Филипповну.

— Фу ты, как весело!

Только когда от колодца пришло известие, что насос больше не достает воды, поливка прекратилась, и все почувствовали, что хотят есть.

Было поздно. Оксинья уже «дымила». Каждый вечер перед сном выгоняли комаров, напуская в комнаты дыму. И всегда какой-нибудь комаришка ухитрялся отсидеться в щелке, а когда гасили лампу и ложились в кровать, звенел около самого уха, ожидая, когда его прихлопнут наконец на щеке или на лбу.

Сонечка рассказывала за чаем, как отличить малярийного комара от простого. Добавила, что кровь пьют только комариные самки.

— Самки? Вот он каков, женский род!

И начались разговоры об эмансипации, женской логике. Кто-то вспоминал, сколько весит мозг Тургенева, кто-то спорил, что мозг Бисмарка тяжелее.

— Извилины! Все дело в извилинах! — кричала Валентина Филипповна.

— Самое глупое существо на свете — треска!

После чаю все разбрелись спать.

Петр Никанорович, засыпая, подумал:

«Вот можно же ведь расшевелить, раззадорить! Труд — великое дело и первое воспитательное средство!»

Уснул усталый, но довольный и успокоенный.

До рассвета сидели только женщины. Обсуждался вопрос, выдвинутый Елизаветой Ивановной. Елизавета Ивановна упрашивала Валентину Филипповну сойтись с Петром Никаноровичем.

— Ты пойми, — говорила она, — вы друг к другу подходите, вам это нужно, и потом мы вместе займемся воспитанием детей. Таким образом ты, такой прекрасный и передовой человек, поистине будешь моей первой подругой и помощницей: я это придумала сегодня, когда мы были на грядах, и так непременно должно быть.

Сначала Валентина Филипповна обиделась и ушла в светелку. Но, овладев собой, вышла и долго доказывала, что должна скоро уехать, что, наконец, не совсем уверена, сумеют ли они обе вполне отрешиться от предрассудков,

— Но ведь это было бы совсем по Чернышевскому! — ликовала Соня.

— У Чернышевского два мужа у одной жены, — заметила Валентина Филипповна.

— Да, а мы докажем, что и тут должно быть равноправие! — твердила Елизавета Ивановна. — Вон мы о мещанстве рефераты читаем. Откинем мещанство, попробуем сообща что-нибудь изменить, стать выше общепринятых вещей. Ведь можно же все сделать умно и культурно. Идейный брак будет у Петра со мной, а физическая сторона, которую я не приемлю, — с тобой.

Просидели всю ночь. Елизавета Ивановна плакала от умиления. Соня цитировала физиологов. Валентина Филипповна махала руками и называла Елизавету Ивановну дурой и неисправимой фантазеркой.

На рассвете все захотели есть. Достали из погреба холодного мяса, молока, ягод.

Уходя спать. Елизавета Ивановна спросила:

— Ну так как? Согласна?

Валентина Филипповна не ответила.

В деревушке Каловке, в полуверсте от хутора, горланили петухи. Птицы, деревья, облака, травы шумно радовались неизвестно чему.

Елизавете Ивановне, когда она медленно шла к чуланчику, хутор казался новым. Елизавета Ивановна озиралась вокруг и спрашивала:

«А если разрушу семью?»

Но тут же стала успокаивать себя:

«Другого выхода нет. Только удастся ли уговорить его? И сумеем ли мы с Валентиной стать выше толпы, сохранить нашу дружбу? А вдруг мы начнем друг друга ненавидеть? Сумеем ли? Сумеем ли?»

Елизавета Ивановна оглядывалась, ожидая, чтобы кто-нибудь подтвердил, поддержал ее.

И птицы и лягушки стали уговаривать ее дружным хором, щебеча и выкрикивая:

— Конечно! Конечно!

ОСЕНЬ

Осень. На хуторе дядя Володя и Мильтон.

В избе на полу груды картошки, репы. На окнах дозревают последние помидоры.

Целые недели идет неотвязный, нудный дождь. Иногда прояснится, и только сеет водяная пыль. Но тут же налетит облачная морщь. Припустит ливень. И кажется, земля, вселенная промокла насквозь.

Дядя Володя топит железную печь и курит. Мильтон растянулся под столом и спит, подрагивая от укусов блох.

Овощи нужно перевозить в город. Телега плохая, воз застревает в ухабах, наполненных водой. Обувь и одежда промокают. От лошади идет кислый пар.

Все это доставляет хуторянам страдания. У них нет сноровки. Этот труд им не по силам.

Осень.

«Синяя говядина» наскучалась по книге. Жадная, как рыба после дождя. Клюет даже на учебник Иловайского. Ненадолго! Скоро отхлынет от мертвого червяка на крючке и пойдет кормиться в глубины.

Корпус гимназии, скучный, как тюрьма, озябший, исполосованный ливнем, стал как-то еще ниже. Летом белили сводчатые коридоры. А они не посветлели.

И, наверно, Федор Федорович Зубыхин летом купался, загорал, ел землянику. А вот ходит такой же противный, небритый, придирчивый, как всегда.

Опять Лесгилье молится под веселую декламацию дежурного. Опять выходит «Классный сартирикон».

Витя читал летом Жуковского — случайно подвернулась под руку книга. Понравилось, запомнилось. А теперь Жуковского «преподает» Словоохотцев. Жуковский стал линять, разбился в «от сих, до сих». За Жуковского ставят двойки. Это совсем другой Жуковский, не летний, — весь изжеванный бесцветным педагогом и ленивыми учениками. Скоро Словоохотцев возьмется за Пушкина!..

Витя почти не видится с Аней. Идут дожди.

Словоохотцев за что-то преследует Глеба. Еще не прошло и месяца ученья, а у Глеба две единицы и длинное замечание в кондуите.

Осень. В крестьянском поземельном банке уныло и безлюдно. Петр Никанорович приехал к Снегиреву уплатить очередной взнос.

Снегирев какой-то растерянный. Чердынцеву показалось даже, что в его любезности спрятано раздражение, а дородное лицо Снегирева не так старательно скрывает свою уверенность и превосходство, как всегда.

Снегирев подошел к заплаканному окну, рассеянно разглядывает мокрый извозчичий экипаж с поднятым верхом, разбрасывающий уличную грязь. Рассеянно говорит:

— Осенью Россия грустная. Осенью как-то замечаешь, что вся Россия немощеная.

И так же вяло, не повышая и не понижая голоса:

— Ну, как мужички? Беседовали с ними?

— Мужички?

— Ну да, из деревень, расположенных вблизи вашего участка.

Чердынцев насторожился. Почти сердито ответил:

— Нет.

А сам подумал:

«Ага, черносотенец паршивый, опасаешься пропаганды? Хутор мне дал, подачку сунул, а того не смекнул, что теперь не боюсь я вашего брата, выгоните, так землю пахать пойду!»

Снегирев попробовал стереть со стекла слезы. Они были по ту сторону.

— Мне всегда, — заговорил он снова, продолжая стоять спиной к Чердынцеву, — революционеры казались апашами, бросающими бомбы, и почему-то непременно студентами… Вы, кажется, революционер?

Петр Никанорович старался разгадать по спине Снегирева, выпытывает он что-нибудь или разговорился от скуки.

— Что вы знаете о революционерах? — произнес Петр Никанорович медленно, взвешивая слова. — В вашем представлении революционеры непременно студенты? Как видите, я не студент. Разрешите мне не затрагивать с вами вопроса о моих убеждениях.

Снегирев помолчал, но так как Петр Никанорович ничего больше не добавил, опять продолжал странную беседу.

— Я монархист, и я тревожусь, — говорил он несколько взволнованно. — Все как будто спокойно, а я тревожусь. Вы видите, пол, половицы… Я иногда смотрю на пол и думаю: что там, в подполье? Вы понимаете, про какое подполье я говорю? Там, в подполье, начинено порохом. К сожалению, мы не чутки, и вместо того чтобы стягивать к себе большинство, мы отталкиваем от себя последнее меньшинство…

И вдруг, круто повернувшись, сказал:

— Вы знаете, мой сын, а ваш ученик, Сергей Снегирев, назвал меня подлецом.

У Петра Никаноровича чуть не сорвалось: «Молодец!» Вместо этого он пожал плечами и ответил:

— Значит, у него другая дорога. Отцы и дети. Ничего не поделаешь. Времена меняются, жизнь идет вперед.

— Ну, вот ваши дети, дети революционера, неужели они расходятся с вами, не исповедуют ваших идей? Вас спрашивает отец, спрашивает доверчиво, как отца же и, наконец, как педагога. Вы знаете, на какие уступки я пошел? Я ему ответил: «Да, люблю нашего государя, но считаю, что он слишком мало управляет». Сын перебил меня и закричал: «А я люблю твоего монарха за то, что он дурак, алкоголик и ведет вас к гибели!

Меньше нравишься мне ты, папаша, этакая тонкая штучка!»

Снегирев нервно засмеялся и несколько раз повторил:

— Тонкая штучка, а? Тонкая штучка…

Но вдруг лицо его сделалось неприятным, враждебным. Он подошел вплотную к Петру Никаноровичу, взял его за плечи:

— Скажите, на уроках… вы ничего не говорили с ним о политике?

Петр Никанорович вскочил. Мысли заскакали одна через другую чехардой. Так вот куда вел истеричный дипломат! Вот где его опасения, его страхи! Да, господа монархисты, сеять ненависть к монархии в ваших семьях! Отнимать ваших сыновей! Из подполья проникать в ваши детские, в ваши кухни так же, как проникают в ваши заводы! И ничего, что Чердынцев сейчас не в первых рядах, старый пропагандист Чердынцев тоже вкладывает свою лепту!

Петру Никаноровичу вспомнилось некрасивое лицо Сережи Снегирева с внимательными, пытливыми глазами.

— Что же вы молчите? — закричал Снегирев. — Отвечайте же!

— Думаю, что и кроме меня найдется кто-нибудь, чтобы поговорить с ним о политике, — сдержанно ответил Чердынцев. — Как вам известно, я обучаю вашего сына только придаточным предложениям. Давайте этих рамок и придерживаться в нашем с вами разговоре.

Снегирев бросился пожимать ему руки.

— Придаточные — это пожалуйста, это сколько угодно!

Идя домой, Чердынцев не замечал, что брызги дождя попадают ему на шею, на лицо, что все дома кажутся растрескавшимися от косых линий дождя. Чердынцев перепрыгивал через лужи, а в ушах звенело, как набат:

«Ну, вот ваши дети? Дети революционера?..»

К дому принес решение:

«Непременно внимательнее рассмотреть сыновей. В конце концов нужно же знать, кто они такие. Нужно заняться ими, а то все считаю их маленькими. Нужно направить их недовольство, их бессознательный протест. Нужно, нужно… Нужно, чтобы это действительно были дети революционера, черт возьми!»

Потом задумался о Сереже Снегиреве. Откуда он узнал нуж-

ные слова? И казалось Чердынцеву: не сердитый дождь сеют сердитые тучи — упрямый стригановский Матвей зачерпнул пригоршню зерен ненависти и швыряет на город без разбору. И падают зерна щедро. Уж, верно, щедро, если западают в каменные дома, если прорастают даже в монархических канавах.

«Да и моя доля все-таки есть, — отметил Петр Никанорович с удовлетворением. — Не ограничивался и я на уроках со Снегиревым одними придаточными предложения. Не ограничивался, да-с!»

АПОСТОЛ ЛЮБВИ

Никто не знает, когда он приехал в Уфу (раньше он жил в Ирбите, а до Ирбита — еще где-то), когда успел расставить пуфы и терракотовые статуэтки, откинуть как-то театрально крышку рояля, прибить медную дощечку на дверях:

«Наталья Львовна и Вадим Константинович Ловцовы».

Вокруг него быстро сгрудилась молодежь. На беседах, среди танцев и фантиков, Ловцов вставал в позу присяжного поверенного и говорил:

— Смысл жизни в разжигании костров! Смысл жизни в стирке грязного белья морали! Экстракты радостей: радость мороза, радость ветра, радость падающих звезд. Радость видеть, дышать, говорить. Радость любви, наконец, экстракт экстрактов радостей. Господа! Радость жизни в любви.

Избранные, осторожно подготовленные, облюбованные Ловцовым, остаются в гостиной дольше других. Все они — гимназисты в брюках из «чертовой кожи», гимназистки с узенькими полосочками кружевных воротничков, — все они обожают Ловцова. Каждое слово его — откровение, каждая мысль — выход из будней на карнавал.

Кажется, верит себе и сам Вадим Константинович. Или и с собой Ловцов — адвокатствует, актерствует и не может уже разобраться, где присяжный поверенный, где любовник-неврастеник любительской сцены, где человек?

— Он такой увлекающийся, — рассказывает при нем же гостям Наталья Львовна, — он бог знает куда может зайти в увлечении.

Нежный, с припухлыми губами, он всегда в гипнозе стихов.

Раскачивается, закрывает глаза, декламирует. Наталья Львовна зорко следит за ним.

— Вадя, ты второй раз положил сахару…

— Вадя, с тобой здороваются…

— Вадя, ты уже выкурил папиросу, а держишь ее во рту…

Бледная, с усталыми глазами, Наталья Львовна успевает все видеть и замечать. Особенно она нежна с девушками. Она нежна с ними потому, что ненавидит их, всех, всех до одной.

Она ловит горячие взгляды Вадима — на округлое плечико, на чуть приподнятый девичьей грудью форменный фартук.

Она говорит Ваде:

— Лучше, много, чем одна. Когда их у тебя много, я не боюсь.

Ловцов убедил ее. У него несокрушимые доводы. Она устала спорить. У нее какая-то нервная болезнь.

Она опускает ресницы и думает:

«Ну, пусть. Ну, пусть».

Она все знает наперед. А для Ловцова каждый случай — неожиданность, новое откровение.

«Или он притворяется?» — рассматривает мужа с недоумением.

Она знает его наизусть и не знает его.

Вот она встала. Она обворожительно улыбается.

— Вы меня извините, я оставлю вас. Мне доктор запретил сидеть позже двенадцати.

Половина гимназистов ловцовского кружка тайно влюблена в Наталью Львовну. В Наталью Львовну влюблена и Аня Иванова, которую привела к Ловцову Бабичева…

Сыновья акцизных чиновников, акушерок, дантистов, адвокатов… Дочери приказчиков, пивоваров, кондитеров, секретарей… Как они знают торную дорогу жизни, скучную, как расписанье поездов!

Гимназия. Замужество. Дети. Старость и обременение своей особой дочерней семьи.

Гимназия. Учительство. Деревня. Жалованье.

Гимназия. Университет. Нотариальная контора. Геморрой.

«Синяя говядина» знает: она пойдет на солонину, в скучный, повседневный суп…

И вдруг пророк Ловцов разрывает будни в клочья. Пощечи-

нами мещанскому вкусу звучат скользкие «эротески». Протяни руку, осмелься — и ты познаешь изыски, касанье душ, лунные чары.

— Лунные чары, зеленые чары, — декламирует, гнусавя, Ловцов.

Прислуга, сонная, бестолковая, не ведающая, что служит в кухарках у пророка, убирает со стола, разбила блюдечко для варенья.

Ловцов зажмурился. Ловцов в экстазе. Ловцов будет читать реферат на тему: «Будем, как солнце, будем, как боги».

Гимназисты хотят быть, как боги. Гимназистки хотят быть, как солнце. Ловцов объясняет им, что такое Эрос, что такое Пол.

— Пол — это солнце, обнимающее землю. Ливень, проникающий в щели голодных пашен. Мозг, создающий симфонии и поэмы. Архитектор, строящий дома. Пол — это бог, сотворивший из ничего все.

Реферат сопровождается картинами волшебного фонаря. В темной комнате на экране раскрываются тайны, так долго скрываемые родителями и педагогами от детей.

— Человечество впервые солгало, когда прикрыло то, что прекраснее орхидеи, — фиговым листом. Будем, как звери, прекрасные голые звери! (Иллюстрация волшебного фонаря) Будем молиться евангелию тела, и если кретины-христиане («Как свободно говорит!!») придумали для молитвы малокровному богу крестное знамение, то Великий Эрос для молитвы телу придумал другой жест (иллюстрация волшебного фонаря). Милые девушки, милые юноши! (Взгляд на Аню Иванову, которая сидит в первом ряду.) Сейчас я потушу свет, чтобы мы могли помолиться. Не оскорбляйте друг друга выбором. Любовь, как и жизнь — случайность, случайное сцепление атомов.

В темноте неумелые гимназисты и перепуганные гимназистки проверяли формулы Эроса.

Аня Иванова почувствовала себя в жадных руках Ловцова.

«А как же Витя?» — подумала она…

Когда гости Ловцова, сконфуженные, стараясь не глядеть друг на друга, оделись в прихожей и высыпали на улицу, по комнатам ходила бледная женщина с усталыми глазами и открывала форточки.

— Вадя, — говорила она тихо, не позволяя себе разволноваться, — ну, хорошо, ну, как солнце, но, кроме того, что ты поэт, ты еще юрист. Ты лучше меня знаешь статью закона, расценивающую проделки солнц…

По сонному городу рассеялись ученики пророка Ловцова. В головах их туманится, по лицам скользит мокрая улыбка.

Наталья Львовна смотрит в темное окно тревожно. Думает о тех, кто ушел. От каждого из них зависит спокойствие, жизнь. Только бы молчали! Только бы не выдали!..

Аня Иванова дома плакала. Она никак не могла изжить мещанской морали. Ей казалось, что она изменила Вите. У нее поднималось отвращение к тому, что сделал с нею Ловцов. Она больше не хотела быть как солнце. Она лежала в постели, маленькая, перепуганная, и еле сдерживала дрожь.

Ах, если бы она веровала в бога!

Смотрела сухими глазами перед собой, в потолок… И казалась ей жизнь такой же тусклой, запачканной, обворованной, как поднимавшийся в промерзлом окошке раздавленный тучами рассвет.

ЦИРКУЛЯР О ШИНЕЛЯХ

Одно время гимназисты носили серые шинели. Потом их заменили черными. А теперь снова произвели реформу:

«Министерство народного просвещения. Циркулярно. Учитывая угнетающее действие черного цвета на психику учащейся молодежи и считая, что черный цвет шинелей в значительной степени содействует росту самоубийств, предлагаю заменить форменные черные гимназические шинели серыми».

Вероятно, циркуляр был издан слишком поздно, потому что шестиклассник Алфеев успел повеситься…

«Надоело жить, — говорилось в записке, которую он оставил. — Все устроено несправедливо, и противно смотреть. Господа люди! Вы запутались и родите новых людей и их бросаете в паутину, в топкую вонючую грязь. Посылаю проклятие инспектору и прошу его винить в моей смерти».

Подпись: «Больше не ученик шестого класса Алексей Алфеев».

Повесился он в прихожей на вешалке. Вешалка прибита низ-

ко, и ему пришлось подбирать под себя ноги, чтобы затянулась петля.

В шестом классе было несколько истерик. По гулким сводчатым коридорам разносились страшные крики. Учителя и надзиратели ходили растерянные, настороженные. Занятия не клеились. В перемены гимназисты сбивались в кучки. Передавались подробности самоубийства. Рассказывали, как инспектор травил Алфеева, ежедневно вызывал для объяснений в учительскую, придирался и заявил, что он, инспектор, не допустит, чтобы Алфеев кончил гимназию.

Шестиклассники избегали смотреть на пустую парту в углу. Сосед Алфеева, Трусов, перешел на другое место. Парта с вырезанной на ней фамилией казалась надгробной плитой.

Как отчетливо вспоминались теперь маленькие происшествия, смешные и печальные историйки школьной жизни — те, что так крепко связали жизнь сорока… нет, теперь тридцати девяти душ!

Вот Алфеев списывает задачу по алгебре. Шпаргалка выпала у него из парты. Мемнонов заметил. Мемнонов навел очки на листок, обличающий Алфеева. Увидев, что погиб, Алфеев встал и громко, среди мертвой тишины, какая бывает на письменных работах в классе, спросил: «Разрешите, Иван Александрович, поднять шпаргалку»…

А беседы на «законе божием»?.. А карикатуры, которые он приклеивал на классной доске?..

Все так и видели перед собой простое веснушчатое лицо Алфеева.

Алфеева не любили все учителя. У него были дерзкие глаза. Тонкие губы его умели складываться в насмешливую улыбку. Так же как жало у пчелы или челюсти у жука, дерзкие глаза и улыбка были единственными орудиями самозащиты Алфеева…

Кто-то взволнованно рассказывал, что сняли его с вешалки синим, а челюсти его искривило веревкой в усмешку — в усмешку навсегда.

По партам ходили перепачканные чернилами листочки бумаги — подписка на венок.

— Мстить, мстить! — передавался шепот трескучей искрой.

Мстить — это инспектору, Крысе. По его вине погибает уже не первый гимназист. Он исключил нескольких человек за курение. Он убийца второклассника Колосова.

Историю с калошами Сережи Колосова знали в городе. Но местная газета молчала, родители только разводили руками, педагоги избегали говорить на эту неприятную тему.

Это было в прошлом году. У Сережи Колосова на гимназическом вечере украли калоши. Колосов побоялся прийти домой без калош и в свою очередь надел чужие. Был пойман с поличным, получил строгое предупреждение, но через день снова был застигнут, когда засовывал ноги в «чужую собственность». Педагогический совет постановил исключить «дефективного ребенка», а дефективный ребенок пошел за город и бросился под поезд…

Тогда это обошлось инспектору, а теперь…

Ошибкой инспектора был его приход к шестиклассникам на урок.

Он уже устал делать равнодушное лицо под колючками взглядов.

С нескрываемым ужасом, как рассматривают людей, которых ведут по улице в кандалах, разглядывали инспектора приготовишки и первоклассники.

Даже в учительской было натянуто, и учителя избегали с ним говорить. Немец Штейнберг не рассказывал сегодня известных всем несмешных анекдотов. Мемнонов не спорил с Буренковым о значении домашних работ. Француз Лесгилье не произнес, как обычно, фразу — единственную, которую знал на русском языке: «Коншиль пэрэмэн?»

Ах, какая слякоть была в этот ноябрьский понедельник! В большую перемену несколько гимназистов бегали домой, вернулись мокрые, забрызганные грязью. У всех у них оттопыривались карманы. Они шептались и расходились при появлении учителей.

Инспектор готовился к столкновению. Своим приходом на урок в шестой класс он хотел показать, что не считает себя виновным.

И он пришел. Он походил на укротителя, вошедшего в клетку раздраженных зверей.

И сразу же вспылил. Не нужно было этого делать. Констан-

тин Васильевич Соколовский это сделал. Он сразу показал хлыст.

Встать! — закричал он так, что звякнули стеклянные двери.

«…ать!» — колыхнулось эхо в гимназических коридорах.

Дело в том, что, когда он вошел, весь класс, как по сговору, остался сидеть на своих местах.

Хлыст был показан, и, пока еще тихое, послышалось первое рычание.

— Убийца! — сказал кто-то тихо, но внятно, на весь класс.

Инспектор решил не заметить возгласа. Он быстро двинулся к учительскому столу.

На классной доске резко белели крупные буквы: «Убийца!»

— Дежурный, — сказал инспектор, отвернувшись, сотрите с доски!

Никто не пошевелился.

И вдруг инспектор упал духом. Нет, он не струсил, но он видел неподвижные лица, готовые на все. Он быстро сообразил, что позиция его невыгодна.

Если какой-нибудь из этих мальчишек в запальчивости позволит себе грубую выходку, выйдет скандал.

Инспектор хотел сесть. Но на стуле надпись мелом: «Убийца!» Надпись сделана в обратную сторону, чтобы, отпечатавшись на сюртуке, могла быть прочитана.

Инспектор вдруг круто повернулся и убежал из класса.

И тотчас класс зашумел.

— Алфеева среди нас нет, — говорил, нервно дергаясь, Виктор, — но пусть он знает: мы отомстим!

— Алеша Алфеев! — вскричал Сережа Снегирев, оборачиваясь к пустой задней парте, и всем стало страшно от этого возгласа. — Алеша Алфеев! Тебя раздавила реакция, тебя сожрало безвременье, и мы пообещаем тебе не сдаваться, не отдавать задаром наши жизни! Мы пообещаем бороться! Ведь пообещаем? — обернулся Снегирев к классу.

Не поняли, о чем он говорит и где можно отдавать свои жизни с пользой, хотя всем хотелось умереть за Алешу, за его обиды.

Но кое-кто уже встревожен. Беленьков ерзает на парте, не решаясь возразить. Биркель доказывает своему соседу, Дьяконову, что ничего не выйдет, только выгонят всех и испортят

карьеру.

Хлопнула дверь. Вбежал инспектор. За ним загрохал сапожищами швейцар Федор с тряпкой.

— Стереть! — показал инспектор.

Федор стал размазывать тряпкой надпись. Вот уже осталось «бийца!» Вот тряпка лизнула хвост у «ц» и, сделав полукруг, проглотила все до последней буквы с восклицательным знаком.

Опять хлопнула дверь. Директор. Все встали. Директор старческими шажками прошел к парте. Беленьков подвинулся, и директор сел рядом.

Инспектор не понадеялся и на приход директора. Он не решился вызывать, открыл учебник и стал задавать, урок к следующему разу.

Звонок не прозвенел, а проплакал в нижнем коридоре.

Когда высыпали все в коридор, увидели необычайную картину: коридор, стены, лестница походили на письменный стол после обыска. Ворохом разметались легкие бумажки по полу, стены залеплены воззваниями, отпечатанными «Колдуном», — пригодились наконец!

Директор остановился, онемел. Быстрым движением поднял бумажку и прочитал:

«Долой Крысу!»

Инспектор посмотрел на директора с торжествующим видом:

— Что! Я вам говорил!

И оба быстро удалились, шебарша по бумажкам.

Через две минуты все сторожа гимназии загребали швабрами бумажки в кучи. Надзиратели ходили и соскабливали бумажки со стен. Но не успевали они отойти, как: на стене появлялись новые. А вскоре разнесся слух, что на воротах гимназии висит плакат, сообщающий, что инспектор убил Алфеева.

В этот день ни Виктор, ни Глеб не притронулись к обеду. В эту ночь Виктор записывал в дневник, что жить — стыдно, что жизнь — бессмысленное рисование мелом: начертил кругляшок, приставил туловище и ножки, стер тряпкой, опять нарисовал кругляшок. Скучное повторение, а посмей-ка нарушить заповеди привычек, гнусные правила житейского ветхого завета! Одно и то же из поколения в поколение, из века в век.

«Как скудоумен бог! — писал Виктор. — Как неизобрета-

тельна природа и какое оскорбительное рождение в жизнь кровавым путем истязания матери, которая тебя родит! Первый поступок человека — боль тому, кто дает тебе существование. Первое движение человека — ранение, а иногда — и убийство. Да спросили ли меня, хочу ли я такую жизнь? Ну, родился. А дальше? Дальше постоянные усилия избежать неминуемой смерти. Как цыплята, бегаем мы от кухарки, которая непременно должна стряпать обед. Противно, противно, противно, противно!..»

На другой день в гимназии хлопали бомбочки, наполняя коридоры дымом. Прыгали, разрываясь, «лягушки», разливалась добытая кем-то в аптеках жидкость, и нестерпимая вонь не позволяла вести занятия.

В двенадцать часов в гимназию прибыл попечитель округа. Испуганно оглянулся на клубы дыма, прочел воззвание и спрятался в учительскую, бросив на руки Федора хорьковую шубу.

Кто-то купил розовый воздушный шар, привязал к ниточке надпись крупными буквами: «Долой инспектора-убийцу!» и выпустил шар на лестнице, где потолки на высоте двух этажей. Напрасно тянулся со шваброй Федор. Надпись висела под потолком несколько дней, пока шар не сморщился и не опустился сам.

Попечителю округа было сообщено, что гимназисты на всех уроках ведут себя отлично, но уроки инспектора срывают. Совсем тихо было передано содержание записки Алфеева. Нашлись среди педагогов такие, что не побоялись осветить перед попечителем «воспитательную» деятельность инспектора.

Попечитель слушал и почему-то все отдувался, словно взбирался на гору. Лицо инспектора покрывалось пятнами. Он видел, что ему изменяют, он вцеплялся маленькими глазками то в одного, то в другого, словно брал на заметку.

Попечитель пробыл недолго. Торопливо оделся и исчез.

На похоронах Алфеева инспектор не присутствовал. А вскоре его вообще перевели из Уфы.

От губернаторского сына — он учился в одном классе с Виктором — узнали, как было добыто разрешение хоронить Алфеева на общем кладбище, а не где-то в стороне, за кладбищенской оградой, как хоронят самоубийц.

Гимназическому начальству важно было замять это дело,

и за хлопоты взялся сам директор гимназии. Владимир Николаевич Матвеев в парадном виде отправился к губернатору, они закрылись в кабинете и долго беседовали. Губернатор морщился, вся эта история была очень неприятна и получила слишком большую огласку.

— Ваше превосходительство! — стонал Матвеев. — Аркадий Евлампиевич! Нехорошо получается… брожение умов… Вы отец, ваш сын у нас в гимназии. Вам ли не понять меня!

— Да-да-да-да, — в тон ему отвечал губернатор, — я все понимаю, все учитываю, но, к сожалению, церковные дела не входят в мою компетенцию, приказывать я не могу!

Губернатор ничего не пообещал, но на следующий же день явился к архиерею.

Уфимский архиерей был строгих правил, у прихожан он пользовался уважением еще и потому, что был из рода князей Ухтомских и принятие духовного сана было связано у него с какой-то личной драмой — что-то такое в области несчастной любви.

Архиерей сочувственно выслушал губернатора.

— Неверие разъедает наше общество… Упадок нравственности… — сетовал он.

— Так как же нам быть, владыка?

Я бессилен! — развел руками архиерей. — Но… я могу ничего не знать… Представьте, например, что я в отъезде… Единственно, могу обещать, что священник, который совершит отпевание, не будет наказан.

— Но ведь это все, что нам нужно! Уф, как гора с плеч! Будем считать, что я вас не застал, ввиду вашего отъезда, и мы ни о чем не говорили… Извините, надо спешить, такая погода стоит, что с покойниками надо торопиться…

— Все тленно! — согласился архиерей.

И Алфеева похоронили со всеми церемониями, какие полагались.

Дни похорон как-то невольно сблизили Виктора со Снегиревым. Вместе ездили к родителям Алфеева, вместе покупали венок, и было у Виктора какое-то ощущение, что Снегирев присматривается к нему, прежде чем сказать что-то очень важное. Виктор терпеливо ждал.

Ехали на извозчике, венок шелестел металлическими ли-

стьями. Ехали, напуганные глазетом, выжидающе-открытыми гробами в похоронном бюро. Особенно потрясли Витю покойницкие туфли, плоские, сшитые из плохого материала наспех, кое-как — ведь не носить.

Было холодно. Гимназисты подняли воротники. Сережа говорил, поддерживая рукой металлический подарок Алфееву:

— Крысиный бунт… Долой Крысу… А ведь, в сущности, главная крыса не здесь. Инспектор гимназии — маленький крысенок из большого гнезда. Я вот своего отца считаю за крысу. И Алфеева убили они. Я считаю, что мой отец тоже немножко потянул петлю…

— Как, разве они были знакомы? — спросил Виктор, мысленно соображая, это ли то важное, что ему должен сказать Сережа.

— Нет. Но ведь и ты незнаком с министром народного просвещения.

— Вообще жизнь — ерунда.

— Ерунда? — спросил Сережа, и Виктор понял: нет, главное еще впереди, Сережа знает что-то такое, чего не видит он.

— Знаешь, я его видел во сне, — сказал Виктор, не желая оказывать на Сережу давления и принуждать его открыть то, что он скажет когда-нибудь сам. — Будто приходит он ко мне, синий, а так обыкновенный, даже, знаешь, козырек у него сломан. Я и козырек сломанный разглядел. «Здравствуй», — говорит и снимает калоши. Здороваюсь, а руки у него холодные такие, и весь он холодный. Я знаю, что он умер, но из деликатности виду не подаю. «Покажи, говорит, пожалуйста, что нам задано по истории». А я думаю: как же ему объяснить осторожно, что он умер, даже его фамилию не читают на перекличке. Алфеев улыбается — губы синие. «Ты, говорит, ничего, не смотри, что я такой. Я только отстал по истории, остальные предметы знаю». И тут я заметил на шее у него веревка болтается. Он поймал мой взгляд и смеяться начал. Да вдруг как подмигнет хитро: «Ты думаешь, я не знаю, что я повесился?» Тут меня разбудили, кричать я начал. Ужасно страшный сон. Главное — зачем он смеялся?

В день похорон Сережа зашел за Виктором, и они направились в церковь. Тонкий трупный запах смешался с ладаном. Вите всегда казалось, что так пахнут гиацинты. Витя старался

не дышать. Поднималась сладковатая тошнота.

В церкви гулко отдавались шаги. Гимназисты теснились к гробу. Похоронное «Господи, помилуй» надрывало душу. Звякала цепочка кадила.

Если курице пригнуть голову к полу, мелом провести полосу по клюву и линию продолжить дальше, на пол, курица так и останется лежать неподвижно, не в силах оторвать клюв.

Вот такая линия притянула глаза Вити к гробу. В кисее, лентах и некрасивых венках отыскивал то, что было Алфеевым. Горло глухо закутано. Но и синее, как кровоподтек, лицо страшно. Вите показалось, что покойник улыбается ехидно, слушая собственную панихиду.

Кто-то в толпе вскрикнул. Кого-то вывели.

Витя вздохнул, заметив волосы на виске. Этот клок мертвых волос вывел его из омертвелого состояния.

Он вдруг понял на какое-то мгновение смерть. Не всхлипнул, а как-то сопнул носом. Почувствовал, что сейчас упадет. Собрал все силы и, шатаясь, выбрался на каменное крыльцо, под колонны.

Здесь две нищенки беседовали о какой-то Марье, которая еще на той неделе обещала принести корыто. Виктору показалось обидным, что они разговаривали о постороннем, и он ничего им не дал.

Пушил снежок. Виктор стоял без шапки и глотал мерзлый воздух. У церковной ограды ребятишки лепили из только что нападавшего снега снежную бабу.

Скоро задние ряды в церкви качнулись. Вот вышли несколько человек, мелко перекрестились и надели картузы. Вот еще высыпала кучка гимназистов. Молчаливые, серьезные.

Вите вдруг стало обидно, что не он выносит гроб. Ему казалось, что это было бы приятно Алфееву.

В дверях Витя подхватил один угол. Гроб был оклеен серебряной материей и походил на елочную бомбоньерку. Витя почувствовал, что гроб тяжелый. Это была тяжесть Алфеева.

Певчие и священники торопились за гробом и пели на ходу надрывающие душу молитвы.

Похоронное шествие проползло через улицы и добралось до кладбища, где ждали ражие детины с лопатами, готовые приступить к делу.

Когда на горку мерзлой глины вскарабкался чистенький, в новых калошах, Биркель и начал говорить «о нераспустившемся цветке», о том, что «пухом тебе земля, Алфеев», — Витя вдруг повернулся и, спотыкаясь о могилы, увязая в первом рыхлом снегу, бросился с кладбища.

МЫ — ИВАНОВЫ

Анин отец — управляющий винным складом Видинеевых. Винные бочки гремят на большом дворе склада, окруженном широкими навесами, сараями, кирпичными кладовыми. Тут же, недалеко, и винная торговля. Там вечная «валка». Люди приходят, опиваются, затевают драки…

Пробки, сургуч и осколки бутылок устилают всю Церковную улицу около склада.

Сам Никифор Петрович Иванов не пьет. Никифор Петрович набожен, честен. Как управляющему винным складом ему цены нет. Недаром держатся за него хозяева. К празднику выписывают наградные и тут же, возле склада, отвели ему в безвозмездное пользование домик.

Никифор Петрович и от жены и от детей требует, чтобы они были честны, работящи и веровали в бога. Сам ни с женой, ни с детьми в церковь не ходит, ходит отдельно.

— Правильный он у нас, — объясняет Иваниха, благообразная Степанида Федоровна.

На углу, возле винной торговли, пьют, ругаются, дерутся. А в середине квартала уютный домик глядит невинными окнами, полными фуксий, гортензий и олеандров. В летние дни на утрамбованной площадке, около дома, гимназистки и гимназисты играют в крокет и никак не могут пройти шарами «мышеловку».

Вероятно, ассенизатор не испытывает любви к нечистотам, которые убирает. Но если бы не было нечистот, ассенизатор умер бы с голоду. Так терпеливо относится Никифор Петрович и все в доме Ивановых к пьяным оборванцам, которые сиплыми голосами гомонят на углу. К ним привыкли. Их не замечают. А в квартире Ивановых тихо и уютно. В гостиной пианино, над пианино икона, по субботам — лампадка, по пасхам — куличи.

Аня живет в одной комнате с гимназисткой-одноклассницей

Лидой Соколовой. Лида у Ивановых «на хлебах».

Аня серьезная, начитанная, это все в гимназии говорят. Аня снисходительно наблюдает, как Лида по вечерам, перед сном, мажется «Метаморфозой». Лида хочет быть красивой, Лида носит лифчик с густыми воланами кружев, «чтобы была пышная, как у венки, грудь».

Лида составляет список знакомых гимназистов.

— Давай ставить отметки.

Ане интересно ставить отметки гимназистам, но соглашается она не сразу.

— Подожди, дочитаю главу, тогда буду.

Лида ждет. У Ани на коленях «Былое и думы».

Кончено! Вместо закладки засунута в книгу шпилька.

— Начинай.

— Володя Биркель. За щегольство — пять, за симпатичность — четыре.

— Дима Снегирев. Пять с плюсом. (Лида влюблена в Сережиного брата — Диму Снегирева.)

— Петька Скворцов. За наружность — двойка, за симпатичность — три с минусом, за танцы — пять.

— Витя Чердынцев. (Лида бойко взглядывает на Аню.) За наружность — четыре с минусом (минус за заплатанные брюки), за симпатичность — пять, за начитанность — пять с плюсом.

Как-то девушки будут расценивать молодых людей, когда отменят в школах отметки?

Аня и Лида живут дружно. Вместе учат уроки, вместе идут в гимназию. Когда они учат уроки, на них смешно смотреть. Обе затыкают уши, и каждая вслух читает свое.

После обеда Аня играет на пианино. Аня не любит игру на пианино с тех пор, как в детстве учительница музыки била ее по рукам. И теперь, когда она сбивается, ей кажется, что вот-вот щелкнут ее по напутавшим пальцам. Вальс «Voix du coeur», «Марш гладиаторов» и несколько этюдов — вот все, что осталось в памяти от занятий. Этого, впрочем, вполне хватает и музыкантше и публике.

Когда раздаются первые аккорды вальса, Лида надевает форменную фуражку Аниного брата, реалиста Миши. Лида расшаркивается перед венским стулом. Обхватывает его нежно

и кружится по гостиной, зацепляя за ковер.

Аня без паузы переходит на марш. Тогда появляется Миша. Лида и Миша — теперь борцы. Они делают круг, напружинивая мускулы. Схватка. Лида царапается, кусается и пускает в ход все запрещенные приемы.

Репертуар исчерпан. Гимназистки идут на каток, чтобы разрумяниться, схватить кашель и, пробегав с гимназистами по серебряным улицам, однообразно врать Степаниде Федоровне о каких-то подругах.

Вошло в привычку по дороге домой выдумывать фантастические истории. Выходило нескладно — Степанида Федоровна ловко подлавливала на противоречии. Научилась лучше лгать с той поры, как стала бывать у Ловцовых. Особенно после вечера, который разломал жизнь Ани на две половины — счастливую и несчастную (Аня мысленно всегда теперь определяет время так: до того и после того).

К одной лжи приставала другая. Один раз, сочинив, несуществующую подругу, Аня придумывала несуществующей подруге лицо, имя, наделяла ее родителями, давала ей точный адрес… Приходилось лгать и Лиде, и матери, и брату. Каждому лгала по-разному: ведь не могла же она Лиде сочинить «подругу»! Иногда путалась — ее обличали. Она сочиняла новые и новые небылицы, чтобы спасти предыдущую ложь.

Вечное напряжение, постоянная опаска утомляли. Аня потускнела. Аня больше не играет «Voix du coeur» и «Марш гладиаторов». Сожмется на диване, закутается в шаль и читает запоем «Былое и думы».

— Нужно всегда говорить правду, — произносит за чаем Никифор Петрович, покусывая кончик бороды.

Аня рассматривает его жестокое лицо, светлые жестяные безжалостные глаза, желтую злую бороду. Аня боится отца.

— Я, папа, и говорю вам правду.

— Я тебя не спрашиваю, что ты говоришь. Я говорю, что ***нужно*** всегда говорить правду. Наша семья честная. Мы, Ивановы, всегда правдой жили. Живи и ты.

Много детей вырастили Ивановы. Дочерей отдавали в гимназию. Сыновей учили и дальше, в университетах. Вырастая и образовываясь, дети уезжали из дома, редко писали, а если случалось навестить родных, словно стыдились необразован-

ных родителей, целые дни сидели, уткнувшись в книгу, или уходили в театр.

Степанида Федоровна не сетовала на детей, как не сетовала на угрюмого мужа. Она принимала все, как оно есть, и не представляла, что могло быть иначе.

Но за последних детей цеплялась, тревожилась за последних детей. С каждым ребенком старилась Степанида Федоровна, и становились все непонятнее дети, и время делалось непонятней.

— Путаный народ нонче стал. Неправильный народ. И в церкви петь стали хуже, и улицы стали грязней, а лета раньше словно не такие были дождливые.

Реалист Миша футуризмом увлекается. Степанида Федоровна ему:

— Молись.

А он ей про каких-то смеюнчиков да смехачей рассказывает.

Аня тоже кренит не туда. Врет много. Вздыхает Степанида Федоровна, повторяет про себя мужнины слова:

«Мы, Ивановы, всегда были правильные».

МЕЩАНСКИЕ ПРЕДРАССУДКИ

Месяца через два после «того» вечера Аня была у Натальи Львовны. Плакала, спрятав голову в ее коленях, и Наталья Львовна гладила мягкие Анины волосы, уговаривала Аню.

Хорошо, что Аня не поднимала головы. Она увидела •бы ненавидящие глаза. Не потому ли у Натальи Львовны глаза всегда опущены, что руки, голос, губы так послушны, так хорошо притворяются, а глаза — как замочные скважины, и можно в них всю Наталью Львовну подглядеть?

— Милая девочка Аня! Вот мы погладим ей головку — и слезы кончатся… У девочки Ани два краника, как в ванной комнате. Один повернули — полилась печаль, другой повернули — хлынула улыбка…

Так говорили послушные губы.

— Нет, — спорила Аня, — мне навсегда теперь опротивела жизнь. Вы не понимаете. Я вовсе не девочка, я знаю, что теперь я его любовница, что я отбила его у вас и с ним изменила Вите.

— Никого вы не отбивали. Просто была ошибка. Ведь вы

не любите его?

Глаза, глаза, — они хотят через затылок Ани прощупать каждую извилину мозга, они хотят обнажить Анины мысли, сорвать с них одежду слов.

— Что же вы молчите? Отвечайте!

— Я его ненавижу.

— Ну, вот и хорошо. Если бы вы его полюбили, сделали бы мне больно. Девочка Аня не хочет сделать Нате больно? Девочка Аня рассказала кому-нибудь об «этом»? Нет? Никому-никому? Умница! Золотце! — Наталья Львовна не говорит, а поет. — Девочка Аня, сказала все только Нате? Да? Ната поймет Аню, Ната что-нибудь придумает, посоветует…

— Наталья Львовна, миленькая, вы одна на свете любите меня… Скажите мне, только прямо, не щадите ни капельки: должна я во всем сознаться Вите?

— А вот слушайте: Витя вас любит, и вы Витю любите?

— Кажется, — шепчет Аня и делается торжественной, потому что думает, что доверила Наталье Львовне огромную тайну.

— Вас ждет целая толпа недель, месяцев, лет. Каждый наперебой кричит: проживи меня, проживи меня! А вы что хотите? Хотите доверчивые недели, месяцы, лета, всю вашу доверчивую жизнь отравить? Ведь если вы расскажете ему, ведь он не коленом, — душой стукнется о вашу правду, душу об нее раскровянит! Мужчины жадны на нас, женщин; мужчины не любят из одной тарелки суп есть. Вы и себя измучите и ему создадите ад. А из-за чего? Вы изменили ему хоть мыслью? Скажите: вам хотелось «тогда»… «этого»?..

Аня молчит. Еще глубже запряталась головка. Наталья Львовна пождала и сама отвечает за Аню.

— Нет, вам не хотелось «тогда» «этого». Вы просто думали, что вас будут считать отсталой, глупой… Вот послушайте теперь про меня. Вадя изменяет мне часто, очень часто. Но Вадя — прекрасный человек. Он изменяет, потому что ему надо действовать, проповедывать. У Вади выхода ищут силы, и некуда силы рассовать. Вот он и сочинил целое ученье. И вы помогли ему, поддержали его. Вы ни в чем не виноваты! И он не виноват. Так надо.

— Но что же теперь будет? Что же мне делать? — всхлипывает Аня. — Ведь я… я…

Наталья Львовна сразу все поняла. Наталья Львовна знает, что делать:

— Я вам дам адрес… Вы пойдете к одной доброй фее… Все будет хорошо… И не говорите ничего своему гимназисту. Вы думаете: ах как честно во всем сознаться Вите! Ложь! Обманываете себя. Один эгоизм тут. Сброшу, мол, половину тяжести на него, разломлю кусок боли своей, пусть пожует мою боль любимый!.. Берегите любовь, Анечка, от царапин, ушибов. Больно? Перетерпите боль свою сами, внутри, не то она нарывать будет…

Добрая фея оказалась Ольгой Тимофеевной Крестовской.

Парикмахеры, акушерки и адвокаты болтливы по профессии. Акушерка Ольга Тимофеевна на редкость болтлива. Иной раз так заговорится, что забудет и про часы. Роется в стальных и стеклянных своих инструментах, как хозяйка в кухонном добре. От пациентки к пациентке надвязывает длинный чулок сплетен, — весь город у нее на учете.

Ольга Тимофеевна — незаменимый друг уфимских спален. Ольга Тимофеевна встречает поколенье за поколеньем у врат бытия. Ольга Тимофеевна иногда задумывается, скольких фотографов, секретарей, телефонисток, литераторов так и не появилось благодаря ей, которая их приканчивала раньше, чем они родились.

У Ольги Тимофеевны и вид такой, словно она действительно заведующая бытием и небытием. Особенно сильное впечатление производят большие родимые пятна, ползущие на ее шее, ухе и щеке.

Заведующую бытием любят женщины и побаиваются мужчины. Девушки краснеют при упоминании ее имени. Она немного напоминает уфимскую хиромантку, Аделаиду Павловну. Но та предсказывает судьбу. Ольга Тимофеевна судьбу делает.

У Ольги Тимофеевны большие красные руки, натертые щеткой, намытые сулемой. Если сунуть в эти красные руки трешницу, можно целые часы жаловаться на свои женские недуги, на ненасытного мужа, на страх перед предстоящими родами и на боль в животе. У кого за три целковых встретишь столько сочувствия и внимательного участия?

Ольга Тимофеевна — коротышка, толстушка, и из всех толстушек самая веселая. Она никогда не унывает и всегда готова

вскочить в извозчичий тарантас и трястись на окраину города, посмеиваясь, что мужчины всегда позаботятся, чтобы она не осталась без работы. Приехав, перевернет весь дом, заставит кипятить самовары, бегать в аптеку и выволакивать из чулана эмалированные тазы…

Ольга Тимофеевна встретила Аню радушно.

— Как! Вас зовут Аня! — обрадованно кричала она, — господи, так ведь и моя сестра была Аня!

Ане не удавалось произнести ни слова.

— Дружочек! — кричала заведующая бытием, — да у вас малокровие! Ну-ка, покажите веки… У вас не бывает, что если вы быстро поднимаетесь, то слегка кружится голова? Бывает? Ну, что я вам говорила? Железо, железо, железо, душечка, железо и мышьяк! Разденьтесь, душечка, вот тут, за ширмой, если стесняетесь меня!

Тотчас прибежала сама за ширму.

— Но какое знакомое лицо! Вы никогда не были у Лысановых? Нет? А у Ракальских? Да у вас прелестный лифчик! Сами шили? Скажите! Были на «Сестре Терезе»? Говорят, плачут в третьем действии. Я непременно схожу!

У каждого памятны в жизни какие-то улицы, какая-то скамейка или какой-то невзрачный дом, ставший значительным оттого, что возле него происходило. Аня навсегда запомнит пять кварталов, которые нужно было пройти до акушерки.

Аня шла и сравнивала себя с преступником, которого ведут на эшафот.

Но эшафот оказался такой уютный: в прихожей на столике перед зеркалом кружевная скатерка, а в углу домовитый, уютный, как кот, бокастый сундук, в котором вероятно, хранятся лоскуты от выкроек, дедушкин мундир и четыре отжившие шляпы.

Оттого, что Ольга Тимофеевна болтает такую чепуху и в таком неимоверном количестве, Ане делается легче, словно Ольга Тимофеевна присыпает легкими словами больную рану. И сама Ольга Тимофеевна в белой косынке и халате походит на бинт.

Уже нашлось много общих знакомых. К тому времени, как Аня осталась в одной рубашке, акушерка выяснила, что они чуть ли не какая-то дальняя родня.

Раздеваясь, Аня выронила две десятирублевки — приготов-

ленный заранее гонорар. Аня смутилась, а Ольга Тимофеевна подхватила бумажки и сунула спокойно в карман, заявив, что за эту сумму Аня может еще раз прийти «осмотреться».

Когда Аня вышла на улицу, воровато оглядываясь, она вся дрожала. Ей казалось, что больше она никогда уж не сможет любить. Ведь это любовь Анину вели сегодня на эшафот к палачу Ольге Тимофеевне.

Недалеко от дома ее окликнул знакомый голос. Этого-то она больше всего боялась.

Витя целый день сегодня скучал по ней, ему было не по себе, ему казалось, что с Аней что-то случилось, что она больна или у нее горе: может быть, родители опять чем-нибудь недовольны?

Витя бродил около Аниного дома. Он надеялся встретить ее, когда она будет возвращаться из гимназии.

И в самом деле, вскоре показалась ее знакомая фигурка.

«Четыре урока, значит, было», — взглянул Витя на часы.

Аня! Почему она так вздрогнула, метнулась? Верно, боится, что заметят домашние?

Витя целый месяц жил без Ани. Вите нужно было пережить смерть Алфеева. Вите нужно было решить основное: Алфеев, синий, холодный Алфеев, или Аня, белокурое бытие?

Аня победила. И вот пришел наконец к ней, трепещущий, нетерпеливый… А она встретила вяло, была молчалива и скучна…

Витя чуть-чуть пожал локтем ее руку, чувствуя сквозь шубку тонкий ее загиб.

Аня отняла руку, раздраженно крикнула:

— Все вы, мужчины, на один лад!

Витя обиделся. Долго шли рядом и молчали. Грустно позвякивали коньки.

«Не понимает, не понимает», — тосковал Витя. И не рассказал, как боролись Аня и Алфеев, и нерассказанное легло между ними, — даже трудно было рядом идти.

Аня тоже ничего не могла объяснить толком. О том? О том не сознается Аня никогда и никому. Разве может она сказать Вите, что рядом с ним идет другая, не прежняя Аня, отвратительная Аня, у которой Ловцов — любовник? Нет, Аня ничего не скажет Вите. Ведь она его любит по-настоящему, — по-настоящему любит, а не «так».

Аня шагает рядом **с** Витей. Звякают снегурочки. Аня молчит. Аня никогда не подсунет ни крошечки своей боли Вите.

— Аня!— говорит торжественно Витя, останавливаясь возле смешной, умилительной мелочной лавочки, какие бывают только на окраинах. — Поклянемся вот здесь, именно здесь, что всегда будем говорить друг другу правду!

— Почему же здесь? — спрашивает испуганно Аня.

— Потому что, видите: дом номер двадцать три.

А двадцать три — счастливейшее число: ведь двадцать третьего — ваше рождение.

Аня устала. Аня хочет уйти. Ведь она, может быть, даже не любит этого сумасшедшего. Зачем нужно идти рядом с ним и лгать? Лгать и молчаньем своим и уклончивыми ответами?

Аня зябко пошевеливает плечиками. Учебники в руке. И они лгут. Вот возьмет да и крикнет ему в лицо: я была не в гимназии, я была у акушерки!

Аня вдруг вырывает свою руку.

— Пустите меня. Я пойду домой.

Будет Витя над дневниками перелистывать путаницу дум. Будет отгадывать загадочную Аню. И не отгадает Аню. Себя обвинит во всем.

Ну да, он был с ней непозволительно резок. И другая ошибка: что бросил Аню, целый месяц не виделся с ней. Любовь нужно кормить, любви нужно бросать хоть горсточку крупки.

Ах, какой горбатый Витя, когда склоняется над тетрадью! Тычется в мучительную, как невыученный урок, жизнь. Кажется Вите жизнь желтой сердитой гимназией, куда отдали всех сыновей земли. И никто не хочет учить трудные уроки, и все ненавидят сводчатые коридоры, из которых никуда не выйдешь. И классного наставника Зубыхина все ненавидят, но нельзя это показывать — будут двойки. Выхода нет. Выход нашел только Алфеев. А нельзя ли как-нибудь по-другому?

Взорвать бы эту желтую гадину, казарму чиновничьих дивизий! Но Витя умеет приготовлять только безопасные бомбочки из спичечных головок. Не взорвать безопасными бомбочками желтую гадину.

Нечаянно заглянул Витя в дневник Глеба (Глеб с некоторых пор тоже начал вести дневники). Любовь, проклятые вопросы, восклицательные знаки… Вите показалось, что Глеб пере-

дразнивает его. Витя смотрел обиженно в дневники брата, как обиженно смотрят в выпуклые зеркала, уродующие лицо, вытягивающие губы, сплющивающие череп, — отвратительные кривые зеркала. Было оскорбительно, что мысли Вити — не единственные во вселенной.

— Дурак! — шептал Витя. — Зеленый попугай!

Глеб укреплял волю и старался даже не думать о Мурочке. Елизавета Ивановна исподтишка следит за его переживаниями. Она радуется, что Глеб обедает теперь всегда дома и не пропадает по вечерам.

«Видно, с Бабичевой охлаждение, — думает она. — Дай бог! Хоть трудно ему, но если два месяца утерпел и не видится, значит так и пройдет несчастная любовь».

После обеда Глеб долго лежал в постели и что-то обдумывал. Когда пробило шесть, он вскочил, пробормотал:

— Решено и подписано! — и стал одеваться.

— Ты чего сам с собой разговариваешь, сомнамбул? — спросил Виктор.

— Оба мы сумасшедшие, — отозвался Глеб. — Я сам с собой разговариваю, а ты со своими дневниками на летописца Нестора похож: «Еще одно последнее сказанье!..»

— Дурак! Это был Пимен.

— Ну и очень рад за тебя, что это был Пимен.

— У тебя испортился характер, мистер, — сказал, подумав, Виктор.

Глеб ничего не ответил и окликнул Оксинью, чтобы заперла дверь.

— Я, мама, на хутор съезжу на воскресенье!

Елизавета Ивановна и этому порадовалась: борется с собой — это хорошо, а хутор поможет, проветриться никогда неплохо.

Был ноябрь, с хутора увозили последние возы. Дядя Володя подумывал на днях перебираться в город.

Глеб выходил во двор, на стужу. Ему хотелось вспомнить лето, ведь каждая лужайка, каждая грядка была дорога, что-то напоминала…

Вот здесь собирали ежевику, ежевика растет по уфимским лесам раздольно, собирают ее ведрами. Заплетется по просекам, колючая, крепко, не пробьешь. Ягодники тропинки в за-

рослях протаптывают, коридоры зеленые, ими только и можно ходить. На место ладное нападешь, приподнимешь куст, пораздвинешь — черным-черно, ягодами черно-сизыми усыпано. С одного места полведра собрать можно. Ягода тяжелая, слышно, как постукивает о дно. А иная, переспелая, раздавится, перепачкает и пальцы, и ладонь…

Глеб даже на руку свою посмотрел — в чернилах рука, никаких ягод и следов нет. Ливни размыли гряды, а лес стал такой ободранный, так размотал свою тайну, что Глеб ничего больше не вспомнил и вернулся обратно в избу.

Но с хутора приехал какой-то обновленный, успокоенный.

Скорая зима была в этом году. В каких-нибудь две недели подняли спины белые сугробы, словно целое стадо белых медведей прибрело в заветренный город, на отдых легло, а уже к утру встанет и снимется дальше, в леса.

Из чердынцевских окон видна кирпичная стена, кусок крыши и сугробы. Валентина Филипповна говорит: «Захолустье». Витя сравнивает сугроб с букетом подснежников. Оксинья выбегает с голыми руками, выплескивает в сугроб помои, и помои пробуравливают в снегу черно-желтую дырку. Сугроб начинает походить на испорченный зуб.

Словно сговор у Чердынцевых: в городской квартире каждый за своим столиком сидит и думает. Хутор — отдушина, на хуторе завязыванье узлов. Пойди потом и распутай хуторские петли!

Вон Елизавета Ивановна задумала жить по Чернышевскому. И ведь как ухватилась за свою мысль, словно от этого все счастье ее зависело. Валентина Филипповна даже всерьез рассердилась на нее перед отъездом, а Петр Никанорович так прямо уходил, лишь начинал клониться в эту сторону разговор.

В день отъезда, уже прощаясь со всеми, вдруг рассказала Валентина Филипповна — так вот, в голову пришло, — что когда-то давно была она влюблена в Петра Никаноровича.

Петр Никанорович поставил чемодан.

— И здорово влюблена была? — переспросил он, словно чему-то удивляясь.

— То было давно, — пропела Валентина Филипповна, изображая романс, но тут же вспомнила, что переврала и слова, и мотив романса.

— Как же это я никогда не замечал… Давай хоть поцелуемся в память прошлого!

— Ну вот еще глупости. Чего мы будем целоваться. У тебя есть жена.

— Но мы убежим от нее на остров Мадагаскар, — продолжал дурачиться Чердынцев, поглядывая на стоящую рядом Елизавету Ивановну.

Никогда не видела Валентина Филипповна его таким дурашливым.

— Да! — закричала она, заражаясь его веселостью. Театрально раскинула объятия, при чем уронила пенсне. — Да, Пьеро, мы бежим на край света!

— И построим там хутор и купим корову!

— О, Пьеро Никанорович, — кричала Валентина Филипповна, — я убью на твоем лбу комара.

— О, убей, Коломбина Филипповна!

— Ха-ха-ха-ха!

— Убей, но я перешагну через комариный труп, подхвачу тебя, легкую, как перышко, и на руках понесу на остров Мадагаскар Цейлонской губернии.

Елизавета Ивановна молча наблюдала эту сцену, и ей вдруг задним числом стало больно и страшно. Внутри что-то дернулось и оборвалось: подумать только, что она могла наделать! Слава богу, что они уезжают — и Валентина, и Сонечка.

Петр Никанорович же после отъезда Валентины Филипповны подумал, что ведь никаких, собственно, препятствий не было сойтись им, если и она испытывала к нему давние симпатии и Елизавета была согласна. А вот никогда этого не могло случиться, потому что такие расхлябанные они интеллигенты, немудрые мудрецы.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

— Вальс опус семь!

— Лучше полонез!

— Вальс опус семь!

Мурочка не уступает. Мурочка настаивает.

На полу, на коврах, на ленивых подушках, в креслах зашевелились, повернули головы.

У выгнутого, как женская талия, рояля — Мурочка и Биркель,

Кажется, Мурочка спорит только для того, чтобы быть на виду. Мурочке хочется всю жизнь просидеть в первом ряду. Но если бы внимание всех устремлялось на галерку, она не замедлила бы переселиться в верхний ярус.

Оттого, что женщины встали и перешли мягкой поступью вывихнутых на французских каблуках ног, — запахло духами.

— Ты знаешь, из чего делают духи, Андрей? — шепчет рыжий долговязый гимназист Деев.

Тот, кого назвали Андреем, похож на кухонный стол, внесенный в будуар: громоздкий и чересчур крепко сбитый среди хрупких терракотовых статуэток. Он вовсе не знаком с Деевым. И ни с кем здесь не знаком, кроме Бабичевой, которая привела его. Деев называет его на ты, потому что он всех называет на ты, лишь проговорит полминуты.

Андрей притулился на краешке пружинящего кресла. И сам весь пружинит, словно готов каждую секунду к прыжку.

— Кто это? — перешептываются гимназисты и гимназистки, разглядывая бесцеремонно сапоги, пиджак и запущенные космы гостя.

— Что это за зверь, Вадим Константинович? Сюрприз какой-нибудь? Может быть, старовер, как в прошлый раз?

— Не знаю, — пожимает плечами Вадим Константинович.

— Не знаю, — сердится Наталья Львовна, — спросите Мурочку.

Мурочка Бабичева победила. Сейчас будут играть вальс опус семь. Она подсаживается к Андрею и шепчет:

— Плюньте на них на всех. Они ни черта не стоят.

— Я плюю… Нам не пора трогаться?

— Рано.

Мурочка отбегает в другой конец комнаты. Она рассматривает Андрея издали. Сегодня Андрей — любимая ее игрушка.

— Кто он? — обступают Мурочку гимназисты.

— Чревовещатель! — отмахивается Мурочка.

— Может быть, и не врет, — соглашается пухлый Чу- фаровский, — ведь шлялась же она с борцом!

— Кудри! Смотрите, какие у него кудри! — твердит каждому Бабичева.

И еле сдерживается, чтобы не выдать тайну.

Да, да, у нее и Андрея Жука — тайна. Да, да, она, Бабичева, разделяет его взгляды! Это так интересно — разделять его взгляды.

Наконец, и здесь они вместе неспроста. Это целый заговор. Это целый Нат Пинкертон!

Но как он ей доверился? Ведь если она захочет, скажет одно слово… и… Как он смел ей довериться? А если она раздумает? Кто запретит ей раздумать?

Бабичева как пьяная. Она ходит среди толпы гостей и кричит им мысленно:

«Дурачье! Если бы вы знали, что я знакома с Жуком ровно с пятнадцатого декабря!..»

Да, да, это было пятнадцатого декабря. Она ехала с губернатором в этот злополучный день!

Из парка вышел неизвестный человек, приблизился к санкам, протягивая какой-то пакет. Губернатор велел кучеру приостановиться.

«Проситель или доносчик», — подумала Мурочка.

И вдруг человек с пакетом вынул из кармана револьвер и два раза выстрелил в губернатора в упор.

Лошади рванули, губернатор перекинулся через санки. Мурочка стала кричать отвратительным, животным криком.

Как очутились в губернаторском доме — она не помнила. В памяти застряло из этого провала только сиденье санок, залитое кровью.

— Можете описать наружность убийцы? — спрашивал следователь.

И вот тут начиналась какая-то путаница. Мурочка ясно помнит, что террорист был жилистый, сухой человек с негустой светлой бородкой. Шел он вперевалку и вбирал голову в плечи, почему Мурочка и решила, что он доносчик.

— Разве доносчики вбирают голову в плечи? — спросил зачем-то следователь.

— По-моему, да, — ответила Мурочка.

Кучер же дал показания, что стрелял молодой парнишка, слава богу, если шестнадцати годков, что, какой у него вид, рассказать словами не может, только знает, что нет бороды. А вот, если бы показать того человека, сразу бы признал.

Множество раз пересказывала Мурочка историю убийства. Рассказ становился глаже, приукрасила его сообщением, что одна пуля просвистела возле самого ее уха, что она, когда лошади понесли, поддерживала окровавленного Аркадия Евлампьевича, а то бы он непременно выпал из санок.

Никто с ней не спорил, а она настаивала:

— Непременно! Непременно бы выпал!

И только повторив много раз «непременно бы выпал», Мурочка переходила к рассказу о том, что ехали они от Бабичевых на именины к хромой губернаторской дочке, но у Мурочки «с утра было предчувствие».

…Вальс опус семь начинается с каких-то истерических аккордов. Аккорды ссорятся между собой, сбиваются в кучу. Это почти дисгармония, это почти хаос. И вдруг через всю путаницу, через все смятение проглядывает тихая, как новорожденный месяц, печаль… Тогда сейчас же бросаются шестнадцатые и тридцать вторые… Истерически хохочет хроматическая гамма… И, неожиданно перескочив в мажор, вальс притворяется веселым…

И сейчас, спустя месяц, на вечере у Ловцова Мурочка, слушая вальс опус семь, чувствует себя значительной, необыкновенной. Мурочка никогда не была так счастлива. Нужно было знать Мурочку, чтобы понять ее восторг.

Она взвинчена. Она дергается. Сядет — и сейчас же вскочит. Через минуту снова ищет места, где бы присесть. Вдруг начинает хохотать…

— Андрей Жук! — кричит она, рисуясь своей близостью с ним. — Жжжж… жук!..

Познакомилась Мурочка с ним так:

Андрея затравили. Чуть не попался в засаду, которую ему сделали в его квартире (работа нового губернатора). Выручили какие-то мальчишки. Встретили — предупредили. Явка была в Пушкинской библиотеке. Но не решался туда идти.

А тут еще заметил шпика и никак не мог отделаться от него.

Колесил по городу, нырял неожиданно в ворота, заходил в магазины. Шпик неизменно торчал в пятнадцати шагах, даже не скрывая своей работы.

Улицы кишели народом. Была оттепель, хотя стояла середина января.

Андрей решил выбраться на окраины. Там он заставит отвязаться проклятого шпика.

И вот, по глухой улице, спугивая воробьев с конского помета на порыжелой дороге, шагают двое: затравленный Андрей, голодный, злой, и в пятнадцати шагах — беззаботно посвистывающий сыщик.

— Э-эй!

Розовая в коричневых яблоках рысистая кобыла чуть не задела мордой. Андрей отступил. В санках девушка в беличьей шубке.

Что это? Остановила круто лошадь. Кричит.

Андрей сразу узнал ее. Она сидела тогда рядом, в санках, около парка, пятнадцатого!..

Перегнулась из санок, шепчет:

— Вы убили губернатора.

— Позовите, — сказал Андрей, вдруг ухватясь за какой-то замысел, — вон за мной гоняется целый день сыщик. Позовите — и он арестует меня.

— А может быть, я вас спасу? — И вдруг закричала громко: Сергей! Где вас черт носил? Я должна была выехать одна. Садитесь же, наконец, на козлы!..

Андрей не заставил себя приглашать два раза. Розовая рысистая кобыла подхватила санки, почуяв твердые руки.

Проезжая мимо изумленного сыщика, Андрей слегка стегнул его кнутом:

— Сторонись, дьявол!

Когда миновали площадь, проехали несколько улиц, запутывая след, Мурочка все еще задыхалась от веселого смеха.

— Послушайте, революционер, — шептала она кучеру, — примите меня к себе… Вы будете убивать нового губернатора? Ведь раз я спасла вас от сыщика, значит — я уже принимаю участие в революционном движении? Да? Едем ко мне. Мы живем почти за городом. У меня отдельная комната. Кто я? Зовите меня Мурочкой… Нет, лучше какое-нибудь прозвище… Моя фамилия? Однако вы любопытный! Ведь я не спросила, как вас зовут. Как? Андрей Жук? Ха-ха-ха-ха… Правда, вы на майского жука походите. Сознавайтесь, вы были тогда с бородой? Я так и сказала следователю: реденькая светлая бородка… Хотите покуситься на моего папашу? Он взяточник. Конечно,

я ни черта не смыслю в социализме, но я люблю приключения. Я, по-вашему, психопатка? Когда вы убили губернатора, это был самый счастливый мой день. Понимаете, типа, скучища смертная… и вдруг — бах! Вот так именины хромоножки Елечки! Вот так именины! Ха-ха-ха-ха…

Самозваный кучер и веселая барышня приехали наконец к Бабичевскому дому.

— Папа дома? — спросила Мурочка, передавая настоящему кучеру, Сергею, вожжи.

— Приехали, — ответил Сергей.

— Ах ты, какая досада!.. Черт его принес. Днем войти незамеченными нельзя!

Мура окликает извозчика.

— Вы сегодня не обедали? — спрашивает, воодушевляясь. — Едемте в какую-нибудь чайнушку?.. Вы, вероятно, хотели бы убраться из города? Надо устроить ваш отъезд. Как! У вас нет денег? Но тогда надо устроить экспроприацию! Что? Ну, он не поймет таких заковыристых слов. Знаете что? Мы пообедаем, допоздна проплутаем по городу, а в темноте я вас приведу домой и экспроприирую вам денег на дорогу у папашки. Все равно ведь деньги-то такие… Казна ворует у народа, папашка — у казны, а я украду у папашки. Откровенно говоря, тех денег, которые он выдает, мне не хватает. Мы с мамкой поворовываем у него. Но сегодня я хапну до последней рублевки.

В харчевне заказали скоблянку порционно, соленые огурцы, пиво и чай. Андрей ел жадно, но Мурочка тоже не отставала.

Теперь Андрей стал говорить. Он с первых же слов сказал откровенно, что Мурочка, по его мнению, истеричка и взбалмошная, избалованная дочь.

— Верно! — кричала Мурочка.

В харчевне стоял галдеж. Где-то дрались, где-то целовались. Здесь обедали ломовые извозчики, проститутки, заехавшие на базар крестьяне. Было дымно, пахло пивом и потом. Андрей не заметил ни одной подозрительной фигуры.

— Но в вас есть порыв, — продолжал Андрей, — в вас есть ненависть. Да, вы умеете ненавидеть больше, чем любить.

— Слушайте, вы притворяетесь только неинтеллигентным?.. Вы меня разгадали.

— Мура… или, значит, Мария?.. Мария, в наши ряды прихо-

дят такие люди, как вы. Иногда от них бывает вред. Но бывает, что они сумеют зажать себя в тиски, и тогда, вы понимаете, непутевая молния превращается в сильную разумную машину. Ваше предложение добыть денег вы сделали необдуманно. Но если осуществить это так, чтобы вы сумели скрыть свое участие, чтобы все подозрения пали на меня… Конечно, не скрою, при настоящем разгроме организации нам очень нужны деньги…

Было темно, когда вышли из харчевни. Мурочка восторженно прочитала вывеску:

— Ресторан «Цветок».

Повлияли ли горячая пища и пиво на Андрея, что он сделал такой необдуманный шаг? Он согласился пойти к Ловцову. Мурочка рассказала ему, что у Ловцова часто бывают экзотические люди. Бывали, например, борец из цирка, начетчик…

— Вы будете чревовещателем. Сейчас цирк приехал — это очень подойдет. Хорошо?

Андрей подумал, что на улицах они скорее обратят на себя внимание. Кроме того, Мурочке могло надоесть все приключение, а у Андрея вертелись планы не уезжать из города, как хотел он сначала, довести до конца задуманный побег из тюрьмы, купить шрифт для типографии. Дело остановилось только из-за монеты…

Бабичевы… Фамилию Андрей слышал. Нет, девчонка, пожалуй, не врет. Ведь спасла же она его от шпика…

Вошли в дом. Поднялись по лестнице. Мурочка звонит… А, черт, не условились насчет фамилии… Леонтьев… Зорский… Дверь распахнулась.

«Я делаю глупость», — подумал Андрей и шагнул в прихожую…

…Вальс опус семь рухнул последним хрупким аккордом. Теперь рояль выговаривал ту-стэп. Отогнули в сторону тяжелые ковры, приседая, выгибаясь, истомленно танцевали девушки, показывая краешек кружевных юбочек, подвязки на чулке.

Странно было видеть Андрею кружевные юбочки. Уж очень резкий был переход. Там, в городе, аресты, шпики, слежка. Тюрьма набита, не хватает камер, следователи не успевают снимать допрос. Но это делает «аппарат». Они, враги, не насторожились, они пишут пьесы, они ту-стэп танцуют. Андрей

шепчет:

— Атрофирование классового самосознания… Это из книги? Или из чьего-то доклада? Да, да, это так…

— Вадим Константинович! «Коврик у кровати»!

— «Коврик у кровати»! «Коврик у кровати»!

Вадим Константинович откинул голову в кресле, зажмурил глаза, читает нараспев, голосом, каким заклинатели усыпляют кобру, «Коврик у кровати».

Тихо пропетые стихи выгибаются, приседают, показывают краешек юбочки. Валансьеновые девушки обожают заклинателя змей. Они взволнованы певучим мужским голосом. Влажны приоткрытые губы валансьеновых девушек. Подрагивают опущенные лучики ресниц.

Андрей задумался о том, как передать деньги на подкуп часовых в тюрьму… Теперь он оценил свое положение. В центре города, в людной квартире, он может впервые за последний месяц спокойно обдумать дальнейшие шаги.

Завтра (это все при условии хотя бы частичной удачи с деньгами) сострижет под нулевой номер космы, купит другой костюм и очки. У него есть удостоверение от магазина Зингера в том, что он, Андрей Жук, состоит агентом по распространению швейных машин в деревне… В паспорте (он только что его «вымыл») значится, что Андрей Семенович Жук — уроженец Самарской губернии, по происхождению крестьянин, грамотен, холост, тридцати четырех лет…

— Судьбу, судьбу! — закричали деланно весело валансьеновые девушки и гимназисты.

Потянулись одна, другая пухлые ладошки. Хиромантка, остроносая, рыжая Аделаида Павловна как бы нехотя зажала девичью ладонь костлявыми пальцами.

— Увлечения… детей не будет… линия жизни… перенесли тяжелую болезнь…

— А мне погадайте…

— И мне! Дима Снегирев!.. Биркель! Сюда!

— Ирочка! Серж! Скорее!.. Наталья Львовна!..

Дима усмехнулся, протягивая руку.

— Только чур, сердечных тайн не выбалтывать! Впрочем, вообще, хиромантия — чушь.

Костлявые пальцы зажали Димину руку. Близко к носу по-

ставленные птичьи глазки щупали каждую морщинку на влажной ладони.

Каркнула:

— Плохо! Не буду говорить.

— Почему же?

— Так. Давайте кто-нибудь другой.

— Нет, уж извините, — настаивал Дима, — начали, так уж говорите до конца. Или вы ничего не успели придумать?

— Нет. Просто не хочется вас пугать. Но если вы настаиваете… пожалуйста… Вы скоро умрете насильственной смертью, — вот что написано на вашей руке.

Дима криво усмехнулся.

— Повесят?

— Приревнуют и убьют пепельницей!

— Кирпичом с крыши ударит!

— Не шутите, господа! Ведь я не выдумала. Все это правда.

Если бы Аделаида Павловна говорила об увлечении, о количестве детей, которые у хиромантов где-то сосчитаны на человеческой коже, — наверно, большого успеха ее предсказанья не имели бы. Но теперь множество рук — мужских волосатых, женских пухлых, в перстнях, с браслетками — потянулись к предсказательнице. Что их толкает? Желание узнать, что вот тому смерть, а им здоровье и расцветание?..

Приблизительно такими мыслями был занят Ловцов, когда рассматривал толпившихся возле хиромантки гимназистов.

Но и его подхватили, потащили, привели. Аделаида Павловна подрагивала, волновалась и прерывающимся хрипом каркала неприятные слова.

— Смерть… Насильственная смерть… Господа, предупреждаю, что буду говорить одну правду… И у вас тоже линия жизни прерывается. Вот. Видите?

— Сережка, и ты?

— Приговор без применения амнистии.

— Хо-хо!

— Аделаида Павловна! Пощадите!

— Ни черта! Жарьте, Аделаида Павловна! Всех их туда! У всех у них одна линия…

Аделаида Павловна не слышит острот, гвалта, хохота. Костлявыми руками хватает одну, другую подсунутую ладонь. От-

брасывает, каркнув:

— Тоже!

Хватает новые и новые ладони. И, наконец, растерянно озирается, словно утомленный охотник на тюленей, перебивший добрую половину стада.

— Что же это?.. Может быть, я забыла? Линия ума… Линия сердца… Линия жизни… Ну, да… обрывается… пересечение… Насильственная смерть…

— Довольно! Довольно, господа! Слишком мрачно.

— По-моему, хиромантам разрешается рассматривать только линию любви…

— Друзья! Не волнуйтесь. Это с научной точки зрения легко объяснимо. Все мы ведем одинаковый образ жизни, у всех у нас одинаковая работа…

— Вернее: одинаково никакой работы…

— Естественно, что и складки на руках наших зачастую сходны, так же, как все мы очень часто страдаем близорукостью; так же, как наша излюбленная болезнь — туберкулез…

— Правильно и… довольно!

— Ну, еще одного, и потом конец. Где Андреи Жук?

Андрей исчез.

— Где он? Ищите! Удрал!

В столовой Андрея не оказалось. Там Наталья Львовна гладила по головке какую-то расплакавшуюся гимназистку и говорила ей ласковые, безразлично-ласковые, как колыбельная песня, слова…

— Нашли! Нашли!

— Вот он! В прихожей!

— Судьбу ему предсказать! Строжайший приговор! Аделаида Павловна!

— Не буду я больше. Вы смеетесь.

— Ну, пожалуйста! Ну, последний раз!

Когда подсунули Аделаиде Павловне заскорузлую ладонь Андрея, она тихо ахнула и впилась в нее отполированными ногтями.

— Ну, как? Скоропостижная смерть от малокровия и бледной немочи?

— У меня руки грязные, — пытался Андрей вырваться.

— Не грязные, а рабочие! — с пафосом проговорил Вадим

Константинович.

Аделаида Павловна оторвалась наконец от ладони и обвела всех торжествующими глазами:

— Ну, вот, смотрите, господа, сами: вот ваши линии, а вот его… Я ничего сама не выдумываю. Вот линия идет до конца глубокой складкой, а у вас… Дайте вашу руку… У вас разрыв. Вот здесь, видите?

— Ура! Андрей Жук прожужжит до ста лет!

— Андрей! Приходите на наши могилки!

— Ужи-нать! — покрыл все голоса и крики Дима. У него был голос хорошего командира эскадрона.

Вышучивая хиромантку, двинулись гурьбой в столовую. Подмигивали на Андрея, на Аделаиду Павловну!

— В мозолях запуталась…

— Ну, нам пора, — поднялась Мурочка. — Андрей! Где ваше пальто?

В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ

Прислуга открыла двери и, заметив, что Мура не одна, шмыгнула в кухню. Она была в одной рубашке.

— Жаль, что у нас нет масок, — шепнула Мура, и они стали прокрадываться по коридору и затем по скрипучей лесенке.

Андрей уже раскаивался и считал нелепой всю затею. Во-первых, к чему же подводить эту легкомысленную романтичную девицу? Во-вторых, что за метод революционера выкрадывать деньги из письменного стола?

Но тут же рассердился. Чем он отличается в таком случае от Мурочки? Ей хочется в масках, а ему хочется красивой позы, трескотни бенгальского огня?

Андрей внутренне как-то взял себя и встряхнул, как встряхивают от сна человека.

«Ты, дурило, отвечай прямо: дело твое нужно?» — «Нужно.» — «А можешь ты что-нибудь сделать после ареста чуть не всей уфимской организации?» — «Могу, если добуду средства.» — «Черт паршивый! Ведь ты давеча от сыщика не мог удрать, потому что полтинника на извозчика не было. Ведь если бы не эта полоумная девица, ты сидел бы уже в местах злачных. Оставь другим красивые позы. Гни упрямо, используй

каждую возможность!»

Пока он мысленно себя уговаривал, лестница кончилась. Мура скрипнула дверью и втолкнула его куда-то в темноту.

Андрей еще у Ловцова придумал, чтобы выгородить Муру, обставить дело так, будто был взлом. Но Мура, кажется, только того и боялась, что подумают не на нее.

Вот она сбросила обувь.

— Ждите здесь!

Снова скрипнула дверью и выскользнула в коридор.

Оставшись один, Андрей постепенно привык к темноте. Сначала выплыло и повисло перед взором матовое нематериальное окно. За ним поползли и выделились из стен большие и светлые предметы. Изразцовая печь блеснула налево. Направо вытянулась и мягко показала ворох подушек постель… Где-то тикают часики. Где-то далеко, кажется, в нижнем этаже, раздался треск…

А что, если она пойдет и разбудит отца? Не из преданности царю, даже не из дружбы к убитому губернатору, а так, из озорства?

Андрей стал проверять все ее слова, поступки за день. Он вспомнил, какое у нее было лицо, когда она узнала в нем убийцу губернатора… Первый ее вопрос, когда они приехали к дому, — вернулся ли отец… Она выспросила у Андрея, есть ли у него оружие… И зачем нужно было ему с первых слов называть себя?

Все эти мысли нахлынули, толпились, назойливые, как мошкара. Но простой довод успокоил его: все равно он безоружен, у него нет главного оружия — денег. О нем всюду дано знать. Верно, фотографы поработали над его фотографическими карточками en face, в профиль и во весь рост. Прилагается описание примет. Опальный, обреченный, потерявший связи с организацией и заочно осужденный за выстрел в губернатора, — чем он рискует? А в случае удачи он выберется в уезд, отыщет уцелевших от разгрома товарищей, восстановит связь с Матвеем, и опять начнется пестрая жизнь, явки, пароли, прокламации, митинги…

Андрей почувствовал, что вновь способен к вечной зоркости, вечной готовности к нападению.

— Ладно, — почти сказал вслух и двинулся было к печке,

чтобы прислониться к ней, когда явственно услышал чей-то вздох.

Замер. Вслушался. Нет, тихо. Тикают часики в той стороне, где белеют подушки кровати… Но ведь он не ослышался. Кто же может тут быть? Конечно, это комната Муры. Мура говорила, что в комнате помещается она одна. Но Муры не было целый день дома — сюда мог кто-нибудь прийти. Ну, родня, какая-нибудь тетка прикорнула в отсутствии племянницы и уснула. Или подружка пришла с ночевкой…

Если Мура придет и, ничего не подозревая, не остережется, конечно, разбудит спящую. Андрей решил не шевелиться, ничем не выдавать своего присутствия, а как только войдет Мура, — предупредить ее.

Насторожился. Кажется, идет. Андрей различил среди бесцветной тишины скрип ступеньки. Ему даже показалось, что он слышит шелест ее платья. А вот еле уловимый топоток пяток разутых ног. Нет шлепанья, характерного для босых ног. Значит, в чулках. Значит, Мура.

Когда дверь проскрипела и знакомая по очертаниям тень приблизилась, Андрей протянул в темноту руки и тотчас нащупал мягкий беличий мех. Он хотел притянуть к себе голову Муры, чтобы шепнуть ей на ухо.

И вдруг почувствовал, что мягкий мех податливо придвинулся и две руки обхватили его. Мура поняла Андрея иначе, когда он наклонял ее к себе.

— Скажи, — прошептала она, — ты обнимаешь меня не только, как женщину, но и как партийного товарища?

Андрей отыскал ее ухо и шепнул:

— Тише, в комнате кто-то есть. Я слышал дыханье.

— Нет, — ответила Мура, обхватывая его еще крепче, — это кошка.

Теперь и Андрей, припомнив вздох, который услышал, понял, что это был позевок кошки. Успокоился, но не мог понять, почему обнимает его Мура.

— Значит, кошка, — зачем-то повторил он опять.

— Да, да. Надеюсь, ты «кошек не боишься», как поется в украинской песне?

Мурочка замерла. Андрей слышал, как она часто дышит. Подумал:

«Видно, в последнюю минуту струсила, а теперь не знает, как рассказать… Ну, наплевать. Сорвалось — и ладно. Можно попробовать ночью дойти до деревни»…

Андрей вспомнил, что у него есть удостоверение от Зингера. Мурочка все молчала, и Андрею показалось, что молчание ее тяготит.

— А ведь я совсем было принял ее за человека, — продолжал он шепотом. — Думаю, тетка или подруга…

— Однако вы не отличаетесь южным темпераментом! — уже не шепотом, а вслух сказала раздосадованная Мура.

— Темпераментом? — переспросил Андрей и вдруг, стыдясь своей непонятливости, с неловкой поспешностью обнял ее и прошептал: — Мне как-то не пришло в голову…

Досада у Муры прошла. Она рассмеялась.

— Фу, чудак! Даже сердиться на такого невозможно. — И неизвестно, какими путями проникла к ней жалость: — Бедненький вы мой! Вам жить совсем некогда!

Андрей подумал, что на это-то он, пожалуй, возразит. Во-первых, он не бедненький, а самый богатый на свете — ведь у него будущее. Во-вторых, у них, подпольщиков, только и есть настоящая жизнь. Остальные или дрожат на бочке пороха, или испытывают недовольство, неполноту и неловкость, что замалчивают самые главные вопросы — о необходимости бунта…

Но он произнес лишь неопределенный звук, означавший несогласие.

— Слушай, — зашептала опять Мура, — деньги здесь. Все сделано. Потом выйдешь, и оставим незапертой дверь, чтобы запутать… Я добыла тебе кое-что переодеться. Не забудь парикмахера. Сколько денег — я не разобрала: темно. Огня зажигать не будем, посидим так. В темноте таинственнее… Хорошо? Сделай это для меня… Если же в будущем захочешь меня видеть, брось с улицы в окно комом снега или камешком. Тут есть гимназист в меня влюбленный, так он всегда так делал… Если же меня нет дома и я не выйду, сделай надпись карандашом на карнизе «А», что будет означать «Андрей», затем поставь число, когда придешь, чтобы я ожидала…

Андрею было тепло. Он отогрелся, повеселел. Он думал о том, что теперь, с деньгами, удастся наладить работу. Но в то же время, рядом с этими мыслями и одновременно с ними,

словно первую мысль обдумывала одна часть мозга, а вторую — другая, крепла и вырастала скорее не мысль, а ощущение. Как оттираемый снегом и спиртом замерзший в снегу путник постепенно начинает сознавать воздух, окружающее, голоса, боль, свое тело, так Андрей вдруг почувствовал то, чего раньше не замечал: что в комнате пахнет натопленной печью и тонко мерещатся духи, которые, вероятно, стоят вон там, где четырехугольник зеркала.., что рядом с ним — пушистый ком беличьего меха — женщина…

Андрей подумал:

«Ведь не противоречит же это партийной этике… А эта полудевушка, полуженщина, кажется, уже знает мужчину…»

Но ему было неловко прикоснуться к Муре после ее насмешливых слов.

Момент был потерян. Мура говорила об интересной жизни среди опасностей, о желании кого-нибудь убить по поручению партии…

Андрей слышал ее низкий волнующий голос, ощущал ее дыхание, так она близко стояла возле него. Он угадывал в очертаниях меха ее тело.

— Мура, — перебил он ее, — вы славная, хоть и странная. Я дорожу жизнью, как игрок дорожит золотом, потому что, пока у меня есть жизнь, я могу бороться, как игрок продолжать игру. Вы спасли мне жизнь, и я буду продолжать мое дело. Завтра я уйду туда, в подполье. Меня не будет видно, но до вас будут доходить снизу глухие толчки - это я, это мы пробиваем подрывные траншеи, чтобы рухнул гнилой дворец… Но сейчас, но сегодня, на несколько минут… Мура, позвольте мне… поцеловать вас. Иначе, как я выражу полнее все, что я чувствую?..

Мура поняла нехитрую уловку Андрея. Угадывая, что ему неловко после первого промаха, поддержала игру.

Нет, сказала она, — нельзя поцеловать, пока не разденетесь и не поможете мне расстегнуть шубу… Вот теперь можно… Только не так… Фу, неумеха!.. Вы не умеете целоваться! Вот так надо… вот так…

Когда он выпустил ее, оба не знали, о чем говорить. Муре захотелось спать. Андрей боялся поддаться дремоте. Ведь можно заснуть и быть застигнутым здесь.

Мура не возражала, когда он собрался уходить.

Крались опять по коридорам, нащупывая ногой ступеньки лестницы.

Андрей вышел на крыльцо, а Мура стояла, приоткрыв двери, не уходила. Андрея охватила дрожь, какая бывает, если выйдешь на мороз после бессонной ночи. Он огляделся. Стояла мутная полутьма. Был час, когда дремлют самые зоркие часовые, а будочники и ночные караульщики даже всхрапывают, зарыв головы в тулупы.

Андрей поцеловал Муру, но как-то вяло. Мура сказала:

— Сегодня пятнадцатое. Ровно месяц назад ты убил, а сегодня… Какая смешная жизнь!..

— Иди, а то простудишься, — ответил он.

В голосе его было что-то такое, что появляется у мужчины, беседующего с женщиной, которая ему отдалась. Это не презрение. Не покровительство. И не заботливость. Оттенок, не имеющий названия.

Ведь столько вещей на свете, не получивших еще имен.

РАЗГОВОРЫ

Когда ударился в стекло комок снега, — условный знак, — Мура вздрогнула, вскочила, растерялась.

«Он с ума сошел! Разве можно было приходить на другой же день!»

Бросилась вниз и, прыгая через ступеньку, придумывала, как обовьет его шею и скажет:

«Сумасшедший Андрей! Ты соскучился обо мне.»

Она шепнет ему эти слова и велит подождать возле дома, пока она оденется, и пойдут они вместе в грязный и такой романтический трактир «Цветок».

— Андрей! — окликнула она темноту.

Различила блестящие пуговицы. Мелькнула мысль о полиции, но через мгновение сообразила, что перед ней Глеб.

Тогда, чтобы превратить в шутку выдававшее ее слово, нашлась сразу и закричала:

— Андрей-воробей, не гоняй голубей!

— Почему Андрей? — спросил Глеб.

— Потому, что ты гоняешь голубей и не являешься ко мне

по тысяче лет…

— Нет, а все-таки объясни без шуток: почему Андрей!

— Фу, какой! Хорошо, объясню, только не на морозе.

Мурочке досадно, что пришел не Андрей, но на лестнице она отыскала руку Глеба и, сжав ее, прошептала;

— Сумасшедший Глеб! Ты соскучился обо мне?

И тут же вспомнила, что приготовила эти слова для Андрея…

Сегодня она ожидала переполоха, шума, ругани, угроз отца. Она представляла себе такую картину. Отец, растрепанный и почему-то с расстегнутым воротом рубашки, как — на картине она видела — палач, казнящий Пугачева. Отец швырнул Муру на колени. У Муры распущены волосы, отец кричит: «Назови мне его имя!» Мура рыдает, но ответ ее тверд: «Отец, ты требуешь от меня невозможного…»

Проспала Мура долго. Проснулась. В доме тишина. Постучала мать и предупредила, что уходит и не вернется до позднего вечера.

— Папа уехал? — спросила Мура, затаив дыхание.

— Уехал, — ответила мать через дверь. — Вставай, уже два часа.

«Вот и время по обыкновению на полчаса прибавляет, — взглянула Мура на крохотные золотые часики над кроватью. — Значит, ничего не заметили».

Глеб поднимался по знакомой лесенке. Он уже жалел, что пришел, что нарушил данное себе слово. Чего он ждал? На что надеялся? Что Мурочка стала другой? Как бы не так!

Мура шла следом и вдруг сообразила, что дома никого нет, и, если бы пришел Андрей, мог бы пробыть смело целых два часа.

Теперь Мурочка сердилась на Андрея. Она-то обрадовалась! А этот трус, поди, и мимо дома боится пройти!

«Вот тебе! Вот тебе!» — кричала она мысленно Андрею, осыпая поцелуями Глеба.

— Не целуй меня! — вдруг закричал исступленно Глеб. — Целуй своего Андрея, потаскуха!

И, оттолкнув Муру, он бросился вон. Внизу натолкнулся на горничную, ударил ее головой в грудь, отпрянул и выскочил, как сумасшедший, на улицу.

Слезы душили Глеба, и он еще больше злился за это на себя. Дурак! Ах, дурак! Разве не сказала Мурочка Глебу все откровенно, понятно для самого непонятливого? Мура терпеть не может мальчишек, которые лезут любить, а сами ничего еще не смыслят. Конечно, Глеб для нее забава, она ждала какого-то Андрея, он же ясно слышал…

Мурочка лежала. Улыбка блуждала по ее лицу.

«Какие они глупые все! Выдумывают всякие преграды, ревность, воздержание… еще что?.. революцию»

Мурочка раскинула голые руки, зажмурилась и кого-то ловила в воздухе.

«В нашем городе даже не с кем быть развратной!.. Скука! Скука!»

В десять часов вернулся отец. В одиннадцать обнаружил пропажу.

Опрашивал прислугу, потребовал к себе в кабинет Муру.

Узнав, что в ящике было пятнадцать тысяч, Мура была неприятно поражена. Обыкновенно у отца в столе бывало пятьсот, самое большее — тысяча… Если бы Мура знала что в пачке пятнадцать тысяч, она, может быть, еще подумала бы, прежде чем отдать их «на революцию».

В кабинете было холодно. Мура, сидя в кожаном кресле, ежилась и рассматривала отца.

Вот человек, в какого могла бы она влюбиться. Хитрый, смелый. И денег у него много. А как он следит за собой! Мура никогда не видела его небритым и не представляет себе его без галстука. А какое хладнокровие! Пятнадцать тысяч — для него чувствительная сумма.

Прислуга при Муре повторила рассказ о том, как два часа назад в коридоре на нее натолкнулся сумасшедший гимназист, больно ударил ее головой в грудь (горничная показала, в какое место он ударил), затем выскочил в дверь, даже не застегнув шинели.

— Можете идти, — сказал горничной Бабичев.

За горничной вышли кухарка и кучер Сергей.

Мура ликовала. Проняла наконец хладнокровного человека! Вскочил, забегал взад и вперед, лицо сделалось некрасивым, челюсть отвисла.

Сначала Муре казалось, что он начнет кричать и топать но-

гами. Она съежилась вся и выжидала, и было у нее чувство такое, как бы щекотно: так бывает, если ногу сдавить немного выше колена.

Но отец подошел, и, словно веря, что Мура разрешит ему трудный вопрос, от всей души проговорил:

— Зачем я тебя породил? Нет! Зачем я тебя породил. Долго к тебе будут шляться любовники? Подцепишь какую-нибудь заразу — что будешь делать?

— Возьму у тебя денег и буду лечиться.

— Ну, поколеньице! — проворчал Бабичев.

Но вот он снова овладел собой. Снова сидит в большом кресле с высокой спинкой и курит.

— Вылитая мамаша! — сказал насмешливо. — У той, я всегда сомневался, что под буклями есть череп. Я уверен был, что если запустишь в букли руку, то достанешь до самой шеи, ни черепа, ни мозга нет.

Мурочка помолчала и ответила.

— Я не на мамку, я на тебя похожа. А у тебя как раз наоборот: один череп, и буклей ни капельки.

— Ну, ладно, хватит пустых разговоров. К делу. Итак, ты утверждаешь, что тебе неизвестно, кто взял деньги, — сказал, хрустя пером и протыкая промокашку Бабичев.

— Утверждаю. Не хрустите пером — это меня раздражает.

— Деньги пропали сегодня. Сегодня от тебя убегал гимназист. Сегодня не было дома матери. Сегодня тебя видели у меня в кабинете.

— Кто?

— Даша.

— И врет.

— Я могу ее позвать… Может быть, я перепутал…

— Постой… Я была… Но зачем же я была? Да просто посмотреть на градусник… Я даже, видишь, про это забыла…

— Ты посмотрела на градусник, увидела, что на дворе девять градусов ниже нуля. Затем ты ничего не делала в кабинете?

— Даю тебе честное слово, что я только посмотрела на градусник.

— В таком случае, извини. Ты понимаешь, что я должен был из чувства справедливости к прислуге спросить и тебя о деньгах. Еще один вопрос. Ты можешь назвать мне гимназиста,

которого встретила Дуня?

— Глеб Чердынцев.

— Он играет в карты?

— Прости, отец, но ты начинаешь задавать, мягко выражаясь, странные вопросы.

— Нет, я спрашиваю: он играет в карты? Имей в виду, что весь разговор останется между нами.

— Он играет в футбол.

— А в лото?.. — Короче: он не проигрался на этих днях? Или вы задумали с ним бежать? Ты понимаешь, что даже в твоих поступках должна же быть какая-нибудь логика. И не вижу никакой логики.

— Может быть, у тебя была экспроприация?

— Какая, черт, экспроприация? У меня украдены деньги. Ты не хочешь мне сообщить — кем? Нет? Хорошо. Я тебя не буду больше задерживать. Сегодня я буду долго сидеть, заниматься. Если ты захочешь ко мне прийти, не стесняйся, приходи. Во всяком случае, я заявлю о пропаже в полицию не раньше, чем завтра.

— Мерси, — присела насмешливо Мурочка и, повеселевшая, успокоенная, пошла наверх.

Выходя из кабинета, Мура чувствовала взгляд отца на своем затылке. Она не обернулась, хотя очень трудно было заставить себя не оборачиваться. Она вышла.

Каких-нибудь два года назад Мурочка была конфузливой, наивной институткой, и, если бы Бабичев не перебрался в Уфу, она бы и сейчас зачитывалась втихомолку Чарской и гуляла в обнимку с девочками по институтскому саду.

Гимназия произвела на Муру впечатление улицы после тихих покоев. Вырвавшись из дортуаров, сменив истеричных подруг института на бойких гимназисток, Мура словно спешила наверстать потерянное.

Два раза ее исключали из гимназии, наконец, пришлось примириться на частной. Но и тут она висела на волоске, редко ходила на занятия и коробила классных дам своими выходками.

Иногда казалось, что дочь состязается со своей матерью, нарумяненной старящейся женщиной. Скандальные истории семейства Бабичевых были, так сказать, беллетристикой обывателей города.

То передавали, что старуха бьет по щекам прислугу, то повторяли неприличный анекдот, будто бы рассказанный Бабичевой на уроке учителю географии.

— Прямо Чехов! Прямо Чехов! — захлебывались чиновники.

Чиновницы хихикали и делали скромными свои бесстыдные лица.

Последняя сплетня была о мамаше. Говорили, что она сбежала с восемнадцатилетним мальчишкой и прихватила деньги из мужнина письменного стола. Называли разные имена любовника и разные суммы похищенных денег. Одни говорили, что в столе было сто тысяч, другие — что только двадцать пять. Некоторые (вероятно, эта версия была сочинена бухгалтерами) называли какую-то цифру с копейками, как в поддельных денежных отчетах.

Верно из всей этой истории было лишь то, что, действительно, деньги пропали, и еще, что мадам Бабичева не ночевала две ночи дома.

Поверил ли какой-нибудь доле сплетен Бабичев? Видимо, поверил. Во всяком случае, он никуда о пропаже не заявлял, ничего не предпринимал, только перестал оставлять какие бы то ни было деньги в злополучном ящике.

Мурочка сама не понимала, довольна она или недовольна неожиданной путаницей, внесенной мамашей. Приключение кончилось прозаично. Мурочка хандрила, валялась целые дни в постели, читая «Маргариту Стэнэль» и «Ника Картера».

После временных подъемов, когда Мура носилась с какой-нибудь выдумкой, всегда наступала хандра. Мура уже знала неизбежность таких периодов и, заметив, что хандра приближается, наползает и скоро бросит ее вялое тело на перину, посылала Дашу за рахат-лукумом и дрянными лубочными книжками. Во время хандры она непременно ела рахат-лукум и непременно читала о неизобретательном сыщике Нике Картере.

Прошла неделя, две недели… На третьей неделе Мура выбросила в печку остатки клейкого рахат-лукума. Туда же полетели книжечки с грубо размалеванными обложками.

Язычки пламени забегали вокруг коробки и скомканных страничек, не трогая пока, словно осматривая со всех сторон,

добычу. Потом сразу вспыхнула вся книжка, огонь перелистывал и отбрасывал почерневшие страницы, словно торопливо перечитывал приключения Ника Картера. Вскоре задымил рахат-лукум.

Мурочка оделась с таким видом, будто кто-то нарушил ее покой и приходилось идти против желания, и направилась к Ловцовым.

Наталья Львовна встретила радушно и заговорила так, словно они только вчера виделись. Народу — против обыкновения было мало, всего несколько мужчин и две-три женщины.

Мура осмотрела быстрым встревоженным взглядом женщин. Задержалась на той, которую называли Нюсей. Краснощекая, рослая, толстая. Волосы гладко зализаны. Большой рот. Нет. Не опасно.

Мура повеселела. Теперь ей хорошо. Теперь ей интересно жить. Мурочке весело, когда рядом мужчины, которые хотят ею обладать. Мурочка похорошела. Мурочка выходит на середину комнаты и говорит:

— Знаете, у меня, может быть, какая-то неисследованная болезнь. Вроде припадков. Это делается само. Вот тут горячим ударяет, словно лопаются мешочки с кровью: «бух! бух! бух!» И тогда я роняю вожжи и смотрю: куда-то опрокинет меня сумасшедший скакун. И знаю, что сумасшедший скакун — я сама и есть. И мне делается интересно: какое-то антраша я выкину. С вами такого не бывает?

Нюся изумленно таращит глаза.

— Вы меня спрашиваете?

— Вас. Не печку же.

— Со мной подобного описанному вами не бывает.

— Подобного описанному! Ха-ха. Вы, вероятно, дочь архиерея?

Мурочка чувствовала в себе какого-то бесенка:

«Эх, сказать бы им, что это за чревовещатель Жук! Вот бы ахнули!

А папашка-то! Подумал на муттерхен! Комедия! Что бы еще выдумать? Что бы отчубучить? И у Ловцовых что-то скучища… Все словно мух наелись…»

Лига любви у Ловцова распалась. Слишком громко начали о ней говорить. Наталья Львовна часто щурит на Вадима Кон-

стантиновича глаза и говорит:

— Твоя совесть может быть спокойна: растлил десятки людей.

У Вадима Константиновича дергается мускул на щеке. Сейчас Вадим Константинович расплачется.

— Ты не понимаешь! Когда-нибудь скажут спасибо несчастненькому адвокату Ловцову за то, что отвлекал мысли молодежи от смерти в сторону любви! А впрочем, Наточка, я все вру. Я безыдейный, Наточка. Я мучительно сознающий себя пустым. Я такой же безыдейный, как какой-нибудь становой пристав. Но у меня культура, нервы. Поэтому безыдейный пристав живет благополучно, а безыдейный изверившийся адвокат вихляется, как старая ставня.

Наталья Львовна счастлива, когда Вадим Константинович несчастен. Ведь если он счастлив, он принадлежит не ей, а несчастный он спрячет голову в ее колени, как прятала когда-то Аня Иванова.

Вот он притих, он молчит. Наталья Львовна гладит его голову с просвечивающей сквозь волосы кожей.

— Вадя — маленький мальчик. У Вади два личика. Мы печальное личико завернем в ватку, положим в коробочку и спрячем в комод. Никто не найдет печального Вадиного личика…

Вадим Константинович лежит притихший, обессиленный. Он не видит глаз Натальи Львовны. Он слышит ее голос и чувствует ее ладонь.

Он лежит и слушает. Слушает свою ноющую боль. И кажется себе лошадью, искусанной оводами.

— Ах, как больно жить! Как больно жить!..

Мурочка бывает у Ловцовых часто. Она садится около Вадима Константиновича и жалуется ему, что ничего не может выдумать.

Приходит и Аделаида Павловна. Иногда они вчетвером ходят в театр. Мурочку это немного развлекает. Но Аделаида Павловна и в театре говорит о смерти, словно смерть — ее профессия. Она по лицам предсказывает, кто скоро умрет и кого ожидают неприятности. От ее шепота распространяется легкий трупный запах, как на кладбище.

— Вот этот актер — завтрашний покойник, — говорит Аделаида Павловна. — Видите какой у него обреченный вид?

Наконец Мурочка придумала развлечение. Она явится как ни в чем не бывало к Глебу! В конце концов, с ним все-таки веселее, чем с Аделаидой Павловной, с этим «похоронным маршем». И Ловцов стал какой-то тюрей… Скука смертная! Да, решено: к Чердынцевым! Как встретит Глеб? Ударит? Не подаст руки? Просто убежит? Может быть, Бабичевой захочется покаяться. Она поклонится, как Раскольников, на четыре стороны и скажет припадочным голосом: «прости»… А может быть, наскандалит?.. Интересно потревожить тихое семейство городского учителя! Идет! Если и будет провал — она это заслужила…

Бабичева осмелилась не сразу. Она долго колесила около Чердынцевых окон. Наконец позвонила. Ждала. И оттого, что ее могли выгнать, оскорбить или усадить на стул и заставить слушать выговор, — она разрумянилась и разгорелась.

— Интересно!

В гостиной притихли после звонка и ждут. Глеб, услышав знакомый голос, побледнел и спрятал голову в плечи, словно его хотят ударить.

Бабичева шагнула через порог, глянула, остановилась, выжидая. Оксинья и слова не успела сказать.

Елизавета Ивановна потеряла дар речи.

Опять появилась эта ужасная девица! И это теперь, когда Глеб, слава богу, начал ее забывать! Чего она хочет?

Елизавета Ивановна походила на наседку, защищавшую цыплят от коршунов. Коршунов было два. Один другого когтистее. Вот-вот утащат и Виктора и Глеба, вот-вот разорят и без того дырявое гнездо.

Елизавета Ивановна заслонила Глеба.

Глеб из-за спины матери смотрел на Мурочку в упор. Ему казалось, что она только притворяется веселой и спокойной. Сейчас оглянется, крикнет: «Вот он, негодяй, который меня оскорбил!» Сейчас она бросится и залепит Глебу пощечину… И правильно сделает: разве так обращаются с женщиной? Он же ее так обозвал… Глеб уже придумал, как он поступит. Он спрячет руки за спину и внятно скажет: «Спасибо, Мура. Ты права».

Но вот она подходит, заискивающе глядит в глаза. Здоровается. Оба нерешительно протягивают руки.

«Неужели простила? — думает Глеб, — неужели поняла

и простила, прекрасная?»

Елизавета Ивановна сделала какое-то движение. Мурочка обернулась в ее сторону.

— Чего вы встали? Сидите! Или налейте мне хоть чаю. Глеб, что вы смотрите все на меня, как в граммофонную трубу? Ну, примите же меня в свою компанию, мне скучно, я могу самоубийством кончить. Ты чего, Глеб, дуешься? Ну, хочешь, я у тебя прощенья попрошу, пока ты не попросил у меня сам?

Видимо, Глеб все время сдерживал вскрик, потому что теперь крик у него вырвался неестественно громко, как будто слишком много накопилось его в горле.

— Мура! — закричал он, бросаясь к Бабичевой.

— Ну, вот, — засмеялась Бабичева, — я так и знала. Вот, смотрите на него, дурачка Иисуса Христовича! Ну, иди сюда. Не можем же мы при всех разговаривать о разных разностях. Иди, спроси у мамы, можно мне поцеловать тебя? Ты славный мальчик, и мне без тебя скучно. Помиримся?

Когда пришел домой Петр Никанорович, он застал такую картину: посреди комнаты, окруженные всем чердынцевским семейством, стояли Мура и Глеб. Они целовались.

А через месяц Мурочка обвенчалась с Чуфаровским и уехала с ним из Уфы. Глеб не очень переживал. Даже, пожалуй, вздохнул с облегчением.

Елизавета Ивановна шумно возмущалась «чертовкой Мурочкой»:

— Она и мириться приезжала — только чтобы ее верх был, ее маковка. Дразнит, дразнит, совсем было извела парня. Ну, теперь пусть этот Чуфаровский с ней помучается, а мы, слава богу, сыты по горло!

И она на радостях испекла калиновый пирог.

ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ

Витя походит на ненаигранный граммофонный валик. Вцарапает в него еще много арий горластая жизнь. Будут и Бим-Бомы, и романсы Вяльцевой, и хор Архангельского, и краковяк. Наиграют, упакуют в конвертик времени, и будет выпиликивать хриплым голосом прошлое на радость и развлечение завтрашних гостей…

Четыре смерти. Так и озаглавлено в Витиных дневниках.

Первая смерть — Алфеева.

Алфеевская смерть — смерть огромная, значительная, потрясающая смерть. Ведь она и толкнула Витю к жизни. Всегда так: если идут люди вереницей и убьет идущего впереди обвалившейся глыбой — остальные остановятся, посмотрят и обойдут опасное место стороной.

А вот рядом со смертью Алфеева, рядом с этой огромной смертью, — маленькая обидная смертишка учителя словесности Словоохотцева.

Умер Словоохотцев. Зачем только он не хлопотал о перемене фамилии? Подал бы прошение на высочайшее имя, может быть, тогда сразу по могильной надписи не угадывали бы, какой тут гниет скучный человек.

Бабичевой сказали:

— Умер твой поклонник Словоохотцев.

Призадумалась на минутку.

— Я, — говорит, — так и знала. Какой-то он был такой, смертельный.

После его смерти Витя вдруг заволновался, поехал к нему на квартиру, беседовал с некрасивой, бесщекой его женой. Вите хотелось, чтобы под незначительностью и плюгавостью невеселой этой истории скрывалась какая-нибудь тайна. Ну, если не порыв, то порывец, так что-нибудь, хоть тайные пороки какие-нибудь или особенная великая злость.

Некрасивая бесщекая жена показала Вите некрасивых, замаранных детей, изготовленных без любви, без внимания, как платья шьют на магазины.

— Может быть, остались какие-нибудь записки, требующие немедленного издания? Труды какие-нибудь? Коллекции, дневники?

— Ах, коллекции? Идемте, идемте, он собирал коллекцию неприличных картин. Вы мужчина, хотите, так поглядите, а я выйду по случаю моего женского состояния… Может, сгодится продать?

Утирая слезы, которые нет-нет да и выдавливались из уголков глаз возле переносицы, вдова Словоохотцева вышла. Витя остался один в кабинете, где какую-нибудь неделю назад работал покойный. Вон даже и календарный листок сорван его

рукой. И шкаф, как не запер, так и остался с полуоткрытой стеклянной дверцей, и смотрит на него сиротливо какое-то приложение к «Ниве». В пепельнице валяется недокуренная папироса. Витя с каким-то нутряным ужасом посмотрел на ее обмусляканный конец.

— Не докурил! — прошептал, бледнея.

Окинул невнимательным взглядом карандаши, вставочки, груды тетрадей, закопченный сургуч.

— И двойки не доставил…

Чтобы отвлечься, начал старательно перелистывать альбом. В альбоме не оказалось ничего ценного. Аккуратно подклеенные иллюстрации к новеллам Боккаччо. Вот монах Рустико, загоняющий дьявола в ад. Вот «заколдованная груша»… Дальше несколько непристойных рисунков карандашом на выдранных листах ученических тетрадей. Даже конфетная бумажка с голой женщиной. Неуклюжий заголовок альбома: «Ужинающий сатир».

Витя поспешно выбрался из комнаты, пропахшей, казалось, навсегда табачным дымом и, по-видимому, никогда не проветривавшейся.

Теперь он понимает, почему никто не плакал на похоронах. Не о чем было плакать.

Гроб был средней цены. Провожали гимназисты и гимназическое начальство.

Речь сказал отец Амврозий. Она смахивала на заданный урок из катехизиса. После отца Амврозия вылез Биркель. Он опять говорил о земле, которая будет пухом. Он всегда говорил одно и то же, а сказав, слезал с могильного холмика довольный, облегченный, горбя по обыкновению спину и поблескивая новыми, скрипучими калошами. Говорят, он отсылал свои речи в местную газету и обижался, когда их отказывались печатать.

С кладбища шли какие-то, как показалось Виктору, радостные. А может быть, и правда радостные? Ведь живые радуются — не умом, а мясом радуются — чужой смерти, потому что чужая смерть — отсрочка для оставшихся. Или же скорбят, плачут, потому что жалеют, что не избежать когда-нибудь той же участи.

Пятнадцатого декабря — третья смерть: террористический акт — убийство губернатора.

Город Уфа ничем не славился. Были в нем две мужские

и две женские гимназии, реальное училище и учительский институт. Была река, по которой каждое лето гнали плоты к лесопильным заводам. Было много церквей, дворянские бани с душами и номерами. Но жили в нем прескучно. Ходили на любительские спектакли, служили, по воскресеньям ели капустные или рыбные с сагой пироги. Казначейские ели отдельно, земцы — отдельно, железнодорожники — своей семьей, педагоги — своей…

И вдруг — убили губернатора. Да, губернатора, которого все знали, который на спектаклях сидел в первом ряду, а в антрактах стоял около самых музыкантов, так что дирижер Якобсон сбивался от волнения с такта.

Несколько дней весь город ходил как пришибленный. И только теперь, когда убийство произошло, стали говорить, что губернатор был собака, что убили его политические за суровый режим в тюрьме. Только после убийства узналось, что была в местной тюрьме объявлена голодовка, что политических избивали… «Политические» звучало так же, как кондукторы, врачи — это была чья-то профессия.

— Глупо! — сказал Чердынцев за обедом. — Заменят другой такой же собакой, если не хуже.

Неделю-другую пообсуждали, поволновались. Затем неделю делились впечатлениями о новом губернаторе. Сведения о новом губернаторе сводились к следующему:

1. Приятный.
2. Знает три языка, пишет пьесу «Невеста ни при чем», записался в уфимское общество любителей драматического искусства, пьесу будут ставить.
3. Повесил около своего дома ящик и ключик от ящика носит при себе. На ящике надпись: «Лично в руки губернатору».

Потом новые события заслонили и смерть старого губернатора, и назначение нового. В дворянском собрании выступила приезжая оперная труппа… Была выставка птицеводства… Был пожар…

У Вити в дневнике о третьей смерти каких-нибудь два слова, да и те напоминают заобеденные беседы Петра Никаноровича с домашними.

«Легковеры! — восклицает Витя, неизвестно к кому обращаясь. — Сотни губернаторов умирают естественной смертью,

и жизнь не переменяется. Неужели вы рассчитываете переделать ее при помощи убийства одного?»

О четвертой смерти истекшего учебного года у Вити много записей.

Первый Петр Никанорович принес это известие, что погиб страшной смертью Сережа Снегирев: его повесили в тюрьме, как революционера. А Витя даже не знал, что он в тюрьме, говорили, что он болеет. В гимназии пожимали плечами и отмалчивались. Биркель осмелился даже сказать по адресу убитого:

— Дурак.

Но, заметив пристальный взгляд Федорова, стушевался.

Витя писал:

«Наш класс какой-то несчастливый. Смерть за смертью. Словно подряд взяли. И если уж так надо, то почему непременно Снегирев? Не могу с этим смириться. Не могу простить себе, что он прошел мимо меня, что я так и не дождался его важного разговора. А предчувствие было верное: он, действительно, мог мне сказать важное, что он знал и чем жил…»

Оказывается, Сережа Снегирев давно был связан с какими-то кругами, о которых осторожно говорили: подполье. Оказывается, у него нашли листовки. Оказывается, в городе был арестован не он один. Еще что-то говорили, но неуверенно, — о каком-то складе оружия, о подготовке побега из тюрьмы… Но все это казалось каким-то невероятным, о чем можно вычитать только в книжках.

Петр Никанорович рассказывал в прихожей, позабыв раздеться, как Снегирев-отец постарел в один день, какая выношенная злоба была в его словах о «его величестве»: «Его величеству народу угодно было взять у меня сына… Ну что ж, ваше величество, мы все служим вам по мере наших сил…»

— Кажется, в такие минуты не следовало бы ему так говорить, — заметила Елизавета Ивановна.

Целое лето Чердынцевы находились под впечатлением этой смерти. Виктор заказал в фотографии переснять и увеличить портрет Снегирева с групповой гимназической карточки. Он вырезал из фотобумаги траурную рамку и прикрепил портрет над своим столом. Портрет получился несколько расплывчатый, и, кроме того, виден был локоть соседа, плохо заретушированный фотографом. Но все-таки Виктор был доволен. Он

часто поглядывал на портрет, и это всегда вызывало у него возвышенные мысли, проверку себя: портрет Сережи был и дорогой памятью, и контролем совести.

Через несколько месяцев после гибели Снегирева его величество народ был призван под винтовку, и мимо хутора загремели торопливые воинские поезда.

СОЛОМЕННЫЕ ЧУЧЕЛА

По обсосанному солнцем снегу, по глиняной гуще топчутся раскоряки-новобранцы. К соломенному чучелу подбегают трусцой. Тычут его с вывертом три раза. Выдернув штык, кричат ура и убегают обратно.

Витя остановится в сторонке, забудет о гимназии, о Зубыхине, смотрит.

Толстозадый солдат вперевалку бежит, оторвавшись от строя. Вот раскачал винтовку. Мутно кричит ура. Потом, обозлившись, что он нескладен, что он, бородатый крестьянин Уфимской губернии, — посмешище и веселье ребят, вдруг разъяряет глаза и сбивает чучело наземь.

И еще смотрит Витя. Но все они одинаковые, раскоряки-новобранцы. Кажется, только притворяются, что бегут по очереди с левого фланга по номерам. Все один и тот же, неказистый, в обляпанной грязью шинели, сшитой наскоро, как шьют на покойников, выбегает вперед и так же скучно повторяет ура и, засунув штык в драное чрево чучела, возвращается потный обратно.

— Как, разве кончилось уже лето? — спрашивает Витя у чумазых, расхристанных улиц.

— Да, — отвечают улицы, — лето кончилось давным-давно.

Витя морщит лоб и никак не вспомнит, что же было за лето? Нет, положительно в это лето не было ничего. Ну вот, если по порядку припоминать, начиная с весны.

Весной была смерть Сережи Снегирева. Смерть запомнилась, смерть состарила весну. А после? После — экзамены, которые нарочно придумали устраивать весною, чтобы вытравить в «синей говядине» любовь.

Четвертого июня перебрались на хутор. Хутор: капустные гряды, дождливый июнь… И почему нет Ани? Июнь без Ани?

Ах, вся эта история… Какая тоска!

Анина мамаша — хорошо оборудованная родильная машина. Никаких лишних рычагов. Роды — манная каша — аттестат зрелости — хорошая партия. Так пропустила Анина мамаша троих детей. Так хочет пропустить четвертую — Аню.

Когда Витя идет к Ане, у него месиво мыслей в голове. Радость, которую не расскажешь: он будет созерцать Аню. И рядом вмешивается, как в сдобное тесто изюминки-таракашки: неужели откроет двери Анина мамаша? Только бы не она!

У мамаши чутье кошки. Кошка различает звонок почтальона и звонок кухарки, принесшей с базара печенку. Анина мамаша из всех звонков различает звонок Вити.

Встретит, пощупает глазами, откровенными, бабьими:

— Вы ничего, ходите. Только насчет бога не очень. Вам, мужчине, может, и подходяще в бога не верить, а девице нехорошо.

Витя в прихожей начинает спорить, доказывать, что мужчина и женщина равны, а мамаша слушает и все щупает, щупает. Вот и рваный карман у шинели заметила и что перчаток нет. Знает Витя, что глупо доказывать ей необходимость равноправия, а не может остановиться. Знает Витя, что растрачена нежность, которую бережно нес Ане, как носят из церкви огонек. Погасила мамаша нежность, словно плюнула на фитилек, фитилек шипит и воняет воском.

«Не надо было приходить. Дракон, охраняющий царевну Аню Иванову, заплевал меня вонючей слюною».

Уйти нельзя. Витя сидит рядом с Аней, мамаша усадила их в гостиной. Аня старается говорить серьезные вещи. Витя такой развитой, такой начитанный! Если не говорить с ним о прочитанных книгах, о Достоевском и Толстом (кто лучше: Толстой или Достоевский?), если не бранить современную литературу и не поднимать вопроса о смысле жизни, можно показаться ему дурой.

Часы уходят, дорогие часы. Столько нужно было сказать важного, неотложного! Аня сотни раз обдумывала все неотложное, что непременно скажет Вите. Но кажется, что мамаша стоит за дверью и слушает. Аня рассеянно теребит бархатные шарики скатерти и говорит о жестоком таланте Достоевского, словно отвечает урок.

И только две минутки воруют они для себя. Для этих двух минуток приходит Витя за десять кварталов, выдерживает муку встречи с мамашей и тоскливые часы в бордовой гостиной. Две минутки — это когда Аня запирает за Витей дверь.

Гремит крюк. Витя надевает калоши. Аня шепчет:

— Придете? Когда?

— Завтра?

— Да. В семь. Мне нужно сказать важное.

— Скажите сейчас.

— Суть в том, что мамаша увозит меня в Симбирск, а то, говорит, что-то ты очень худеешь с этим гимназистом.

— Со мной?

— С вами. Прощайте. Жду.

Как жаль, что нельзя в прихожей стоять долго-долго! Аня выскочила на секундочку на крыльцо. Витя долго не выпускает ее руку. Ведь это прикосновение нужно запомнить на целый вечер и на завтрашний день.

Неужели люди когда-нибудь перестанут пожимать друг другу руку? Идти по земному шару, оставив там, позади, Аню, уносить прикосновение ее руки, сладость слов ее: «Приходите завтра, жду»… Витя пошатывается. Витя совсем пьяный. Под его ногами уплывает земной шар.

— Аня Иванова! Аня Иванова! — шепчет Витя имя любимой домам, небу, испещренному царапинами созвездий, деревьям бульвара…

И вдруг вспоминает: ее увозят в Симбирск — лечить от него, от Вити!

Да, так и было. Аню Иванову увозили на лето в Симбирск и чуть не сосватали какому-то жениху, троюродному брату. Вот почему пустое лето, вот почему в это лето ничего не случилось. Ненужное лето! Пустое лето! Вычеркнуть бы его вон из жизни!

Витя спрашивает у чумазых осенних улиц:

— Нужно ли сражаться с Аниной мамашей, с классным наставником Зубыхиным, с учителями?

— Не нужно сражаться, — отвечают грязные улицы.

А сами полны подготовкой к сражению — обозами, новобранцами, воинскими частями.

Плутал как-то Витя в версте от хутора. Чащоба, кустарник разросся выше роста человечьего. Ни деревца, чтобы влезть да

оглядеться. Ни просеки, чтобы глазом поймать путь. Низкорослое все, колючее. Исцарапался Витя, измучился, а все потому, что ростом невелик — сорная чащоба оказалась выше. Ох, уж эта сорная мелкота!

Может быть, там, на площади, глядя на неуклюжего новобранца, Витя какими-то отдаленными скрепами связал новобранца с собой?

Да, именно тогда он подумал, что люди тычут соломенное чучело, вместо того, чтобы колоть врага.

И «крысиный бунт»… Кто это тогда сказал, что надо бунтовать против главной крысы?

И убийство губернатора… Кто это тогда сказал: нельзя восставать против кузнеца, который делает кандалы, и против тюремного надзирателя, который кандалы надевает?

Кто это сказал?!

Сережа Снегирев! Зачем Витя не сдружился с ним ближе? Сережа Снегирев знал! Главное знал!

По обсосанному солнцем снегу топчутся раскорякиновобранцы. Заплешивевший осенний город украсился сединами военных приказов. Там и здесь белеют невеселые казенные листы. Извещают о призванных возрастах, о реквизиции скота. От реквизиции освобожден скот племенной, производители и занесенный в списки союзов.

— Проще говоря, — поясняет за обедом Петр Никанорович, — реквизируют крестьянский скот.

Витя думает о том, что людей забирают и «племенных» и «неплеменных»: ведь мобилизованы студенты первых курсов. Стране нужнее чиновников солдаты и офицеры. Стране снаряды нужнее гвоздей и кастрюлек.

Гимназистов водили на литейный завод Гутмана показывать, какие кастрюли делают в военное время. Показали формовки, водили наверх по винтовой лестнице, где топка доменной печи, гул, пламя и едкий воздух.

— Здесь, господа, не оставайтесь долго. Печь выделяет очень едкий газ, разрушающе действующий на организм.

— А рабочие как?

— Привыкают.

Гимназисты смотрели почтительно, как расплавленный чугун огненным потоком льется в специальные ведра и от него

летят во все стороны расплавленные звезды. Скоро чугун застынет и поедет в окопы ранить и убивать.

Витя спросил:

— Это жжется?

— Еще как! Сапог прожигает.

Витя заметил, что рабочие не обращают никакого внимания на звезды. А гимназисты отошли подальше — смотрят издали. Вите стало неловко перед рабочими. Он встал в самом дожде и очутился один среди рабочих.

— Чердынцев! — окликнул учитель.

— Вы Чердынцев? — спросил один из перепачканных людей.

— Я.

— Петра Никаноровича сын?

— Да. Виктор.

— Передайте: кланялся, мол, Матвей. Зайду как-нибудь.

Витя рад был, когда выбрался на простор, на свежий воздух, на площадь, где топали по команде новобранцы.

Витя думал о том, что из страны вычерпывают расплавленный чугун, людей, мясо, хлеб и овес. И города становятся тощими, как женщина, которая родит одного ребенка за другим.

Но зачем же в гимназии делают вид, что ничего нс случилось? Ведь случилось что-то страшное, непоправимое, даже в Уфе можно понять…

Введены уроки военного строя. Старший сын Снегирева, Дима, ушел добровольцем в армию. Гимназию заняли под казарму. В другое время порадовало бы, что занятия происходят в необычные часы, в вечернюю смену, в женской гимназии, что сидеть приходится на тех партах, где утром сидели гимназистки. А сейчас как-то безразлично.

Жизнь запала неудобно, неестественно, как вывихнутая рука. Но Федор Федорович Зубыхин по-прежнему ловит опоздавших на молитву, шестиугольный Мемнонов по-прежнему доказывает теоремы и ненавидит ленивый класс. Зачем они, зачем они притворяются?

Отец Амврозий задал Беленькову реферат на тему: «Допустима ли война с христианской точки зрения?» И у Беленькова и у отца Амврозия вышло, что война допустима.

«Гимназия, религия, семья, мораль, брак… и что еще есть на

свете святого? Я понял вас: вы просто соломенное чучело», — записывает Витя в дневнике.

И без всякой связи тут же рассказывает:

«Когда показываю маме рисунок, изображающий лес, она говорит: «Да, хорошо. Шишкинский лес». И всегда все леса называют шишкинскими».

У Вити очень много дневников. Они растут, утолщаются. Шелестящая короста, густые пласты бумаги, исписанной путаными, беспорядочными вскриками, покрывают Витин стол.

Там где-то сражаются. Тыл посылает вагонами мясо, людей, овес. А здесь делают вид, что ничего не случилось, но выходит плохо, потому что жизнь расклеилась, потому что нельзя спокойно жить, когда западным ветром наносит запах крови.

По городу аншлаги: едет знаменитая четырнадцатилетняя Люция, ясновидящая, предсказывающая конец войны и судеб.

Витя отрывается от записей, зажмуривает глаза и думает о прекрасной, чистой девушке Ане Ивановой. Витя боится произнести слово «любовь». Но про себя, совсем втайне, он знает, что Аня Иванова ему дороже всего на свете, дороже самого себя.

Кто знает, для чего пожарище возьмет да и не тронет пламенем какой-нибудь бугорок и чахленький кустик? Может быть, Витя — Ной, посаженный в ковчег гимназии, чтобы сохранить напоказ грядущим эрам прекрасную юношескую любовь к Ане?

Где-то сражаются. Тыл посылает вагоны мяса, а оттуда получает раненых и увечных.

Елизавета Ивановна ставит чеховский «Юбилей» с дивертисментом в лазаретах. Гимназисты организовали летучие оркестры балалаечников.

На костылях, безрукие, в бинтах и повязках, напитанных кровью, слушают мазурки черные, коротко стриженные люди в больничных халатах.

В дворянском собрании устраивают патриотические концерты. Хор исполняет гимны всех союзников.

Витя назначает на концертах свидания с Аней. «Места» для учащихся — стоять сзади и подниматься на цыпочках, стараясь увидеть сцену. Витя счастлив, что такая давка. Он прикасается к Аниному платью. Анино платье непохоже на все другие

платья и материи. Анино платье содержит в себе искры, искры пронизывают Витю и наполняют тело истомой.

Может быть, война для того и случилась, чтобы устраивали патриотические концерты и чтобы Витя мог стоять рядом с Аней и касаться краешка ее платья? В цинковом гробу, в товарном вагоне с надписью «скоропортящийся груз» и крестом, начерченным мелом, привезли с фронта второго убитого сына Снегирева.

Сергиевское кладбище в Уфе стоит высоко над городом, на пригорке. Каждый день видно с улиц, как медленно двигается по холму черная сбившаяся горстка. Еле ползут погребальные дроги, словно невесть какая тяжесть наложена на них, словно трудно-трудно волочить покойника в гору. Проваливается горстка в кладбищенские ворота, на которых вот уже год наклеена записка: «Здаетца квартира». Это кладбищенский сторож ищет себе жильца, но записка кажется обидной шуткой, и каждый раз, провожая покойника, люди читают ее и покачивают головой.

Диму Снегирева хоронили с военным оркестром. Среди провожающих была долгоносая Аделаида Павловна. Она, кажется, гордилась, что предсказала Диме судьбу.

Биркель на кладбище говорил речь.

Отец Снегирева шел за гробом и плакал, и все неодобрительно шептались, что ему не следовало этого делать: во-первых, потому, что мужчины не плачут, во-вторых, потому, что сын Снегирева умер не кое-как, а в чине поручика.

Когда погребальные дроги проезжали через площадь, там перед соломенным чучелом вздваивали ряды новобранцы.

МАЛЯРИЙНЫЙ КОМАР

Бывает, что пчела спасает птицу от смерти, укусив охотника в решительный момент. Виктору Чердынцеву дал отсрочку от воинской повинности малярийный комар.

Малярия началась еще осенью. Всю зиму Виктор глотал хину, капал подсолнечные капли. К весне малярия усилилась. Приступы приходили неожиданно. Виктора трепало, даже подбрасывало на постели. Поднимался жар. И так же неожиданно приступ кончался, малярия отпускала. Виктор лежал изму-

ченный, ослабший и слушал поднимающийся от хины шум в ушах.

Виктору нравилось хворать. В жару можно было фантазировать, сочинять какие-то приключения, которые тут же забывались. А после, когда сердце усиленно пополняло убытки, нанесенные бациллами, было сладко лежать и благословлять жизнь.

Известие, что Виктор должен остаться на второй год по предписанию врача, встречено было в семье по-разному. Петр Никанорович прямо заявил, что малярия весьма кстати, и стал пространно говорить о квасном патриотизме. Елизавета Ивановна просто была встревожена. Она еще сама не решила, хорошо или плохо, что Виктор будет второгодником. Она настороженно поднимала голову, как оленья самка, услышавшая далекий хруст: опасность или не опасность?

Впрочем, когда прошел слух, что в следующем году восьмой класс пройдет сокращенный курс и будет послан в середине зимы со скороспелыми аттестатами в военные училища, все были довольны, что Виктор остался, и тревожились за Глеба.

Изредка Витя брал общую тетрадь под мышку и шел в класс. Слушал сонное жужжанье гимназистов, окрики учителей.

Виктора никто не мог вызвать. Виктор думал, что так, вероятно, душа умершего торчит среди живых. Но, с другой стороны, безопасность походила на какой-то панцирь. Так чувствует себя человек в непроницаемой броне под обстрелом. Стреляйте, мол, сколько угодно, я-то наверняка уцелею.

Виктор разглядывал гимназию, как разглядывают музейную витрину: вот гербарий из засушенных гимназистов, а вот чучела учителей, такие нестрашные, когда их набили опилками и поставили за стекло. Так и хочется засунуть палец в их застывшие пасти: врешь, не укусишь проклятыми желтыми клыками!

А сонное жужжанье, что оно напоминает? Не так ли глухо жужжат жуки и трепыхаются бабочки, приколотые на булавки? Ну да, конечно, гимназисты походят на жуков, облитых эфиром.

Вите делалось душно. Он уходил на улицы. Бродил, дышал, бормотал:

— Спасибо тебе, добрый малярийный комар, спасибо!

Оттого что комар укусил не другого гимназиста, а именно

его, Витю, Витя казался себе непохожим на других, избранником. Витя садился на садовую скамью, хватал карандаш, высчитывал: В месяце 24Х30=720 часов. В году 8640 часов. Отсюда вычесть расход на сон (из каждых тридцати лет человек проводит во сне десять лет!)… Витя умножал, вычитал. Сколько же это часов подарил ему малярийный комар?

А вокруг темнел и уходил талой теплотой снег, дыбились упруго сучки тополей, туго налитые соком. И женщины, проходившие мимо, несли особенные, весенние глаза.

Витя видел: вот она, вся жизнь, четыреста тысяч оборотов минутной стрелки для пятидесятилетнего существа!

Виктор делался жадным. Виктор дрожал над каждой минутой. Минуты, как цыплята, разбегались в разные стороны. Дышать! Скорей дышать! Скорей хватать пригоршнями, охапками пахучую, как сено, жизнь! Разве можно есть с вилки?

«Моя жизнь!— хотелось кричать оттаявшим улицам. — Для меня устроено, чтобы были деревья! Для меня придумано, чтобы лавочники продавали ириски, чтобы солнце размножалось в каждой луже и, расплодившись, гуляло по улицам, как няня с оравой бойких солнчат!»

Витя дрожал весь. Жадный. Скряга.

«И Аня для меня… И сосульки для меня…»

Елизавета Ивановна принесла Петру Никаноровичу Витины стихи.

Петр Никанорович лежал на кровати и поправлял ученические тетради. Петр Никанорович бросил в кучу окурков еще один новый. Петр Никанорович сделал знак красно-синим карандашом, чтобы ему не мешали и дочитал:

«План «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы» — Ломоносова.

1. Вступление. Тишина, как таковая.
2. Изложение. Сходство Елизаветы с тишиной.
3. Восхваление предков с целью возвысить дочь.
4. Перечисление покровительств Елизаветы:

а) Покровительство наукам.

б) Покровительство торговле.

в) Покровительство промышленности.

г) Покровительство искусствам.

5. Обращение к юношеству.

6. Пожелание ей многолетия».

Петр Никанорович поставил жирную, аппетитную двойку, положил карандаш и спросил:

— Стихи?

Стал послушно читать. В стихах говорилось, что Витя и Аня уедут в какую-то «хижину любви».

— Где такая хижина находится? — спросил Елизавету Ивановну.

— Ну, мало ли где, — ответила Елизавета Ивановна. — В переносном смысле хижина. Да ты читай дальше, там про лес говорится. Шишкинский лес.

Витя и Аня в хижине любви должны «забыть обо всех печалях» и сеять не хлеб, а одни васильки.

— Откровенно говоря, — рассердился Петр Никанорович, — васильки — просто сорная трава. Сеять сорную траву? Они с ума сошли!

— Но это очень красиво изложено.

— Воображаю, какие вкусные васильковые бублики напечет Аня Иванова! Вообще, он идеализирует эту мещаночку. Ничего в ней такого нет, подумаешь, Беатриче! На любовные дела надо смотреть проще.

Елизавета Ивановна отобрала у мужа стихи.

— Ну, ты всегда так. Материалист.

Петр Никанорович глубоко вздохнул и пошел к сыну. Дались Виктору эти стихи! И вырастет идеалистом, этаким мечтательным романтиком! Впрочем, нет, в одном Петр Никанорович спокоен за старшего сына: он протестует, ненавидит весь строй, и он о многом задумывается. Вот только стихи… Но это, наверное, возрастное, вроде кори… Тут еще эта Аня ему голову кружит…

У Виктора свет. Вошел. Виктор вздрогнул.

— Кто там?

— Это я. Сиди, сиди.

Виктор молчит. Выжидает. Виктору часто делают упреки, что не помогает отцу. Виктору кажется, что попрекают его хлебом.

Петр Никанорович огляделся. Множество стихов на столе. На листке, исписанном крупным почерком Виктора, разобрал:

Стоит ли, скажите, стоит ли ночами

Тосковать о чем-то светлом и святом?

Стоит ли аккордам отвечать слезами?

Молод. Неужели плакать есть о чем?

Петр Никанорович показал на листок, заговорил бессвязно:

— Не стоит, не стоит, Витюша! Ах ты, беда! Не о том ты пишешь! Когда-нибудь сам поймешь. Предупредить мне тебя охота. Не растрачивай зря жизнь, дела-то, дела-то сколько на земле!

— Стихи ведь, папа, тоже дело.

— Тоже, конечно. Да не о том ты пишешь, я говорю. В любви объясниться и прозой можно. Стихи — дело нужное, но смотря по тому, о чем.

Лицо Виктора увидел. Обиделся Виктор, не понял.

Ну, прости, что помешал. А о словах моих подумай, я ведь добра тебе хочу, ты ведь — Чердынцев, а Чердынцев в девятьсот пятом кое-что значил.

И зашаркал туфлями к спальне, оставив Витю встревоженным, разворошенным.

Витя уехал на хутор. Думать уехал. Хутор всегда действует на него благотворно.

На хуторе дымятся тепличные печи. Горький дым прячет дядю Володю. В дымовой завесе слышно его бормотанье:

— У меня в гимназии было два друга: Купчиков и Гольденберг. Гольденберг уроками семью кормил, я раз боролся и ногу ему вывихнул…

На хуторе пьют фруктовый земляничный чай, он дешевле и экономнее. На хуторе соловьи, половодье…

Витя слушает дядину бормотню, и кажется Вите, что о Гольденберге — это важно. Да, да, всем хочется рассказывать о Гольденберге, которому мы в юности вывихнули ногу. И о своих вывихнутых когда-то ногах хочется говорить.

— Дядя! Вам сколько лет?

— Сорок два.

— Сорок два, деленное на три… Дядя, вы четырнадцать лет спали!

— Как спал?

— Ну так, в буквальном смысле.

И вдруг Витя понял такое простое, но чего раньше не понимал: да ведь многие люди ухитряются не треть жизни, а всю

целиком проспать. И Вите делается до слез жалко этих несчастных. Да, отец прав, зря он на него обиделся, пора Вите к настоящему делу прибиваться. Вот только обдумать все надо, как много еще необдуманных вопросов! И хочется найти это дело самому, а не чтобы отец за ручку водил.

Апрель капризничает. Иногда потеплеет. На хуторе поотрывают парниковые рамы. Теплица захлебывается солнцем. Виктор заберется на теплый тесовый бок крыши, жмурится и мурлычет. И думает. Но вот ринулся ветер. Снег покрыл ядовито-зеленые озими, черные набухшие пашни. Тогда в грязной дымной избе кажется, что плывешь на оторванной льдине и что нет на земле и не будет дорог.

И вдруг станет грустно. Что они, семьсот двадцать часов в месяц? Кому они нужны? Бросовый хлам эти семьсот двадцать часов! Витя понимает дядю Володю. День за днем приходит и уходит, а дядя сидит и курит, курит и сидит. Дымом выпустить ненужные, никудышные часы, жалкую подачку природы!

Железная печь. Ящики. В них только что посеянная брауншвейгская капуста. Нары для спанья. Стол, заваленный грязной посудой, корками хлеба, брусьями и гвоздями. Какие громоздкие предметы! Дымная, неприбранная жизнь. Кислый запах черного хлеба. Жирная земля и черный хлеб. Лейки. Поленья.

Витя встряхивается.

— Пусть неприбранная! Пусть дымная! Люблю, люблю жить!

Выбежит из дома на крыльцо, в горле горечь, глаза слезятся. Надышится. Воздух, как кисель клюквенный. Прислушается к посвисту птичьему, оглянется на озера, в которых бродят деревья, как мальчишки в лужах после дождя. Окликнет Мильтона, схватит за рога корову и потом с ожесточением рубит что-нибудь топором.

— Приемлю! Приемлю! Вот такую, путаную!

Поправит плетень, взрыхлит гряды под высадки. И вдруг заскучает, уедет в город.

— Не приемлю! Не приемлю! Обманул проклятый комарище, куда мне их! Некуда размотать столько часов! Может быть, лучше прятаться от досуга в раковины дел? Служить, пить чай, регистрировать, нанимать извозчиков, только бы убить триста тысяч ненужных, до омерзения ненужных часов.

Увез на хутор Федорова. Смешной этот Федоров! Теперь он решил остаться на второй год из дружбы к Вите.

Забрали жестяной чайник, провизию. Решили пробраться через полые воды в самую гущу леса и там распалить костер.

В лесу хорошо. В лесу человек делается добрым. В лесу есть большие деревья. Витя доверяет большим деревьям, Витя не любит низкорослых деревьев и терпеть не может бузину. Он знает, что мелкие собаки кусачи, а безрослые, маленькие люди с близко к носу поставленными глазами — завистливы и злы. В лесу Вите кажется, что и сам он — дерево, которое оторвалось от места и гуляет по белому свету, помахивая зеленым рукавом. В лесу побывать — как искупаться.

Федоров верещит и ухает.

— Витька! Может, мои предки были филины!

Витя молчит, молча обнюхивает сучья и травинки. Прокрался к соловью. Соловей закрывает глаза, как тенор, берущий высокую ноту. Грудка у соловья приподнимается, крохотное тельце дрожит, крохотному тельцу хочется выпеть большое. Неожиданно защелкал, словно только что придумал новый вариант. Когда замолк, птичий гомон в лесу казался отголоском его песни.

Нашли гнездо. Витя вскарабкался, вынул теплое яичко. Старался не дышать на гнездо, а то птица больше не сядет. Протянул яйцо Федорову, словно они христосовались.

— Посмотри: пестренькое.

Федоров неосторожно давнул. Крикнул снизу испуганно и виновато:

— Насиженное! Загубили!

Витя слез, и Федоров показал ему на разбитую скорлупку. Внутри шевельнулось что-то красное. Витя отвернулся, но тянуло посмотреть. Сжал зубы, подошел. В прозрачной массе что-то чернело, и скоро Витя различил лапку, головку с клювом и один открытый глаз.

Федоров положил на эту массу полусгнившее дерево и придавил ногой.

— Чтобы не мучился, — прошептал он Вите.

Старались не смотреть друг на друга. Не оглядываясь, продирались через репейники, тальники, шиповник. Казалось, что лес возмутится, а большие деревья начнут раскачивать ветками,

как кадилом, чтобы отслужить панихиду. Но лес остался спокойным и радостным.

Набрели на озеро, заросшее желтыми цветами. Лазили в воду, обрывали скользкие стебли. Им стало казаться, что получили прощенье у зеленого старика, и они повеселели. Федоров затянул, Витя подхватил веселую песенку «О тройке с минусом»:

О, неизменная спутница милая,
Ангел-хранитель ты мой!
Славно с тобою брести из гимназии
С легкой душою домой!
Двойки игривые, кол раздражительный,
Чопорно-гордое пять
И нотабене со смыслом сомнительным,
Я не хотел бы вас знать.

Соловьи, не понимая человечьего языка, думали, вероятно, что гимназисты пели о любви. Может быть, соловьи не ошибались?

Через озеро, преградившее путь, Витя (он был в сапогах) перенес Федорова на кукорках. В середине озера сапоги стали черпать. От этого стало еще веселее.

Выбрались на сушу, развели костер. Сушились. Набрали воды в чайник из лужи, которую только что перешли, стали кипятить чай.

Лесная пресная вода, в прозрачности луж курчавое дно, поросшее оживающей травой. Отражение вязов в воде, словно продолжение их в несуществующее… Нет, сомневаться нельзя. Лес, конечно, простил гимназистов за раздавленное яйцо.

Вылив из сапог воду, Витя повесил их сушиться на колышках.

Мильтон не отставал до последнего перехода. Тут он остановился, попробовал войти в воду, но, окунувшись, выскочил обратно. Завистливо посматривал на костер. Помахивал хвостом, на который насела целая шапка репейников. Наконец обиделся и, обиженно повизгивая, поплелся к дому.

— Черт! — закричал Федоров. — И почему это я не могу влюбиться!

И выплескивая остатки чая из кружки, стал философствовать:

— Жизнь устроена по-дурацки. Все как-то ошибочно, не так. Как будто главного не говорят, а неважное, что и пропустить можно, наизусть заучивай. Как задумаешься, даже жить противно.

Захотелось домой. Потушили костер. Стало одиноко, невесело. Решили не заходить на хутор, идти прямо в город.

Поймали ежа. Завязали в носовой платок и прикрепили к поясу. При переправе через озеро еж выпал, зафыркал и уплыл в кусты.

Где-то шумела полая вода. Где-то перекликались птицы, словно заплутались в лесу и не могли найти выхода.

Гимназисты продрогли. Федоров жаловался всю дорогу, что не может влюбиться.

Сначала выбирали дорогу, минуя лужи, делали обходы. Витя предложил идти прямиком. Пошли, и дорога оказалась лучше.

Миновали осинники с шепелявыми листьями. Прошли лозняк с листьями острыми и беспокойными, как малярия. Скоро выбрались на насыпь и сразу попали из долинной сырости в теплую струю отварного воздуха.

Саша позвякивал жестяным чайником, и слова его были — как звяканье жести — одинаковые.

Далеко где-то попыхивал дымок поезда. Но очень далеко, верно, еще у разъезда.

Хрустели галечником, старались ступать на шпалы, расставленные то слишком далеко, то чересчур близко одна от другой, и это утомляло. Саша попробовал идти по рельсу, поскользнулся и ушиб ногу.

Поезд гнался за ними. Скоро рельсы стали вякать и дрожать, а еще через две минуты мимо прошел воинский эшелон, растрясая гиканье и свист солдат.

До города оставалось верст восемь. Шли молча, устали и хотели домой. Скоро начались окраины города, какие-то огороды с часто натыканными палками на грядах для будущего гороха, какие-то странные постройки.

Вечер густел. Солнце, какое-то странное, свекольного цвета, садилось в тумане, вялое, без лучей, так что можно было смотреть на него, как на луну.

Вдали показалась пыль. Сначала Витя подумал, что это лошадь. Но скоро он различил большой черный клубок, катив-

шийся навстречу. Это было стадо. И странно было, что гонят его не в город, а из города.

Донесся рев баранов, крики гуртовщиков. Стадо катилось и волокло за собой пыль. Самцы дрались, гонялись за овцами и безуспешно пытались осуществить любовь. Длинный бич пастуха заставлял их двигаться дальше.

Теперь Витя понял: стадо гнали на бойню.

Подрагивают короткими хвостами овцы, жмутся друг к другу и вдруг шарахаются от бича, и непрестанный крик их оглашает предместье.

Вот и ворота бойни, открытые настежь. Искусно направляемое, устремилось стадо в распахнутую дыру, и скоро всю копошащуюся массу проглотили высокие, с кадыком ворота.

Один баран отбился, но загнали и его.

Солнце село.

Гимназисты прибавили шагу и невольно оглядывались: нет ли погонщиков позади.

Было пустынно. Кокетливо серебрилась новая луна.

УТЕРЯННОЕ КНУТОВИЩЕ

Ночью все колеса словно обматывают соломой. Ночью, если сидишь за письменным столом и весь дом спит, воздух начинает звенеть, как пустая бутылка, поставленная под ветер. Может быть, это отголоски дневных разговоров и шумов, производством которых заняты целый день люди. Может быть, это услышанное самим собой движение крови. От этого звона мысли делаются углубленными, и начинает казаться, что ты видишь душу вещей.

Витя сидит и пишет. Походит, что он пишет донос — такая осуждающая строгость на его лице. Перо скрипит и брызгает. Витя завешивает окно. Ночью ему всегда кажется, что в окно кто-то смотрит.

Витя начал со вступления (глупая гимназическая привычка делать вступления!).

Витя смеется. Вите весело. Если посмотреть на него со стороны, можно испугаться: сидит ночью человек и смеется.

Теперь Витя хмурится. Витя недоволен. Витя протестует.

И опять эта гимназическая привычка: Витя Чердынцев пи-

шет тезисы:

«1. Когда у тебя температура сорок градусов, ты смеешь нарушать полевой устав, писанный для Земного Гарнизона.

2. У меня малярия. Я второгодник. Когда меня лихорадит, мне кажется, что это от нездоровой эпохи.

3. Курицу везут на базар. Курица долго лежала, перетянутая лычком. Развязанная, она все еще лежит: привыкла и сама себе выдумывает лычко.

4. Курица, гуляя по двору, воображает, что она на свободе. Она гордо и свободолюбиво разгуливает вокруг житейской поленницы и всем своим гордым куриным видом говорит: хочу — иду налево, хочу — иду направо, а могу остаться на месте, выкопать ямку и греть в золе живот.

5. Я, Виктор Чердынцев, предлагаю делать противокуриные прививки.

6. Нужно каждую минуту хотеть жить».

Витя перечитывает написанное. Когда он начинал писать, казалось, что напишет самое, вот самое важное, после которого решится все. А написалось не то, совсем не то.

Витя сердито обмакивает перо в чернильницу. И делает сверху надпись:

«Афоризмы Виктора Пруткова, или Крупинки мудрости, которыми сыты серые курочки из курятника — гимназии».

И, словно обороняясь от несуществующих оппонентов, присоединяет эпиграф:

«Я боюсь, что труд двадцатого века будет заключаться в извлечении из корзины массы превосходных идей, брошенных туда девятнадцатым веком. Ренан».

Не то, не то. Витя хочет вопрошать людей и требовать у них ответа о причине причин. Должны же люди знать: почему? Нет, люди не знают: почему. Мечет их черным вихрем, словно укусил Россию малярийный комар, мечется она, лихорадит ее. И от этого грустно случайно не съеденному кровяному шарику в ее теле — Вите.

С фронта стали привозить мертвецов из студенческого батальона. Тронутые, посиневшие трупы привозили без гробов, сваливали в покойницкую, оттуда их разбирали родственники для похорон за свой счет.

Саша Федоров и Витя посетили покойницкую. Там было

очень много народу, и стоял несмолкаемый плач.

Когда Витя почувствовал, что тоже сейчас расплачется, он вдруг передернулся судорогой смеха. В голову ему заскочила и щекотала мозг глупая, неуместная острота.

Так случалось с ним и раньше, что в неподходящую минуту — в церкви, на похоронах, на уроке — нападал на него беспричинный смех. Он давился им, а стыд за себя так мучил, что одновременно хотелось кричать.

Витя стал умышленно думать о посторонних вещах. Он сосчитал убитых. Он стал про себя перебирать фамилии всех гимназистов. Но острота лезла, выпирала. Вите делалось страшно, что все эти несчастные люди, оплакивающие детей, заметят в его глазах бешеный смех.

«Это у меня нервное», — думал Витя.

Глотал часто слюну и холодел от страха, что вот-вот расползется по лицу оскорбительная идиотская улыбка.

Наконец, надеясь, что острота выпадет и отпустит, если сказать ее другому, Витя наклонился к Федорову, показал глазами на трупы и шепнул:

— Синяя говядина.

Федоров нисколько не удивился. Лицо его еще больше опечалилось. Он чуть-чуть кивнул головой.

Выбрались из покойницкой и всю дорогу молчали, боясь, что слова не обмерят того громадного и страшного, что оба видели.

В гимназии была панихида по восьми гимназистам, убитым на австрийском фронте. По гимназическим коридорам носились клубы сладкого церковного дыма.

Витя пришел на панихиду. Ему казалось, что там произойдет что-то. Может быть, гимназисты рассердятся и скажут, что нельзя убивать их на австрийском фронте. Может быть, выяснится что-то. Что — Витя и сам хорошенько не знал.

Витя смотрел, как строились парами и шли послушно в церковь гимназисты. Впереди разместились первоклассники, и еще встали восемь слоев. Рослые восьмиклассники оказались позади, у самой стенки. Им удобно было стоять и опираться на стену.

Учителя и отец Амврозий делали серьезные лица, но сегодня Вите особенно заметно было, что они что-то замалчивают,

лгут, — такие напыщенно-серьезные они были.

Пришла на панихиду Аделаида Павловна. Она стала рядом с директором и нанизывала один на другой мелкие кресты.

Когда перечисляли имена убитых, Вите представлялось, как где-то там, далеко, лежат гимназисты в груде изуродованных тел.

Певчие равнодушно выводили похоронные рулады. Витя знал, что хорошим певчим и хорошим музыкантам гимназического оркестра делались всяческие поблажки: им педагогический совет разрешал оставаться на третий год, прощал самые отчаянные выходки, потому что гимназический хор состязался с хором семинаристов, а гимназический оркестр славился на весь город.

Витя понял, что ни попу Амврозию, ни певчим, ни учителям — никому не жалко убитых гимназистов. Вите хотелось выйти вперед, на ступеньки, покрытые багровым ковром, и сказать:

— Зачем вы притворяетесь? Зачем вы разыгрываете обидную комедию? Разойдитесь по классам и зарабатывайте свои похвальные листы.

После панихиды остался на один урок в классе. Ему хотелось проститься с приятелями, с обстановкой, к которой привык за несколько лет. Ведь шли они все вместе, срослись, а теперь Витя оторвется от них: они перейдут в восьмой, Витя останется и больше никогда не будет близок своим сверстникам, случайно собранным в один седьмой «б».

Глеб неодобрительно поглядывал на брата. Он считал, что в такое время оставаться на второй год — непатриотично. А уж если остался, так нечего в класс приходить: ведь завидно людям смотреть на независимого человека!

Витя сел на свое место, на задней парте у окна. Еще запах ладана не рассеялся, а обычный ход гимназической машины начался. Гимназисты жужжали. Один, заткнув уши, торопливо зубрил. Другой вытаскивал из парты бутерброд, откусывал и прятал обратно. Дежурный стоял у двери и ждал прихода учителя. Гирайтис стоял у доски и ловко набрасывал карикатуры. Кто-то пел, кто-то запоем читал растрепанную книжку — наверное, какого-нибудь Майн Рида.

Вошел учитель. Это новый словесник, присланный вза-

мен Словоохотцева. Урок пошел своим чередом. Витя сидел, перебирая гимназистов по заученному наизусть алфавитному списку. С каждым прощался и, как обычно он делал, старался угадать их жизнь. Альников, Биркель, Гуменский, Крылов… Кто из них раньше всех попадет в кровавую груду на фронте?

У Трусова пошла из носа кровь. Трусов обрадовался и всячески растравлял ее, накапал около парты, выпачкал кровью носовой платок. Ему хотелось, чтобы учитель его заметил. Но тот, как нарочно, увлекся объяснением. Тогда гимназисты стали кричать:

— У Трусова кровь из носу!

Учитель сказал раздосадованно:

— Идите к умывальнику. Чего же вы сидите?

Трусов вышел, а вслед ему завистливо шептали:

— Счастливчик! В такой подходящий момент!

Если бы Витя был как все, ждал, что вызовут, знал, что не приготовил урок, он не заметил бы неестественного в поступке Трусова. Но теперь он смотрел на пятнышки крови около парты Трусова и спрашивал себя:

«Может быть, лучше тогда идти на фронт, «проливать кровь», чем «капать кровь» около парты, чтобы не просидеть лишние десять минут в классе?»

Словно в ответ, вечером пришел к Вите бравый прапор Женя Левитский, гимназист, выгнанный из четвертого класса, кажется, за курение, кажется, стараниями Зубыхина.

Почти не изменился. Немного загрубел. Война не углубила его, не произвела в нем никаких душевных сдвигов и переворотов. Все те же словечки гимназические, та же мальчишеская удаль. Видно, что повторяет чужие слова о войне:

— Стреляют — страшно. Вообще же — скучно.

Витя рассматривает с головы до ног «прапорщика тридцатого Сибирского стрелкового запасного батальона» и думает:

«Может быть, не убьют. Не всех убивают».

Женя Левитский ушел — веселый, розовый прапор.

Ночью Витя писал. Все о том же. Час за часом перебирал прожитые им сто тысяч часов. Отыскивал точку, от которой жизнь завихляла. Так, утеряв кнутовище, возница идет обратно по колее дороги, осматривая каждый ухаб.

Ведь тогда, когда малыш разгребал лопаткой снег в Чердыни

и бродил по Ирбитской ярмарке, — тогда такие добрые были глазища домов, а люди ходили разомлевшие от восторга. Ведь тогда, когда мальчик помогал отцу прятать подпольную литературу, — тогда ведь не было трещинки в жизнерадостности Вити? Когда же выронено кнутовище? Упущена вожжа?

Витя осматривал каждую кочку своей короткой дороги. Но казали только мелкую гусиную траву пыльные накатанные колеи.

ПРАЗДНИК СЛОВА «ДА»

Много сил и времени Витя посвятил борьбе с классным наставником Зубыхиным. И теперь, когда Зубыхин повергнут, Витя не может понять, как мог казаться таким страшным и сильным этот жалкий человек.

Вдруг побежала от класса к классу молва, словно надзиратель, объявляющий, что урок окончен:

— Зубыхин мобилизован! Зубыхин — солдат!

Умиленное, растроганное и человечески-печальное лицо принес в гимназию Зубыхин. Такое лицо у классного наставника резало бы глаза. Но Зубыхин больше не был классный наставник. Гимназисты разглядывали защитного цвета гимнастерку и военные сапоги нескладного солдатика, бывшего своего врага.

Вите смешно было и неприятно, когда Зубыхин поздоровался за руку. Если бы классный наставник сознался, что он одинок, что нет ни одного человека на свете, которому он мог бы посылать письма с фронта, и что поэтому он пришел в гимназию, — кто поверил бы этому? А может быть, он пришел потому, что привык, как цирковая лошадь под звуки марша, в определенный час выходить из дому в гимназию?

Гимназисты смотрели на солдатика и думали:

«Теперь тебя не боимся».

Может быть, солдатик был такой грустный потому, что его никто не боялся и никто не любил?

Из гимназии вышли вместе Беленьков, Зубыхин и Витя.

— Вам куда, направо? — заискивающе спросил Зубыхин. — Ну, идемте, я вас немного провожу.

Беленьков говорил льстивые слова о том, что «всем будет

скучно без вас, Михаил Михалыч». Ни Зубыхин, ни Витя не верили Беленькову. Всем было неловко, но Зубыхин не уходил.

Поэтому Витя очень обрадовался, завидев прапорщика Левитского. Вот интересная будет встреча: гимназиста-прапорщика и учителя-солдата!

Зубыхин издали заулыбался Левитскому. Лицо у него обмякло, не привыкшие к улыбке щеки не умели складываться, как надо, и коробились, словно пергаментная бумага. Зубыхин шутливо отдал честь своему бывшему ученику.

Левитский чуточку прищурился.

— Ты что, болван, — закричал он на Зубыхина, — не умеешь честь отдавать? Как тебя учили?

Улыбка слезла с лица классного наставника. Он вытянулся, отдал честь, сделал «кругом арш» и ушел несгибающимся деревянным шагом.

— Учить их надо, сучьих детей, — сказал добродушно Левитский, здороваясь с гимназистами.

Беленьков залепетал:

— Совершенно верно! Совершенно верно!

Витя не сразу собрался с мыслями. Происшедшее его ошеломило. В нем где-то прыгала маленькая радостишка: «Отомщены! Отомщены! Все отомщены!» Но в то же время было как-то не но себе. Почему — он и сам не мог разобраться.

Дома ждало письмо от Ани. Витя сразу узнал ее ласковый почерк. Забыл о Трусове, о Зубыхине, о мировых вопросах. Подождал, когда останется один в комнате. Разорвал конверт, узнал, что Аня назначает ему свидание, сунул письмо во внутренний карман гимназической куртки. И, когда за обеденным столом увидел обыкновенные, будничные лица, стало обидно, как обидно было бы имениннику, если бы гости пришли в будничной одежде и читали газеты за именинным столом.

— Они не знают! Они ничего не знают! — шептал Витя, и ему делалось жалко их, которые не знали, что Аня назначила ему свидание.

Витя и не подозревал, что в это же время Петр Никанорович с грустью и сожалением думал:

«Шалый какой-то… просто невменяемый! И вечно витает в облаках…»

И он пытался вызвать Виктора на разговор, поднимал

какие-то острые вопросы, исподтишка поглядывая на сына.

Петр Никанорович о чем-то говорил, ему что-то отвечали, на что-то возражали. Виктор ничего не слышал.

— Я ушел.

— Куда?

— Странный вопрос. Ну, может быть, на свидание.

— Ты даже телятину не доел.

— Телятина! — сказал Витя голосом, полным презрения. Он видел, как домашние неодобрительно уставились в свои тарелки, одна только Зина смотрела на него с восхищением. Телятина! — повторил он еще раз, хлопнув дверью.

— Положи мне, я доем, — сказал мрачно Петр Никанорович. — Не люблю, когда не доедают.

Когда Витя идет в гимназию, улицы бывают с оббитыми карнизами, злые, а дома попадаются все желтые, словно это колония умалишенных.

Когда Витя идет к Ане, город такой: улицы покаты в ту сторону, где Аня; солнце стоит, как городовой, на каждом углу и любезно указывает Вите дорогу; прохожие делаются легкими, они прыгают, как блохи, они такие незначительные; дома Вите всего по колено. И через всю эту мелкоту движутся друг к другу двое влюбленных.

Аня! Аня! Сейчас он расскажет ей, как он ее ждал, какие минуты переживает он здесь, на Церковной улице, когда бродит взад и вперед, рискуя неожиданно встретиться с ее родными. Столько передумано здесь, в этом тихом квартале возле тополей!

Аня! Аня! Сейчас он расскажет ей, сколько накопилось в нем за эти дни любви! Если б любовь его не находила клапана, не изливалась в стихотворные рифмы, в бешеную скачку строчек его дневников, в страшные потрясения при каждой их встрече — тогда любовь затопила бы его. Он чувствовал, как она прибывает, прибывает, начинает захлестывать, если он не встречается долго с Аней.

Аня! Аня! Может быть, ты услышишь сегодня страшное, как заговор, тайное, как загадочные знаки, слово! Может быть, сегодня Витя передаст тебе наконец цепочку из пяти звеньев, которую так долго для тебя хранил. Страшное слово, какого никто не знает! Прекрасное, невиданное слово «люблю».

Аня совсем уже близко. Хотелось побежать ей навстречу. Оттого, что удерживал свои шаги, походка была порывистая, словно его толкало в сторону Ани вихревыми толчками.

Жадными глазами Витя еще и еще раз проверяет: всю ли ее он так запомнил, как она есть? Да, да, и эта манера носить учебники, прижимая их к груди, и шубка, черная, такая осторожная шубка, еле показывающая очертания тела… Витя влюблен даже в этот скунсовый воротник (споротый со старой ротонды Степаниды Федоровны).

Они идут рядом. Выбирают глухие улицы. Вите кажется, что эти дебелые улицы предместья ведут в неизвестный радостный город — такой, каких не строили еще никогда.

Нет, не может быть, чтобы Витина жизнь повторила в миллионный и миллионный раз водевиль из старого репертуара. Витина жизнь не отпечатается тысяча первым аршином ситца, тысяча первым куском обоев. Витя — новый, неповторенный Витя, бессмертный Витя. Ведь его одного из всех миллионов людей избрала Аня.

Витя заносчиво поглядывает на прохожих. Ах, как они, должно быть, завидуют! Рядом с ним идет в черной шубке со скунсовым воротником Аня Иванова!

«Сегодня! Сегодня! — обещает Витя домам, заборам, извозчикам. — Сегодня я скажу ей «люблю»!»

И дома, и заборы, и извозчики доверчиво слушают. Они верят, что Витя скажет сегодня «люблю».

Как значительно каждое слово, которое произносит Аня! Витя мысленно ставит памятники каждой минуте, проведенной с Аней. Зачем памятники? То, что сказано было вон в том квартале, разве забудется когда-нибудь?

Витя волнуется. Витя говорит туманно, издали. О тезисе — античном веке, когда люди молились телу. Об антитезисе — средневековье, когда люди умерщвляли плоть. О синтезе — возрождении, когда люди приняли гармонию души и тела. Вот эту гармонию приемлет Витя, и если сегодня он спросит Аню… о страшном, о чем собирался давно спросить, она должна ему ответить честно и прямо: «нет», «да».

Аня чувствовала, что в рассуждениях о тезисах и антитезисах Витя объяснялся ей в любви. Аня от волнения прибавляла шагу. Они почти бежали по улицам, приготовлявшимся к сумеркам.

Витя привел Аню на тот угол, где они каждое утро встречались, когда еще не были знакомы.

— Аня, вот здесь, на этом углу, на «нашем углу», ответьте: да или нет? Аня!

Аня молчала. Витя думал об отчаянии, которое, может быть, разверзнется сейчас перед ним, но вдруг прекрасной музыкой прозвучало коротенькое слово, еле отделившееся от Аниных испуганных губ:

— Да.

Да? Значит, пусть грубые люди преграждают путь! Витя не споткнется. Витя победит. Слушайте все! Города, армии, созвездия, педагоги — слушайте: Аня сказала «да», Аня ответила «да», Аня подарила «да»!

— Поклянемся друг другу здесь, на углу Ильинской и Телеграфной улиц, что будем всю жизнь праздновать двадцать девятое апреля и назовем его Праздником слова «да».

Может быть, сто лет? Или тысячу? Или только две недели? Витя не знал, сколько продолжалось счастливое похмелье. Ведь у счастливых часов и несчастных разное количество минут.

Витя потерял представление о вселенной. Он не знал, в какой живет эпохе. Он даже не заметил, как перешел в восьмой класс. Весна, лето, осень — они были просто садовниками, которые деликатно удалялись, когда Витя целовал Аню.

Летом (кажется, это было летом) дядя Володя напился пьяным. Верно, накопил по двугривенному, выигрывая в «душку» или выпрашивая на табачок. Пропадал два дня, вернулся пьяненький и, как всегда, хотел потихоньку от Елизаветы Ивановны прошмыгнуть к постели. Пьяный, он размякал, глаза у него делались сиропными, он хитро грозил пальцем и подмигивал глазом: эка, дескать, накуролесил! Елизавета Ивановна увидела его. Она была расстроена чем-то. Она побежала к Петру Никаноровичу. Петр Никанорович спал после обеда и, как всегда, во сне прищелкивал языком. Елизавета Ивановна расплакалась, жаловалась, что в доме «разврат и пьянство», что у них дети, что она не может так, что надо положить этому конец. Петр Никанорович выскочил из спальни, раскричался и выгнал дядю Володю из дома, раз он не сдержал своего слова…

И все это Витя видел. Но как-то отчужденно, как видно косарей, лошадь и бабу у телеги через вагонное стекло из поезда,

делающего шестьдесят верст в час. События приходили, уходили. Косари сменялись перелеском, перелесок — станцией с угарным, прокопченным депо…

Иногда, не часто, Витя спускался вниз со своего молитвенного минарета, откуда видно одну Аню. Тогда он бродил по земле, разглядывал песчинки, засматривал во встречные лица и старался что-то понять.

Старался понять Глеба, который возится с гирями, словно полагает, что в жизни ему придется поднимать много тяжелого.

Разглядывал Володю, третьего, среднего в чердынцевской пятерке. Володя — забытый, неудачливый. Если идут в театр или устраивают вечер, то это — для «старших». Если же елка, подарки, сласти, то, конечно, — для «малышей». В «малыши» не подходит нескладный выросток Володя и к «старшим» не пристал. Усмехается Витя: каждому жизнь придумала особенную линию на ладони. Завидует Витя: неудачлив Володя, зато маленький. Старшие кончат гимназию — заберут их на войну и убьют. А «средний» Володя останется, среднему долго жить.

Забытые — не до них — растут по-своему, живут по-своему Гора и Зина, малыши, бим-бомы.

Смешной Гора Чердынцев, перемазанный чернилами третьеклассник. Тихий, сосредоточенный и какой-то старообразный. Ходит и все разглядывает. Притягивает его все мелкое, незначительное. Целыми часами рассматривает жука, надетого на булавку, кленовый лист, обыкновенный лапчатый лист. Гора походит на проснувшегося от летаргического сна.

— А зачем снег? А зачем карандаш пишет? — расспрашивал он, когда был поменьше. — А кто стол назвал столом?

Теперь тоже спрашивает. И совсем о чудном.

— Зачем ты всегда катаешь хлебные шарики? — спрашивает Виктора за столом во время серьезного разговора.

Все сердятся на Гору: вечно пристанет он с глупыми вопросами! Виктор запускает в него хлебным шариком и говорит:

— Я катаю шарик, чтобы целиться тебе в лоб.

Гора испортил себе глаза чтением. Горе купили очки. В очках он походит на гнома. Сначала смеялись и не могли смотреть на Горино лицо. Но скоро поняли, что и нос, и большие оттопыренные уши — все у Горы приспособлено, чтобы носить очки. Гору оставили в покое.

Еще больше смущает Зина. В безверной чердынцевской семье завелась молельщица. У Зины на спинке кровати привешена иконка. Зина крестится за обеденным столом, прячась за скатертью, чтобы было незаметно.

— Психопатка! — презрительно говорит Виктор.

— Идиотка! — уточняет Глеб.

Когда она постится, непременно подсунут ей в суп масла или кусочек мяса. Зина после еще жарче молится и накладывает на себя епитимью.

Виктор, выждав, когда Глеб опустит на пол гирю и переведет дух, пробует заговорить с ним.

— Ты тоску выгоняешь потом, Алфеев — петлей, другие — лигой свободной любви, Зиночка — молитвами. Но ведь это — старье невообразимое. Неужели нельзя придумать что-нибудь новое?

— Например? — спрашивает Глеб, отдуваясь.

— Сережа Снегирев придумал, — отвечает Виктор, и пни пристально смотрят друг на друга.

…Как отдельные ветлы вылезают верхушками в розовом тумане, так в памяти Вити застревают куски событий, отдельные, безуглые, не приросшие к земле.

Например, история с грамматикой Саши Федорова. Ведь она была именно в этом году.

Саша Федоров — «чемпион двойки», как его прозвал Витя — удерживает из года в год «первенство от конца» в гимназии. До восьмого класса он сумел не познать правил грамматики, благодаря своему таланту лени и образцово поставленному «шпаргальному делу».

У Вити Чердынцева на парте три учреждения: редакция, бюро шпаргальной взаимопомощи и бюро любовной переписки.

Редакция занята выпуском «Классного сартирикона» и газеты «То да се».

Бюро шпаргальной взаимопомощи безвозмездно оказывает услуги всем, не выучившим урока. Бюро заготовляет корки от клеенчатых тетрадей, на которых мелом пишутся формулы, исключения и ответы вызванным к доске.

Саша Федоров пользовался особенным покровительством бюро. Единственный предмет, который Витя знал хорошо, —

словесность. Друзья полагали, что достаточно знать этот предмет на парте кому-нибудь одному. Витя обладал хорошей дикцией, а Саша — хорошим слухом. Витя писал сочинение в первую треть урока, а Саша тем временем рисовал на парте головки. Кончив писать, Витя менялся с приятелем тетрадями. Саша читал Витино сочинение, перекладывал его своими словами. Затем они снова менялись тетрадями, и Витя исправлял в Сашином сочинении ошибки. Домашние сочинения Витя писал себе, Саше и еще двум-трем, причем на спор брался написать каждому на любую отметку: на три, на три с плюсом, на пять.

Бюро любовной переписки принимало заказы на любовные письма, стихи, поздравления. Заказчики должны были заполнить анкету: масть «предмета» (блондинка? брюнетка? рыжая?), на ты или на вы заказчик с «предметом», имя «предмета». Витя писал вдохновенные стихи неизвестным девушкам от имени своих приятелей. В нем накопилось столько любви, что он не боялся ее расплескивать. Стихи выходили, видимо, горячими, а письма — размягчающими и убедительными, потому что заказчики после благодарили.

Особенно охотно брало бюро заказы от Саши Федорова. Тут легче было ориентироваться: «предметы» были общими знакомыми.

Поэтому в бюро было полное удивление, когда Саша сам засел на уроке космографии писать какое-то письмо, и старательно прятал написанное в парту.

— Ты знаешь, какая история, — шепнул он наконец в пояснение, — я, кажется, влюбился… и всерьез…

Хорошо было подавать проверенные сочинения учителю словесности. Хорошо было посылать Витины стихи за своей подписью. Но каково было теперь, не зная, где «ет», где «ит», где мягкий знак, где твердый, объясняться в. любви!

Саша Федоров никак не ожидал такого препятствия. Кажется, какое отношение имеет грамматика к любви? Но вот ***она*** прислала Саше письмо. Надо отвечать, надо быть остроумным, а Саша не знает, как пишется слово.

Саша пыхтел, портил лист за листом, начинал снова, попробовал даже писать в стихах. Две строчки как будто, удались:

На космографии уроке
Я сочиняю вам стихи…

Но дальше нужно было подобрать рифму к слову «уроке» и к слову «стихи». Саша бормотал:

— Уроке, пороке, пророке… Стихи, хи-хи-хи, блохи…

В перемену подошел к Вите:

— Ты сколько берешь за уроки?

— Десять рублей в месяц. Некоторые платят больше, но в среднем — десять. А что?

— Я хочу у тебя подзаняться. Ты ничего не имеешь против? Только не возражай! Если бесплатно, то я не буду относиться к ним серьезно. Надо, чтобы было все по-настоящему. Когда в первый раз уселись за столиком Вити и Витя стал объяснять, что такое имя существительное, Саша чувствовал себя неловко и пробовал шутить. Витя строго оборвал его. Саша не обиделся. Конечно, какие тут шутки!

Первая диктовка прошла для Саши довольно благополучно: он сделал всего семнадцать орфографических ошибок.

— А когда ты мне объяснишь насчет запятой?

— Погоди, и до запятой доберемся…

Все это было, было… И уроки с Сашкой, и изгнание из дома дяди Володи, и письмо из Казани от Мардыгаляма Махмудова, которое порадовало всю семью известием, что Мардыгалям поступил в училище… Витя не то чтобы не видел и не слышал, но все проплывало мимо него в легкой дымке.

Кому-то выпало сегодня ночью умереть под шрапнелью. Кто-то висит распоротым мешком на проволочных заграждениях. Кому-то несут носилки… В газетах: бои под Верденом, Перемышль… Глеб с Горой развесили военную карту и переставляют флажки. А Витя пишет о полнолунии. Разве одна и та же луна не может осветить краешек шестидюймовки и шляпу Ани?

Двенадцатое января тысяча девятьсот семнадцатого года — историческая дата — пятидесятилетний юбилей директора гимназии Владимира Николаевича Матвеева. Гимназисты сочиняли адрес, пустили в ход все неестественные слова, какие только смогли придумать: «многоуважаемый Владимир Николаевич», «общеполезной деятельности» и всякие другие слова, которые не употребляются в жизни и лежат в ожидании юбилеев, свадеб и похорон, как парадные брюки в гардеробе, писали о «деле просвещения», о «гуманном отношении» и, зная

пристрастие директора к латинскому языку, заканчивали так свой адрес:

«Бессильные выразить всю благодарность за все содеянное вами, Владимир Николаевич, для нас и бесчисленных поколений, мы утешаем себя тем, что сделали слабую попытку выразить невыразимое:

Ut desint vires, Tamen est. Laudanda voluntas»[20].

Двенадцатое января — историческая дата. А Витя мчится со скоростью шестьдесят верст в час. Запотели стекла в окнах вагона. И смутно видна окружающая жизнь.

«Люблю. Любимая. Люблю», — пишет Витя свой нескончаемый, неповторимый адрес.

«Небо синее. Звезды ушли далеко от яркого лунного света. В канавах захлебывается смехом вода. И вправду, смешно. Такой счастливый, такой сильный — идет и мучается.»

«Небо синее. Звезды ушли далеко. И все это даром пропадает. Как бы я ее целовал, какие бы слова ей выдумывал! Почему она не приемлет гармонию тела и духа?!»

«Где-то играют в казармах зарю. Церковь стоит зеленая, построенная из прессованного лунного света. Я иду, и мне хочется закричать, броситься на землю, плакать. Я сжимаю до боли руки. Хрустнули. Так им и надо — зачем болтаются ненужные, безработные, и некого им обнимать?»

«Я молчу. Для кого говорить? Ведь ее нет рядом. Я зажмуриваю глаза. Не хочу смотреть на зеленую церковь, построенную из лунных кирпичей.»

«Я голодный. Я хочу целоваться. Но если Ани нет со мной, так зачем же устроили такую лунную ночь?»

«Я сказал ей все. Я сказал о гармонии духа и тела, но она не поняла меня. «Что касается тела, — говорит, — то это пошлость».»

Дневники Вити — подснежники, длинный список ласкательных имен, невнятное бормотание об условленном часе встречи…

«Здравствуй, долгожданный апрель! У тебя есть двадцать девятое число — праздник слова «да». Ты — хороший. Первого апреля никому не верят, а я верю всем и всему. Семь градусов

[20] Пусть не хватает сил, все же желание (действовать) заслуживает похвалы! (лат.). (Из римского поэта Овидия).

тепла в тени — я верю. В свои силы — верю. Что мою Аню увижу — верю. Что к пасхе не останется ни фунта снега — верю. Что можно жить — верю!»

ПОСЛЕДНИЙ БЛИН

Степанида Федоровна звала Витю «бескозырным» за полуоторванный козырек его фуражки, который он каждый раз заправлял рукой. Но когда «бескозырный» стал ходить козырем и дерзить Степаниде Федоровне, она почуяла недоброе, насторожилась.

Она ничего не знала, но, заметив недомогания Ани после аборта, каким-то чутьем догадывалась, что похудела Аня неспроста. Она стала всем и каждому назойливо говорить об Анином малокровии.

— Как же! Целые ночи сидит, занимается. Нонче курс, батюшка мой, трудный.

Когда приходил нечесаный гимназист, «ухажер Анин», у Степаниды Федоровны дрожала челюсть от ненависти. От последней дочери своей не ждала путного. И чудилось ей, что гимназист этот все семейство их осрамит.

Стала следить Степанида Федоровна за Аней. Скоро ей удалось открыть, что Аня прячет «ухажеровы» письма в физику Краевича. Письма Степанида Федоровна выкрала и устроила семейный совет.

Ничего не подозревая, Аня шла домой и придумывала очередную «историю с подругой». Аню больше не мучила ложь. Аня сжилась с ней, лгала Вите, матери, начальнице гимназии, подругам. У нее появилась даже потребность во лжи. Иной раз она прилыгала без особой нужды, просто ради удовольствия.

Ане нездоровилось. Никак не могла поправиться после Ольги Тимофеевны Крестовской. У нее развилось острое малокровие, она постоянно хотела спать, беспричинно приходила в грустное настроение, а иногда на нее «находило». Она ссорилась с Витей, обвиняла его в чем-то, срывалась с места и убегала.

Промучившись несколько дней, они мирились. Витя записывал в дневнике, что страдание надо любить за то, что в нем уже брезжит счастье, которое придет следом, что надо помнить

и обратное, что счастье тем и прекрасно, что оно несет в себе и на себе, на своих плечах, горе. Эта мысль Витю очень утешала, но Ане резкие переходы от радости к отчаянию были во вред.

Она делалась раздражительной. Измышления ее превращались в дикие бредни. Ей казалось, что все ее подозревают, что все догадываются о причинах ее нездоровья. Несколько раз она слышала мельком, что родительский комитет намерен опубликовать списки «Лиги любви». Аня искусно внушала матери мысль, что «сохнет от любви». Вите сочинила историю о зверском обращении с нею родителей. Витя терзался. Степанида Федоровна молилась об избавлении Ани от присушки к «бескозырному» — так она называла Витю даже в молитвах…

Аня вернулась домой через кухню. В прихожей она услышала монотонное чтение, прерываемое взрывами смеха. Различила голос замужней сестры, Маруси, Лидин смех. Читал Миша.

Через минуту Аня поняла, что читают Витины письма.

«Вот хочу я узнать, могу ли я жениться и может ли выйти замуж без «благословения» семнадцатилетняя девица. Тогда я заговорю с твоими извергами, Кабанихами и Дикими, иначе. Съездить в церковь — не значит стать мужем и женой. В наших отношениях ничего не изменится, только будет твое освобождение от родителей…»

«Сегодня шел от тебя и вдруг придумал: если люблю, то хоть и хочется домой и устал, но вернусь назад на один квартал и пройду с правой стороны телеграфного столба. И прошел».

«Анечка! Я сумасшедший. Я после тебя берегу свои руки, избегаю здороваться с людьми, не умываюсь, потому что на руке твое прикосновение, потому что я только что обнимал тебя. Но я тебе обещаю: обряд, в который мы оба не верим, ни к чему нас не обяжет. Аня, ты согласна? Сделаем так?»

Аня стояла в прихожей. Ей нужно быстро решить, как поступить. Убежать из дому? Броситься и кричать на них и вырвать из рук письма?

Как она ненавидела их! Мать, отца, сестру, Лиду — всех! В приоткрытую дверь видно лицо матери. Мать занавесила лицо смехом, но видно, как трясется у нее челюсть. О, как знала Аня это подрагивание! Сестра, расплывшаяся белотелая купчиха, подхихикивает, ей очень занятно слушать «любовные

истории». Лица отца не видно. Он сгорбился в кресле и смотрит вниз. Но и по его затылку и спине Аня чувствует, что он взбешен.

Хохот сестры вывел Аню из оцепенения. Аня вбежала, швырнула учебники на пол, закричала всему собранию:

— Мерзавцы! Воры!

— Кто это мерзавцы? — спросил, вставая, отец, словно он только ждал прихода Ани.

— Вы! Вы! Вы! — кричала Аня, обливаясь слезами, дрожа, топая ногами.

— Спасибочко! — насмешливо проговорила сестра.

У Ани успела мелькнуть быстрая мысль:

«Подзуживает отца!»

— А вот я ей покажу мерзавца, — глухо сказал отец.

И не успел никто опомниться, как отчетливо прозвучал удар и Аня с воплем упала на пол.

Женщины ахнули. Никифор Петрович отошел к печке, повернулся ко всем спиной. Степанида Федоровна крестилась.

— Срам-от! Срам-от!

Миша стоял недвижно с письмами в руках. Вдруг он закричал:

— Не смеете бить! Не смеете!

И выбежал из комнаты.

Мутной улыбкой улыбалась сестра.

— Лида, дай ей воды, — сказала она внешне спокойно. — Папа, не портьте нервы из-за такой…

Аня поднялась с полу. Лицо ее дергалось, шляпка съехала набок, косы запачкались в пыли. Оттолкнув Лиду, которая тыкала к ее лицу кружку воды, закричала исступленным, неприятным голосом.

— Все равно! Бейте! Я живу с ним! Я с ним давно живу! Аборт от него делала, хоть у акушерки спросите!

Спина Никифора Петровича дрогнула, но он не обернулся. У сестры затряслись щеки, она даже оскорбленно привстала, но тотчас села.

Аня выбежала в распахнутую дверь. Степанида Федоровна хотела броситься следом, но у нее отнялись ноги. Она сидела и часто крестилась.

— Ах! Ах! — всплескивала короткими руками. — У людей

первый блин комом, а у нас последний недуром, господи!

У Чердынцевых все были дома.

Витя перебирал струны гитары, все еще под впечатлением свидания. Глеб лежа читал. В столовой за большим столом учили уроки Гора и Зина. Был тихий послеобеденный час, когда Уфа мирно переваривает пищу.

Скоро расползется слежавшаяся, утрясшаяся жизнь чердынцевского дома. Глеб на днях уедет в артиллерийское училище. А там и Виктор кончит гимназию, поедет в университет… И малышня подрастает… Пока же все идет по-старому. И Оксинья на кухне, как всегда, гремит посудой, будто никогда ничего не может измениться.

— Когда будут устраивать земной рай, — сказал Витя, — в первую очередь уничтожат кухонную посуду.

— А на чем же тогда есть? — спросила Зина.

— Придумают, — многозначительно ответил Витя, и Зина почтительно замолкла, удивляясь про себя, какой у нее брат: все знает!

Когда раздался осторожный, нерешительный звонок, почему-то Витя понял, что должен пойти и открыть дверь именно он.

Вышел на крыльцо и увидел заплаканную, уставшую от слез Аню. Он оглянулся вокруг: нет ли где обидчика, на которого можно броситься.

— Я убежала из дома, — сказала Аня, стараясь улыбаться.

Витя все понял. Они молча прошли в его комнату. И в несколько секунд у Вити промелькнуло столько мыслей, столько ощущений. Главным было решение: пришло время от слов перейти к делу.

Витя подумал, что никто не поймет его лучше, чем отец. Отец обязательно что-нибудь придумает, посоветует.

И вправду, отец не рассердился, что его разбудили. В спальне у отца окно было занавешено шалью, и только в дырки крутился длинными трубочками свет.

Витя наощупь отыскал кровать отца и сел на краешек. Отца, как всегда после сна, душил кашель. Он дрожащими от кашля руками отыскал папиросы, спички, закурил.

Витя стал рассказывать ему все по порядку. Иногда отец переспрашивал или задавал вопросы. Вите делалось спокойно,

он знал, что отец хорошо решит.

Придумали отправить Аню на хутор, а с Аниными родителями вступить в переговоры, угрожая в случае упрямства огласить в печати.

Елизавета Ивановна пришла в Витину комнату, она умела как-то так подойти к людям, что они переставали чуждаться и доверчиво к ней тянулись.

Весело снаряжали Аню на хутор. Ее должен был сопровождать Глеб. Витя благодарно смотрел на всех домашних: они с таким участием отнеслись ко всей истории. Елизавета Ивановна исподтишка наблюдала Витю, угадывала, что он доволен, и ей делалось весело.

Всю жизнь Елизавета Ивановна заботилась, чтобы кто-нибудь был доволен. Как опытная актриса умеет вызвать смех и аплодисменты публики и затем удалиться за кулисы, так Елизавета Ивановна вечно оставляла за кулисами свои переживания, а занята была улыбками домашних.

Витя заготовил пункты, которые он выставит в переговорах с «Дикими и Кабанихами» с Церковной улицы. Витя придумал, какие угрожающие слова он скажет. Он всю дорогу хмурил лоб, мысленно воображая перед собой Анину мамашу.

Вот и дом. Крыльцо. Витя крепко позвонил. Сердце глухо колотилось о ребра. А что, если выгонят? Витя сжал кулаки: посмотрим!

Загремели засовы. И вдруг радостные возгласы, рукопожатия…

— Пожалуйте! Пожалуйте, молодой человек… как вас? Виктор Петрович?

Аня сама не знала, что выкриком своим в минуту раздражения о несуществующей связи с Витей она сделала больше, чем преуспел бы Витя, красноречиво изложив несовременность Домостроя и Диких. Степанида Федоровна после ухода Ани покрестилась, поохала и вдруг неожиданно для всех заявила:

— Что ж? Коли он в письмах от женитьбы не прочь, так мы что? И с богом. Не нам жизнь жить, глаза у них есть, им виднее.

И вдруг от таких слов всем стало просто и ясно. Досадно было, что затеяли всю эту кутерьму. Кто-то заметил, что Чердынцевы хорошая семья. Лида рассказала, что Витя в газете пишет.

И вот теперь, когда Витя пришел, его усадили за чайный стол. Молчаливый Никифор Петрович заговорил о войне и все спрашивал мнение Вити. Степанида Федоровна пожевала губами и дружелюбно сказала:

— Загостилась что-то наша… А как же? Мы, конечно, ничего. И я ничего, и вот муж мой ничего. Если с хорошими намерениями, то что же? Семью мы вашу знаем, хорошая семья, прямо скажу, интеллигентная. Пускай погостит. На хутор, что ли, отправили? Для нервов очень полезно. Я вот и подушку ей пошлю, пожалуйста.

С подушкой, конфетами, провизией ехал Витя на хутор.

Около плетня провалился в сугробе.

— Мильтон!

Как сегодня Витя любил всех людей! И стрелочника Зингирея, и начальника разъезда, веселого человека в очках, и кондуктора, и Мильтона…

Глеб и Аня выбежали навстречу. Витя рассказывал, изображая в лицах Степаниду Федоровну и Никифора Петровича, беседующего о войне. Аня резала колбасу и разливала чай. Всем было весело. После чая бродили по снегам, чуть-чуть тронутым февральским солнцем.

ВСЕ СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ

Вернулись в город, разрумяненные и укачанные поездкой в розвальнях. При въезде их поразило обилие людей на улице.

— Уж не победа ли какая? — удивился Глеб.

— Что случилось? — спросил Витя городового, останавливая возле него лошадь.

— А вы что, не знаете? — осклабился городовой. — Революция…

Откуда вынырнул Ловцов? Он поймал на улице Петра Никаноровича, сказал, что давно собирался к нему зайти, да все как-то не выходило, но что встреча двух ветеранов революции в такой день даже знаменательна.

С этими словами Ловцов полез целоваться, а поцеловавшись, не утерпел, чтобы не закричать:

— Христос воскресе! Аллон з’анфан де ля патри: Наша с вами правда была двенадцать лет назад! Пятый год был цве-

точком, а вот она и ягодка поспела в феврале. Чорт возьми, как я сегодня молод, до безобразия молод.

И тихо на ухо:

— Как вы думаете, на этот раз не сорвется?

— Мерзавец! Ах, какой мерзавец! — вырвалось у Петра Никаноровича.

— Кто? Я? Что вы, голубчик! — замахал руками Ловцов и неожиданно искренно, даже каким-то другим голосом добавил: — Все меня считают или мерзавцем, или дураком. А я просто комочек нервов. И без задерживающих центров, понимаете? Вы уж уходите?.. Ну, до свидания, дорогой!

Ловцов побежал дальше. Лицо у него было просветленное, благодарное, словно революцию устроили специально для него.

В эти дни в Уфе было необычайное количество просветленных и добрых лиц.

Даже в гимназии.

Вите все казалось, что не то все побрились, не то особенно старательно намылили и щеки, и подбородки, и за ушами.

Витя чуть было не прошел мимо надзирателя Комарова, не поклонившись, до того у надзирателя изменилось лицо, всегда наморщенное, словно он нюхает что-нибудь, что нехорошо пахнет. Не походили на себя и швейцар Федор, и директор, который неожиданно стал называть всех на вы. Инспектор, который был и без того сладок, стал теперь приторным. Даже переусердствовал: поздоровался за руку с каким-то третьеклассником, который после долго озадаченно смотрел ему вслед. Без изменений остались только два латиниста, по-прежнему невозможно старые и поразительно похожие на черепах, да историк, по прозвищу «Матрена», который, наперекор всем, ввел у себя лекционную систему, любил свой предмет и отметки выставлял только к концу четверти, для проформы.

Оксинья все так же домовито гремела кухонной посудой, отчего создавалось впечатление, что ничего не случилось и случиться не может на всей земле. И вся Уфа гремела кухонной посудой, делая вид, что все идет по-старому.

Всей семьей провожали Глеба в артиллерийское училище. На вокзал не взяли только «малышей».

Уфимский вокзал был набит. Когда Витя, Глеб, Петр Ника-

норович, Елизавета Ивановна и Володя втиснулись в людское месиво, Елизавета Ивановна первая потеряла самообладание. Глаза у нее припухли и покраснели, и Глеб стеснялся с ней рядом идти. Но вскоре он увидел, что многие плачут, и успокоился.

— Еще увидимся, может быть? — спросила Елизавета Ивановна и умоляюще посмотрела на Глеба.

Глеб понял, что ему надо ответить бодро:

— Конечно! Все это скоро кончится. Еще не успею я и артиллеристом стать!

Елизавета Ивановна улыбнулась одними глазами и как бы ответила: ты сказал то, что надо было сказать, но от этого не легче.

Глеб почувствовал, что в груди у него как-то туго.

«Скорей хоть бы поезд», — подумал он. И отвернулся, чтобы не видеть жалкого, постаревшего лица матери.

Глеб молча попрощался с отцом, когда течением толпы их пододвинуло друг к другу. На вокзале была такая давка, что казалось, никто не приходит и не уходит, а просто стоят плечо в плечо и все вместе покачиваются.

— Видишь, направо, с вуалью, — шепнул вдруг Петр Никаноровпч Вите, — это княгиня Кугушева с дочерью. За границу уезжают.

— Та самая, что боится бацилл? — Витя хотел улыбнуться, но не вышло.

Поглядел в ту сторону, куда показывал отец, но в заплеванном зале была такая теснота и столько женщин, с вуалями и без вуалей, что Витя так и не нашел глазами, кого отец показывал. Вместо них увидел Трусова — его тоже провожали родные.

«Как после пожара, — подумал Витя, по привычке подбирая сравнения для стихов. — Узлы, котомки…»

— Если больше не увидимся, — сказал Петр Никанорович Глебу, когда Елизавета Ивановна ушла купить что-нибудь на дорогу, — запомни, что у твоего отца было много недостатков, но две вещи не отнимешь: твой отец был честный человек и много работал.

Они еще раз поцеловались, и Глеб заметил, что у отца мокрые усы.

— Вот тебе крендели и колбасы немного, — сказала Елиза-

вета Ивановна, протягивая сверток и плача.

С вокзала ехали молча. Вите хотелось утешить стариков, но он стеснялся быть нежным с родителями. Серые улицы, серый снег, заспанные окна и сутулая спина извозчика наводили уныние. Но в то же время уползающая темь, крепкий утренник и просиявшее солнцем мерзлое небо обещали какой-то необыкновенный, не похожий на другие, день.

Витя верил каждому утру. Каждое утро ждал: какой- то оно наворожит день? Вот и сейчас он вглядывался, как в рассыпанные карты, в пылающие облака.

В конце апреля Витя пошел в канцелярию гимназии получить удостоверение за подписью директора и при казенной печати, сообщающее, что воспитаннику восьмого «б» класса Виктору Чердынцеву разрешается жениться.

Секретарь канцелярии, лысенький старичок, усиленно предлагал Вите закурить. Напрасно Витя уверял его, что он не курит, что он бросил курить.

— Да вы не стесняйтесь, — упрашивал секретарь, — теперь вышла свобода, ничего не будет, курите.

Когда Витя вышел из канцелярии, ему бросились в глаза груды кирпичей, сваленные у забора. Вите показалось почему-то, что от гимназии остались одни развалины.

Накрапывал первый майский дождь. Были поданы две извозчичьи пролетки. Вышел жених в гимназической шинели. Невеста. За ними высыпала толпа гимназистов и гимназисток.

— Так не забудь, — шепнула Лида, — первая наступай на коврик.

Аня кивнула головой.

Шафер Саша Федоров не уместился на второй таратайке. Он подхватил под руки двух гимназисток, и они, шлепая по лужам, с криками и смехом бросились перегонять экипаж. Церковь была рядом, за полтора квартала.

Витя строил на лице «атеистическую» улыбку. Весь его вид должен был показать, что эта обрядность исключительно для несознательных мещан Ивановых, а он, Витя, тут ни при чем.

Извозчик поднял верх. Экипаж занырял по рытвинам немощеной улицы.

— Говорят, если дождь, так к счастью, — сказала полушутя Аня.

— Конечно, к счастью, — сказал Витя, выглядывая через кожаный фартук на исхлестанную ливнем улицу.

В самом деле, умытые дома, лакированные крыши и листья, позеленевшая трава у канавок и пенящаяся, пузырчатая вода у водосточных труб — все было веселое и обещало хорошую погоду.

Вот и зеленая решетка церкви.

— Ну и свадьба! — сказала презрительно тетка в клетчатой юбке, внимательно осмотрев молодых.

Аня и Витя рассмеялись и пошли в церковь.

Сначала какой-то глухой старичок записывал долго в церковную книгу. Потом стали венчать.

Лида следила, у кого больше сгорит свечка — тому меньше жить. Саша Федоров строил такие уморительные гримасы и так старательно держал над головой Вити венец, что гимназистки фыркали и выбегали из церкви просмеяться.

— Поцелуйтесь, — сказал священник, не очень довольный легкомысленной обстановкой.

Витя не расслышал и вопросительно посмотрел на него.

— Поцелуйтесь! — строже сказал священник.

Витя взял Аню за плечи и от смущения, что все на них смотрят, поцеловал Аню в нос.

Дома ждало угощенье. Мандолина, гитара, балалайка дружно выговаривали чардаш. Жених танцами не занимался. Зато невеста носилась по комнате в припадке небывалого веселья.

Вечером Аня спросила озабоченно:

— А откуда же мы возьмем деньги?

— Достанем, — сказал беззаботно Витя, которому отец сунул накануне десятирублевку.

— Про себя он решил, что будет давать уроки, зарабатывать рисованием, но не позволит себе сидеть на шее отца.

Перед сном Витя сочинил договор, где значилось, что «нижеподписавшиеся» совершили «языческий обряд» для «раскрепощения» Ани, но никаких прав один на другого предъявлять не будут, впрочем, вместе жить не отказываются. Был пункт, обязующий «не отставать друг от друга в развитии, чтобы не получилось обычной картины супружеской жизни: один упер в достижения двадцать первого века, другой сидит где-то в каменном веке доисторической эпохи». Еще был пункт, разъ-

ясняющий, что целоваться не возбраняется. Договор подписали: «Аня Иванова-Чердынцева» и «Витя Чердынцев-Иванов».

А через несколько дней пришел Матвей. Похудевший, но глаза по-прежнему молодые, задорные. И особенное лицо — лицо человека, который знает вперед, что случится, как повернется жизнь.

Первое, что сказал Матвей, входя к Чердынцевым и здороваясь со всеми:

— Эх ты, черт, какая неподвижная публика! В прошлый раз Лев Толстой без кнопки и нынче Лев Толстой без кнопки!

— Какая там неподвижная! Глеба проводили недавно в артиллерийское училище, Виктор вон женился только что — все стали взрослые, того гляди и малыши придут в движение!

Елизавета Ивановна говорила весело и шутливо, но глаза у нее были печальные, привыкшие к слезам после проводов Глеба.

Выполз из задних комнат Петр Никанорович.

— Здравствуйте, апостол ненависти!

Матвея встретили приветливо. Знакомили с Аней показывали письма от Глеба, от Валентины Филипповны.

Матвей расспрашивал о ней:

— Как же! Мы с Валентиной Филипповной земляки, учительницей у нас была. В Стригановке. Ух, сколько воды с тех пор утекло! Словно сто лет прожил! Она все там же?! Неужели в Уфе была недавно? Эх, жаль, не повидался с ней!

Так разговаривали, просто, почти по-родственному. Но в этот раз Матвей особенный интерес проявлял не к Петру Никаноровичу, не к Елизавете Ивановне, а к Виктору. К нему он больше всего обращался, его больше всех расспрашивал. Виктора это и наполняло гордостью и приводило в смущение.

— Что теперь делать собираетесь?

— Не знаю. Хотели с Аней в университет податься, да время-то сейчас не подходящее для учебы…

Как-то незаметно и вместе с тем ловко Матвей направлял разговор и шел к какой-то своей намеченной цели. Спросил Виктора о гимназии, об инспекторе. Заинтересовался, узнав, что Витя рисует.

— Покажите свои работы. Очень люблю картины. Не все, конечно, но Репина люблю, Корзухина… А вы в каком жанре

пишете?

Вполне естественно было, что Виктор повел гостя в свою комнату, показал эскизы, написанные масляной краской, рисунки. И тут совершенно неожиданно для Вити разговор коснулся Сережи Снегирева.

Внимание Матвея привлек его портрет.

— Да-а, Сережку жалко! — сказал он, вглядываясь в Сережино лицо на карточке.

— Как? Разве вы его знали?!

— Очень он любил вас, Виктор, и уважал, — минуя вопрос, продолжал Матвей, глядя прямо в глаза Вите. — «Будет, говорил, из него толк». Верил в вас. И я с ним согласен.

Виктор чуть покраснел, растерялся:

— Неужели он так говорил? В том-то и беда, что нет от меня никакого толка!

— У вас, извините меня за смелость суждения, у вас, Витя, водополье. Хлещет вода, бушует, нужно только суметь направить течение в определенное русло. Ненависть у вас есть, а какое ей сделать применение — никак не решите. Только не пойдите по эсеровскому пути! Есть и у нас горячие головы… Машут револьверами, где не надо, в губернаторов стреляют… Это не тот путь. Ну да, кажется, и эти эсерствующие поняли свои ошибки. Мы этим… жукам мозги прочистили. Дошло. И вас направим, куда нужно. Хотите? Все, что вы пережили в гимназические годы, — это не пройдет бесследно. Что тут главное: Формировался характер. Были метания, поиски. Это законно. Это своего рода переходный возраст. Петр Никанорович мне говорил, что вы…

В это время Аня и Елизавета Ивановна заглянули в комнату Виктора, удивляясь, что он так долго показывает картины. Увидев, что там идет оживленный разговор, что оба собеседника увлечены и заинтересованы, оставили их в покое. Елизавета Ивановна стала накрывать чаи. Аня ей помогала. Петр Никанорович сидел на диване в столовой и курил, о чем-то призадумавшись.

Наконец чай был подан.

— Слушайте — вы, любители живописи! Вам налито! — окликнула Елизавета Ивановна.

— Идем, идем! — весело отозвался Матвей. — Мы тут за-

болтались маленько.

За чаем Петр Никанорович рассказывал, как историю преподает ученикам.

— Вот единственный способ вырастить рассерженное поколение! Они небось сделают!

— А помните «Искру»? Искровские прокламации? — спросил Матвей.

— Еще бы не помнить. У нас в доме был целый склад. Как, бывало, базарный день, так подкатывают в розвальнях посланцы от волости — бородачи в тулупах…

Матвей помолчал, погруженный в воспоминания. И затем промолвил веско, значительно:

— Искровцы! Почетное, черт возьми, звание! Искровцами я бы назвал не только тех, кто создавал газету «Искра», но и тех, кто с огромным риском доставлял ее в Россию. Я считаю искровцем и повара океанского парохода, прятавшего тюки революционной литературы под плитою, и тех, кто за пазухой проносил на завод эту газету…

— Значит, и ты, Виктор, искровец! — рассмеялся довольный Петр Никанорович. — Ведь у тебя под рубашкой была спрятана толстая пачка прокламации, когда к нам нагрянула с обыском полиция! Сколько же это тебе лет тогда было? Лет восемь, что ли? Помнишь ты это или нет?

Матвей стал рассказывать о Циммервальде, о ликвидаторстве, о рабочем движении. Виктор так и присосался к Матвею. Очень его удивило, что Матвей в высказываниях забивает отца: ученик-то перерос своего учителя!

Слушали Матвея охотно. Иногда задавали вопросы. Матвей говорил гладко: видно, что ему не впервые говорить перед людьми.

— Немец — соломенное чучело, братцы. Погодите, солдат разберется, куда повернуть штык. И тово…

— Кольнет?

— Кольнет.

И опять удивило Виктора, как выразился Матвей: соломенное чучело! Точно подслушал его, Викторовы, мысли!

А как забилось у Виктора сердце, когда Матвей перед уходом еще раз решил посмотреть картины Виктора и, рассуждая о колорите, вдруг добавил:

— Так вот что, Витя. Вы Солдатскую слободу знаете? Бывали когда-нибудь? Это за вокзалом. Приходите в эту пятницу в девять вечера.

— Я с удовольствием. Я приду…

— Запомните адрес: Никольская, девять, вход со двора. Спросите: «Марья Ивановна здесь живет?» В ответ услышите: «Какая еще Марья Ивановна?» Тогда вы скажете: «Жена сапожника». И вас пропустят. Приходите, кое-кого знакомых встретите. И дело для вас найдется! Разумеется, об этом никому. Это и так ясно.

— Что вы! Конечно! Можете быть уверены.

— Кстати, вы знаете, кто донес на Сережу Снегирева? Его отец! Конечно, он не имел в виду при этом посадить сына в тюрьму, он только хотел его «спасти», как говорил, перетянуть на свою сторону. Он и не подозревал, что все это так серьезно. Думал — ребячье озорство, пустяки какие-нибудь, мальчика-де пожурят, припугнут, да тем и дело кончится. А вон оно как вышло… И Сергей тоже — горячая голова, ну, зачем было выкладывать отцу о своих взглядах? Зачем дразнить быка? Зачем разоблачать себя? После-то папаша спохватился, помчался к предержащим властям, хлопотал, доказывал… Факт остается фактом: сам, своими руками, послал сынка на виселицу. Я вам к тому рассказываю, что конспирация — первый закон революционера.

— И сейчас? После революции?

— Сейчас-то и начнется самое главное. Революция — да. Но какая? Буржуазно-демократическая. Царя свалили, это, конечно, большое дело, но настоящая, главная революция еще впереди, и ее готовить надо. Так что конспирация отнюдь не отменяется.

— Значит, мне и отца нужно опасаться.

— Петр Никанорович — наш, вполне наш. Это замечательный человечина! Даже сейчас, хоть и слежка за ним и надзор, — все равно не сдается! Нет, я о Снегиреве рассказал не как басню, аналогии тут никакой. Петра Никаноровича опасаться не требуется, хотя без нужды вообще болтать ни к чему. Ну что ж, значит, с нами, Виктор? Ведь вы Чердынцев! Петр Никанорович шел в свое время в. первом ряду. Ему девятьсот пятый, вам — сегодня. Адрес не забудьте: Никольская, девять.

Матвей поднялся и крепко пожал Виктору руку.

— Как странно бывает, — раздумчиво произнес Виктор, отвечая на рукопожатие, — ходит иной раз человек: вокруг да около, словно по мелколесью плутает… А дорога-то вот она, совсем рядом.

БРАТЬЯ

1

Это было в те годы, когда бушевала гражданская война по российским просторам. В грохоте сражений шествовал Октябрь, утверждалось новое. На знаменах революционных войск было написано: «Земля», «Хлеб», «Свобода», «Советская власть». И когда, казалось, уже не было выхода, когда петля стягивалась все туже вокруг молодой Советской республики, когда голод рука об руку с пулей и гранатой шел в наступление, когда пшеничная Украина, нефтяной Кавказ, богатое Поволжье, шкатулка драгоценностей — изумрудный Урал и необъятная, еще полностью не освоенная и не обжитая Сибирь уже были в руках колчаков и деникиных и белые дивизии яростно устремлялись к Москве, — в этот именно момент полная победа революции была удивительно близка.

Белым генералам с полгоря: нехватка — так иностранные правители могут подсобить. А на крайний случай, если сила не возьмет, есть куда убраться подобру-поздорову: в любой заморской стране встретят и привет, и ласку.

Большевику выбора нет. Побеждай обязательно, податься некуда, помощи ждать неоткуда. Ведь кто за большевика стоит? Самая голытьба, проклятьем заклейменная.

И стал большевик побеждать.

Во время драки не видно было, кто одолеет, чья сила возьмет. Но чем дальше, тем становилось понятней, что могла победить только Красная Армия, так же как весна побеждает зимние холода. Сколько ни пуши снег, а заиграют овражки, затомится сладостным духом черемуха, и станет цвести, зеленеть лес. Тут уж все, что ни случись, на пользу весенней ростепели. Капель с крыши начнется — каждая капля буравит и крошит сугроб. Ветер подымется — словно языком лижет пласты засахаренного снега.

2

Уфимские комсомольцы целиком записались в 1-й Коммунистический батальон частей особого назначения. Записался

и Егор Чердынцев и перешел жить в казарму.

Нары. Каша в железном тазике, тазик на пятерых. Поверки. Хоровое пение солдатских песен. И курево (кто был в окопах и в казарме, должен непременно курить).

— В какую часть желаете?

— В пулеметную команду.

— Вам немного великовата шинель, — вздыхает краском.

Красноармеец второго отделения второго взвода второй роты Егор Чердынцев, в непомерно длинной шинели, проглатывающей пастью рукавов руки по кончики пальцев, в очках, с мальчишеским басом, не производил впечатления грозной силы. Но службу нес исправно, а когда первая и третья роты ушли на подавление кулацкого восстания, а вторую оставили для охраны города, — вместе с другими негодовал, требуя, чтобы его послали сражаться.

Четверо на охрану водокачки. Караульный начальник — пятый. В солдатском мешке — хлеб, сахар, соль, жестяная кружка. Левое плечо вперед, шагом арш! Человек с винтовкой — совсем особенный, не похожий на других человек. Винтовка вселяет в сердце гордость. Перекинувший ремень винтовки через голову человек делается грубее, строже, сосредоточенней, как обвенчанный со смертью.

Морозно. Ветер с реки. Четверо и караульный начальник. Пять.

В помещении водокачки запах машинного масла и машинного тепла. Чистенькая, сухая электрическая машина. Грязная, громоздкая, хлюпающая — паровая.

В ста саженях отсюда — каменная башенка, в ста десяти — вторая. В башенке — «колодцы», прячущие переплет труб. Эти башенки нужно охранять. По уставу — два часа, и смена. Условились выстаивать по четыре часа: отдежурил — и дрыхни двенадцать часов кряду.

Очередь Егора — от полночи до четырех часов утра. Не скоро.

Бормочут, бормочут, бормочут лопасти машин. Точно и тонко отчеканивает электрическая. Всхлипывает, вздыхает и жалуется паровая.

Только успел уснуть, прикорнув на лавке, не раздеваясь, положив под голову шапку, как караульный начальник уже будит.

Ноги затекли. Тело недовольно. Ломит в плечах. От неудобного спанья в одежде и обуви тело чешется и болит.

Перепоясался. Хлопнувшей дверью оборвал мурлыканье машин. Порыв ветра сдунул дряблую пленку сна с лица. Второй порыв заставил нахлобучить буденовку и повернуться к ветру спиной.

Закоченевший часовой радостно встречает смену. Быстро идет проверка и сдача охраняемого. Караульный начальник и сменившийся часовой, похрустывая сахарным снегом, уходят прочь.

Один. Приятно. По твердой тропке — от башенки до башенки. Мерзлый простор. Небо зеленое, как светляк.

Это там, в городских квартирах, вычистив зубы и сполоснув теплой водой рот, можно пространно рассуждать, громоздить теории и разговоры. Здесь просто и строго: теплые машины, четыре часа на снегу, сосредоточенно безмолвствующая винтовка…

Подлый ветер начинает электрическими иголками покалывать нос, щеки, мочки ушей. Шлют мозгу тревожный сигнал пальцы ног. Размеренная походка превращается в прыгающую. Егор пляшет на одном месте. Пробует делать гимнастические упражнения. Нет, не то. Руки сквозь перчатки (с большим и указательным пальцем для стрельбы) пропитываются стужей, как тряпки водой.

Винтовку за плечо. Не терять присутствия духа. По очереди: растирать уши, щеки, хлопать рука об руку до боли в костях, бег на месте и прыжки на носках.

Это римляне вели счет времени по солнечным часам. У часового — табачные часы: две папиросы — час. Восемь папирос на жестоком морозе — и смена.

Смешной рядовой в очках, в непомерно большой шинели теряет присутствие духа. Глаза слезятся. В пальцах, в суставах — боль. Пять папирос. Небо — вмерзающий в землю ледяной купол. Такие колпаки надевают в гастрономических магазинах на сыр.

Ветер упорно отвертывает полы шинели. Роется — где еще осталось теплое тело. Вот это мысль! Укрыться в башенке! Здесь можно перевести дух. Как тепло! Можно подумать, что в башенке натоплено.

Тс-с! Далекий скрип. Выбросился на мороз, и рука невольно крепче сжала винтовку.

Черное, бесформенное движется.

— Кто идет?!

Нет ответа.

Теперь можно различить. Лошадь. Верховой.

— Стой! Стрелять буду!

Егор щелкает затвором. Винтовка на изготовку.

Пьяный голос мастерски ругается. Ременный повод щелкает по конскому боку, как выстрел.

— Тпру-у-у! Шкура проклятая!

Черное пятно удаляется. Семь папирос. Ветер захватывает дыхание. Егор, натирая щеки и уши, приплясывает.

Восемь папирос. Ног нет. Хочется прекратить сопротивление, сдаться врагу и умереть. Кажется, и сердце сейчас превратится в ледышку.

Что там концерты! Концерты — дрянь! Визги примерзающих шагов караульной смены — изумительнейшая музыка, с которой не сравнить ни Бетховена, ни Скрябина, ни Баха. Нужно прожить четыре часа на пронзительной стуже, чтобы утончился слух и сердце.

Окоченелый, синий, под теплым боком машины пил Егор горячую воду с черным хлебом и сахаром. Приятно отсыревал нос от горячего пара. Один раз отпустили домой на побывку. Почти бегом пустился по улицам, таким знакомым, хорошим. Сколько раз он возвращался по ним из гимназии со связкой учебников, с тройкой по геометрии… Егор вспоминал об этом времени, но странное ощущение: как будто вспоминал о каком-то совсем другом гимназисте Егоре Чердынцеве, о постороннем, ничего общего не имеющем с красноармейцем Чердынцевым. У того Егора была маленькая, совсем крохотная, узенькая, как ленточка, жизнь. Уроки, отметки, классные сочинения… Новый Чердынцев — взрослый человек, воин, суровый воин, идущий в бой за мировую революцию.

Вот и крыльцо. Егор звонит, а сердце у него трепещет. Хлопнула дверь, шаги. Это Зина. Тоже непомерно взрослая, серьезная, глаза строгие. А ведь давно ли их называли в семье «бим-бомами», они были «микроорганизмами», «малышами». И долго бы еще числились малышами, если бы не война.

Но вот открыла двери Зина.

Егор вошел, немного стесняясь. Он боялся натоптать на полу. От шинели пахло сукном, казармой. К тому же Егор научился курить. Вообще, он стал какой-то не домашний. Он и говорить старался басом, солидно, веско, на удивление матери и сестры.

— Вероятно, отбудем на той неделе, — говорил он, обжигаясь горячим чаем. — Надоело бездействовать.

— Как отбудем? — испуганно спрашивала мать.

— Ну, значит, отправимся, — снисходительно объяснял Егор.

— Куда, Егорушка?

— Ясно куда: на фронт.

— Гора! — таращила глаза Надя. — Но ведь там Витя… Как же так? Ты будешь в него стрелять?

Этот разговор произошел уже позже и с глазу на глаз. «Бим-бомы» рассуждали, «бим-бомы» чувствовали. Внезапно очутившись перед огромными сдвигами, мировыми событиями, они сразу махнули во взрослые из малышей, минуя все промежуточные инстанции.

Да, вот, действительно, с Виктором… Егор и сам много и часто думал о старшем брате и создавшейся путанице. С той поры, как Гора помнил себя, с двухлетнего или трехлетнего возраста, он обожал старшего брата. Все, что ни делал Виктор Чердынцев, казалось Горе замечательным и не подлежащим критике.

«Какой у меня брат! Какой у меня талантливый, выдающийся, необыкновенный брат!» — думал Гора с глубоким убеждением.

Да нет, пожалуй, он и не думал так. Он просто любил Витю, любил, кажется, больше, чем кто-нибудь в семье. Например, второй брат Глеб. Если говорить откровенно, разве он любил Витю? Сомнительно! Он, пожалуй, даже недолюбливал его. Завидовал. Пытался соперничать с ним, считал несправедливым, что Виктор всегда и всюду на первом плане. Чем хуже он, Глеб? Стихи Виктор сочиняет? Подумаешь, невидаль — стихи! Нет, Глеб не очень-то любил Виктора, хотя вряд ли сознался бы в этом. А вот Егор души не чаял в старшем брате. Души не чаял. Все, что говорил Витя, казалось Егору бесспорным. Витя был идеалом, образцом. Нет, Егор не мечтал даже со вре-

менем стать таким же. Такое сопоставление и в голову ему не приходило. Единственно, чего желал бы он, — хоть чуточку походить на брата.

И вот все спуталось у Егора в голове. Виктор оказался там, по ту сторону фронта — у белых, у Колчака. Егор старался уверить себя, что Виктор не сочувствует белогвардейщине, конечно, нет. Но и от этого сложность положения не менялась. Ведь могли же Виктора заставить пойти в армию, мобилизовать, наконец? А тогда что же получается? Нелепица получается! Вот поедут они на фронт — весь батальон особого назначения. И вот заляжет вторая рота на опушке леса, за бугорком. Вдали колчаковцы. Их можно различить простым глазом. Они делают перебежки. Они стреляют. Вторая рота поднимается в атаку, кричит «ура», бежит под пулями по лесной поляне, врывается в окопы белых и колет их штыками. А вот и Виктор. Егор узнает его лишь тогда, когда штык сделал свое дело. Виктор лежит на снегу, распластав руки. Лицо у него белое-белое, на нем английская шинель, американские бутсы, и он лежит мертвый. И это Егор, Егор его убил…

А как же иначе? Егор — комсомолец. Егор ни минуты не колеблется, Егор убежден, что правильно поступает, что есть только одна правда на земле. Он готов идти в бой, согласен трижды умереть, если это понадобится для светлого будущего, для победы, для мировой революции. Но убивать брата он не хочет. Можно разобраться! Он схватит Витю за руку, отойдет с ним в сторону и все объяснит. И тогда Витя поймет, не может он не понять. Вообще, это чистое недоразумение, что Витя оказался у белых — у белых, которые убивают рабочих, у белых, которые жгут деревни, порют мужиков, предают Россию. Оголтелая белогвардейщина, осатаневшее от злобы офицерье — и рядом с ними поставить Виктора? Ни за что!

4

Командир роты Корнаков, коренастый, беловолосый, сталевар Златоустовского завода, как-то раз спросил:

— Что, товарищ Чердынцев, у тебя брат у белых?

— Да. Старший.

— Бывает, — сказал раздумчиво командир.

— Он не колчаковец, — убежденно начал Егор, но потом осекся: а вдруг колчаковец?

— Я понимаю, — отозвался командир.

— Он только очутился на территории Колчака: как был в Томском университете, так и остался в тех краях… А тут пришли чехи… а тут учредиловцы… а тут Колчак…

— Если разобраться, — медленно произнес командир роты, — если вникнуть поглубже, я говорю, так ведь получится, что там, по ту сторону, у всех у нас братья. Правильно, Чердынцев? Вот у меня, например, остались там мои товарищи, рабочие завода. А крестьяне? А народ? А сибиряки? Чьи они? Наши, наши родные! Мы идем, Чердынцев, освобождать землю нашу и наших братьев от захватчиков. Так ведь, Чердынцев?

— Так.

Больше они к этому вопросу не возвращались. Шла усиленная подготовка к выступлению. Каждый день проходили строевые занятия. Рассыпались цепью, бежали, кричали «ура», ложились прямо на снег на Соборной площади, а потом маршировали, с песнями возвращались в казармы, и на них глазели из окон, как они молодцевато идут.

Раньше было плохо с обувью, с обмундированием, еле выпросишь шинель, говорили, что на складах ничего нет, и разрешалось ходить в своей гражданской одежде. Теперь выдали всем полушубки, валенки, шапки-ушанки.

В новом одеянии Егор стал совсем бравым воином. Даже Зина воскликнула, увидев его:

— Какой ты красивый! Как в кино!

К Елизавете Ивановне явился учитель гимназии, словесник Оловянников. Они не были знакомы, и даже непонятно было, откуда Оловянников узнал адрес Чердынцевых.

Он позвонил в парадное, ему открыла Зина. Растерялась, увидев незнакомого человека в фуражке с кокардой, спросила:

— Вам кого?

— Могу ли я видеть мадам Чердынцеву, мать гимназистов Чердынцевых? Я — преподаватель словесности, я по важному делу.

— Пожалуйста, — ответила Зина, оробев. — Мама сейчас дома.

Взметнула косичками и побежала сообщить Елизавете Ива-

новне о посетителе.

Елизавета Ивановна занята была стряпней. Она вытерла руки о фартук и вышла в прихожую.

— Проходите, — сказала она, стараясь не показывать удивления.

Об учителе Оловянникове она была много наслышана от сыновей. Знала, что у Оловянникова кличка Кукиш. Знала, что его не любят гимназисты, что у него в классе любимчики, что он придирается, что он скверный человек.

«Зачем пожаловал? — размышляла Елизавета Ивановна, пока они шествовали в комнату, носившую в доме Чердынцевых громкое название «зало», потому что здесь не стояло ни одной кровати и не было обеденного стола. — Зачем пожаловал, и что ему, собственно говоря, нужно?»

Внешность Кукиша без лишних слов характеризовала этого человека: невзрачный, неряшливый, в мундире, плечи которого усыпаны перхотью, с клочьями волос неопределенного, пегого цвета на чрезвычайно маленькой, незначительной голове, подслеповатые глазки с красными воспаленными веками, почти полное отсутствие ресниц, и тонкие, поджатые губы, перья на подбородке, нездоровая, угреватая кожа на лице, дряблые щеки… — очень противный субъект!

Но держался он самоуверенно и настроен был даже как-то излишне торжественно.

— Сударыня! — произнес он, усаживаясь на диван со скрипучими пружинами и оглядывая фикусы на окнах, пыльное трюмо и невыразительные картины на стенах, оклеенных дешевыми обоями. — Меня послал к вам мой долг.

Здесь он сделал большую паузу, так что Елизавета Ивановна нашла даже возможным высунуться в дверь и велеть Зине потушить керосинку, на которой готовился обед.

Между тем Оловянников продолжал:

— Я счел своей святой обязанностью прийти к вам, как бывший преподаватель, последовательно руководящий… э-э… как образованием старшего вашего Виктора Чердынцева, так и, наконец, младшего в вашей семье, насколько я в курсе этой родословной, о коем и будет идти… э-э… главным образом… э-э… речь…

И тут Оловянников запутался в длинном предложении, произнес еще раз «э-э» и добавил:

— Беседа наша чисто конфиденциальна и обращена к вам, как именно к матери вышеупомянутого семейства, тем более, что вы не должны забывать, что супруг ваш является в некотором роде моим коллегой, и я, как представитель русской интеллигенции…

И Оловянников опять потерял нить. Кажется, он был не красноречив.

Елизавета Ивановна поняла только, и то больше не из его слов, а скорее из каких-то интонаций, что Оловянников, по-видимому, не очень жалует большевиков и принадлежит к тем слоям городского населения, которые все еще шипят по разным углам и шепотком передают один другому «совершенно точные и проверенные слухи». Вообще Оловянников не понравился с первых же слов Елизавете Ивановне. Она слушала его настороженно, с каменным лицом. Пока она ровным счетом не могла ничего понять.

«А еще словесник! — промелькнуло у нее в голове. — Воображаю, как он растолковывал ученикам образы Тургенева или рассуждал о байронизме!»

Учитель гимназии еще немного помямлил, несколько раз протянул свое «э-э», затем упомянул о «гибнущей России», о «нашествии варваров», о «миссии всех интеллектуально развитых, мыслящих людей».

«Наверное, будет просить пожертвовать на какой-нибудь союз или комитет. Ни копейки не получит», — решила Елизавета Ивановна, и по мере того как Оловянников путался во вводных предложениях, междометиях и напыщенных эпитетах, лицо Елизаветы Ивановны становилось все строже и неприветливей. Да и она начинала уже понимать, куда он клонит.

— Вам, конечно, неизвестно, многоуважаемая, такое выражение: «северное кольцо»? Разумеется, неизвестно. А очень жаль. «Северное кольцо» — это название гигантской военной операции, выполняемой в настоящее время э-э… белыми армиями в контакте с доблестными союзниками. Колчаковские дивизии с востока, англичане и американцы с севера, от Архангельска, гонят полчища красных и замкнут железное кольцо вокруг Москвы, соединившись в районе э-э… Котласа. Вот это и называется «северное кольцо». А? Как вам нравится?

— У нас в просторечье принято называть кольцом окруж-

ность. А если только с севера, какое же это кольцо?

— Да? Однако, надо полагать, что у них там все предусмотрено. Англичане теснят совдепскую Шестую армию. Здесь, на Урале, от потрепанной в боях красной Третьей армии, от ее тридцати тысяч, едва ли осталось десять. И разве это армия? Пермь взята. Вот-вот падет Вятка. Немудрено! У Колчака — Войцеховский, Каппель, Гайда, генерал Ханжин, Дутов… Эти имена сами за себя говорят!

Заметив изумленное лицо Елизаветы Ивановны, Оловянников поперхнулся:

«Кажется, я слишком разоткровенничался».

После небольшой паузы он продолжал:

— Настал момент, когда можно уже особенно-то не опасаться. Впрочем, то, что я вам рассказываю, может быть почерпнуто даже из советской прессы, если умеете читать… э-э… между строк.

— И вы затем и пришли, чтобы рассказать мне обо всем этом? — спросила Елизавета Ивановна тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

— Позвольте! — заспешил Оловянников. — Имейте терпение… Как вы сами убедитесь, наш разговор гораздо важнее, чем можно было бы подумать…

И в конце концов педагог добрался до сути:

— Мы, учителя гимназии, не все, правда, но большинство, — объявил он торжественным тоном, — саботируем решения большевистских властей. Не скрою, нам трудно. Но как-нибудь продержимся до прихода наших избавителей. Поймите, госпожа Чердынцева, — ведь вы же умный человек, вы даже в обществе любителей драматического искусства участвовали — спасение не за горами. Ни для кого не секрет, что на стороне адмирала Колчака все, э-э… вся цивилизация. Кто поддерживает этих выскочек? Никто! Разве что темный народ, толпа. Между тем белое движение опирается на неисчерпаемые ресурсы… Ну, вы же понимаете, мадам, что такое Америка? До падения совдепов остались считанные дни. Это ясно как божий день. И что же мы видим? Позволяете собственному своему сыну, родному сыну, безусому гимназисту, добровольно в такой-то момент в красное войско записаться! Вы губите его! Такой поступок ляжет несмываемым пятном

на всей его карьере. Спросят: где был в самый решительный поворотный час? С кем связал судьбу? И ведь не скроешь, если бы хоть можно скрыть… узнают, обо всех узнают… Это же трагедия! И вот мне поручено… Вы спросите — кем? Я пока что не уполномочен отвечать на этот вопрос. Мне поручено крикнуть: остановитесь! Вы на краю пропасти! Одумайтесь, еще не поздно!

Заканчивая свою пространную речь, Оловянников стал даже более гладко выражаться. Очевидно, эта часть его призыва была у него лучше проработана. Он замолк и уставился своими слезящимися глазками на Елизавету Ивановну, определяя, какое впечатление произвел он своим выступлением.

— Не понимаю, — промолвила Елизавета Ивановна после некоторого молчания, во время которого она собирала все самообладание, чтобы не вспылить, — при чем тут я? Вы, насколько я вас поняла, обращаетесь в своей горячей проповеди к гимназистам. Не причисляете же вы, милостливый государь, и меня к своим воспитанникам? Дома у меня осталась одна только дочь. Остальные разлетелись кто куда. Идите, усовещевайте их, если пришла такая охота.

— Но позвольте! Вы кто? Мать или не мать?

— Мать. И я свое материнское слово сказала.

— Ах, так? Стало быть, вы благословляете на преступное дело?

— А я вам, батенька, не буду докладывать, что я благословляю, что не благословляю. Вы еще, так сказать, чином не вышли, чтобы я вам докладывала. Впрочем, Егор — он тут, рядом, в казарме, в помещении бывшей женской гимназии. Вот и идите туда, призывайте. А меня-то чего вы уговариваете?

— Та-ак-с, — зашипел Оловянников, — поня-атно-с. Ясно. Ну что ж… Смотрите, не пожалеете ли вы о своем решении, госпожа Чердынцева. А я сделал, что мог, что в моих силах. В дальнейших событиях умываю руки.

— Умывайте, умывайте! — Уже без всякой церемонии выпроваживала посетителя Елизавета Ивановна. — Галоши, галоши не забудьте.

— Извините, конечно…

— Ничего, ничего, бог миловал…

С грохотом запирая парадную дверь на крючок, Елизавета

Ивановна усмехнулась, и у нее сразу вся злоба прошла:

«Плюгавый. И видно по всему, что сильно пьющий. Носик остренький и красный. И сует он этот носик куда не следует. Тоже мне нашелся спаситель России! Настоящий Кукиш, меткие прозвища дают ребята».

Однако вслед за тем она призадумалась, и усмешка слетела с ее лица. Учитель гимназии обнаружил поразительную осведомленность. Он даже знает колчаковских генералов по фамилиям, знает планы и намерения белых… А если он не лжет? Если действительно обстановка на фронте такова? И как раз в этот момент в эту кашу сунулся Егорка! Что же теперь будет? И как же дальше жить?

6

Когда Егор забежал домой, чтобы проститься, Елизавета Ивановна с тревогой смотрела на его оживленное, зарумянившееся и несколько огрубевшее лицо. Она спросила сына равнодушным, деревянным голосом, настолько неестественным, что каждому было ясно, как она беспокоится за мальчика и как старается это скрыть:

— Давно хотела спросить, ты ведь лучше должен знать... Как идут дела на фронте?

— На фронте? — Егор почесал переносицу, собираясь с мыслями. Он всегда делал этот жест, играя в шахматы и обдумывая очередной ход. — Видишь ли, мама, фронт — это не есть некая постоянная величина. Выполняет одна сторона продуманную, проработанную в штабах операцию, все идет успешно. Но вот другая сторона, предположим, разгадала намерения, противопоставила свой стратегический план, подбросила резервы… Вот и получается, что сегодня так, завтра этак…

— Все-таки сегодня как? Ты можешь ответить?

— Могу. Сегодня нас жмут и здорово жмут. Но ведь так не будет вечно продолжаться. Давай, мама, смотреть в корень: нужен народу Колчак? Не нужен. Правда на нашей стороне? На нашей. Выводы? Значит, все в порядке, и ты мне дашь на дорогу теплое белье.

— Теплое белье я тебе дам, — уже со слезами в голосе проговорила Елизавета Ивановна, — но что же это получается?

Ведь это ужасно?

— Да, — ответил Егор порывисто и, уже не выбирая слов, горячо и убежденно заговорил: — Это длинная история, но раз ты затронула эту тему — хорошо, я расскажу все, что сам знаю. Дела плохи, белые наступают, у нас трудно со снабжением, в штабах бюрократизм, волынка, саботаж — все, что хочешь. Изменников немало. Далеко не надо ходить: наш батальонный, из бывших, внезапно скрылся. Куда скрылся? Не иначе, как на сторону белых перебежал. Ну и перебежал, ну и гладенькой дорожки — катись на катере к чертовой матери, не жалко и не страшно! А вот что, действительно, существенно и что решает вопрос. Партия большевиков и лично Ленин вплотную взялись за укрепление Восточного, то есть как раз нашего, фронта. Понимаешь, мама, что это значит? Идет мобилизация коммунистов, едут пополнения из центра, происходит чистка аппарата, в Вятке создана Особая комиссия — это я только бегло перечисляю, а все это большие дела. Сформирована Южная группа войск… Словом, глупо было бы сейчас унывать. Корнаков, наш командир роты (замечательный, между прочим, человечина!), прямо говорит, что на сегодняшнем отрезке времени Колчак — верховный правитель не России (куда ему!) и даже не Сибири, охваченной восстаниями, он — верховный правитель Сибирской железной дороги, но и то временно, и только при поддержке иностранных штыков, «двунадесяти языков».

Елизавета Ивановна слушала внимательно. С одной стороны, ее удивило, что ее Гора рассуждает совсем как взрослый. С другой стороны, все его доводы не успокоили ее, даже еще больше напугали. Значит, и он подтверждает, что плохо… Значит, и он признал, что белые наступают… Как страшно-то!..

И Елизавета Ивановна окропила слезами и теплое белье, и подорожники, приготовленные для красноармейца Егора Чердынцева.

7

Закрутились январские метели по лесным опушкам и безлюдным долинам. Замело все дороги и тропы. А когда утихала метель, вьюга-веялица, гребни сугробов и вершины Уральских гор больно слепили глаза, а небо казалось нестерпимо синим.

Дней десять бушевала метель и как будто вымела начисто одни события и принесла другие. Когда все улеглось и прояснилось, оказалось, что произошли глубокие перемены за это время. Даже лица у людей стали другие — ясные, свежие, как будто все умылись снегом. И разговоры пошли не те. Уверенность и сила была в голосах, в походке, в выправке.

А произошло за этот промежуток следующее.

Центральный Комитет партии все силы отдавал укреплению Восточного фронта, и результаты сказались незамедлительно. Вот прекратился беспорядочный отход красных частей. Южную группу возглавил Фрунзе, и противник сразу это почувствовал. Коммунисты, придя в ряды Красной Армии, внесли бодрость, воодушевление, ясное понимание задач.

Москва осуществила еще одно важное мероприятие. Через северные отроги Урала, через Чердынские глухие леса, через Камские пороги, мимо утеса Говорливое, мимо скалы Полюд и дальше, минуя Тюмень, пробираясь лесными тропами, шли в сибирские села опытные партийные работники и организаторы. Партизанское движение в Сибири получило единое руководство. Советская власть возглавила борьбу с интервентами.

Скоро, очень скоро обнаружилась беспочвенность колчаковского правительства. Не спасли его ни английские шинели, ни пушки, привезенные из Америки, ни государственное золото, захваченное в Казани, — 600 миллионов рублей, ни созданная невероятными усилиями стотридцатитысячная армия. Когда никто уже не сомневался в окончательной победе белых, когда Колчака поздравляли все правительства и было назначено место соединения колчаковских и деникинских войск, вдруг все рухнуло и покатилось в пропасть, в тартарары, к чертям собачьим: и знаменитый план Черчилля — Нокса, и Пермская операция, и таланты генерала Пепеляева, и бородатые сектантские полки «Христа-спасителя», и министр финансов Михайлов, по прозвищу Ванька-Каин, — все, все…

8

Коммунистический батальон, в котором был Егор Чердынцев, погрузили в теплушки. Красноармейцы бегали по вокзальной платформе, гремели котелками, выстраивались в очередь

возле кипятильника, покупали на базаре за станционным зданием творожники, семечки, пироги.

И вот поезд тронулся. И было хорошо, семейно, дружно, вокруг были все знакомые лица, а переборы двухрядки так совпадали со свистками паровоза и погромыхиванием колес… А как хорошо пелось в вагоне! Получалось и складно, и красиво, или это только самим исполнителям нравилось пение, и трогали песни до слез?

Поезд мчался мимо занесенных снегом березовых рощ и деревушек. Несложные заботы — как запасти побольше дров да как разжиться горькой махоркой… И вовсе не походило, что едут на опасное дело, что впереди бои, свистящие пули, кровь на снегу, штыковые атаки… Казалось, просто вот едут они, совершают прогулку своей теплой компанией: Егор Чердынцев; белоголовый добряк Леня Щеглов; щетинистый — настоящий Ерш Ершович — черноглазый Искандер Еникеев; любитель поспать и поесть, невозмутимый, розовый, вечно с отлежанной щекой Сеня Любушкин… и все, все — или одноклассники Егора, или те, с кем встречался на комсомольских собраниях — знакомые-перезнакомые, пели, рассказывали забавные истории, избегая разговоров о домашних, о семье, чтобы не показаться маленькими сосунками. Нет, они взрослый народ, мужчины, бывалые солдаты, черт возьми! С ними шутки в сторону. Они крутили толстенные козьи ножки, затягивались и закашливались от едкого дыма.

А потом — потом прибыли к месту назначения, выгрузились, и опять все было просто, обыкновенно, только одно прибавилось новое: погромыхивание где-то за леском артиллерийских орудий — наших или их? Бахнет — и опять тихо, даже слышно, как ветка хрустит и ворона каркает, спокойно, домовито — три раза каркнет, помолчит, опять три раза каркнет, как будто по счету. И дорога лесная так мирно поблескивает накатанными колеями, и перелески такие веселые, небо такое чистое, кажется, вот сесть в розвальни на душистое свежее сено и поехать в лес за дровами, причмокивая и дергая вожжами.

9

Народ-то ведь не обманешь, народ все видит. Может быть,

иное не сразу обнаружится, иное даже долго под спудом лежит. Но правда, как зерно, посаженное в землю: придет пора — и прорастет, и распушится всей красотой своей. Рассеется туман, и на веки веков злодея заклеймят ненавистью и презрением, а героя возвеличат.

Вот так распалось колчаковское царство, распалось, рассыпалось в прах и стало только горьким воспоминанием. Зарастает забвением, как могила травой.

Коммунистический батальон занял выгодные позиции. Впрочем, когда победа предрешена самой историей, все позиции оказываются выгодными, все решения — пагубными для врага.

Егор Чердынцев испытывал жгучее волнение, вглядываясь туда, вон в те холмы и кустарники, которые были заняты белыми и которые надлежало взять. Разведка сообщила, что Колчак направил на этот участок фронта свежие силы — казачью часть.

— Казаки — шутить не любят, отчаянный народ, — растолковывал командир роты. — Да ведь мы-то кто? Большевики, коммунисты, ленинская молодежь! Их сила в военной сноровке, они испокон веков только и делают, что на коне скачут да шашкой размахивают. А наша сила, какой никогда еще не было, — сила убеждения. Значит, выходит, ребята, что нас никто не способен победить. И не победит. Так и условимся.

Одним словом, позиции заняли и приготовились достойным образом встретить врага.

Казачью часть отправили из самой столицы белогвардейской — из города Омска, что стоит на Иртыше. Провожали казаков торжественно, с колокольным звоном. Сам уфимский архиерей, находившийся в Омске, пышный молебен отслужил. Французский генерал Жанен лично на вокзал прибыл. Напутственное слово говорили, кропили святой водой, «ура» кричали и флагами все вагоны увешали. А санитарной частью взялась руководить, как рассказывали, сама княгиня, вот только фамилию ее никак не могли запомнить, известно только, что родом из Петербурга.

— Эти погонят красных опять до Волги, — разговаривали военные, когда поезд с гиканьем, свистом, конским ржанием и ревом духового оркестра тронулся в путь.

И на передовые позиции явились казаки с музыкой. Ни на минуту не задерживая горячих коней, так и рванули: оркестр впереди, конница следом, и не слышно было, как вскрикнули зарубленные офицеры, а полк всем составом — с музыкой, обозом и артиллерией — перешел на сторону красных. И даже вместе с княгиней, лежавшей в глубоком обмороке в санитарной повозке.

Вот это и было первое происшествие в боевой жизни Коммунистического батальона. Каждый боец, каждый командир понял в этот день, что народ можно мобилизовать, можно загнать в казармы, можно обвешать оружием, можно доставить в окопы, но нельзя заставить народ идти против себя.

Фронт белых оказался разорванным, образовалась брешь. В спешном порядке заполнили они брешь, направив сюда надежные части, сформированные из одних офицеров.

Предстояла схватка не на жизнь, а на смерть. В расположение Коммунистического батальона подтянута была артиллерия, придвинуты резервы, а настроение у красных бойцов было такое, что только подай сигнал — и хлынут вперед, и будут нещадно биться до последнего.

И Егор Чердынцев нетерпеливо ждал, когда можно будет броситься на врага. Держался морозец с утра, а всем было жарко, многие даже расстегнули полушубки, и руки были горячие, а глаза неотрывно смотрели на освещенный солнцем пригорок и на ту, пока еще чужую, опушку леса.

И вдруг Чердынцев увидел Виктора… Вон, вон он, идет бесцеремонно, во весь рост, как только и может поступить Виктор! В офицерском! Значит, мобилизовали… Какая ошибка! Но он поймет, должен понять, ведь понял же целый казачий полк!..

И поддаваясь внезапному порыву, Егор поднялся, выскочил из окопа, нелепо замахал руками:

— Виктор! Витя! Это я, Гора Чердынцев! Виктор! Складывайте оружие! Переходите к нам!

— Да что он, сумасшедший! — опешил командир роты. — Чердынцев, назад! Что ты делаешь?!

Но уже щелкнул выстрел. Кажется, тот самый, кого он принял за брата, за дорогого Витю, — тот самый и выстрелил.

Несколько секунд Егор Чердынцев стоял, и в глазах его было изумление, ужас. Потом он упал на мягкий пушистый снег.

В это время взвилась ракета, и весь фронт поднялся, и перекатилось по перелескам и отозвалось эхом победное «ура». И вон они, вон они, славные герои, уже проникли в расположение противника, и офицер, столь похожий на Виктора, презренный убийца Егора, повис безжизненной тушей на штыке.

Немногим удалось спастись из сводного офицерского полка. К вечеру бой утих. Разведка донесла, что впереди не могла нащупать стремительно отступающие колчаковские части.

ЖЕСТЯНОЙ АНГЕЛ

1

Над прозрачной, незамутимой рекой Белой, с крутыми водоворотами, сонными заводями, галечными шумливыми перекатами, с обрывистыми берегами, поросшими ежевикой-ягодой, стоял за стенами белобокими Уфимский женский монастырь. Толстая стена каменная не пропустит ни шума, ни взгляда. Башенками, выступами, широкими ступенями спускалась она к берегу. А в небе над куполами синими, золотыми звездами ушитыми, раскачивался по ветру, скрипел на кресте ангел жестяной.

Любит об этом рассказывать мать Анна.

2

— Давно это было, когда приснился вещий сон, видение сверхъестественное благочестивой Параскеве, той, что жила в белом корпусе рядом с трапезной, — так начинает Анна с воздыханием.

Привиделось ей, что провалы пещерные, глубокие отверзлись под монастырским храмом и хочет тьма поглотить колокольню главную, и левый придел, и покои матушки настоятельницы.

Молится Параскева Сергию Радонежскому, слезно молит, поклоны земные бьет:

«Сохрани и спаси, не дай погибнуть белому улью черных пчел твоих, воск молитв неустанных растопляющих перед ликом твоим!»

И зазвучало небо — уловимо для слуха. Вылетел ангел в белых ризах и засиял надеждой.

«Не беспокойся, говорит, Параскева. Услышаны молитвы твои, поклоны твои сосчитаны, иди и сну отдайся. До первого звона к вечерне продержу я колокольню за крест, не дам поглотить его хлябям. Утром оповести всех о виденном».

И держал он рукой своей храм за макушку золоченую, не давая ему в провалы ввергнуться.

Много скорбели сестры допрежде, что нету в монастыре

чудотворных поступков и икон богоявленных. Услышав о видении Параскевы, возликовали сердцами премного и, призвав богомазку Феофилакту, вопрос ей поставили:

«Сможешь ли, мать Феофилакта, в срок наикраткий, до первого звона вечернего, намалевать образ ангельский и вырезать оный из жести?»

«Призывайте в помощь всевышнего», — ответила Феофилакта и заперлась в мастерской иконописной, а все монашенки на коленях стояли, перебирая перстами желтыми круглые четки.

Вышла в обед Феофилакта, призвала к себе девицу Агнию, велела желтый крон растирать и заперлась опять.

А вечером на купола звездные уже карабкались кровельщики, веревки нацепляли на крестные перекладины, ангела из жести припаивали — так, чтобы рукою держал крест.

Тогда же карающею десницею свергнул господь пьяницу, богохульника подрядчика Матвеича. Погряз Матвеич во грехе и питии спиртоносном. Терпел сие долготерпец. Но сбогохульствовал однажды свыше меры Матвеич, ремонт производя капитальный в левом клиросе: к непристойному выражению присовокупил имя пречистой девы. И нашел его бог. Только поставил Матвеич на веревочную лестницу сапог свой — и сорвался долу. После нечего было в гроб собрать, кисель один образовался. По этому поводу мать игуменья высказала следующее: «Человек не тот, кто имеет руки-ноги человеческие, но кто с ревностью упражняется в благочестии и добродетели.»

3

Феофилакту-богомазку, когда преставилась, сменила рыжая Митродора. А от нее переняла рукомесло живописное молодая послушница Ольга. После, когда Ольга уехала в город Москву, запрет был на нее наложен, самое упоминание греховного имени в стенах монастырских возбранялось. А тогда очень любили Ольгу. Характера она была услужливого и к старшим исполнительного.

Древнее мимо ходит, и все бывает ново. Приходили новые дни и новые события приносили. Но то, что случилось, кто бы мог предречь и предвидеть!

Богат был монастырь. Шелком шуршали монашенки, шелком были вышиты подушки, на которых преклоняли они колена во храме на молитве.

Через ворота, что на улицу, входили и выходили благочестивые молельщицы и благодетельницы монастыря. Через ворота задние много подвод ввозило и свечи, и ризы, и воза капусты, и всякую всячину для солки, для маринаду, для варений. Ягоду привозили в берестяных лукошках, мед сотовый липовый — в пузатых бочонках.

Земли большие были у монастыря, огороды свои, лес, пчельник и свечной завод.

Чинно и чисто было во дворе монастырском. Смиренно проходили монашенки по тихим коридорам, по дощатым дорожкам от корпуса к корпусу, к церкви, кладовым, к трапезной, к монастырским баням.

Кто бы мог подумать, что в этих банях будут солдаты париться целыми эскадронами? Что по деревянным мосточкам, среди монашенок, будут разгуливать рослые кавалеристы в ярко-малиновых галифе с золотыми лампасами? Что в воротах у голубой часовенки будет стоять часовой и пропуск спрашивать?

За три дня до того приметили монашенки, что на ангеле словно кровавый пот выступил. Сделала Ольга догадку, что это ржавчина, а может, и птицы невежливо обошлись, но цыкнула на нее ключница Аполинария, и решили, что сие — пот.

Три дня ждали — случится что-нибудь, а слухов премного носилось о большевиках этих. Только на третий день подъезжает к монастырю машина бесовская. Фыркает, аки зверь апокалипсиса, а выходят из нее два антихриста, прости господи, при фуражках с красным верхом. Не творя крестного знамения, — шасть в монастырские ворота. Вошли, осмотрели все честь честью и уехали.

Переполоху что было! Подумать только, что до того часа ввек ступня мужеска пола не переступала порога монастырского. Чего! Приезжали на богомолье богомолки с уезда — из сел и деревень окрестных. Было для них через дорогу возле монастыря подворье построено. Но как было то подворье битком набито, то и попросилась как-то одна женщина мирская переночевать в келье. Пустили — отчего нет. Но был при той жен-

щине младенец мужеска пола девяти месяцев от роду. Того не допустили. На подворье перепоручили сторожихе-лавочнице.

А тут нате: вошли, что тебе марш-парад какой, прости, господи, за эти слова! Похаживают да хлыстиком так вот, так вот.

«Недурненько здесь, Назаров!» — говорит один другому.

Загородила телесами своими мать настоятельница Евдохия:

«Не допущу, говорит, лицезреть сего».

И ставни позакрывала.

Только в ставне каждой дырка в виде сердца вырезана — по очереди смотрели на комиссаров красивых молоденькие послушницы.

На Маковея пришло заявление-декрет: очистить монастырь для постоя и размещения кавалерийских курсов. Оставили для монашьего местопребывания нижний корпус да тот, что под домовой церковью был. И то едва охлопотала мать игуменья. К архиерею четыре раза ездила и в исполком — к ихнему большевицкому губернатору.

Всю ноченьку скрипел скрипом протяжным и жалобным на кресте ангел. Ветер дул с реки, била волна в сваи, в плоты хлипкие сосновые. Сырость ударяла в стены штукатурные, на колокольне колокола раскачивала.

Не спали монашки всю ночь — монастырское имущество спасали. Одной капусты малосольной пятнадцать бочек выкатили.

Утром загремели одноколки серые, замелькали шинели, загудели мужские голоса. Штабная канцелярия буквенными машинками застукала. Начальник на иноходце сивом приехал… военком, — тот, что первый монастырь осматривал… завхозы разные, комвзводы… И этот же — командир третьего эскадрона, Назаров по фамилии.

Сначала сидели монашенки и жизни знака не подавали. Только в щелки за этим содомом и гоморрой наблюдали.

Потом осмелели. А через неделю которым заказ сделали знамя им вышить золотом, которым — значки кавалерийские с лошадиной головой сооружать. Стали к ним на службу поступать послушницы, паек хороший давали: три фунта сахару-рафинаду, мясо, крупы разные, приварок и хлеба солдатского печеного два фунта каждодневно.

Ключницу Аполлинарию помзавклуб в буфетчицы клубные

определил. Клуб у них был такой, имени Карла Маркса назывался, должно, какое-нибудь начальство ихнее.

А Назаров, командир, как увидел образа, Ольгой намалеванные, пришел в удивление.

«Очень, говорит, великолепно рисуете, Ольга Тихоновна (так и назвал — Ольга Тихоновна). Только бы, говорит, не эту желтолобую ерунду вам рисовать надо. Поступайте к нам в студию».

И соблазнил ведь змий, уговорил речами медовыми!

Глянула мать Аполлинария (зашла как-то к Ольге) на рисование ейное — да обмерла и прямо на табурет в краски масляные села.

Олечка кричит:

«Ай, в палитру села!»

А той не до палитр этих.

«Ольга, Ольга, — воздыхает, — что ты с собой сделала!»

Действительно: стоит у Ольги на подставке (мольбертой называется) портрет Назарова — со звездой, в кожанке, ну живой, да и только. А на других картинах — бабы голые (тьфу!), солдаты и чего-чего только нет.

Ольга от краски зад матушки Аполлинарии оттирает скипидаром, а та ее анафеме предает да игуменье донести обещает.

Смеется Ольга.

«Творения бога, говорит, не грех кистью изображать».

Пошел разговор про Ольгу среди монашенок. Что часто у нее командир этот бывает. Что ходит она в студии какие-то и театры. Может, и грешили на нее, а может, правда.

Дошло бы и до игуменьи, да тут стали кавалеристы домовую церковь оттягать, чтобы под клуб занять. Переполошились все, поскакала мать игуменья к архиерею, каждый вечер военкома в гости зазывала, чаем с уфимским медом потчевала, переговоры вела. И забыли про Ольгу со всеми этими треволнениями.

4

На рождественский пост это было.

Курсанты-кавалеристы спектакль с танцами и мракобесием устроили, а Олечка им декорации написала.

Узнала игуменья. Очки черепаховые надела, строго произ-

несла:

«Вразумить надо. Попустительства не потерплю».

И снова очки сняла. Такая у нее привычка была, когда гневалась.

Молитва у нас составлена была об избавлении монастыря от безбожников-курсантов. Каждую службу молитву ту втихомолку прочитывали. Одно горе: громко прочитать нельзя, а тихо читать — до бога не доходит.

Поздно вечером прочла молитву сию игуменья и путями окольными, чтобы не встретиться с «карфагенянами», как она их называла, пробралась дорожками узкими деревянными в нижний корпус, в келью Ольги-послушницы.

Три раза стукнула по обычаю. Ответа нет. Дернула шнур, что крючок изнутри отпирал, и вошла тихо.

Нам нечего вращать очи туда и сюда, чтоб высмотреть, нет ли где истины. Она близ. Когда не ищем ее — натыкаемся, когда прячемся от нее — найдет нас.

Заглянула мать игуменья в кухоньку — никого. В келью заглянула — никого, и лампа притушена, фитиль керосином чадит.

На мольберте стоит портрет красного командира в полной военной форме.

«Та-ак. Лики святые не нужны уже! — повела глазом мать игуменья, готовясь произнести нравоучение. — Подождем, подождем, когда вернется еретичка из ночных прогулок. Уж я ей прочту такой акафист, что не опомнится!»

Села игуменья, дожидается. Только слышит — за пологом ситцевым дыхание.

«А-а, спит Ольга, служба церковная не для нее!»

Глянула на полог — да так и застыла. Хочет встать — отнялись ноги. Хочет крикнуть — голоса нет. Хочет очи руками закрыть — опустились бессильные руки. Плачет мать игуменья, а возле полога ситцевого два сапога лакированных валяются с серебряными шпорами.

5

Свадьбу они сыграли веселую, музыка гремела — по всему монастырю было слышно, без попа свадьбу.

А утром вышла мать игуменья из опочивальни, занесла руку осенить себя крестным знамением по привычке на шиш колокольный — остановилась, зашаталась и замертво упала мягкими телесами на ковер.

Пока суетились вокруг нее, чей-то крик раздался неистовый:

«Матушки! Ангела нет!»

Бросились к окну. Храм на месте. Внизу, во дворе, курсанты маршируют, обучаются. А ангела жестяного нет, словно и не было.

Говорили, что нашли его после у стены, ржавого, изогнутого. Но кто же этому поверит?

Покинул ангел место оскверненное, выпустил крест и улетел через реки, леса и горы в синюю пустоту.

ФАТИМА

Чаще ее называли «Бираля». Она сердилась на прозвище, и тогда черные ее глаза делались злыми, дикими, как у хорька.

В голодный год, когда посохли травы, не уродился хлеб и не стало молока у кобылиц, родители Фатимы, башкиры-земледельцы, отвезли дочь в город и оставили на крыльце больницы. Мать Фатимы плакала. Отец, чернобородый Кукобай, сердито молчал и только, когда выехали за город, сокрушенно пощелкал языком:

— Це-це-це…

Этим он хотел выразить многое: и горькую обиду на неурожай, и тяжелое раздумье о дочери Фатиме, которую если и отдали докторам и лекарям, то лишь потому, что хотели спасти Фатиму от голодной смерти и не видели другого выхода.

Фатиме было совсем мало лет. Смешная в длинной до пят розовой рубашке, но уже с черной косичкой и маленькой серебряной монеткой в волосах, она знала всего одно слово: «бираля», что означало по-башкирски «дай-ка».

Когда мать ела, Фатима протягивала ручонки:

— Бира-ля.

Когда старый Кукобай позвякивал уздечкой или бруском оттачивал звонкую косу, Фатима кричала:

— Бира-ля!

И теперь, когда ее — прозябшую, синюю от холода — нашли и привели в детский дом, в старую Уфу, она сначала дичилась, не отвечала ни на какие расспросы и глядела на всех исподлобья недоверчивыми глазами, а потом протянула руку ко вкусно дымящейся вареной картошке и произнесла при общем хохоте обступивших ребят:

— Бира-ля.

Так ее «Бираля» и прозвали.

2

Детский дом в Старой Уфе был не дом, а целый городок. Его так и называли: детгородок. Помещался он на месте бывшего женского монастыря, когда-то богатого, известного на всю округу. В гражданскую войну, в первые годы после революции в монастыре разместили кавалерийские курсы, а потом отдали всю территорию под детский дом.

Место это отличалось особенной красотой. Многочисленные здания детгородка белели на высоком холме, на крутом берегу многоводной, бурливой, широкошумной реки, и утопали в зелени.

Это был, действительно, детгородок, ребячье царство-государство, со своим большим хозяйством, со своим распорядком, со множеством домов, построек и пристроек, с огромным двором, который казался настоящей площадью. Этот двор был местом игр и сборищ, тут гоняли мяч, тут находились турники и «гигантские шаги», которые никогда не пустовали. А в глубине двора, над обрывом, стоял белый флигель, красивый, с мезонином, — там жили заведующая, завхоз, воспитатели, заправлявшие всеми делами детгородка.

В это-то царство-государство и попала Фатима.

Несколько дней в детгородке только и было разговору что о Фатиме.

— Клавдия Витальевна, — спрашивали руководительницу мальчишки, — отчего башкиры конину едят? Разве они не люди?

— А отчего мы коровье мясо едим?

— Ну, от коровы молоко бывает, значит, ее можно есть. А лошади для того, чтобы ездить.

— А вы разве кумысу никогда не пробовали? Хороший напиток!

— Бира ля! Бира ля! — кружились возле Фатимы девочки.

С большим трудом угомонила Клавдия Витальевна расходившихся ребят. Фатиму коротко остригли, вымыли, переодели, и ребята сразу оставили ее в покое: она сделалась такой же девочкой, как и все другие. Только глаза остались прежними — глаза дикого зверька, да смуглая кожа напоминала, что девочка родилась в степи.

Жизнь в детском городке потекла как обычно. Вместе с другими Фатима играла, гуляла, ела. Скоро она стала забывать о деревне, о матери, и в общем шуме и гаме гортанный ее голос звучал звонче всех.

3

Мать Фатимы скучала по дочери. Всё напоминало ей Фатиму. Закричат дети у соседки — ей вспомнится, как плакала Фа-

тима, когда нечего было есть. Глянет в степь, раскинувшуюся за деревней, — кажется ей, что видит вдали город, отнявший у нее дочь.

— Помнишь, Кукобай? — скажет печальным голосом.

И начнет перебирать в памяти всякую мелочь.

Кукобай кряхтит и отмалчивается да теребит свою черную бороду, да щелкает сокрушенно языком:

— Це-це-це…

— Помнишь, как она чуть не упала в колодец? А как она смеялась, когда ты ее посадил на лошадь! Один раз она захворала и чуть не умерла… Из нее выросла бы красивая девушка…

Нет конца воспоминаниям матери, как нет конца ее печали. Голодный год миновал, и давно бы мать взяла Фатиму обратно. Но где ее найдешь?

А тут еще такой случай.

Однажды ночью кто-то постучал в дверь. Кукобай открыл. Вошла молодая женщина с мальчиком на руках.

Они промокли под ливнем и так устали, что тут же, у двери, опустились на пол и долго не приходили в себя.

— Ай-вай! — сказал Кукобай. — Надо мала-мала кормить, мала-мала спать давать, мала-мала теплый печка лежать.

Ночью женщина стала бредить. Она стонала, кричала и к утру умерла. Экое горе. Померла и дитё свое вроде как передала на попечение незнакомым людям.

Подумал-подумал Кукобай и решил оставить белоголового мальчика у себя. Не на улицу же его выгнать.

Притворно сердито спросил:

— Твоя как звать?

— Николяса, — пропищал мальчик.

— Ляса, ляса! — передразнил Кукобай. — Какой такой имя? Ахмет буду звать тебя. Понимал?

4

Стало шумно в доме Кукобая. Белоголовый Ахмет кричит, белоголовый Ахмет плачет, смеется. Вот он только что сидел на лавке, а через минуту играет под окнами в бабки. Деревенские мальчишки драться — и Ахмет драться. Мальчишки на коня —

и Ахмет на коня. Говорить научился лучше по-башкирски, чем по-русски. Тюбетейку надел, а то голову солнце напечет. А растет как! Не по дням, а по часам, словно овощ на огороде!

Вначале никак не могли договориться. Покажет Кукобай на высокую траву:

— Это хлеб.

А ведь Ахмет знает, что это трава, а не хлеб. Хлеб не бывает зеленый. И неловко Ахмету, что Кукобай такой большой, а врет.

— А вот это кумыс.

— Молоко, — поправляет Ахмет.

— А вот картошка.

— Вот так картошка! Белые и лиловые цветочки… Как же такую картошку есть?

Скоро стал понимать. Узнал, что хлеб растет в поле и сначала походит на траву, потом на крупу, потом на муку, и тогда только месят тесто и сажают хлебы в печь.

Стал Ахмет помогать Кукобаю в работе. Боронить научился. Карабкается на коня, посвистывает, покрикивает. Раз только неожиданно остановился конь, Ахмет не удержался и через конскую голову — кувырк. Упал на землю и оглядывается: не видел ли кто? Засмеют.

— Ты чего? — спросил Кукобай, заметив, что Ахмет трет ушибленное колено.

— А вот, — говорит Ахмет, — слез с лошади узду поправить.

5

По пятницам ездили на базар. Ай-вай, какой шурум-бурум на базаре! Ахмет от воза ни шагу. Не то заплутаешься в толпе. Одних арбузов сколько! Не сочтешь. Дал Кукобай Ахмету арбузную горбушку. Ахмет даже нос вымазал в розовой сладкой мякоти. Съел, а корку на голову: зеленая полосатая тюбетейка.

Что такое? Целая куча мальчишек и девчонок с криком, хохотом тащат худенькую черноглазую девчонку прямо к Ахмету.

— Эй, купец! Почем огурцы?

— Фатима! Скажи ему по-башкирски!

— Бала-бала-бала… Ну, говори!

Девочка вырывается, раскраснелась, на глазах слезы.

— Пустите! Не хочу! Пустите!

Смотрит Ахмет — с Кукобаем что-то сделалось: глаза вытаращил, бородой трясет, что-то сказать хочет и не может.

С криком, смехом ребята побрели дальше. А Кукобай все смотрит, смотрит в их сторону. Так зазевался, что лошадь засунула морду под полог и стала грызть огурцы.

Вдруг заторопился Кукобай, побежал куда-то, успел только крикнуть Ахмету:

— Тукта, малай. Сиди тут, смотри тут, телега не бросай, никуда не ходи!

Бегом, бегом, догнал Кукобай ребят, пошел в сторонке за ними. Вот они перешли базарную площадь, поднялись в гору от речушки Сутолоки и вошли в большой белый дом с малиновой вывеской у входа.

«Ай-вай, хорошо, что на этот базар нынче приехал… Главный базар — большой базар, лучше этого, а кызым бы там не видал…»

Когда вернулись домой, Кукобай долго выпрягал лошадь, кряхтел, не шел в избу. Наконец пришел и сказал:

— Фатиму видел.

— Где? — вскинулась мать.

И до тех пор плакала, пока Кукобай не пообещал ей поехать через неделю и разыскать дочь.

И еще о чем-то они говорили, но так тихо, что Ахмет не мог ни слова разобрать. Ему показалось, что говорили о нем. Но что? Он еле дождался, когда наступил следующий базарный день.

6

В детском доме стоял такой крик и визг, какой стоит в любом детском доме, где столько веселых и здоровых ребят. Крик и визг усилился, когда мимо окон прогремела телега и из телеги вышел большой чернобородый человек, а за ним выпрыгнул ловкий, быстрый мальчуган в тюбетейке.

Приезжий почмокал, подвел лошадь к «гигантским шагам» и привязал ее к столбу. А движения его были медленные. Или он волновался, или был в большом раздумье и сомневался, так ли он поступает, как надо. Вот он постоял, подумал, порылся в телеге, в сене. Еще раз проверил, хорошо ли привязана лошадь, сказал что-то мальчику и взошел на крыльцо. За ним

поднялся и мальчик.

У ребят в это время шел спор, кто кем хочет быть. Один кричал, что будет извозчиком, другие — пожарным, прачкой, матросом…

— А ты?

— Я хочу быть Клавдией Витальевной, — сказала Фатима.

Девочкам стало завидно, и они закричали:

— Ия Клавдией Витальевной! И я!

В это время кто-то крикнул:

— Телега!

И все посыпались горохом к окну.

— Фатима! — позвала через несколько минут Клавдия Витальевна. — К тебе приехали.

Фатима покраснела, побледнела и снова покраснела.

— Нет, — прошептала она растерянно, — не пойду…

Клавдия Витальевна обняла ее за плечи, отвела в сторону, долго что-то говорила ей тихим, мягким голосом. Фатима слушала молча, потупив голову.

Чернобородый человек и тоненький мальчик сидели на лавке. Рядом в вышитом желто-малиновом полотенце лежали деревенские гостинцы.

— Айда, — сказал Кукобай ласково, когда Фатима вошла и остановилась в нерешительности у дверей. — Домой езжаем, праздник гуляем, мамка видаем…

Фатима слышала, как за дверью шептались:

— Смотри, смотри — борода…

— Клавдия Витальевна, а почему у них на головах тарелки?

Фатима крепко ухватилась за ручку двери, словно ее собирались насильно тащить. Прошептала бледными губами:

— Нет… Не хочу… Нет…

— Лошадка катаем… Лепёшка угощаем… — подумав, сказал Кукобай. — Карашо будет.

Вошла Клавдия Витальевна и тоже стала ласково уговаривать Фатиму. Белоголовый Ахмет, затаив дыхание, рассматривал девочку. Ему хотелось сказать ей, что и мать, и Кукобай, и он, Ахмет, — все они хорошие и не будут обижать Фатиму. Но он только сопел носом и молчал.

Вдруг Фатима решилась. Бледная, помертвелая, она стала одеваться. Молча взглянула на Кукобая, как бы сообщая, что

она готова. Молча вышла и села на телегу.

В окно, чуть не выдавливая стекла, глазели все ее приятели. Вот и лошадь отвязана от столба, и ворота открыты. Мальчишки и девчонки машут руками и что-то кричат. Что кричат — не разобрать, но по их лицам видно, что они не хотят разлучаться с Фатимой.

Когда Кукобай взгромоздился рядом, накренив телегу, Фатима вдруг спрыгнула и побежала. Она бежала изо всех сил и слышала, какое ликование поднялось там, за стеклами окон. Она спряталась в спальне, за самой дальней кроватью. Клавдия Витальевна хотела подойти к ней, но она стала биться и кричать:

— Боюсь его! Боюсь! У него борода какая! Не отдавайте меня, миленькая, миленькая, миленькая Клавдия Витальевна! Я не хочу никуда! Я тут хочу! Я кисель буду есть, я постель буду хорошо заправлять, не отдавайте меня! И вы спросите хоть всех ребят — разве им не жалко меня, разве они хотят, чтобы я уехала? Разве они не любят меня? А вы разве не любите меня?

Фатима до тех пор кричала и всхлипывала, пока не увидела, что Клавдия Витальевна прослезилась и решительными шагами направилась к Кукобаю.

7

Ахмет и Кукобай ехали обратно. Кукобай долго хмурился и молчал. Потом повернулся к Ахмету и сказал:

— Ругай мала-мала меня. Шайтан, скажи, ты, старый Кукобай. Хотел поменять меня на Фатиму и со старухой о том сговорился. А чем, скажи, я плохой? Большой стыд тебе, скажи, старый Кукобай. От своего верного помощника хотел отрекаться, от наследника, от сына дорогого… Ай-вай, стыдно мне! Спасибо, Аллах не дал греха…

Выехали в степь. Телегу трясло и качало. Дребезжащим от тряски голосом Кукобай пел. Пел о том, что в степи растут желтые цветы, — хорошая, задушевная песня.

— А-а-а-а… — тянулась песня нескончаемо долго, была она такой же длинной, как степь и степные думы.

«Зачем она не хочет с нами жить? — думал с грустью Ахмет. —

Вместе бы на базар ездили… И боронила бы тоже, как я…»

Он так задумался, что и не слышал, о чем толкует Кукобай. Он привык к тому, что Кукобай сам разговаривает с собой и что-то бормочет. Но если бы и услышал, то не поверил бы, что его куда-то хотели отдать, он понял бы слова Кукобая так, что любовь к нему, Ахмету, стали бы делить с Фатимой. А разве это обидно?

Солнце опускалось. Становилось прохладно.

Сары, сары, сабсары,
Сары чачка саплары.
Мин соргаймы,
Кэм соргайсын,
Килми сэлям хатлары…[21]

Кукобай пел, а Ахмета клонило ко сну. И степь вокруг радовала глаз, растревоживала сердце — большая, раскинувшаяся до самого неба, дышащая горькими травами, благодатная, необъятная степь.

---

[21] Желтые, желтые, очень желтые,
Желтые стебли цветов.
Кто же сохнет,
Как не я, —
Не идут письма привета.

СВИДАНИЕ

1

В купе вагона давно уже спали. Только писатель Астахов все стоял в коридоре и, прижимаясь лбом к стеклу, вглядывался в темноту, в мелькающие огни и темные пятна перелесков. Чем ближе подъезжал он к родным местам, тем задумчивее становился и неразговорчивее. Заволжье! Башкирия! Приуралье! Сколько же это лет он здесь не бывал? Неужели три десятилетия?! Целая жизнь!

Не веря себе, Сергей Астахов стал снова подсчитывать. Да, тридцать лет назад, в 1929 году, он приезжал сюда хоронить дядюшку. Славный, безобидный был старик. Жил он недалеко от татарского кладбища, на окраине города, в деревянном двухэтажном доме. Занимал в первом этаже отдельную квартиру, выгороженную простым способом: была заколочена дверь в смежную комнату, и получилось две квартиры — одна с выходом во двор, ее занимала тетка Марья; другая, состоявшая из комнаты и кухни, с окнами на улицу, принадлежала дяде Леше. Перед окнами по желтоватой глине кое-где были брошены кирпичи, по которым и пробирались прохожие в дождливое время.

Дядюшка жил на скромную пенсию да на доходы от фруктового сада. Любимым его времяпровождением было созерцание в окно широкого простора реки Белой, дальней поймы и очертаний железнодорожного моста, на котором нет-нет, да и появлялась ленточка проходившего поезда. Дядюшка непрерывно курил и весь пропитался табачным дымом. Он и ночью вставал, чтобы разок-другой затянуться.

И вот он умер, одинокий, упрямый старик. Никак не соглашался расставаться со своим городом и все приговаривал:

— Пока жив, всё жив, а как помер, так и нет.

Тетка Марья вызвала Сергея Николаевича телеграммой, как только дядюшка заболел. Но Астахов подоспел лишь на похороны.

Когда вернулись с кладбища, тетка Марья пробовала рассказать, как жил Алексей Георгиевич, «царство ему небесное», но так ничего и не придумала.

— Яблоки у него в саду родились хорошие, — задумчиво

промолвила она. Подумала и добавила: — Ничего, уживчивый был человек.

Сергей Николаевич решил в ту же ночь уехать. Побродил под яблонями и объявил тетке Марье, что отныне фруктовый сад принадлежит ей. Подарил ей также обстановку и утварь, оставшуюся от дядюшки, забрал только пачку писем да потрепанную, пересыпанную махоркой клеенчатую тетрадь. Сергея Николаевича заинтересовала надпись на первой странице: «История города Уфы и семейства Астаховых». Однако, перелистывая тетрадь уже на обратном пути в вагоне, Сергей Николаевич сначала разочаровался: витиеватым слогом, с длиннотами и постоянными отклонениями в сторону дядюшка излагал в основном общеизвестные факты.

«Питая любовь к отчизне, — писал он, — мы прежде всего останавливаем взор на том географическом пункте, где, как прозрачный родничок, вскипали наши детские годы. Но, увы, редко мы любопытствуем о возникновении родного города, об его истории. Как тут жили? Чем радовались и печалились твои предки? Только через тысячелетия дотошные археологи вдруг начинают добывать из-под пепла полуистлевшие черепки. Не слишком ли поздно, уважаемые соплеменники? Сколько много драгоценных сведений сохранилось бы, если бы каждый тщился запечатлеть и виденное им теперешнее, и узнанное им прошлое. Это и послужило бы канвой для истории городов наших. Сия тетрадь — мой скромный вклад. Итак, начинаю: где и когда возникла Уфа?»

Дойдя до этого места, Сергей Николаевич бегло перелистал дальше тетрадь. Потом увлекся. О чем только тут не говорилось! О репертуаре городских театров, о базарных ценах, о том, сколько по рекам Уфе и Белой сплавляется леса, о том, что река Уфа имеет длину семьсот восемьдесят шесть верст и впадает в Белую двумя рукавами…

С большой важностью дядя Леша сообщал, что город Уфа стоит на правом берегу реки Белой, что построен он русскими стрельцами в 1574 году, что прежде на этом месте было некое поселение, что город подвергался набегам кочевников и выдержал осаду пугачевского сообщника Ивана Зарубина, по кличке Чика… Далее дядя Леша рассказывал о расправах Чики с помещиками, о непреклонности коменданта Уфы полковника

Мясоедова и наконец о том, как на Соборной площади в Уфе отрубили голову закованному в цепи Ивану Зарубину при большом стечении безмолвствующей толпы…

Утомившись погружаться в глубь истории, Сергей Николаевич перевернул десяток-другой страниц и прямо перескочил на описание семейства Астаховых. Тут он нашел прелюбопытные подробности о деде и прадеде, о детстве и юности отца. Но его оторвали от чтения разговорами, потом пригласили закусить, попробовать, какую вкусную картошку купили на остановке соседи… Сергей Николаевич сунул тетрадь в чемодан, а по возвращении в Москву спрятал ее в нижний ящик письменного стола, куда складывал черновики, архивные материалы, газетные заметки, которые, он считал, могли ему в дальнейшем понадобиться, некоторые книги, выкопанные у букинистов. Иногда он вспоминал об этой тетради, собирался когда-нибудь сесть и специально ею заняться, да так и не удосужился в сутолоке московских буден и в напряженной творческой работе, поглощавшей его целиком.

Так пролетели годы, много лет. Астахов успел побывать на фронте, успел вырастить сына, успел выпустить шесть или семь книг…

Не так давно он получил письмо. На конверте был штемпель Уфы. Писал друг детства, однокашник, Ваня Балашов. Он прилагал и фотокарточку, но как ни пытался Сергей Николаевич в чертах солидного, вероятно, килограммов на восемьдесят, человека угадать облик тщедушного гимназистика Вани Балашова, он не нашел никакого сходства. Рядом с Ваней на снимке была красивая женщина, она приветливо и доверчиво смотрела в объектив. Астахов, конечно, понял, что это Ванина жена, которой он в письме пел дифирамбы.

Писал Ваня о только что прочитанной книге Астахова. Выражал восторги. Приглашал приехать к нему в Уфу.

«Что я там буду делать? — подумал Сергей Николаевич. — Нет, не поеду».

И написал Ване очень дружеское, очень теплое письмо, но насчет поездки отвечал уклончиво.

По-видимому, этот Ваня был упрямый человек и никак не хотел отказаться от своей затеи. Через год от него опять пришло письмо, в котором он доказывал, что писателям следует

побольше видеть, побольше разъезжать, что стыдно не знать и не любить родной город, что особенно интересно побывать в Уфе тому, кто видел ее полвека назад, чтобы посмотреть, что из нее получилось теперь, в 1959 году.

При чтении этого длинного послания у Астахова шевельнулась мысль:

«А что, в самом деле, если взять да поехать?»

Но опять захлестнули разные дела, обязанности. Оказывается, нужно срочно сдать рукопись… Оказывается, он давно уже обещал выступить по радио…

Удивительно было только одно обстоятельство: без всякой связи с теми или иными событиями и почему-то как раз в самый неподходящий момент, можно сказать не к месту, всплывали в памяти какие-то давние встречи, незначительные, но ярко запечатленные в мозгу происшествия… и все они были связаны с гимназическими годами, а следовательно, — с Уфой…

Вспомнил, например, как Ваня написал однажды сочинение на тему «Лишние люди в произведениях Тургенева» и всадил в него сгоряча наряду с Лаврецким и Рудиным — Печорина, за что и был награжден жирной единицей. А чтобы единица не могла быть переделана в четверку, в скобках красными чернилами расшифровывалось ее печальное значение.

Вспомнил желтое приземистое здание гимназии… Вспомнил свои гимназические проделки…

«Должно быть, стареть начинаю, — усмехнулся Астахов. — У стариков отчетливее всего помнится самое отдаленное, главным образом, детство, как бы замыкая пройденный жизненный круг».

Да, Сергей Николаевич окончил Уфимскую классическую гимназию, стародавнюю, с латинским языком, балльниками, классными наставниками и обязательным законом божьим. Раньше, мальчишкой, он ненавидел ее всеми фибрами души, считал бесполезной, убогой, гнетущей. Став же взрослым, говорил о гимназии не иначе как с благодарностью и уважением.

«Как много она мне дала! — часто даже с каким-то удивлением думал Астахов. — Право же, что это было первоклассное учебное заведение, теперь-то я понимаю это».

Сейчас, как никогда, все чаще вспоминалась Астахову Уфа. Не фронтовые годы, не студенческая жизнь, а именно Уфа…

гимназия… перепачканные в чернилах юнцы… изрезанные перочинными ножами парты…

На парте Астахова обычно, где бы он ни сидел, красовалось: «Н. И.» Вряд ли это было случайностью. Недаром же эти инициалы (за которыми скрывалась Наташа Ильинская) были вырезаны внутри сердца, а сердце пронзала символическая стрела, несколько повредившая букву «Н», что выдавало волнение создателя сего горельефа…

Неразлучная пара — Ваня Балашов и Сережа Астахов — вполне довольствовались до поры до времени обществом друг друга. Если они не отправлялись на каток в Видинеевский сад или если не уезжали летом с родителями в какой-нибудь Улу-Теляк или Топорнино, то самым любимым у них занятием было бродить по уфимским улицам и беседовать на разнообразнейшие темы. Как приятно прислушиваться весной к звону капели и буйному веселью ручьев, наполняющих канавы! Как занятно смотреть с крутого берега Случевской горы на медленно плывущие плоты, на исчезающую в дымке даль, на переливы заката на горизонте!

В старших классах стали их разлучницами всевозможные Наташи — восхитительные гимназистки в коричневых платьицах и черных передниках, с бантиками в пышных волосах. И тогда непреодолимо хотелось выбраться (конечно, вдвоем с нею) куда-нибудь за город, к Воронкам, чтобы вернуться домой только в сумерки с букетами бело-розовых подснежников и разбитым сердцем…

Так вот и случилось, что Астахов вспоминал-вспоминал свою далекую юность — и вдруг в ответ на новое письмо Балашова, где тот заклинал друга приехать к нему на новоселье, так как получил квартиру в только что построенном доме, вместо уклончивых ссылок на обстоятельства послал телеграмму:

«Выезжаю девятого Поезд 58 вагон 6 Сергей».

Сделал он это неожиданно не только для домашних, но даже для самого себя.

— Но мы же планировали… — упрекала его жена.

— Мне это нужно, — отвечал Астахов. — Пойми, Вероника: нужно!

Он твердил, что поездка ему просто необходима. Да и поздно обсуждать, когда билет уже в кармане и в чемодан уложены

подарки: хрустальная ваза и скатерть для обеденного стола.

Когда Вероника Александровна увидела хрустальную вазу, она поняла — не разумом, а каким-то особым ощущением, — что мужу, действительно, нужно поехать в эту самую Башкирию, в город с таким, по ее мнению, глубоко провинциальным названием. Ну, куда бы ни шло — Рязань, Томск, Смоленск… Вот она, Вероника Александровна, родилась на юге, в Пятигорске. Это звучит красиво. А Уфа…

— Никогда не бывала в этом городе. Наверное, там мечети?

— Мечети? Да, и мечети. Ты положила мыло и полотенце? Ради бога, не надо столько провизии! Ведь это же все испортится, в вагонах очень тепло. А мечети в Уфе действительно были… Название города — Уфа — мне очень нравится. Об Уфе даже Аксаков писал. А если бы ты увидела уфимскую сирень, ты сама полюбила бы этот город.

— Да, но башкиры.. Я где-то читала, что у них трахома.

— Э, матушка! Хватила! Было это — и трахома, и сплошная неграмотность, было да сплыло. А башкиры очень милый народ, и у меня друзей среди них много. А пока — всего хорошего, не скучай, до свидания, дорогая. Всё-то мое путешествие займет не больше недели.

Вероника Александровна всё, что было ей непонятно в муже, объясняла особенностью писательского склада ума.

— Их нельзя мерить обыкновенной меркой, — говорила она приятельницам после отъезда мужа. — Это люди порывов. Я в конце концов привыкла, живя с ним, ничему не удивляться.

2

А поезд все шел и шел… Мелькали мимо станции и разъезды, появлялись и исчезали какие-то строения, в ложбинах поблескивали озерки, а поля были черные, тучные, готовые выращивать новый урожай.

Чем ближе подъезжали к Уфе, тем нетерпеливее становился Астахов. Теперь он уже понимал свое душевное состояние: конечно, он с удовольствием повидает друга детства милейшего Ваню, ставшего инженером, но ехал он все-таки не к нему, ехал к своему родному городу, ехал на свидание с благоуханным розовощеким детством и заранее приходил в умиление, мечтая

просто пройти по тем же улицам. потрогать рукой те же березы в Ушаковском парке…

Астахов понимал, что поступил по-мальчишески, просто-напросто удрал от всех дел, от всего серьезного, обязательного, в том числе от семейного уюта, от намеченной уже поездки в Кисловодск, лечение в котором было бы ему, по мнению врачей, очень полезно.

«Успеется, — думал он, улыбаясь по-озорному. — Никуда не денется и Кисловодск, и договор с издательством. Имею я право исполнить свое скромное желание — побывать на родине, отведать уфимского мёда, полакомиться нарядными катышками теста, сваренными в меду (и название у них вкусное — «чак-чак»), и просто посмотреть, какая она стала, моя Уфа?»

В 1929 году, помнится, она мало изменилась, всё была такая же немощеная, все так же пышно расцветала сиреневыми кустами в июне. А теперь… Судя по газетам… Но зачем заочно судить о ней? Через каких-нибудь четыре-пять часов он сам увидит, что там натворили его земляки!

Несколько минут поезд держали на станции Дёма, на левом берегу Белой. Астахов очень хорошо знал Дёму. В былые времена здесь было крохотное здание, где помещалось всё: и билетная касса, и дежурный по станции, и телеграф. В зимнюю стужу здесь же находили приют проводники с товарного поезда. Они вваливались в дежурку — в тулупах, в пимах, с брякающими на ходу фонарями, промерзшие, заиндевевшие на тормозных площадках. Они пыхали махорочными самокрутками, громко сморкались, беседовали осипшими простуженными голосами о ценах на мясо в Сызрани, о каком-то железнодорожном крушении на перегоне Якупово — Абдуллино Самаро-Златоустовской железной дороги.

Астахову запомнилась эта давнишняя станция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от железнодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки имения помещиков Россинских. Астахов, будучи гимназистом, получил однажды приглашение на все лето репетировать двух оболтусов, сыновей Россинского, гимназистов четвертого класса. Астахов был горд: сам всего семиклассник, он будет самостоятельно зарабатывать деньги!

Мальчишек он уже знал, он занимался с ними всю зиму, вытаскивая из сплошных двоек. В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Телеграфной и Ильинской, вблизи Земской управы. А как-то встретят помещики там? Как образуется его жизнь у них в имении? Астахов слышал, что сам Россинский, больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяйством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и все, что знал Астахов об этом семействе.

Явившись в Дёму, он быстро разыскал дачу Россинских. Тут были два двухэтажных дома, конюшни, цветники и даже небольшой пруд и причаленная к берегу лодка, не хватало только лебедей. Сами Россинские занимали только один из домов, другой — красивый, с балконами, стеклянными башенками, с большой, засыпанной прошлогодними листьями верандой — пустовал. В этом пустом доме и отвели комнату для репетитора. Завтрак ему приносили, обедал он со всем семейством, возглавляемым довольно приятной и обходительной Анной Гавриловной. Астахов заметил, что мальчики ее слушались, но избегали встречаться с ней взглядами. Ужинать мог Астахов, как хотел — со всеми или один, у себя.

Астахов неплохо провел тогда лето. Ежедневно были занятия, нужно было добиться, чтобы мальчики не остались на второй год. Сами они не проявляли никакого рвения к наукам, как будто уже тогда знали, что через каких-то три-четыре года окажутся в колчаковской армии и будут убиты. Отзанимавшись со своими учениками, Астахов гулял по берегу пруда, катался на лодке, писал стихи и штудировал «Историю философии», так как дал себе слово все лето пополнять свои знания. В пустом доме потрескивали рассохшиеся стены. Горячо грело солнце в стеклянных башенках, где Астахов любил сидеть и читать. На обед приглашал колокол. Это было совсем как в романах. За лето Астахов очень вырос, повзрослел, прибавил в весе, заработал деньги и дошел в «Истории философии» до Дидро. Осенью его ученики держали переэкзаменовки и благополучно перешли в пятый класс.

…Когда поезд остановился и взволнованный Астахов прочитал надпись «Дёма», он сразу почувствовал, что ему шестнадцать лет. Хотел было выскочить на платформу, но проводни-

ца вагона сказала, что поезд через минуту трогается. Астахов пытался хотя бы разглядеть, где стоят эти дома Россинских. Но увидел множество построек, трубы, краны, рупоры, вагонетки, металлические конструкции, воздушные переходы через бесчисленные железнодорожные пути, блоки, светофоры, важных неторопливых стрелочников и массу груженых платформ и готовых к отправлению составов. Это была совсем другая, вся застроенная, вся деловая, хлопотливая, промышленная Дёма. Астахов понял, что не только самих Россинских, но и домов их давно нет в помине.

Астахов немного опешил: если тут произошли такие перемены, так, может быть, он и Ушаковского парка не найдет и никакого следа от самого здания Уфимской гимназии? В это время поезд тронулся. Уфа принимала его, и Астахов смотрел, смотрел в окно вагона, так и не обнаружив никаких памятных мест.

Поезд загромыхал по железнодорожному мосту, как будто отсчитывая его пролеты. Самый последний пролет (Астахов помнил это) не походил на все другие; когда Чапаев отбивал у белых Уфу, мост был взорван, а при восстановлении поставили пролет какого-то другого фасона на месте разрушенного, что испортило, конечно, общий вид. Но из поезда нельзя было разглядеть ни общего вида моста, ни его замененного пролета, и Астахов только напрасно крутил головой и вытягивал шею.

— Смотрите, смотрите! — вдруг закричал Астахов, требуя всеобщего внимания и удивляясь, почему соседи так безучастны. — Ну как же! Вон она, видите, торчит? Это и есть уфимская водокачка! Туда я гимназистом на свидания бегал, там еще такая крутая лестница в сто девяносто девять ступенек… Эх, не видно лестницы! А водокачка-то! Цела!

И он радовался, словно увидел какую-то родственницу.

Через пять минут поезд подошел к вокзалу, забегали носильщики, хлынули на перрон пассажиры, и Астахов очутился в объятиях громадного верзилы, в очках, бритого, отлично одетого, громкоголосого.

— Сережка! Ну и здоровило ты стал! А все-таки я тебя сразу узнал! Ну, брат, удружил! Я до последней минуты не верил. Осчастливил! Ты даже не можешь представить, как я рад! Сюда, сюда, налево, у меня «Волга». Скажи, пожалуйста, — писатель!

Впрочем, мы, гимназисты, всегда считали, что из тебя получится что-нибудь сверхъестественное. А Люська-то, Люська как обрадуется!

— Как! Помнится, ее зовут Елена Владимировна?

— Так то жена, а Люся — дочь, наш культ.

Иван Тимофеевич сам водил машину. Но Астахов медлил сесть рядом с ним. Он окинул взглядом привокзальную площадь, глянул на высокую обрывистую гору, усеянную деревянными домиками… Лицо у него было счастливое, умиленное, растерянное. Он узнавал и не узнавал Уфу. Домики на горе те же, уцелевшие под всеми громами войн и революций. А все вокруг и то и не то. Трамваи… Сквер… Стоянка такси…

Балашов торопил, но Астахов вытащил его из машины и строго, как экзаменатор, спросил:

— Прежде всего, Ваня, ответь мне на вопрос: в каком году построен город Уфа?

— Я не понимаю… — пробормотал Балашов.

— Чего тут понимать? Я тебя спрашиваю, а ты отвечай: в каком году заложена Уфа?

— Если ты имеешь в виду Черниковск…

— Да нет же! В каком году сооружен этот город, у подножия которого мы стоим?

— Черт его знает, никогда не задавался таким вопросам. А ты знаешь?

— Разумеется, знаю: в 1574.

— Только лишь? Я думал, раньше. Впрочем, я уверен, что ты говоришь наобум.

— Нет, это точно. В девятьсотом году в Уфе было: церквей православных — двадцать три, мечетей — две, музей — один, городская библиотека — одна, пять книжных лавок, десять богоугодных заведений, ночлежный дом, пять лесопильных, четыре кирпичных, два пивоваренных завода…

Балашов сначала слушал серьезно, потом начал громко, раскатисто хохотать.

— Вот она! Вот она, писательская фантазия! В два штриха набросана картина дореволюционной провинции!

— Никакой фантазии. Сведения точные, почерпнутые из тетради дяди Леши, он же — Алексей Георгиевич Астахов. Вот она, его тетрадочка, со мной!

— Так двадцать три церкви? Неужто двадцать три?

Досыта насмеявшись, Балашов вытер набежавшие на глаза слезы, старательно протер очки и уже спокойно предложил:

— Поехали. А то ведь там беляши и всякая всячина. Хозяйки не прощают опоздания.

3

Необычайное состояние было у Астахова: вот они быстро устремляются по дороге, ведущей в город и поднимающейся все вверх и вверх, потому что город расположен на высоком плато, но — оттого ли, что они едут в машине, а не идут пешком, или просто Астахову еще не удалось переключиться в новую обстановку — нет у него ощущения этого города, его Уфы. Астахов наконец не выдержал.

— Ваня! — тронул он за плечо приятеля. — Слушай меня внимательно. Я приехал повидаться с тобой, это дружба, это само собой разумеется. Но это не всё. У меня назначено здесь кроме того… ты не сердись… назначено еще свидание…

— Что?! — вскрикнул Балашов и чуть не потерял управление.

Встревоженный тем, что их «Волга» как-то странно завиляла, Астахов замолчал и только следил, как кренделяет машина. Но вот всё наладилось, и тогда Балашов заговорил первый.

— Я так и знал, что ты выкинешь какой-нибудь фортель. Слушай, а как же жена? Ведь ты писал, что живете дружно?

— Жена? Ну да, жена. А в чем, собственно, дело? Ах, свидание! Видишь ли, дружище, я не успел закончить мысль. Это ничем не угрожает Веронике Александровне. Свидание у меня назначено с моей Уфой. А может быть, я еще и сам не знаю, может быть, — с моей молодостью? А, Ваня?

— Так бы и говорил, это совсем другое дело, — отозвался после большой паузы Балашов и прибавил скорость.

— В связи с вышеупомянутым, — продолжал Астахов, поглядывая на мелькающие мимо улицы, перекрестки, деревья, — Ваня, ты слушаешь меня? В связи с вышеупомянутым, я полагал бы, что беляши можно слегка отсрочить. А? Я хотел бы, чтобы мы сейчас проехали… ну, хотя бы к Ушаковскому парку.

— Теперь это парк Матросова.

— Ну, ладно, пусть Матросова, не о том сейчас речь. Проедем туда, Ваня, прошу тебя! Мне очень хотелось бы ступить ногой на родную землю. Понятно тебе такое желание? Когда сидишь в машине, получается совсем не то.

— Ты и раньше был чуточку сентиментален. Успеешь еще, побываешь и в парке, и везде. А сейчас — уволь. Нас ждут дома.

— Нет, не понимаешь ты меня… Это же отнимет каких-нибудь пять минут, Ваня! Скажи, здание гимназии не снесли? Ведь у вас тут сносили только церкви и мечети?

— В бывшем гимназическом здании медицинский институт. Там все перестроено. И новый корпус рядом. Да в конце концов я ничего не имею против, поедем! — и Балашов круто развернул машину. — Ох, и попадет нам от Ленки! Придется принять огонь на себя, не давать же в обиду гостя. Я вообще-то, будучи человеком покладистым, играю в семье вторую скрипку. Не знаешь, в оркестре бывают третьи скрипки? Тогда, значит, третью. Превыше всего у нас Люська. Второе руководящее место принадлежит ее матери. Это и правильно. Женщина всегда была в угнетенном состоянии, пусть хоть теперь покомандует. А мне и на заводе дела хватает. Впрочем, постой. Виноват! Поправка! На третьем месте у нас кот, Чингиз-хан. Значит, я на четвертом.

Балашов хотел еще что-то добавить, но они уже подъехали к парку.

— Ну вот, пожалуйста. Ступай на родную землю. Когда ты был в Уфе последний раз? Что-о?! В двадцать девятом?! Тогда полезай обратно в машину. Какая, к чёрту, родная земля? Да ты просто чужестранец! Нет, серьезно, как это получилось, Сережка? Я еще понимаю, три года… Ну, от силы пять… Но тридцать — этого, вот убей меня, не понимаю! А ведь у нас и писатели свои есть, и всё вообще есть. Например, балет. Небось по телевизору смотрел? Замечательный балет, это общее мнение, я-то плохо разбираюсь, не знаток. А кого из здешней писательской братии знаешь? В моей-то семье литература на втором плане, на первом — музыка: Люся в музыкальном училище. Тебе как товарищу по секрету скажу: по-моему, ничего особенного… Во всяком случае, не Ван Клиберн, это уж точ-

но. Только ты им не вздумай что-нибудь даже приблизительное брякнуть, особенно жене! Ну, играет, папка у нее красивая «Music»… Хорошая девушка, я ее очень люблю, мою дочку, но, между нами, думаю, что замуж выйдет и на этом кончит свою музыкальную деятельность. Нет у нее чего-то такого… сумасшедшинки… Ты, кажется, меня не слушаешь? Ах да! Переживаешь. Ну, ну, валяй.

Балашов еще что-то говорил, но Астахов в самом деле его не слушал, так-так и ни слова не слышал из всех его рассуждений. Он слышал, он видел другое. Он видел, как вот тут, по этому самому тротуару, шагает ершистый гимназист со связкой учебников. Этому гимназисту кажется, что он давно всё постиг, решил все мировые вопросы. Недаром же он руководит кружком самообразования, недаром пишет реферат не больше не меньше как на тему «Исторические судьбы русской женщины»! Серьезный, начитанный мальчик, это все признают — и товарищи, и учителя. Ведет дневники, где рассуждает о рутине гимназии… Всё сам, без посторонней помощи… Трудно гимназисту. Во многом он бессилен разобраться, судит вкривь и вкось. Но все же шагает упрямо к каким-то своим, поставленным перед собой целям…

Астахов вспоминал, а Балашов нетерпеливо бродил возле машины. Высокое небо просвечивало через молодую зелень парка. Какой пригожий денек! И хотя отсюда не видно было реки, но чувствовалось ее большое дыхание, ее спокойный ход, ее сила.

Говорят, перед умирающим, за час до смерти, возникают в памяти видения прошлого, проходит панорамой вся прожитая жизнь. Нет, и у живущего, полного сил человека бывают такие моменты особого душевного подъема или потрясения, когда перед ним во всем многообразии и одновременно в бесчисленных разрезах встает целая вереница лиц, моментов, картин.

Астахов видел разом, как бы параллельно, и усталого, склоненного над книгами отца… и луга, на которых сплошь краснеет клубника… и гимназический рекреационный зал… А вот каток в саду Видинеевых. Оркестр заиндевевших музыкантов выдувает из труб игривую «Ойру». Лед звонкий, изрезанный коньками. Носятся по кругу согнутые фигуры на беговых коньках… летят, как по воздуху, парочки, руки их соединены крест-

накрест, движения согласованны, как согласованны и биения сердец…

Рождественские каникулы… Приглашения на елку… Кулёчки с финиками, нугой, рахат-лукумом… Святочные балы… Жаворонки из теста и запекаемые в них монеты… Широкая масленица… Вот в этом самом парке проходил башкирский праздник — сабантуй. Игры, состязания в ловкости, единоборство при одобрительных криках зрителей, конские скачки, угощение на лужайке, на разостланном ковре… А катание в лодке по разливу реки в половодье! А тишина и зеленые отсветы на речушке Деме! А величественное, незабываемое зрелище — ледоход на Белой! А подснежники! А сирень!

И тут Астахов вспомнил, что сейчас именно то самое время, когда зацветает уфимская сирень.

— Сирень уже зацвела? — спросил он.

— А как же! За каждым забором!

— А черемуха? Ее так же много за рекой?

Слово к слову втянулся в воспоминания и Балашов, хотя за минуту до того находил эти воспоминания «телячьей нежностью». Теперь оба — главный инженер завода Иван Тимофеевич Балашов и писатель Сергей Николаевич Астахов — размахивали руками, говорили враз и заливались счастливым смехом, вспоминая о каких-то пустяках, о школьных проказах. Прохожие с удивлением оглядывались, не понимая беспричинного веселья двух пожилых людей. А Балашов и Астахов всё стояли возле машины и говорили, перебивая друг друга и захлебываясь: «А помнишь? Помнишь?..»

Вдруг Балашов взглянул на ручные часы и прямо ахнул:

— Злодей! Что ты делаешь! Неужели мы не найдем потом времени, чтобы побродить по Уфе и перебрать в памяти еще целую кучу глупых историй?

Астахов, видя искренний его испуг и настоящее огорчение, без всяких возражений полез в машину.

По улице Ленина пролетели на предельной дозволенной скорости через центр и свернули на улицу Цюрупы, которую Астахов упорно называл Телеграфной, причем Балашов не преминул похвастать по пути и Ленинским сквером, и новым зданием почтамта.

— Куда мы? — озадаченно спросил гость.

— Как куда? Ко мне.

— Подожди, я припоминаю какую-то газетную статью. Мы что, в Черниковск?

— Черниковск теперь тоже Уфа. Боже, как ты отстал!

— Теперь понял: мы едем по направлению к Глумилино. Да? Помнишь «Чёртово городбище»?

— Застроено. Все застроено. И тот берег реки — Цыганская поляна — давно уже не поляна, и вся гора, где Сергиевское кладбище, стала сплошными улицами. А мост через Белую! Снимок этого моста даже в газетах помещали. Съездим, съездим, и на Сутолоку, и к женскому монастырю (там теперь аптекоуправление), и на ту сторону Белой. С завтрашнего дня отправимся осматривать все достопримечательности, все красоты.

Астахов молча кивнул, жадно глядя по сторонам.

— Ну, вот он, вот он, наш новый дом. Смотри, любуйся, Сергей Николаевич. Хорош?

Лестница была красива. Балашов позвонил. Астахов услышал быстрые шаги. Дверь открыла некрасивая девушка с очень приятным голосом и умными, внимательными глазами.

— Мама волнуется, — шепнула она.

Но все обошлось как нельзя лучше. И волнения кончились, и Елена Владимировна ничуть не упрекала мужа.

Начали все с осмотра квартиры. Гурьбой шли в кухню, потом шествовали в кабинет Ивана Тимофеевича, в комнату Люси, заглянули и в спальню, открывали вмонтированные в стены шкафы, хвалили ванную, показывали вид из окон, объясняли, которая солнечная сторона, которая теневая… Затем торжественно уселись за стол.

Елена Владимировна все время упоминала в разговоре, что «ей очень приятно познакомиться с писателем», что она «очень боится, что Астахов ее изобразит» и что Люся, разумеется, читала все его книги, а она сама тоже собирается прочесть, но отвлекают домашние хлопоты.

Сергей Николаевич довольно бесцеремонно ответил ей, что самое лучшее для нее было бы не заводить никаких литературных разговоров, раз она не читала его книг:

— Вот прочтете, тогда и побеседуем.

Тут Балашов с тревогой посмотрел на жену, не обиделась ли

она и не слишком ли резко ответил ей Сергей Николаевич. Но Елена Владимировна, видимо, не уловила иронии…

Люся с того момента, как Астахов вошел, не сводила с него восхищенного взора. Мамаша делала попытки сообщить о ее музыкальной одаренности, но Люся цыкала на нее, и та прикусывала язык. Постепенно освоившись, Люся решилась и заговорить с Астаховым. К тому времени, как подали чай и к чаю опять принесли пироги, домашние торты, чак-чак и гордость Уфы — душистое варенье из полевой клубники, у Астахова и Люси установились самые приятельские отношения. Люся даже сообщила ему под секретом, что разочаровалась в своих музыкальных способностях.

— Я только не хочу маму расстраивать, а то бы давно махнула куда-нибудь на комбайне работать, или того лучше — на птицеферму.

Однако их перешептывания прервал Балашов. То, о чем он заговорил, было давно им продумано. Он считал своим долгом расширить кругозор писателя, развернуть перед ним грандиозную картину расцвета Башкирии. От этой предвзятой мысли у Балашова вначале была некоторая скованность, и речь его походила скорее на доклад, но никак не на дружескую беседу, сопровождаемую мелодичным позвякиваньем чайных ложек.

Балашов сообщил, например, общеизвестный факт, что Башкирская автономная республика была создана в марте девятнадцатого года, что еще Ленин говорил, что с безграмотным и бескультурным народом социализм строить нельзя, между тем в Башкирии девяносто процентов населения было безграмотно. Не замечая озабоченного лица супруги, Балашов упомянул «контрольные цифры»… назвал количество школ в Башкирии в 1950 году и в 1959 году…

Когда он заговорил о нефти, о «большой химии», о семилетнем плане, слова его стали ярче, доходчивее, а то, что он рассказывал, — увлекательней. Он сам был участником всего, что здесь создано значительного, ценного.

А ведь, действительно, свершилось чудо. Край проснулся. Край забурлил полнокровной жизнью. Край расцвел. Нефть решила вопрос. Новая техника решила вопрос. Подъем культуры, пробуждение народа, талантливого, самобытного, — все это вместе взятое и совершило чудеса. А какие горизонты впереди!

Сердце радуется.

Балашов стал рассказывать, как к ним приехал недавно представитель одной американской нефтяной компании и купил на Туймазинских промыслах турбобур, великолепный инструмент советского производства. Астахов, услышав это, отодвинул стакан и уже не проронил ни слова.

— А нефтяники из Франции? Нефтяники из Аргентины? Лена, ты не помнишь, когда они приезжали? В городе Октябрьском (наверное, не все даже знают, что есть такой город в нашей стране, — он недавно возник), так вот, в этом городе наши нефтяники обучали приезжих гостей работе на советском турбобуре.

Астахов заставил Ивана Тимофеевича подробно рассказать об этом самом турбобуре, что это за штука и как она действует. Далее посыпался на Балашова град вопросов. А что, собственно, представляют нефтепромыслы Башкирии, это где-то в Ишимбае? А что если им съездить в Стерлитамак и в город Салават? А какой тут самый крупный нефтеперерабатывающий завод? А что, этот нефтепровод — действительно, огромное сооружение? В газетах писали, что Башкирия станет теперь еще и краем большой химии… Что это за комбинат костюмных тканей и фабрика искусственного трикотажа?

Наконец Астахов замучил Ивана Тимофеевича, и тот взмолился:

— Не довольно ли на сегодня? И у меня же, черт возьми, остыл чай! Леночка, вылей, пожалуйста, и налей горячего.

Тут было обнаружено, что забыли подать мед. Поднялся переполох, и Люся — что было совсем неожиданно — рассказала о башкирском меде, о том, что не только различают липовый, гречишный, цветочный мед, но еще учитывают, в какой именно местности, с каких именно цветов собирали тот или иной мед пчелы и в соответствии с этим какими целебными свойствами данный сбор меда обладает.

В этот самый момент Елена Владимировна вспомнила, что в духовом шкафу и по сие время сидят и млеют пироги с калиной.

— И пускай сидят! Пускай млеют! — под общий хохот воскликнул Астахов. — Давайте закончим сегодня наш парад чревоугодия уфимским медом, который, я бы сказал, великолепен.

Наконец решили, что пора спать. Иван Тимофеевич проводил Астахова в его комнату, показал все «удобства» и где зажигать свет. Астахов быстро разделся, нырнул под одеяло и ощутил приятную прохладу слегка накрахмаленных простынь.

«Хорошо они живут, — подумал Астахов, поворачиваясь на правый бок. — Пресимпатичное семейство! А дочка-то у Ивана поздняя… Моему Славке уже под тридцать… Хотя, кажется, у Ивана еще дети есть… Есть или нет? Вот, черт возьми, и не знаю… Можно ли было в самом деле столько лет не видеться! А ведь какие мы друзья были — водой не разольешь! Молодец он, что хоть сейчас меня вытащил, а то бы я еще сто лет не собрался…»

Астахов хотел еще подумать — о детстве, но внезапно уснул.

5

Может быть, это приснилось, а может, и вспыхнуло в памяти в самый момент пробуждения: о городе, где ты родился…

И сразу мысль перескочила на далекое-далекое прошлое… детство…

У них в семье была одно время жизнерадостная, доверчивая собачонка Бим. Она терпеливо выносила все проделки детей: ведь она, хотя и маленькая, но взрослая. Белая и такая лохматая, что еле виднелись из этого пушистого кома веселые глазенки и влажный розовый нос… Погибла она нелепо, во время летней прогулки за станцией Черниковка. Пролетел мимо по направлению к Челябинску пассажирский поезд. И надо же было так случиться, что Бим остался по одну сторону насыпи, а дети — по другую. Бим даже видел всех сквозь мелькающие колеса. И ему показалось, что он успеет проскочить…

А что же все-таки приснилось? Бим? Нет, что-то другое, но такое неуловимое… Кажется, жаркий летний день, и они с братом сидят на бревнах. Они купили два фунта уфимского калача, а калачи, как известно, — это огромные круглые хлебы, пышные, душистые, с хрустящей корочкой. К такому хлебу полагается арбуз. И вот они с братом ели ломти арбуза с калачом…

Астахов лежит и прислушивается. И неожиданно возникает у него мысль написать книгу об Уфе, начиная примерно с девятьсотого года. Другими словами, написать о всей своей

жизни? О возрожденной стране? О кумысе и ковыльной степи?.. Об унылой нескончаемой песне, которую напевал башкир, перегоняя табун на свежее пастбище?.. О первых нефтяных скважинах?.. О жарких боях в годы гражданской войны на подступах к Уфе, на переправе возле Красного Яра?..

Астахов нежился в постели. Его изумляла тишина. Ни звука. Неужели все спят?

В большие окна врываются потоки света. Нигде нет таких ярких ослепительных полдней, как в Уфе. Нигде не бывает такой бурной сумасшедшей весны, такого шума и плеска вспененных вод, такого одуряющего запаха цветущей черемухи, таких тяжелых, крупных гроздьев сирени!

И в этот момент Астахов заметил, что на стуле возле кровати стоит огромный букет сирени — пышной, богатой, хоть сейчас уткнись в нее лицом или ищи счастье: цветочки, у которых вместо обычных четырех — пять, шесть, восемь лепестков. Такое «счастье» надо съесть, и тогда будешь счастлив в продолжение всей жизни. Астахов восхищенно отметил, что цветы еще влажные, на мясистых темно-зеленых листьях задержались крупные капли и переливаются солнечным светом и сиреневыми вспышками. Сирень поставлена в глиняную кринку. Наверное, Люся? Или сама Елена Владимировна?

6

Это был настоящий заговор! Можно ли было когда-нибудь предположить, что кроткий, уравновешенный Ваня Балашов, в гимназические годы скромно довольствовавшийся тройками по прилежанию и успехам, окажется таким деятельным, изобретательным, хитрым? Только впоследствии Астахов убедился, что все у Вани было заранее продумано, даже беляши.

Вот какими событиями ознаменовался этот день.

Начать с того, что Астахов, разумеется, забыл вчера завести часы. Они показывали четверть второго, значит, остановились еще ночью. Но что же сейчас? Утро? Судя по солнцу, которое просто неистовствует и пользуется каждым удобным случаем, чтобы ослепить, брызнуть лучами или пустить зайчиков, — время не раннее…

Астахов нюхал букет сирени, погрузив в нее заспанную фи-

зиономию, и соображал, сколько же сейчас может быть времени. Вошел Балашов, свежий, умытый, выбритый.

— Как?! Вы еще спите, многоуважаемый?!

— У меня часы остановились.

— Можно поставить по моим: четверть второго.

— То есть как четверть второго? Действительно, четверть второго?

— Вы совершенно правы, высказав такое предположение. Я уже вернулся с завода, благо сегодня суббота, да я еще выбрался пораньше, так как у нас с тобой сегодня немало дел. Как спалось?

— Отлично.

— Бреешься электрической бритвой? Поставь на 220, штепсель у кровати.

Когда Астахов закончил «утренний» туалет, они позавтракали вдвоем, по-мужски: яичница-глазунья и кофе с пирожками.

— Машина у подъезда! — объявил Иван Тимофеевич. — Солнце салютует, дома построились в шеренги. С чего бы начать? Мне нравится, между прочим, что ты ровным счетом ничего не видел. Например, правительственные здания. Ведь не видел? Ты спросишь, где это? Где была женская гимназия, где Верка ваша училась. Оно и сейчас цело — такое белоснежное здание, как гимназистка-старшеклассница в белом переднике. Там теперь средняя школа, но она кажется крохотной рядом с огромным Домом Правительства. И бывший губернаторский дом выглядит жалкой хижиной по сравнению с этой громадиной.

И они начали экскурсию по городу с этого района.

Затем прямо по Пушкинской махнули в Старую Уфу, и Астахов все искал глазами утопающие в садах домики, где он покупал когда-то яблоки — серый и красный анис, лежавшие в период сбора урожая прямо кучами под деревьями. Прошлись по дорожкам Сергиевского кладбища, навестили дедовские и отцовские могилы и снова вернулись в центр, но уже по Коммунистической улице — Балашов нарочно старался ехать все время по разным улицам, чтобы больше показать Астахову.

Свернули налево, на бывшую Центральную, ныне улицу Ленина.

— Вот! Вот здесь, кажется! — завопил Астахов, размахивая

руками. — Здесь был магазин Блохина, где продавались общие тетради, учебники и Клейновские открытки — розы, ромашки и прочая растительность, я их покупал! Там еще зеркало при входе стояло — высоченное трюмо в какой-то диковинной черной раме… А вот — это же Дворянское собрание! Библиотека? Здесь теперь библиотека? Да подожди же ты, поезжай помедленнее! А где мы пирожные покупали? Кондитерская Паниной — где она? А магазин Одинцовой? Он ведь тоже где-то здесь был? Я там часы купил — первые мои часы. Швейцарские.

— А помнишь уфимскую ярмарку?

— Еще бы! Постой, ведь мы проехали Гостиный двор, базарную площадь… Я бы хотел взглянуть…

— Что ты! Базар сейчас совсем в другом месте. А Гостиного двора давно нет. То есть само строение есть, но там фабрика, что ли, какая-то размещена, я не в курсе.

Тем временем они ехали вверх по Пушкинской, и Балашов еле успевал показывать:

— Авиатехникум. Сельхозинститут. Улица Гоголя… Аксакова… Вон там, направо — художественный музей, обязательно сходи туда. А налево — университет. А вот и улица Гафури, и наш телецентр, сюда я тебя и вез. Давай-ка тут выйдем, постоим немного.

— Тут где-то и домик дяди Леши должен быть…

— Все это скоро сносить будут и заново отстраивать. Давно пора до этих халуп добраться, только вид портят. Ох и красотищу тут наведем, лет через пять не узнаешь! Улицу-то и так не узнать. Помнишь, какие здесь овраги были? Ноги из глины, бывало, не вытащишь! На татарское кладбище хочешь взглянуть?

— Нет, Ваня, это потом. Обязательно, но потом. А сейчас… Мы же забыли о самом главном: не побывали в гимназии.

— В гимназии? — озадаченно переспросил Балашов. — То есть как в гимназии?

— Ну да. В нашей альма матер.

— Так-так. Понял. Здание, действительно, цело, я тебе говорил. А что? Это, пожалуй, можно. И я с удовольствием загляну. Все как-то в голову не приходило, а в самом деле интересно… У меня, правда, другие планы были… — Балашов взглянул на часы. — Но еще все успеем, тем более что это рядом.

И через какие-нибудь десять минут они вошли в те самые

двери, в какие входили гимназистами. Вошли почему- то робко и робко ступали на пол, выложенный огромными чугунными плитами и глухо звеневший при каждом шаге.

На них никто не обращал внимания. Проходили мимо. У каждого были свои дела.

— Вот и та самая лестница… — пробормотал Астахов. — И коридор такой же как был, со сводчатыми потолками… А тут где-то помещался карцер… А вешалка? Вот тут была вешалка…

Они еще немного побродили. Но почему-то им стало грустно, неуютно, как будто они заглянули внутрь семейного склепа. И они, не сговариваясь, двинулись к выходу.

Снова замелькали мимо окон машины, улицы и перекрестки… Один дом показался Астахову знакомым. Кажется, здесь была некогда редакция уфимской газеты…

Гимназист Астахов решился однажды принести сюда собственное сочинение, рассказ об уфимских нравах, картинки городской жизни. Вручил рукопись сидевшему за столом крайне вежливому и крайне лысому человеку и поспешил уйти. И вежливый человек, и стол, за которым он сидел, и вся редакция, пропитанная запахом керосина и типографской краски, вызывали у Астахова священный трепет. Даже первому другу Ване Балашову не сказал тогда Астахов о своем дерзком поступке. Не примут рассказ — по крайней мере это останется тайной, он один будет переживать поражение.

Прошла неделя, другая. Как вор, подкрадывался Астахов к газетному киоску, покупал газету и где-нибудь в безлюдном месте развертывал газетный лист… Ничего! Вот фельетон какого-то Кошкина, вот что-то написал некий Степан Зулейкин… А рассказа Астахова нет. Да и на что было надеяться? Ведь напечататься — значит сделаться писателем. Шутка сказать, там Арцыбашев, Леонид Андреев, Чириков — а тут он, Астахов!

Но чудо свершилось: через три недели, когда Астахов потерял уже всякую надежду и перестал следить за газетами, в воскресном номере появился его рассказ. Обнаружил его дядя Леша.

— Надо же! Еще какой-то Астахов появился!— воскликнул он, откладывая папиросу. — И тоже Сергей! Да как хлестко написано!

Когда выяснилось, что автор рассказа не «еще какой-то», а именно этот Сергей Астахов, все диву давались: самый что ни на есть обыкновенный Сережка, ну вот этот, с блестящими пуговицами на курточке, стриженый, долговязый, в форменной фуражке с белым кантом, в нечищенных порыжелых ботинках, — и вдруг в газете его помещают! Это не укладывалось в сознании ни гимназистов, ни педагогов, ни знакомых и родных. Жил-жил среди них человек, и вдруг — пожалуйста! Астахова разглядывали, щупали… Гордился ли он? Скорее, был смущен.

Балашов настоял, чтобы Сергей пошел за гонораром! иди да иди — ведь полагается! В редакции тот же вежливый лысый человек пояснил:

— За первое напечатанное не платим. В дальнейшем — три копейки за строчку. Приносите еще, молодой человек. Всего наилучшего. Извините, занят.

Вспомнив эту давнюю историю, приятели развеселились.

— А помнишь, как ты сорвался с турника? Господи, кто бы мог подумать, что из щупленького Вани может вырасти такая медвежатина!

— А из стройного Сережи — такой тяжеловес!

Так беседуя, они остановились на улице Карла Маркса.

Балашов потащил Астахова в дверь:

— Навестим редакцию «Советской Башкирии». Здесь работает Гудков. Ты его помнишь? Он хорошо знает всю вашу семью.

Не успел Астахов оглянуться, как уже сидел в кабинете редактора газеты — усталого пожилого человека.

— Я, как вам известно, — рассказывал Гудков, обращаясь к Астахову, — из выводка, выращенного вашим отцом. Редчайший был человек! Он сделал нас тем, что мы есть: борцами за свободу, коммунистами. Ведь это только представить, — в те суровые годы, в годы «столыпинской тишины», когда интеллигенция каялась, отрекалась, пикнуть не смела, Николаи Георгиевич, рискуя очутиться «в местах не столь отдаленных», разоблачал весь строй царской России, говорил о нищете и бесправии народа, о «беспутной Клементинке», о самодуре Николае Романове… А как он рассказывал о прославленных уфимцах! Никогда не забуду, какой он нарисовал портрет Сергея Тимо-

феевича Аксакова. А другой писатель — Михаил Васильевич Авдеев, певец уфимской и самарской степи? Раньше я о нем вовсе ничего не слыхал, только от вашего отца и узнал. А какая это интересная фигура! И тоже из наших мест, у него даже имение было тут под Стерлитамаком, Буруновка называлось. Если я полюбил Нестерова, то тоже благодаря вашему отцу. Прекрасный, самобытный художник! А родился в Уфе и учился в уфимской гимназии. Мы хотим сейчас в газете целый цикл статей дать о наших прославленных земляках и предках, чтобы воспитать любовь и уважение к этим людям. Помню, Николай Георгиевич говорил: «Никогда не упускайте из виду, что настанет и ваша очередь, когда вы станете историей, так сказать давним прошлым. Относитесь к памяти ваших отцов так, как вы хотели бы чтобы относились к памяти о вас самих». Да-а… Вот Нестеров — наша гордость, наша слава. А ведь в Уфе даже памятника Нестерову нет. Или Вострецов. Вы, поди, даже не знаете, что герой гражданской войны Степан Сергеевич Вострецов — наш земляк, родом из села Казанцево? И многие не знают. А надо, чтобы знали, чтили основателей, строителей и устроителей своего города, его лучших людей. Отсюда и начинается любовь к родине. Все эти вопросы мы и поднимаем в газете. Я ведь просто для примера назвал два-три имени. А разве только они? История нашего края богата памятными событиями и славными именами, и не кто иной как ваш батюшка Николай Георгиевич научил нас — меня в частности — ценить это, всегда его добрым словом за это поминаю… Кстати, сегодняшний номер читали?

И он подал свежий номер газеты, где был помещен портрет Астахова и вкратце рассказывалось о нем и о его приезде в Уфу.

Астахов был польщен и обещал еще разок зайти в редакцию, а также побывать в Союзе писателей, где — по словам Гудкова — тоже жаждут его видеть.

— Ну, — сказал Балашов, потирая руки, когда они вышли на улицу, — на сегодня программа окончена!

— А что если на закуску съездить в Черниковск? Развеяться… Подышать вольным ветром… Прокатиться мимо овсов… Долго это? Ты устал за баранкой сидеть?

Балашов усмехнулся:

— Мимо овсов, говоришь? Ну, что ж. Двинули в царство

овсов. Не возражаю.

Солнце все еще стояло довольно высоко в небе, когда друзья-приятели мчались по живописной дороге к Черниковску. Астахов все ждал, когда же раскинутся перед ним поля. Он хорошо знал эту местность лет сорок назад. Здесь цвели розово-сиреневатые поля гречихи, жужжали пчелы в золоте пшеницы, косматились овсы, синеглазые васильки выглядывали там и тут… Поблизости были деревни со смешными названиями: Каловка, Курочкина… И гора, где он собирал землянику… А еще — село Богородское, большое, красивое… Но где же все это? Они едут по прямым асфальтированным улицам, мимо клуба, мимо кино, мимо заводов… Гора, правда, есть, — та самая, похожая, но к ней даже не пройти, так все застроено и загромождено.

Если до сего времени Астахов довольно спокойно, хотя и с интересом разглядывал новые сооружения, новые районы, то теперь он явно растерялся. Он ничего не мог найти! Не только ромашек и васильков, не только знакомых домишек, но и всех известных ему деревень не обнаружил. Деревень! Вот уж что представлялось ему незыблемым, так сказать, вошедшим в географию. Но деревень не было. Да что деревень, села Богородского и того как не бывало!

— Как же это? — оглядывался Астахов на Балашова.

Балашов только смеялся:

— Вот тебе и овсы! — И попутно перечислял: — Меловой завод… Крекинг-завод… Заводоуправление…

Они зашли здесь в библиотеку, и Астахов с удовольствием убедился, что его книги знают, читают. Библиотекарь, молоденькая миловидная девушка, хлопотала, предлагала сесть, рассказывала, сколько у нее читателей.

— Вот бы приехали к нам как-нибудь! Мы бы подготовили все… Читательскую конференцию бы устроили…

Астахов рассеянно отвечал. Так же машинально пил лимонад в столовой, куда они заехали по пути подкрепиться.

Балашов чокнулся с ним стаканом и произнес:

— Да.

Он всегда начинал с этого слова, когда волновался.

— Да. Этот город, Сергей, город, которым мы сегодня любовались, слышал твой первый торжествующий вопль, когда

ты появился на свет и недвусмысленно заявил о своем желании принять живейшее участие во всех делах человечества…

— Допустим, — сказал осторожно Астахов, выслушав эту длинную тираду и разрезая сардельку.

— Все, что человек испытывает, видит и переживает впервые, ты испытал и пережил в этом городе: первый снег, первые цветы, первые голоса, первые улыбки, первую дружбу… и что еще есть самого драгоценного? Этот город тебя вынянчил, выпестовал, дал тебе образование… Здесь зародились в тебе первые юношеские мечты и писательские порывы…

— Черт возьми, когда ты научился так здорово говорить? Но я понял тебя. Могу продолжить: здесь я впервые сказал слово «мама» и впервые произнес «люблю».

— Ты здорово в долгу у этого города, Сергей!

— Что я обязан делать? — спросил Астахов.

— Хотя бы знать это.

— Знаю.

— Посмотри, посмотри, мы тут кое в чем преуспели…

Домой они приехали поздно, усталые, голодные, переполненные впечатлениями. Когда поднимались по лестнице, Балашов сказал, как-то путаясь и смущаясь:

— Так тебе понравилась моя квартира?

— Очень.

— Честно?

— Конечно.

— Сейчас я тебе покажу еще одну, на том же этаже и по соседству со мной.

С выражением этакой святой невинности на лице Балашов порылся в кармане, достал новенький ключ, отпер дверь квартиры номер девять, и они вошли.

Пахло краской, гулко отдавались шаги. Квартира была необитаема, поэтому комнаты казались еще просторней, еще выше.

— Здесь даже балкон, — показывал Балашов.

— Хорошо! Но чья же это квартира?

— Неужели ты до сих пор не понял? Твоя. Можешь хоть сейчас забрать ключи.

— Я тебя серьезно спрашиваю, а ты…

— А я тебе совершенно серьезно отвечаю. Я был в Союзе

писателей. Сказал, что, может быть, удастся перетащить тебя в Уфу. Они поддержали. Чего ты хотел бы еще? Вот квартиру выделили. Кумысом будем тебя поить.

— Да нет, ты с ума сошел. Это невозможно.

— Да почему? Ну почему?!

Воцарилось молчание. Оно было каким-то особенно большим и сосредоточенным в пустой, необитаемой квартире. Когда Астахов заговорил, голос у него вибрировал. Он был взволнован, обескуражен, растроган.

— Ваня…

Опять длительное молчание. Причем Балашов избегал смотреть на друга, а Астахов подошел к окну и царапал ногтями оконную раму.

— Ваня, в моем возрасте… такая ломка… Да нет, я даже не понимаю, кому могла прийти в голову такая дикая мысль!

Молчание. Балашов только вздыхал и все больше поникал. Что скрывать, все это была его затея. С кем он ни говорил, все горячо поддерживали его. Даже маляры и штукатуры с особенной тщательностью отделывали эту квартиру, узнав, что здесь будет жить известный московский писатель.

Астахов молчал. Молчал и Балашов. Астахов смотрел в окно и видел, как солнце посылало косые вечерние лучи, а дом напротив казался мрачным, сизым, затуманенным.

Вдруг Астахову представилось, что обо всем этом узнает Вероника Александровна. Ужас! Да разве она согласится расстаться с Москвой?!

— Да, — сказал наконец Балашов. — Все ясно. Идем обедать.

— Ты меня должен понять, — медленно произнес Астахов, будто с трудом выговаривая каждое слово.

Они вышли на лестницу, захлопнули дверь квартиры номер девять и вошли в квартиру номер восемь.

— Мама волнуется! — как и вчера, встретила их в прихожей Люся тем же восклицанием.

7

На следующий день… У Астахова как-то вылетело из памяти, что было на следующий день. Ах, да! Кажется, Балашову срочно понадобилось куда-то ехать. Куда могло понадобиться

ехать в воскресенье?

Но вообще-то Астахов был даже рад побыть один, сам с собой. Он самостоятельно бродил по Уфе, бродил до изнеможения, до тупой боли в ногах.

Побывал на Случевской, смотрел с обрыва на Белую, на новый пешеходный мост…

Поднялся еще раз вверх, к телецентру… Нашел домик дяди Леши… Взгрустнул при мысли о том, что все эти деревянные домики, с мансардами, скворечниками, резными ставнями, будут снесены… Новый облик этих кварталов с высящимися кое-где железобетонными громадинами производил сильное впечатление, но было и чего-то невыразимо жалко…

Спустился по бывшей Успенской улице, прошел по нынешней Октябрьской к пожарной каланче, затем к Видинеевскому саду, который оказался теперь садом имени Луначарского… Полюбовался по дороге еще на один новый дом с аптекой в нижнем этаже…

Смотрел, думал, бесцельно проехал туда-сюда на трамвае, вспоминая, что в двадцать девятом году брал на вокзале извозчика…

Нашел и Вавиловскую улицу и с удивлением прочитал на углу: «Улица Зенцова»… Разыскал домик, где когда-то жил, и тщетно пытался, заглядывая в окна, угадать, которая комната была тогда их столовой…

Расхаживая по городу, Астахов время от времени останавливался и произносил странные фразы: «Нет даже, и думать тут нечего…» или: «Наконец я ведь связан, я не могу…» Стоя под старыми развесистыми деревьями в бывшем гимназическом дворе и думая о чем-то своем, он вдруг воскликнул: «Представляю, что бы сказала Вероника!» А беседуя с дочерью тетки Марьи и выслушивая ее восторженный рассказ о том, что скоро их переселят в новые дома, явно не кстати прошептал! «Ужасно, ужасно!»

Но домой вернулся успокоенный, твердо решив, что взвесил все и что Иван поступает по-мальчишески, уговаривая его переселиться в Уфу.

В понедельник Балашов рано утром уехал на завод, а Астахов отправился заказывать билет до Москвы. Городская касса, где принимали предварительные заказы, помещалась против

почтамта. Астахову захотелось посмотреть, каков почтамт внутри. Поднялся по широким ступеням, посмотрел, что есть в киосках Союзпечати в вестибюле, осмотрел кабинки телефонов-автоматов и просторное помещение междугородной. Потом вошел в большой зал с бесчисленными окошечками.

Вот она, эта надпись! «Прием телеграмм»…

Астахов машинально взял телеграфный бланк, сел за столик на освободившееся место. Столики в зале удобны, повсюду чернильницы, ручки. Астахов сел и задумался. Телеграфный бланк был у него в руках. Думая о чем-то другом, он читал на голубеньком бланке: «Министерство связи СССР… Телеграмма… из… номер… Куда, кому… Фамилия отправителя и его адрес…»

Астахов достал из бокового кармашка пиджака вечное перо, великолепное, с золотой оправой. Какие-то люди подходили, думая, что место освобождается, но, увидев, что бланк пустой, уходили.

Астахов попробовал перо на кончике бланка. И затем быстро, не задумываясь, написал:

«Москва Арбат 52 квартира 10 Веронике Александровне Астаховой приступай упаковке Переезжаем Уфу постоянное жительство Получил отличную квартиру подробности при встрече Приеду чтобы забрать тебя и отправить вещи Не думай возражать Решил бесповоротно Целую Сергей».

Все это было так неожиданно для него самого, что он долго удивленно смотрел на написанное, прежде чем подойти к окну.

— Одиннадцать рублей двадцать копеек, — сказала ему в окошечко девушка. — Может быть, желаете на художественном бланке?

Астахов поблагодарил, расплатился и вышел на улицу. Стало разудало-весело, как уже не в первый раз за время пребывания в Уфе. Почувствовал себя молодым, озорным…

День был солнечный.

«Да, несомненно, здесь совсем особенное, свое, уфимское солнце! — подумал, счастливо жмурясь, Астахов. — Нигде не встречал ничего подобного!»

БЛАГОСЛОВЕННАЯ УФА[22]

В Уфу наша семья приехала в 1909 году. Здесь я учился и в 1917 году окончил гимназический курс. Эту Уфу, сравнительно давнюю, я хорошо знаю. Ее сейчас нет, есть другая Уфа, ничем не похожая на прежнюю. Начиная рассказ о той, исчезнувшей Уфе, я чувствую себя этаким чудом уцелевшим жителем Китежграда, вынырнувшим со дна озера и решившим поведать людям о бесследно сгинувшем мире. Пожалуй, так оно и есть?

«Хорошо, — скажут мне, — а надо ли вмешиваться в ход времен и восстанавливать в памяти все, что было? Не достаточно ли хранить память о гениях и полководцах?»

Надо. Я уверен, что надо. Каждый человек, ну, буквально каждый — интересен и неповторим, с каждого можно писать книгу. Меня, между прочим, всегда, даже в детстве, интересовали все люди, с которыми сталкивала судьба, все события, независимо от того, когда они происходили, теперь или прежде. Особенно прежде. Сколько я помню, меня всегда мучило острое любопытство и подмывало узнать о прошлом, о далеких и недалеких временах, которые были до меня. Вот город. Он не всегда же тут стоял? А что здесь было раньше? Вот ковыляет древний старец. А какой он был мальчишкой? Город Самара стоял когда-то в дремучем лесу. Я читал об этом. Но вот город облысел. Когда и как это произошло? Почему? И все ли села и города обязательно ожидает облысение?

Когда мы приехали в Уфу, я донимал отца вопросами:

— А почему мы раньше никогда не жили в Уфе? Разве ее не было? Или мы мимо ездили, а в нее все не попадали? Почему?

Приятелей-мальчишек я расспрашивал, давно ли они живут в Уфе и какая Уфа была, например, в прошлом году. На меня таращили глаза.

— Какая! Такая же и была!

Я не мог объяснить, но знал, чувствовал нутром: такая же, да не такая! Я и сам не понимал, чего я хочу, чего добиваюсь. Только сейчас мне понятно, что это был жгучий интерес к людям, к истории, который сохранился во мне навсегда.

На моем письменном столе всегда под рукой лупа. Когда

[22] Комментарии А.Г. Разумовской

мне попадается мелкий шрифт, я хватаюсь за нее, за свою надежную лупу. Уж я-то знаю, что мелким шрифтом зачастую печатают очень крупное, но к чему не хотят привлекать внимания.

И какая беда, что какой-нибудь гимназист Биркель набран в моей памяти петитом. А ведь он — интереснейшее и многозначительнейшее явление. Если вдуматься, этот щеголеватый сын уфимского аристократа многое объяснит в ходе и подоплеке крупнейших событий истории. Даже в ходе революции. Ведь Биркеля вырастили в стерилизованной обстановке, завертывали в ватку, делая его организм и душу беззащитными перед всеми сквозняками мира. Его не вырастили драчуном, здоровяком-спортсменом, готовым в любую минуту пустить в ход кулаки, стрелять, усмирять, яростно защищать свое исконное, свое привилегированное положение, свой класс, свою веру. Нет, его старательно, заботливо обучали шаркать ножкой, есть рыбу не ножом, а вилкой и танцевать вальс. Что мог противопоставить Биркель бурным порывам революции, гневу мятежных рабов? Он даже не способен был сам, своим умом смекнуть и своевременно удрать за границу. А если все-таки о нем позаботятся, нахлобучат на него фуражку, закутают, посадят в вагон и вывезут куда-нибудь в парижские дали, он и там будет шаркать ножкой и даже научится шаркать ножкой на французский манер.

Выходит, что даже такое ничтожество, как уфимский гимназист Биркель, представляет большой исторический интерес, и я хорошо сделаю, если по возможности правдиво расскажу о нем.

Все, что я видел в уфимской гимназии, тоже нужно знать. И тем, кого волнует и привлекает судьба России и русского народа, и нашим уважаемым педагогам. Кое-что им не понравится в прежних методах преподавания и порядках, кое-что они с негодованием отвергнут, но кое-что заставит призадуматься и, может быть, нехотя, скрепя сердце, но признать более удачным, чем некоторые современные штампы.

А что? У старой гимназии есть чему поучиться, есть что позаимствовать. В 1927 году, тридцатилетним, но все еще незрелым человеком, я написал роман о гимназистах «Синяя говядина». Теперь, на закате своей жизни, я жалею, что охаял там гимназию — всю целиком. Это несправедливо, и случилось

это потому, что писал я «Синюю говядину» в двадцатые годы, когда модно было отрицать все старое, писал по своим гимназическим дневникам, не задумываясь над фактами, не оценивая их и выплескивая из ванны вместе с водой и ребенка. Сейчас я вижу, как много дала мне моя гимназия, старинная, отметившая столетие, вырастившая в своих стенах очень много людей, достойных того, чтобы о них вспомнить. Сейчас я понимаю, какое это было великолепное учебное заведение по существу, по своей сути.

Вообще я скажу, что историю любит кое-кто сгоряча чернить, осуждать, но это столь же бесплодно, как биться лбом о каменную стену. Время покажет, кто был прав: большевики-ленинцы, уничтожившие гимназии вместе со всеми атрибутами свергнутого строя, или защитники этого строя, кого мы именуем оголтелыми врагами и смешиваем с грязью. Время рассудит всех и оценит все: насколько велик был Великий Октябрь, насколько социалистичен построенный у нас социализм. Но история — свершившийся факт. Историю надо не зачеркивать, а изучать и извлекать из нее уроки. И я не стал бы столь увлеченно и столь самоотверженно трудиться над этим произведением, зачастую вооружаясь и лупой, если бы не был уверен, что сквозь судьбы членов моей семьи и моих современников отчетливо обрисовываются очертания эпохи, что сквозь призму изображаемых мною событий можно разглядеть что-то важное, что поможет честным исследователям правильно судить о ходе истории и заставит их снять шапку, почтить минутой молчания многомиллионные безымянные могилы.

Кстати, меня никто не обязывает, начиная рассказ об Уфе с 1909 года, топтаться исключительно на этом пятачке. Пожалуйста! Моя мысль течет свободно, руководится лишь моими порывами и продуманным сюжетным построением. Что мне помешает забраться в дебри столетий и поведать об основании Уфы, то есть о 1574 годе? Ранняя пора, детские годы России. А ведь известно, что детство обнаруживает всего человека, утро заказывает день. И почему бы мне не припомнить 1791 год, когда в Уфе родился всеми нами любимый писатель Сергей Тимофеевич Аксаков? Или упомянуть 1862 год, когда в Уфе в именитой купеческой семье появился на свет изумительный русский художник Михаил Васильевич Нестеров?

Недавно вышла небольшая, но заботливо изданная книжка Михаила Чванова «Аксаковские места в Башкирии». Побывав в селе Надеждине, бывшем родовом имении Аксакова, Чванов пишет:

«В северной части села прямо от крайних домов — роща, в прежние времена — непроходимое лесное болото… Рядом с рощей сейчас стучат поезда. В каком-нибудь километре от Надеждина прямо у железной дороги в основании небольшого холма, называемого Дунюшкиной горой, я нашел еще один вросший в землю каменный четырехугольник — остатки усадьбы Ольги Гоигорьевны Аксаковой, внучки писателя, той самой, которой посвятил он «Детские годы Багрова-внука». А рядом — санаторий имени С. Т. Аксакова, выросший из небольшой, организованной Ольгой Григорьевной кумысолечебницы для туберкулезных больных… Мне рисовали прекрасную картину будущего Надеждина, но было почему-то грустно. Конечно, это будет очень здорово, когда на месте небрежно разбросанного по навозным берегам оврага нынешнего Надеждина вырастет новое — с паровым отоплением, газом, с новой школой и отличным клубом. Этому ли не радоваться! Но новое Надеждино как две капли воды будет похоже на десятки и сотни других типовых поселков, в которых никогда не жил замечательный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков».

Очень может быть, что фамилия уфимского воеводы Вельяминова иссякла, растворилась в общем людском потоке. А ведь мы знаем об одном Вельяминове, который происходит от князя Чета. Он ушел из Золотой Орды и пришел служить верой и правдой великому князю Ивану Калите. В Никоновской летописи упоминается другой Вельяминов, приближенный Дмитрия Донского, даже женатый на старшей сестре жены Дмитрия Донского. Этот Вельяминов, Микула Васильевич, участвовал в Куликовской битве и сложил там голову за святую Русь. Сын этого Вельяминова Тимофей тоже сражался на Куликовом поле и был убит. Но ведь у них были дети, и нет ничего удивительного, если где-то и посейчас существуют потомки этих славных сынов нашей родины.

Ну, а Сергей Тимофеевич Аксаков — это уж совсем не древняя история. Он — современник Тургенева и Гончарова, Белин-

ского и Писарева. Его младший сын Иван Сергеевич родился в 1823 году как раз в селе Надеждине, о котором так душевно и с такой понятной мне грустинкой рассказывает Чванов. Умер Иван Сергеевич в 1886 году, то есть в конце девятнадцатого века. Дотошным исследователям удалось отыскать в самой Уфе родственника Аксакова — профессора Третьякова. А в Минске, оказывается, живут две дочери правнука писателя. Есть родственник Аксакова в Москве, а один потомок Сергея Тимофеевича работает на Уралмаше в Свердловске. Все это свидетельствует о тесной связи поколений, о единстве народа, о преемственности. Мы гордимся нашими стройками, нашими городами, нашей новью. Но не было бы ни наших строек, ни наших городов, ни нас самих, если бы славные наши предки не пришли на Чудское озеро, на Куликово поле, или к селу Прохоровка и не разбили наголову свирепого врага. Для кого нет прошлого, для того нет и будущего, — я не устану это повторять, как не устану напоминать, что надо чтить прошлое, хранить его и изучать. Я не раз говорил об этом в своих произведениях. Вот прочтите, например, страничку из романа «Во славу жизни»:

«Поймите меня правильно! Единственная моя цель — привлечь внимание тех, кто сам не натолкнулся на это, и просить, умолять моих сородичей, дорогих моих россиян: изучайте историю! Вы почерпнете в ней много, очень много. Вы испытаете трепетную радость, ни с чем не сравнимое возвышающее душу волнение. А может быть, что-то большее, что-то подспудное, что однажды довелось испытать мне.

Попал я на оперу «Князь Игорь». Прекрасная опера. Захватывает и уносит в неведомую вам доселе обстановку, в чудесный мир. Зрительный зал был зачарован. Сидели не шелохнувшись. Так же был зачарован и я. Но вот прозвучала странная музыка… Половецкие пляски… Откуда это извлек композитор? Где подслушал? Каким чутьем уловил? Со мной произошло нечто непонятное, о чем затрудняюсь даже рассказать. Судите сами. Я вдруг почувствовал… нет, не почувствовал, это не то слово… Я ВСПОМНИЛ! И не я, а что-то во мне вспомнило. ВСПОМНИЛ, ЧТО СЛЫШАЛ ЭТУ МУЗЫКУ КОГДА-ТО ДАВНО, ЛЕТ ПЯТЬСОТ-СЕМЬСОТ НАЗАД. Но я же не мог ее слышать, потому что не было меня тогда на свете!? Значит, слышали мои предки. А я вспомнил.

Кончилась опера. Были аплодисменты. Потом публика расходилась, зал пустел. Я очнулся наконец и тоже поспешно вышел… После я не раз слышал эту оперу. Но так и не отделался от смутного, даже несколько пугающего меня чувства, что я жил в годы княжения Игоря. Не помню только, кем я был тогда — в дружине ли княжеской, или в плену татарском, или где-то под Псковом земледельцем, данником князей, ханов и всех, кто брал поборы в древней Руси…

Я об этом никогда никому не рассказывал. Да и наедине с собой избегаю об этом думать. Потому что… как бы это объяснить… во мне начинается смятение, возникает что-то, что в меня не вмещается, что больше, чем я. Становится и жутко, и отрадно. Оказывается, я — это еще не все. Я — этим ничего не кончается и не исчерпывается. Я — это много. Я — это безгранично. Я — это народ. Его органическая составная часть.

Так как же жить, не зная, что было вчера? Ищите себя в глубинах истории, и вы поймете, что вы больше, чем вы думаете!»

А как мы относимся к прошлому, к историческим памятникам? Приведу один только пример — на уфимском, так сказать, материале, поскольку речь веду об Уфе.

Дом, где родился Нестеров, стоял на Центральной улице Уфы. Его не уберегли, на этом месте сейчас гостиница. А ведь Михаил Васильевич Нестеров на протяжении своей жизни нередко бывал в Уфе, а не только там родился. Он расписывал стены и потолки уфимской Сергиевской церкви, он писал в Уфе портрет дочери… Есть среди его работ и уфимское Чертово городище, что находилось тогда на окраине города. По свидетельству специалистов, таких сохранившихся от давнего прошлого городищ в нашей стране всего только два. И, конечно, нужно беречь это городище, а также помнить занятную легенду, связанную с этим местом: что жил здесь какой-то хан, но из пещеры или глубокого оврага стал появляться в этих краях змий-дракон, который пожирал людей и отравлял своим дыханием воздух, и хан в ужасе покинул свое обиталище, бежал на Кубань, со временем его постройки разрушились, остались только следы стен и укреплений. Другое предание гласит, что в давние времена Тура-хан, или Тюра-Кебату-Клюсов, потерпев

поражение в битве с Кучумом, откочевал со своей ордою на берега реки Белой, когда-то именовавшейся Белой Волошкой. С появлением русских Тура-хан двинулся к югу и некоторое время пребывал в районе, где сейчас Стерлитамак. Там и поныне одна гора носит название Тура-Тау.

Если же забираться в более давние времена, то придется обратиться к писаниям древнегреческого историка Геродота. Геродот при описании Скифии[1] пятого века до нашей эры сообщает, что у подножия Каменных, то есть, по-видимому, Уральских, гор жили агриппеи, исседоны и грифы, стерегшие золото. А почему бы и нет? За тысячелетия через равнины и взгорья Урала и Приуралья прошло немало различных племен. Геродот изображает агриппеев с бритыми головами. Это тоже можно представить, и даже тюбетейки, хотя вообще-то описания Геродота походят на дошедшие из пятых рук сведения. Исседоны? Об этой древней скифской народности греки могли знать только понаслышке. Одно несомненно, что все эти степи, плоскогорья и утесы давным-давно обитаемы, мы узнаем это по безмолвным курганам, тут и там встречающимся на пути, по скальным знакам, надписям и сохранившимся сказаниям. Вот хотя бы и упоминаемые Геродотом грифы. Эти сильные, с большим размахом крыльев хищные птицы водятся и сейчас на Урале. И метко сказал Геродот, что грифы охраняли золото. Надо только добавить, что они охраняли не только золото, но и платину, медь, железную руду, изумруды и яхонты…

Но вернемся к рассказу об Уфе. Когда я вспоминаю об этом городе моей юности, я всякий раз изумляюсь: до чего удобно его расположение. Не удивительно, что здесь селились люди. Можно предположить, что когда-то жили здесь ногайцы. Паллас[2] считает, что здесь находилось поселение какого-то исчезнувшего племени. И вполне разумно поступили русские стрельцы, когда именно здесь, в окружении рек, построили крепость, соорудили дома около речушки Сутолоки и возвели три полосы укреплений. Укрепления были совсем не лишними. Незащищенное, открытое село Архангельское было полностью разрушено кочевниками, а жители его перебиты. Только тогда смекнули соорудить и здесь крепость. Эту крепость мы знаем теперь как город Бирск.

Когда я гимназистом бродил по окрестностям Уфы, по глу-

хим лесным тропам, по заросшим сочными травами лугам, по крутым берегам рек Белой, Уфимки, Демы, Чугуровки, поросшим кустами черной смородины и ежевики, — я все представлял, что вот появятся в отдалении воинственные калмыцкие всадники во главе с калмыцкими царевичами Аблой и Тявкой… Произойдет жаркая схватка… Уфимский воевода Никита Вельяминов вышлет против них ратных людей и с ними отважного Акатова, они обратят в бегство непрошеных гостей, а царевичей Аблу и Тявку захватят в плен живыми… Или произойдет другое сражение, когда набег калмыцких войск будет отражать Артемий Щиголев с двумя сыновьями и отрядом ратных людей, один сын Щиголева будет убит, сам Щиголев будет ранен в грудь острой отточенной стрелою… Мог ли я, ученик 3–4 класса уфимской гимназии, вообразить, что здесь произойдет немало сражений и в мою эпоху, что настанет день, когда в тихой, провинциальной Уфе загрохочут орудия, затрещат пулеметы, разразится кровавая гражданская война и все перевернется вверх дном? В мои гимназические годы в Уфе было такое затишье, такая безмятежность. Было много снегу. Были бурные весны. Цвела липа. Благоухала сирень.

Я с большим вниманием слежу за всеми переменами, которые происходят в Уфе и всей Башкирской автономной республике, пребывающей ныне в составе Российской Федерации. Меня все привлекает. Я все принимаю близко к сердцу. Много написано книг о новой социалистической Уфе. Много рассказано и о башкирском народе, о его прошлом и настоящем. Ведь эти края пережили — за все-то годы — несколько не похожих одна на другую жизней.

Например, то, что так блестяще и с такой любовью изобразил Аксаков… Это совсем особый мир, особая эра. Ведь правдивый рассказ свой Сергей Тимофеевич и начинает-то на первой же странице «Семейной хроники» упоминанием Уфимского наместничества. Эта эра очень своеобразна, очень самобытна. Тогда свершался приход русских в Приуралье, в Уральские горы, в Сибирь. Завоевание? Да, конечно, если вспомнить битву Ермака с Кучумом[3], если вспомнить бесконечную канитель с калмыцкими ордами, настроенными не менее воинственно, чем Батый[4]. Все-таки следует, по-моему, назвать этот исторический момент не завоеванием, а приобще-

нием к культуре, освоением нового края. Так, по крайней мере, расценивает приход русских в Заволжье, в Зауралье Фридрих Энгельс. Он считает освоение русскими этих диких, пустынных пространств, населенных кочевниками, фактом прогрессивным.

Впрочем, здесь речь идет относительно времени, когда в этих местах жил устроитель Оренбургского края Иван Иванович Неплюев или когда здесь трудился историк и государственный деятель Василий Никитич Татищев[5], и даже о более ранних временах. И это опять-таки совсем особый, ни на что другое не похожий мир.

Обратимся к истории. Представим себе цветущие луга, многоводные реки, синие очертания гор и леса, леса, непроходимые, дремучие леса. И — безмолвие. Когда-когда покажется вдали пыль, послышится блеяние, ржание и топот копыт. Раздолье, где могут уместиться бесчисленные города и селения, где ширь и простор для деятельного неугомонного человека… И — никого. Затерянные в пышно цветущей безмятежности, бродят там и тут тюркские, угорские племена. Попадаются и кипчаковцы, и бурзянцы, и табынцы, даже зилаиры. Но их поглощает это беспредельное молчание, эти трущобы, эти вырастающие до предела и стоя умирающие кедры, эти грустные березы, смолистые лиственницы…

Но что это? Дикое гиканье, лязг металла. Стоны, вопли, выкрики… Это схватились в жестокой битве враждующие племена. Кто победит, тот будет чинить расправу, захватывать трофеи, угонять пленниц, накладывать на побежденных ясак. То есть держать в рабстве.

Еще не пришли из сибирских недр башкиры. А что их приход? Исчезновение с лица земли одних племен, одних народностей. И новые кочевья, новые стада. И хитрые шаманы, которые доводят себя до умопомрачения и затем прорицают. Они всегда прорицают к своей выгоде и требуют приношений, приношений, приношений для умилостивления злых духов. А злыми духами и добрыми духами, по их учению, наполнен весь мир. Страшно. Страшно. Страшно. Злые духи готовы вредить человеку, нагонять болезни, приносить смерть. А как задобрить их? Как не совершить какой-то ошибочный шаг, который может вызвать немилость злого духа? Духи повсюду — в воз-

духе и огне, в воде и камне, в дереве и юрте, никуда от них не укроешься, никогда не разгадаешь, как надо поступать и как не следует поступать.

Едет всадник. Глухо. Лес. В каждом дереве кроется дух. А как он настроен? В каждом кусте прячется загадка. А как эту загадку разгадать? Даже безмолвие леса страшит. Всадник останавливает коня, отрывает клок своей одежды и прикрепляет к дереву: это плата за себя. Но ведь и конь нуждается в защите? Всадник вырывает клок волос из гривы коня и привязывает его к склонившейся ветке. Это — жертвоприношение. Это — взятка злому духу. Не разгневать бы воду, вода священна. Нельзя стирать в воде свою грязную одежду, это оскорбит воду. Нельзя кидать в огонь что-нибудь нечистое, огонь священный, и он может обидеться…

Однако опасались воды, огня, злых духов, всего окружающего, а опасность пришла из степей: ногайская орда покорила башкир и обложила их данью. Потом пришел Батый. Золотая Орда тоже стала взимать дань с башкир. А когда Золотая Орда распалась, дань с башкир стали собирать казанский хан, сибирский хан и ногайский хан. Когда же исчезло Казанское ханство и ослабли силы Сибирского ханства и Ногайского, стали собирать дань с башкир собственные мурзы, баи и тарханы. А там подоспели еще и русские чиновники, русские фабриканты. Впрочем, эти не разбирались ни в свойстве, ни в родстве и одинаково готовы были драть семь шкур что с русских крестьян и батраков, что с башкирских и каких угодно безземельных людей.

Царское правительство, взимая ясак с простолюдина, не забывало щедро одаривать богачей. Не скупилось оно и на дворянский титул, раздавало и земельные угодья. Наряду с дворянами Артемьевыми, Щиголевыми, Топорниными появились дворяне Мансуровы, Сулеймановы, Турумбетовы, Давлетшины, князья Ураковы, богачи Кутлубаевы. Наряду с купцами-толстосумами Лаптевым, Чижовым, Стахеевым, Базилевским обнаружились купцы-толстосумы Каримов, Абдеев, Терегулов, Утешев, Хакимов. Расслоение шло не по национальному признаку, а по классовому. И нет ничего удивительного, что в уфимском банке сидели рядом банкир-аристократ Ляуданский и банкир Шахъйдар Шахгарданович Сыртланов

или Хасан Гафурович Акчурин.

Само по себе дворянское звание, зачастую присуждаемое автоматически, например, при военной службе, еще не означает непременно угнетателя народа. Из дворянского сословия — мы отлично знаем это — вышло много демократически настроенных людей, революционеров, много талантов в различных областях науки и искусства, крупных государственных деятелей и военачальников. Так, и из числа уфимских дворян можно назвать немало славных имен. Кстати, дворяне далеко не всегда были богаты. Прекрасный художник Касым Давлеткильдеев, к слову сказать, тоже из дворянской семьи, однако бедствовал он немало. Другие примеры — из русских дворян — и не привожу: они общеизвестны.

Попали мне в руки списки дворянских фамилий и фамилий стрельцов Уфимской губернии. Читаю — и то и дело нахожу знакомцев — потомков всех этих давно живших людей. Авдеевы? Так это моя родня. Лосевы? Так ведь в гимназии был преподаватель Лосев! Красильниковы? Не их ли потомок писал интересные книги? Аничковы? Позвольте! Одна из Аничковых — Любочка — жила у нас на хуторе и вела наше хозяйство. Как сейчас помню ее масляные глаза и ухватки проститутки, ее вьющиеся волосы и льстивую улыбку. В ней как-то уживались желание всем угодить и в то же время стремление урвать для себя все возможное и невозможное. Препротивная девица! Под впечатлением от этой Любочки у меня возникла мысль — рассказать о дворянах-приживалах и дворянах-крестьянах, которые живут или в экономках, домоуправителях в чужих семьях, или живут в избах, по-крестьянски, садят картошку, держат кур, сеют хлеб, но сохраняют дворянскую спесь, а иногда — и дворянское достоинство. И я написал в 1928 году роман «Любань»[6].

Читаю дальше списки уфимских дворян. Вот нахожу и фамилию Аксаковых. А вот — Черниковы-Анучины… Черниковы? Уверен, что Кеша Черников происходит из этого рода. С этим Кешей мы учились в гимназии в одно и то же время. Своеобразнейший человек. Выдумщик. Кадомцевы? Они ведут свой род от крещеных татар деревни Тауш. И сколько славных имен знает этот род, сколько революционных деятелей, бесстрашных воинов с фамилией Кадомцевы сохранила история.

А в старинных записях до наших дней дошло-уцелело постановление: *«В 1652 году уфимскому новокрещенному Ивану Ивановичу Кадомцеву — родоначальнику Кадомцевых — дано в Уфимском уезде за Уфой-рекой вверх по Таушу-речке поместье в сто пятьдесят четей»* — неоспоримое свидетельство, что Кадомцевы более трехсот лет так или иначе участвуют в жизни и становлении благословенного Приуральского края. Анна Федоровна Кадомцева родилась в Златоусте. Эразм Кадомцев — в Бирске. Его братья Иван и Михаил — в Уфе. Сейчас, в семидесятые годы, в Уфе живут две сестры Кадомцевы — Зоя и Ольга, которую моя сестра, знающая ее чуть ли не с детства, зовет Лекой. Я только что получил от этой Леки добрую весточку.

В Миньяре, чуть не под самой Уфой, в 1903 году родился Игорь Васильевич Курчатов[7]. Давно ли братья Курчатовы были в Уфе, купались, рыбачили, жили счастливо и дружно…

А вот еще один знатный уфимец — Петр Петрович Пекарский[8], но из более давних времен. Семейство Пекарских в середине XVII века переселилось в Уфу из Полоцка. Симеон Полоцкий[9] был ротмистром поселенной в Уфе полоцкой шляхты и воеводой в Бирске. Петр Петрович Пекарский происходит из этой семьи. Он родился в 1828 году. В Казанском университете окончил юридический факультет. Работал в государственном архиве, издал ряд исторических исследований, был академиком. Большой интерес представляют собранные им материалы о Петре Первом, Ломоносове, Тредиаковском. В воспоминаниях он рассказывает и о своем прапрадеде, участнике Полтавской баталии, который внешне походил на Петра и его включали в свиту как царского двойника. В чине полковника он возвратился домой и привез богатые трофеи. Эти трофеи и посейчас находятся в Уфе, в музее.

Нет, нет, я вовсе не собираюсь без конца перечислять великих земляков, знатных и знаменитых уфимцев, коих немало подарил России этот холмистый город, со всех сторон окруженный речными ширями. Как раз речь пойдет в основном не о знаменитостях. Чтобы уловить облик обыкновенного русского губернского города, надо приглядеться к его постройкам, современным и древним, к его, как говорили бывало, простым людям, к их занятиям, их горестям и радостям. Простым лю-

дям! Тем, о ком иные проливали слезу, а другие обзывали мещанами — за то, что разводят герань на окнах, мечтают купить швейную машину, за то, что не читают книг и возятся целые дни в коровнике. Надо заглянуть и в квартиры чиновников. Это племя не только многоголовое, но и поистине неистребимое, здравствующее во все эпохи, пережитые человечеством.

У кого как, разные бывают обо всем понятия, разное отношение к разным вещам. Вот, к примеру, старинные книги, рукописи, предметы, извлеченные из курганов и могильников при раскопках, даже вообще что-то, сохранившееся от былого, — какая-нибудь чернильница, пепельница, какой-нибудь вышитый кисет… У меня эти предметы вызывают благодарность к тем, кто жил, благоговение, священный трепет. Помните, я приводил старую чердынскую афишу, в которой сообщается, что такого-то числа и года шел спектакль и в пьесе участвовали такие-то и такие-то, в том числе мои отец и мать? У меня интерес к этой афише не только как к семейной реликвии, поверьте, мне в этом афишном листе драгоценно каждое слово, шрифт, самая манера объявлять о спектакле. Ведь это — живая история! Неужели непонятно?

В июне 1977 года в распадке ручья Киргиляк, в Магаданской области, в зоне вечной мерзлоты найден мамонтенок, пролежавший здесь сорок четыре тысячи лет. Представляете, с каким волнением ученые разглядывали его, изучали, исследовали, фотографировали… Но в нашей стране произошли такие обвалы и сдвиги, такие взрывы и встряски, что, почтительно внемля цифре в сорок четыре тысячелетия, вы с обостренным вниманием изучаете находки, коим исполнилось всего лишь одно столетие. Оно кажется такой далью, такой легендарной далью, что хочется поскорее узнать: а что же было тогда, сто лет назад, как тогда жили, что тогда волновало, что удивляло, тревожило таких же, как мы, обыкновенных в своей необыкновенности людей?

Вот передо мной лежат «Уфимские ведомости». Этот номер газеты-официоза выпущен в воскресенье 23 марта 1903 года. На первом месте стоит извещение о том, что через два дня, 25-го марта, будет праздник: Благовещение Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение накануне праздника Его Преосвященство служит в кафедральном соборе, а литургию в самый

праздник — в Благовещенском женском монастыре. Подпись под этим извещением — «Ключарь священник А. Рубинский».

В свое время это было обыкновеннейшее, всем понятное объявление. А мне придется самому заглянуть в справочники, прежде чем объяснить вам, о чем извещает этот ключарь почтенную публику. Во-первых, кто такой ключарь? Это должностное лицо при соборных церквах, у него ключи от помещений, где хранится церковная утварь. Очевидно, в его же обязанности входит извещать паству, где, в какой день, в каком храме служит церковную службу глава церкви — архиерей, коего именуют «Его Преосвященством». Всенощное бдение, в обиходе называемое «всеночной», в монастырях идет всю ночь, а в обычных церквах состоит из вечерни и утрени. В объявлении ключаря Рубинского сообщается о литургии. Это название главнейшего из христианских богослужений.

Как видите, с первых же строк газеты «Уфимские ведомости» за 1903 год мы встречаемся со многим, требующим разъяснения, как будто это древнейшая пергаментная грамота, написанная на каком-то давнем, мало изученном языке.

Вот и телеграммы Российского Телеграфного Агентства, сообщения из различнейших городов различнейших стран. Из Уральска сообщается, что в ночь на 20 марта там наблюдалось редкое явление: сверкали молнии, гремел гром, между тем поля были покрыты глубоким снегом и продолжался санный путь. Из Тифлиса сообщается, что там состоялось открытие памятника-бюста Гоголю. Из Константинополя — что там установлен карантин ввиду появления чумы в Египте, а из Парижа — что руководителю пастеровского института профессору Ру присуждена премия в сто тысяч франков…

Много сообщений о местной жизни. Сообщается, что в понедельник 24 марта прибудет в Уфу чудотворная икона Казанской Божьей Матери, что в пятницу на улицах Уфы царила тьма, так как свет включили только в 11 часов вечера, что по утвержденному штату городская полицейская команда отныне состоит из 83 городовых, а пожарная команда — из брандмейстера и 50 пожарных служителей. Еще сообщается, что 16 марта в Дворянском собрании состоялся спектакль и особенно хорошо исполнял роль Карандышева актер-любитель, из скромности скрывший свою фамилию под тремя звездочками,

что в селе Аскине тоже дан спектакль, выручено 96 рублей, переданных в пользу аскинской женской школы. А с Саткинского завода сообщают, что товарищ прокурора посетил местный арестный дом и обнаружил в нем излишек арестованных, так что некоторых из них пришлось выдворить и отправить по домам…

Какая идиллия! Какое благоденствие!

Еще большее умиление вызывает четвертая страница газеты: объявления. Чего тут нет! О дешевой распродаже в посудно-ламповых магазинах… О полученных продуктах в магазине братьев Степановых на Казанской улице: поступили дунайские маринованные и заливные сельди, балык белужий, белорыбица, тешки, сыр швейцарский и кавказский, лучшие окорока, медицинское вино Вермут, железистая малага и токайское.

Стоп! Одну минуту! Эти объявления напечатаны не слишком крупным шрифтом. А основное место на газетном листе занимают два огромных, крупным шрифтом набранных объявления, и оба принадлежат одному лицу.

В уфимской гимназии в одном классе со мной учился Яша Дворжец. Он был одет с иголочки, а учебники носил в красивом ярко-желтом портфеле. Ни у кого из нас не было таких портфельчиков. Мы учебники приносили просто стопочкой, перевязанной ремешком, редко кто пользовался ранцами, разве что малыши. А тут портфель! Подумаешь, министр какой нашелся! С портфелями, кроме Дворжеца, приезжали в гимназию в своих экипажах, кажется, еще три-четыре богатеньких гимназиста: Биркель, Дьяконов, Чуфаровский, Нагель… Мы их ненавидели. Они держались кучкой и побаивались нас.

А отец Яши Дворжеца был местным богатеем. Он нацеливался захватить вообще всю торговлю чохом и подумывал, не выбраться ли ему и в другие города, не приступить ли к захвату новых рынков. Пока же в Уфе красовался самый крупный, самый красивый аптекарский магазин Дворжеца. Заболела ли у вас голова, расстроился ли желудок — вы бежали в аптекарский магазин Дворжеца на углу Центральной улицы и Успенской. Многие лекарства Дворжец изготовлял сам в своей фармацевтической фабричке, что давало ему дополнительные прибыли. И он быстро богател, пухнул, как тесто на дрожжах.

К удивлению горожан, вскоре появился в центре города еще один и тоже богатый, сверкающий витринами магазин Дворжеца, — о нем можно судить по этому огромному объявлению, занявшему добрую четверть газетного листа, где почти все названия напечатаны с большой буквы и разными шрифтами:

«Рояли и пианино поставщика двора Его Величества БЕККЕР, старейшей российской фабрики БР. ДИДЕРИХС, С.-Петербургской фабрики ОФФЕНБАХЕР и известной заграничной фабрики «ЛАУРИНАТи К». Рассрочка платежа от 15 рублей в месяц. Большой выбор ГРАММОФОНОВ и ЗОНОФОНОВ. Пластинки в громадном выборе, напетые известнейшими артистами. Американские и немецкие фисгармонии, скрипки, виолончели, гитары, мандолины, балалайки, флейты, корнет-а-пистоны[10], кларнеты, цитры, смычки, гармонии. Роялифоны и стеллы, механические пианино и эолианы[11]. Струны всегда свежие. Ноты для всех инструментов и пения».

Кто бы что бы ни пел, кто бы на каком музыкальном инструменте ни наигрывал, — никто не мог миновать магазина Дворжеца!

Но и это далеко не все. Из второго огромного объявления этой же газеты мы узнаем, что в центральном магазине провизора Л. Я. Дворжеца к предстоящему празднику святой Пасхи получены: ваниль отборная бурбонская, шафран лучший французский, розовое масло настоящее болгарское, лимонное масло мессинское, кардамон, гвоздика, корица, миндаль, мак, ванильный сахар и другие пряности для куличей и пасхи, краска для яиц разнообразных замечательно ярких цветов, абсолютно чистое натуральное оливковое, так называемое ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, ПРОВАНСКОЕ МАСЛО для знатоков-любителей и еще множество разных товаров.

Дворжец был благодетель рода человеческого. А кто не имел возможности покупать рояли и зонофоны, прованское масло и токайское вино? Видимо, в Уфе были разные люди? Счастливые и несчастливые? Богатые и бедные? Для чего-то же понадобилось социал-демократам создавать конспиративные квартиры на Аксаковской улице, 31, на Пушкинской, 52, и с 1903 года на Гоголевской, 27? Для какой-то цели существовала явочная квартира Лидии Ивановны Бойцовой на Достоевской улице и дом Минькова на Александровской? С большим риском, но

была создана в Уфе подпольная типография? Бились-бились агенты полиции, но типографии никак не могли найти. А листовки появляются все новые… И почему в Уфе происходят обыски в квартирах? Почему уфимская тюрьма переполнена? Почему в Уфе, в Мензелинске, в Бирске так много ссыльных? За что их сослали? О чем они говорят, встречаясь на конспиративных квартирах? За что они борются? Чего хотят?

В 1903 году я был еще ребенком. А в том мире, обитателем которого я стал, давно уже шла непримиримая борьба, борьба за то, чтобы не было на земле униженных и оскорбленных, чтобы каждый мог пойти в музыкальный магазин, купить любой музыкальный инструмент и играть на нем в полное свое удовольствие, чтобы балык и токайское присутствовали в праздник на столе каждого жителя, чтобы гордость и довольство были на каждом лице, старом и молодом, горожанина и селянина, чтобы труд человека был радостен, а отдых осмыслен, чтобы женщины не знали слез, а дети были нарядны и румяны.

Такие были благородные идеи у борцов, такие светлые мечты и планы. Много полегло людей на этом пути, много жертв требовала борьба, но не редели ряды революционеров, изумлявших прочностью убеждений, самоотверженностью, работоспособностью и какой-то исступленной преданностью идеям социализма. Если говорить об Уфе, то достаточно назвать семейство Кадомцевых, все 13 человек которого, а особенно Эразм и Инна, внесли свой вклад в дело революции, или семейство Каврайских, четверо детей которого организованно, всей гурьбой вступили в партию большевиков и отдали себя революционной работе. И ведь в Уфе отбывал ссылку Цюрупа[12], в Уфу приехали из Шушенского Ленин и Крупская…

Что же такое происходило в Уфе в те годы, в том самом 1903 году, когда вышла газета «Уфимские ведомости», номер которой лежит у меня на столе? Оказывается, кое-что происходило.

В городе Златоусте на железоделательном и чугуннолитейном заводе, на стальной фабрике при заводе и тут же расположенном оружейном заводе работало несколько тысяч человек, в том числе около тысячи женщин и около ста малолетних. Всем им плохо жилось. И вдруг — *как* свежий ветерок долетел до них — чьи-то слова, чьи-то указания: не надо терпеть, надо

бороться. Нет, они еще не поняли слова «бороться». Но до их сознания дошло, что они могут высказать все, что наболело на душе. Они еще не умели назвать, кто мучил их, грабил, заставлял много работать, но не давал досыта есть. Этот злодей воплощался у них в слово «контора»: контора требовала непосильной работы, контора платила так мало, что хоть ложись да помирай.

Так родилась затея — прекратить работу, выйти всем народом на площадь, вызвать «контору» и высказать этой «конторе» прямо в ее бесстыжую рожу: что вы, дескать, скоты, делаете, зачем морите народ, беречь вам тружеников надо, на ком держитесь-то? Конечно, эти рассуждения в рабочей массе доходили до заводского начальства. Да ведь никто и не таился. Советовались, подбирали ходатаев поречистее, чтобы высказать свое недовольство и свои требования.

В те годы Златоуст числился уездным городом и был в ведении уфимского губернатора Богдановича. Когда ему доложили, что «в Златоусте неспокойно», «Златоуст бунтует», он загорелся желанием лично ликвидировать эту крамолу. Более неудачный способ успокоения рабочих трудно было придумать. Богданович распорядился заблаговременно, с ночи, разместить войсковые части вдоль городской златоустовской площади, причем разместить в укрытиях, в подворотнях, в подвальных помещениях. Он условился, что в случае, если рабочие будут угрожать, дерзить, держаться вызывающе, он даст знак — махнет носовым платком, после чего регулярные войсковые части должны дать по толпе четыре залпа боевыми патронами.

Был солнечный день 19 марта 1903 года. На площадь вышло чуть не все население Златоуста. Рабочие оделись по-праздничному, было много женщин и еще больше ребятишек от грудного до школьного возраста. Почему-то все думали, что их ждет какая-то радость, что им сообщат что-то утешительное. И то верно: сам губернатор пожаловал, чтобы выслушать претензии рабочего люда, уж он-то разберется, поймет их печали!

Богданович приготовил короткую, но строгую речь, вроде отеческого внушения. И вот он вышел на балкон, все взоры обратились на него, а он, совершенно позабыв об условном знаке, захотел высморкаться, прочистить нос перед тем как громко, на всю площадь произнести свое выступление, которое начи-

налось у него миролюбиво: «Братцы, что это до меня дошли слухи, что вы нехорошо себя ведете…»

Однако он так и не сказал ни слова. Он только вышел, вынул из кармана раздушенный носовой платок… И сразу же загремели выстрелы. Богданович вздрогнул от неожиданности и оглянулся, чтобы кому-то дать распоряжение прекратить стрельбу, что за безобразие. Но тут прозвучал второй залп. Толпа шарахнулась прочь. Все наполнилось криком, плачем, стонами, воплями. С балкона было видно, как в толпе падают убитые. Сначала губернатору показалось, что в толпе выкидывают революционные красные флаги. Но это была кровь. Толпа хлынула в переулки, в закоулки. Началась невероятная давка. Город стонал, вопил, слышны были рыдания женщин, которые вдруг, в один миг поделались вдовами. На месте расступившейся толпы особенно страшно было видеть тела убитых. Творилось что-то невообразимое. Уже не плач, а проклятия раздавались на площади.

Губернатор быстро-быстро скрылся, сбежал в безопасное место. Ему подали экипаж, и он укатил на вокзал, бросился в свой вагон, на ходу отдавая приказание о немедленной отправке поезда.

Через два дня вся Россия знала о кровавой расправе, о златоустовской драме. Об этом писали в заграничной прессе, об этом поместила гневную статью «Искра».

Златоустовские рабочие хоронили убитых. Несли 69 гробов. В больницах лежали 200 человек раненых. Полиция хватала первых попавшихся, приказано было найти во что бы то ни стало зачинщиков бунта, даже если их и не было, затеять судебный процесс и выискивать или нанимать лжесвидетелей, которые бы соврали, будто из толпы раздался один выстрел. Это было необходимо: коли выстрел, значит — был бунт, вооруженное восстание, и значит — губернатор Богданович — герой, усмиритель бунта, спаситель престола и отечества.

Была как раз эпоха таких «спасителей престола». Например, министр внутренних дел Сипягин. Тот, что сулил: «Этих писателишек я отучу не только писать, но и думать!» Эсер Балмашов переоделся офицером, явился в приемную к Сипягину и четырьмя выстрелами убил его. Или взять того же Плеве — шефа жандармов и министра внутренних дел с 1902 года.

Первый скачок в житейском успехе он сделал, перейдя из лютеран в католики. Это ему понадобилось, потому что было непременным условием, чтобы его усыновил богатый помещик в Польше. Как только Плеве усыновили, он донес на своего отца-благодетеля куда следует, и отца-благодетеля повесили, а Плеве получил наследство. Для дальнейшей карьеры Плеве из католиков перешел в православные. Пролезши в министры, он похвалялся, что, если вздумают устраивать демонстрации в Петербурге, он прикажет выпороть демонстрантов, начиная с курсисток. О Плеве я почему вспомнил: именно Плеве объявил благодарность уфимскому губернатору Богдановичу за расстрел златоустовских рабочих. Был в эсеровской партии Егор Сазонов. Он окончил уфимскую гимназию, а в студенческие годы включился в революционную деятельность и был арестован. При перевозке в ссылку в Якутию Сазонов совершил побег и уехал за границу, но, узнав, что Плеве объявил благодарность Богдановичу, вернулся из Швейцарии в Петербург и убил этого Плеве, тем самым прервав его блестящую карьеру.

Губернатор Богданович ожидал царских милостей и наград. Он слыхивал, что царь щедро награждает усмирителей. Вот уж не думал он, что в Петербурге в эсеровской организации ему, Богдановичу, составлен будет приговор, причем по всей форме: *«Боевая организация партии социалистов-революционеров, выполняя лежащий на ней гражданский долг, считает себя вынужденной приговорить виновника зверской расправы над златоустовскими рабочими Уфимского губернатора Н. М. Богдановича — к смерти. Приведение приговора к исполнению поручается членам военной организации».* Выполнить приговор взялся рабочий-железнодорожник эсер Дулебов. 6 мая 1903 года Богданович от нечего делать прогуливался в Ушаковском парке и дышал свежим воздухом. К нему подошел Дулебов, объявил ему приговор и выстрелом прикончил его. Дулебову удалось скрыться,

Экземпляр уфимской газеты, который лежит предо мной, выпущен 23 марта 1903 года. А в златоустовских рабочих стреляли по приказу губернатора Богдановича 13 марта 1903 года? Убит был Богданович 6 мая 1903 года? Вот вам и кардамон! И вкусное прованское масло! Вот вам и дунайские маринованные сельди! Оказывается, в Уфе не такая уж тихонькая жизнь!

Оказывается, столько событий произошло в Уфе до приезда нашей семьи! Кроме златоустовской драмы и убийства губернатора Богдановича, было еще и Миасское дело, и Демская экспроприация, и происшествие на Архиерейском лугу за рекой Белой, когда был убит во время работы там арестантов тюремный надзиратель Уваров, свирепый, неутолимый в злобе субъект, отличавшийся особой жестокостью… Все это было. И все это минуло и стало достоянием истории.

Конечно, что говорить, мы считаем террор порочным и ненадежным способом борьбы с угнетателями. Но не террористы-эсеры владели умами в те годы, хотя, надо признать, их террористические акты ошеломляли и вызывали много разговоров. Будили сознание, указывали пути борьбы другие люди: революционеры-ленинцы, социал-демократы, большевики.

Мой отец к этому времени уже поостыл и конспиративной работой больше не занимался: то ли разочаровался в борьбе за социализм, то ли просто с годами устал и отошел от революционеров. Но работу с молодежью не бросал, на уроках истории по-прежнему говорил о таких вещах, что у слушателей глаза горели и сердца бились сильнее, так что пропагандистом он оставался и в Уфе.

Но были рядом люди другого склада. Они находились среди нас, но были невидимы. Их называли подпольщиками. Это были профессиональные революционеры. Они распространяли «Искру», создавали политические кружки, опекали ссыльных, устраивали подпольные собрания. Их ловили, сажали в тюрьмы, ссылали в Нарымский край. В тюрьмах они делали гимнастику, старались сохранить силы и душевный склад, из ссылки совершали побеги. Их было так много, что приходилось задуматься: нельзя же пересажать всех учителей, всех врачей, всех акушерок, всех земских служащих. Поэтому не слишком известных и крупных ссылали в Вятку, в Уфу, в Самару, полагая, что они пополнят на местах кадры преподавателей, земских врачей — словом, восполнят нехватки в работниках многих профессий. Конечно, приехав на место ссылки, врачи действительно тотчас же находили работу, так же как и педагоги, и земцы, и даже студенты. Но они с первого же дня включались и в политическую работу, шли на заводы, в мастерские, шли в деревню, в самую глушь. Царское правительство попадало

в заколдованный круг: оно само, своими руками слало в захолустье, в медвежьи углы молодых, горячих проповедников социализма, оно само, выходит, сеяло по городам и весям империи семена знания, посевы ненависти и борьбы.

Вся страна бушевала, кипела, гнев рождался и рос во всех краях России, во всех сердцах бедноты. Ненавидела царский строй и вся трудовая интеллигенция. В городах и селах квартиры учителей, врачей, а зачастую и инженеров, и юристов становились местами явок социал-демократов. Уфимское губернское земство, особенно его статистический отдел, было постоянной опорой революционеров. Цюрупа, Зенцов, Свидерский, Чеверев, Мишенев, Чудинов, Гардеиин… Кадомцевы, Юрьев, Плеханова, Веретенникова, Блусевич… Подбельский, Арцыбушев, Чернядьев, Саламасова… и многие-многие другие, даже те, чьи имена не сохранились в памяти, — если не непосредственно сами вели революционную работу, то оказывали помощь и поддержку. Вся страна была едина в стремлении к новому. Если не всем было ясно, КАК должно выглядеть это новое, то все — действительно все — понимали, КАКОЙ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ жизнь, и ненавидели то правление, которое не могли уже спасти ни штыки, ни расправы, ни маневрирование и компромиссы.

Я нашел в своем дневнике за 1959–1961 годы записи, которые хочу привести здесь как очень характерные для времени, когда я работал над «Котовским» и трилогией, когда много размышлял обо всем происшедшем в России. Это было время хрущевской оттепели и эйфории, время, когда я наивно верил в то, что наша жизнь того и гляди будет той сказкой, за которую боролись лучшие люди России. Да и как не поверить, когда наш «гостевой стол» в 1960 году, судя по моему дневнику, ломился от всяких вкусностей. Сейчас это кажется чудом. Жизнь настолько теперь ухудшилась, что мне к 80-летию уже не организовать такого меню. Поневоле вера в социалистический рай в конце семидесятых годов сильно пошатнулась, и людьми все больше овладевает отчаяние. Но какие были светлые мечты, какие прекрасные идеалы!

Вот моя запись за 7 ноября 1959 года:

«Сорок вторая годовщина Октября. Настроение праздничное, по радио музыка, и хотя за окном изморозь, но тепло, пять

градусов тепла, Невский — красавец, на Думе электрическая Луна и с противоположной стороны проспекта летят электроракеты, долетают до Луны, и тогда над Луной вспыхивают яркие буквы: СССР.

Да, поистине есть чем гордиться нашему народу! Я считаю, что Никита Сергеевич Хрущев — выдающаяся личность. Уже одно то, что он с трибуны ООН провозгласил смелую и простую идею полного разоружения, ликвидации армии, оружия, военных баз — одно только это делает имя Хрущева весомым. А сколько еще важных дел совершается нашим народом! Какие урожаи, какое строительство! Освоение целинных земель, да что — земель, освоение гигантской Сибири — ведь это мудрая, дальнозоркая политика. Освоение Востока, подъем хозяйства Северного Кавказа, Кубани, Ставропольщины, — это очень верно и проницательно и в ближайшем будущем даст поразительные результаты. Я с удовольствием читаю сообщения о зависти американцев. Ничего, им надо привыкать не быть первыми. Вскоре весь мир с изумлением увидит еще одно чудо вслед за атомным ледоколом "Ленин" и советскими ракетами: могущественную, богатую, процветающую страну социализма, далеко позади оставившую дряхлый, отживающий капитализм…»

А вот что я писал 19 ноября 1960 года:

«В газетах вчера было сообщение об увеличении состава золота в нашем золотом рубле, так что за доллар причитается наших 90 копеек. Гениально! Пресвятой приснoблаженный доллар — и тот пошатнулся! Вообще в мире происходит что-то изумительное. Мне кажется, лет через десять первой в мире страной будет Советский Союз, второе место займет Китай, а Америка отодвинется на третье место. Ну, если не через десять, то через два десятилетия. Капиталистическое ведение хозяйства станет просто нерентабельным и будет выглядеть нелепым пережитком. Так же, как странно было бы в эру атомной энергии, овладения космосом, в эру гигантских электростанций, механизации, счетных машин, химии, фантастических скоростей — ездить на конке или облачаться в латы оруженосцев и держать на вооружении лук и стрелы.

Моя трилогия и должна рассказать, как за шесть десятилетий XX века человечество сделало невиданный в истории

скачок. Началось это буквально с первого дня XX века: ведь Ленин в 1900 году отбыл ссылку и приступил практически к созданию той революционной партии, которая и распахнула дверь в новую эру…»

Далее — запись от 6 декабря 1960 года (я привожу их в хронологическом порядке), та самая запись, которая поразила меня ассортиментом нашего тогдашнего «гостевого стола»:

«Вчера были "гости" — наша обычная компания, "наш кворум", как мы называем эту кучку людей, которая сама решает, что тогда-то соберутся у нас. Я бегал по магазинам и покупал все необходимое для приема. Наташа еще не выздоровела, ей нельзя выходить. Вино у нас всегда есть, так как хозяева сами-то непьющие. Ну, а если к этому прибавить севрюгу горячего копчения, скумбрию, шоколадно-вафельный фигурный торт, китайские яблоки, печенье "курабье", да вынуть из наших домашних припасов телятину заливную, известную в нашем кругу под названием "телятина а 1а Наташа", да привезенные Наташей из Москвы конфеты "Грильяж" вдобавок к нашим ленинградским, да знаменитые маринованные грибы Наташиной заготовки и ее же рук моченую бруснику, — то и образуется пиршество.

В два часа ночи мы с Наташей все прибрали после гостей (но сначала я проводил Веру Козакову до остановки такси напротив дома, усадил ее в машину и дал десятку на оплату дороги, как у нас заведено). Приборка по уходе гостей, как бы поздно это ни было, — тоже наше правило: сразу же посуду всю вымыть, комнаты проветрить, пол вымести, все, что следует, поставить в холодильник, — и вот уже стол блестит, воздух чистейший, всюду прибрано, и мы ложимся спать. Даже я — против обыкновения — в этот раз после гостей не сел работать, а уснул.

В пять утра проснулся и чувствую, что вот так вот выспался. Сначала лежу в темноте и думаю — о чем? — конечно, о трилогии, всегда о ней. В шесть, когда обычно, проработав ночь, ложусь спать, — сегодня, наоборот, встал. И сел за письменный стол — в пижаме да поверх еще в халате, так как форточка настежь открыта, слышно, как идет дождь, тает, течет с крыш, — оттепель. А я думал о сути, о том, что я должен сказать в трилогии.

Ленин. Много думаю о Ленине, как он с нечеловеческой усидчивостью и работоспособностью изучал, изучал, изучал все явления общественной жизни. Он читал. Где бы ни очутился, куда бы ни забросила судьба: в Лондон ли, или в глухую деревню, — всюду читал. Не было ни одного мало-мальски приметного события в России, чтобы Ленин не изучил его, не оценил, не отозвался на него: будь это японская война или Государственная дума, забастовка или крестьянский бунт, очередная реформа Витте или очередная благоглупость Николая Романова. И Ленин точно, неукоснительно прокладывал путь основной идее — борьбе, вовлечению в революционную борьбу рабочего класса и всего народа — борьбу с определенной, ясной целью: свержение самодержавия и дальше, с ходу, не замедляя, а наращивая движение — свержение буржуазии, всего эксплуататорского класса в России.

Гениальное открытие Ленина — это открытие "бациллы меньшевизма". Меньшевики — это страшное социальное зло. Меньшевики — это не только Даны, не только Троцкие, меньшевики — это все соглашатели и подголоски, все равно как они называются: Гучковыми или Струве, Зиновьевыми или Брешко-Брешковскими…

Что же происходило в России в начале века? Каждая листовка большевиков была в миллион раз сильнее взрыва любой эсеровской бомбы. Все, что бы ни делало царское правительство: расстреливало ли рабочих 9-го января 1905 года, затевало ли без должной подготовки войну с Японией, не понимая, что это война с Японией плюс Англия, плюс Америка, плюс Германия, бросало ли в тюрьмы революционеров, делало ли уступки, брало ли взятки, воровало ли, пригревало ли Иллиодора или Бадмаева, ехало ли на богомолье, пороло ли мужиков, — каждый его поступок рождал новых противников строя. Один Гришка Распутин — один он! — открыл глаза миллионам ослепленных или заставил задуматься тех, кто вообще не думал. Ссылают Ленина. Но пишет листовки Бабушкин[13]. Убивают Бабушкина. Но уже сотни потенциальных Бабушкиных рождаются в толщах народа. Так как же быть? Может быть, не надо было расстреливать Бабушкина? Не надо было управлять руками Ренненкампфов и Штюрмеров, не надо было воевать, имея главнокомандующих Куропаткина, Линевича, Ро-

жественского, строя негодный флот под руководством шайки воров, пригревая сонмы баронов и барончиков?

Ведь надо помнить, что каждый человек — каждый! — в зачаточном состоянии преобразователь мира, гений, вождь, герой, потому что как угадать: вот в этом вихрастом мальчике, который слушает рассказ бабушки о повешенном или обиженном, или вот в том парнишке, который молча стоит и смотрит, как порют его отца, — кто в нем кроется? Будущий Чапаев или Фрунзе? Будущий Радищев? Пестель? Будущий Ломоносов? Будущий Курчатов? Будущий Хрущев? В каждом человеке безграничные, неисчерпаемые возможности. Вот почему я хочу в трилогии проследить путь рабочего Якутова, народного героя Бабушкина, профессионального революционера Курзанова, писателя Бориса Авдеева и многих, многих других за 60–70 лет нашего века. Вот почему я хочу разобраться в растленности всех этих вешателей Меллер-Закомельских, а также в поганой душонке агента охранки Ворожейкина, в побуждениях Колчака и колчаковских приверженцев — неважно, под вымышленными или настоящими фамилиями я их изображу».

Ну и наконец запись из дневника за 23 января 1961 года: *«Болею. Отравление антибиотиками. За 20 дней потерял 6 кило. Но сейчас мне делают уколы димедрола, которого нигде нет, но который достала, конечно, Наташа. Кроме того, глотаю крошечные шарики беллоида. И, кажется, начинаю поправляться. Признак выздоровления: все время работает творческая мысль. И сейчас начал читать Голсуорси — "Конец главы". А мысли — тотчас о моей трилогии.*

Голсуорси сознавал, как и все его современники, гибель, разложение, ущерб английского "общества". Но Голсуорси умер в 1933 году. Он не мог видеть событий, сдвигов, перестройки мира, свершившихся в результате войны 1941–1945 годов и особенно обозначившихся в годы 1953–1963. Это десятилетие внезапно озарило ярким светом всю историю человечества. Вот когда — несколько задержанное безумием Сталина и расцветом бериевского ГПУ, вставшего над партией, в угоду иностранной разведке истреблявшего лучших советских людей, — вот когда взметнулось вверх стремительно, как ракета, ленинское детище — социалистическое объединение

государств. С каждым днем становится все очевидней, что капитализм — это плюсквамперфектум, Ветхий Завет, что он дряхлеет, делает один за другим непоправимые промахи, мешает, тормозит движение истории, а следовательно, близится его конец. Что меня поражает — это изумительное сходство облика современного капитализма и царствования Николая Второго перед его гибелью. Вероятно, все отцветшее одинаково вянет на корню, все отжившее, разлагающееся одинаково воняет… Кто больше причинил зла своему народу, своей стране: Николай Романов или президент Эйзенхауэр? Что является большим безумием: затеять русско-японскую войну 1904–1905 годов или же с упорством, достойным лучшего применения, не признавать прав великого Китая с его населением почти в 700 миллионов, с его индустрией, с его богатствами, с его монолитностью? Что позорнее: истреблять при помощи департамента полиции все мыслящее и честное в России или же содержать сто миллионов шпионов и отдавать на растерзание своим наймитам главу Конго Патриса Лумумбу?

Вот это я и должен рассказать в своей трилогии. Это очень важно, это открывает глаза на все происходящее сегодня. В свете этого сопоставления становится непререкаемо-очевидным крах капитализма в последующие полвека и приход новой эры на земле…»

Да-а… Читаю сейчас все это и думаю: до чего же мы верили в социализм, до чего же сильны были наши убеждения, если даже я, пострадавший от этого строя, не стал его хулителем и ниспровергателем, остался и после гулаговских мытарств советским человеком до мозга костей! А вот Хрущева я переоценил… Конечно, честь и хвала ему за разоблачение культа личности, но… Но «хрущевщина» дорого нам стоила: уже одно то, что от России отрезан Порт-Артур, откромсан Крым, то есть исконно русский Севастополь, здравницы, дворцы Ливадии и Алушты, Массандра, Артек, причем отрезаны не в результате боев и кровопролитных схваток (в боях и схватках мы как раз все отстояли), а по недомыслию, просто отдал «добренький» Никита и все, — уже одно это перечеркивает все его плюсы.

И еще несколько слов о социализме. Коснувшись в описании Уфы ее революционного прошлого, я невольно задумался: в чем же дело, почему не вышло, не получилось так, как

мечталось всем Якутовым и Кадомцевым? Извращены были идеи основоположников-теоретиков социализма? Развращены властью практики — вожди первого в мире государства новой формации? Я не историк, не ученый, я могу лишь констатировать факт и задать вопрос: если народу живется плохо, если он лишен самых элементарных вещей, значит, что-то неладно в государственном устройстве? Ведь как ни верти, а решающим моментом все-таки является экономическая первооснова, хотя и политическая важна, и множество других. И значит, все понапрасну? Бедные, бедные революционеры, положившие свои жизни на алтарь Отечества в борьбе за его свободу, за изобилие, за равенство и братство! Бедное, бедное Отечество, отданное на растерзание экспериментаторам-диктаторам! Бедные, бедные мы, которых шестьдесят лет кормят одними посулами и кнутом!

Порочная национальная политика, все эти «министерства» и «академии» в разных — подчас искусственно состряпанных республиках, все эти благодеяния, оказываемые «развивающимся странам» (СССР построил там 472 объекта и еще строит 427, один Саддат, глава Египта, должен Советскому Союзу 14 миллиардов долларов!) — все это является диким растранжириванием народных средств и распложением дармоедов, а авторитета России не прибавляет. Напротив, появилось неуважение, пренебрежение к русским, даже подчас враждебность, — и это вместо благодарности русскому народу, который в ущерб себе поднимал там промышленность, культуру, все хозяйство. Появилось даже страшное, кощунственное явление — угнетение русских в некоторых республиках. И еще — распыление русских людей. Русские всюду, но русскими помыкают. Вообще-то в целом народы наши живут довольно дружно и национальных проблем нет. Уж как в войну надеялись враги на раскол в нашем стане — не оправдались эти надежды! В войну, как никогда, проявилось настоящее братство, настоящий союз, на защиту Родины встали как один все народы нашей страны и умирали на фронтах одинаково что русские, что украинцы и белорусы, что казахи и башкиры — никто и не думал, кто в строю рядом с ним, а уж об отделении республик не было и в мыслях, страна была едина, и защищали все именно единую страну — свой родной Советский Союз. Когда появилась трещинка в спаян-

ности наших народов — я не уловил. По-моему, не так давно. И пошел этот душок от западных территорий Украины и Белоруссии и от Прибалтики. Между тем без русских быстро приберут к рукам всех. Растерзают страну на мелкие клочья, разобщат, а потом поодиночке уничтожат все «самостийные» ячейки многонационального государства. Даже такие сравнительно крупные составные части СССР, как Украина и Белоруссия, — и те не продержатся и года без опоры на русский народ. Вся наша сила — в единстве. Я писал об этом и в стихах, и в прозе всю свою творческую жизнь. Вот один кусочек из романа «Во славу жизни»:

«Я не могу без боли читать о столкновениях русских с татаро-монгольской ратью на реке Калке. У нас тогда воевали кто в лес, кто по дрова: врознь, несогласованно. А тут еще как на грех киевский князь был не в ладах с Мстиславом Удалым. И когда началась "сеча зла и люта", киевский князь расположился со своим войском в стороне, на пригорке, укрепился там и оттуда спокойно созерцал, как кочевники истребляют полки Мстислава Удалого. Он рассчитывал, что Мстислав Удалой примет на себя удар, будет побит, но достаточно ослабит силы кочевников. А тогда киевский князь добьет басурманов и пожнет все лавры. Действительно, татарская рать разбила войско Мстислава Удалого. Но после того она вплотную занялась киевским князем… Войско его истребили, его самого схватили вместе с его соратниками-князьями. Связанных, их сложили рядами, сверху соорудили деревянный настил и на этом настиле отпраздновали свою победу.

Все это мы знаем еще по школьным учебникам. Даже видели картинку, где изображены пирующие монголы, придумавшие по-азиатски жестокую казнь. На меня эта история еще в детстве произвела ужасное впечатление. Мне часто мерещились несчастные князья. Они, вероятно, долго еще мучились, пока не были окончательно вдавлены в землю и расплющены…

Теперь, взрослого, мое внимание больше привлекла гибельная разобщенность русских князей…

Я долго, внимательно вглядываюсь в старинный портрет князя Ивана Третьего. Хорошее, умное лицо. Лицо россиянина четырнадцатого-пятнадцатого века. И заметьте, не тако-

го они складу, эти русские, чтобы подготавливали втихомолку войско и отправлялись по европам грабить. Не было у них этого в заведении. Вот что невольно привлекает внимание каждого, кто изучает историю русского народа: мирный, талантливый, благородный народ. И какие трудяги! Но недаром сложено столько поговорок относительно доброго соседа. Ох, уж эти соседи! Только и гляди что полезут через тын и вытопчут чужой горох! И мне нравится, как последовательно собирает воедино русскую землю князь Иван Третий.

Сколько он уговаривал строптивых новгородцев! Настоял на своем: целовали икону, присягали Ивану новгородцы. И Ярославль присоединил. И Вятку. Забрал обратно исконно русские земли князей Новосильских, Одоевских, Воротынских… Старые владения Новгорода отвоевал у шведов… Словом, по-хозяйственному действовал. Ведь понимал человек, что самая драгоценная ваза, расколотая на куски, становится бесполезным хламом, а раздробленное на части государство ничтожно и беспомощно.

Мне особенно запомнилось, как он Тверь присоединял. Мне представляется, как он втолковывал тверскому князю Михаилу Борисовичу: “Что ж ты, Севастьян, не узнал своих крестьян? Одно мы с тобой неразделимое целое, два колеса — пара. Не хочешь же ты меня уверить, что тверской язык такой, московский — другой. Как по-тверски «нога» будет? «Нога». И москвичи называют «нога». У северян, у тех водятся свои особые словечки, но все равно и северяне — коренные русские, и их особые словечки — русские. И должен быть у государства единый государственный язык, единое войско, одинаковые деньги, одинаковый закон. Не будет этого — пропадет пропадом государство, его поодиночке слопают и поработят”. А Михаил-то Борисович был женат на внучке Казимира, вот ведь в чем закавыка! Любят эти всякие Казимиры дочек да внучек в жены вельможам подсовывать и через жен мужьями помыкать! Вот и в данном случае. Пил-пил чаи князь Михаил Борисович с женой-чужестранкой да постепенно в своем родном языке начал как в трех соснах путаться, уж и не так стал уверен, что “нога” — это “нога”. При таких обстоятельствах Ивану Третьему оставалось одно, что он и сделал: в сентябре 1485 года с войском подступил к Твери. Екнуло сердце тверского князя,

он знал, что князь Иван не любит шутить. Михаил бежал без оглядки к Казимиру… Так оно и распределилось по справедливости: князь Михаил с супругой достался Казимиру, а Тверь досталась Русскому государству…»

Хорош исторический пример? Ну, а теперь вернемся, пожалуй, к Уфе и к нашей семье. Давно пора.

Итак, мы приехали в Уфу в августе 1909 года и поместились в казенной квартире на Телеграфной улице, дом 6, в том же красном кирпичном здании, где размещался Учительский институт. Хорошая квартира, в нижнем этаже, в левой части, если лицом повернуться к дому. Только наша малышня — Вера и Толя, которых мы звали Бим-Бомами, они были неразлучны и ходили всегда взявшись за руки, — наша малышня боялась на прогулках ненормального мальчика, который жил где-то по соседству. Говорят, это был сын богача Красовского. Он гулял в сопровождении няни, но очень пугал детей, стараясь их схватить, и при этом кричал и смеялся. Впрочем, потом мы переехали на другую квартиру, а малыши начали учиться, и новые интересы затмили впечатления от этого несчастного мальчика.

По правую сторону института стоял двухэтажный деревянный дом, где находилась квартира директора института Лисовского. Он был холостяк, жил вдвоем с дочерью Ларисой. Все, кто его знал, в один голос говорили: хороший человек.

Отец пошел сразу по приезде к нему представляться, и Лисовский в первую же встречу предупредил отца, что за ним учрежден негласный надзор полиции и что из учительского персонала наблюдение поручено учителю географии Сухотину и законоучителю Боголюбову, о чем он, Лисовский, считает долгом уведомить Дмитрия Никаноровича.

- Спасибо! — просто и душевно сказал отец, пожимая руку директору. — Только напрасно это они. Укатали Сивку крутые горки. Пятеро детей у меня — не баран чихал. С таким хвостом не очень-то до политики. Но такое внимание к моей персоне… Польщен! Право, польщен!

Больше они никогда не возвращались к этому разговору. Лисовский вовсе не был революционером. Но он был из тех слоев русской интеллигенции, где существовали какие-то свои очень прочные взгляды и убеждения, например, понятие о чести. Им щепетильность не позволила бы пойти на какую бы то ни было

подозрительную сделку с совестью. В частности, они брезгливо относились к полиции. Были вещи, которые считались у них исписанным, но непреложным правилом.

Лисовский расспрашивал отца о Чердыни, об Ирбите, о Троицке, смеялся до слез над инспектором троицкого городского училища, который так боялся полиции, что умер от страха. А просмеявшись, посерьезнел и заметил:

— Все это было бы смешно…

— Когда бы не было так грустно! — подхватил отец.

Встреча вышла непринужденной, сердечной, и оба — и Лисовский, и Дмитрий Никанорович — остались в самом искреннем расположении друг к другу.

Так и стала налаживаться наша жизнь в новом городе. Здание гимназии оказалось поблизости. Не так далеко была и река Белая. И вообще, что ни возьми, все было рядом: и магазины, и базар. А когда настала зима, выяснилось, что и городской каток в Видинеевском саду тоже находится поблизости. (Между прочим, напротив этого сада жили наши родственники по четвериковской линии — Братцевы, я узнал об этом не так давно, и для меня так и осталось неизвестным, знал ли отец об их существовании. Факт тот, что мы совершенно не общались: Братцевы были богачи и, я думаю, не хотели знаться с бедными родственниками, а мы и не стали бы навязываться в родню, уверен).

Как я уже рассказывал, мы с Виталием поступили одновременно в первый класс ирбитской гимназии, хотя Виташа был на полтора года младше меня. (Моя жизнь, к слову сказать, сложилась бы совершенно иначе, не будь этого обстоятельства — что я начал учиться позже, чем следовало, и еще одного: что я трижды оставался на второй год — один раз из солидарности с товарищем — Сашкой Федоровым, другой раз по состоянию здоровья и третий — чтобы не попасть в кадеты. Таким образом и получилось, что кончил я гимназию великовозрастным, двадцати одного года от роду, в 1917 году, и Виталий, будучи младше, даже обогнал меня). Во втором классе мы учились уже в Троицке, а теперь, попав в Уфу, поступили в третий класс Уфимской классической гимназии, учреждения серьезного, строгого, почтенного.

Должен сказать, что и сейчас, в семидесятые годы, в моем

солидном возрасте, для меня острый нож идти в любое присутственное место по какому-нибудь хотя бы даже пустяшному делу. Меня охватывает тревога заранее, еще задолго до этого неприятного дня. Я ищу предлога, как бы это избежать посещения, нельзя ли обойтись телефонным разговором… Впрочем, и телефонный разговор мне представляется тоже чем-то угрожающим, мучительным, чем-то вызывающим большие опасения: а вдруг нахамят, вдруг не выслушают и оборвут на полуслове… вдруг, прежде чем соединиться с тем, кто мне требуется, я нарвусь на секретаршу, предназначенную именно для того, чтобы «не пущать», чтобы занудливо допрашивать, кто ты да по какому вопросу, и говорить неприязненным, недопустимым тоном… Так это сейчас, когда я все-таки сумею постоять за себя. Да и не обязательно же, наконец, нарываться на стерву, каких изображают в кино и в документальной прозе? Может быть, как раз снимет трубку милая, обаятельная женщина, которая будет со мной предупредительна и любезна, все объяснит и оставит меня в самом довольном, разнеженном состоянии? Но такой уж, видно, у меня скверный характер. И заметьте — с самых детских лет, когда еще и секретарш, кажется, не было, и телефон еще не был изобретен. А вот надо же, очень я всегда боялся казенных дверей.

И то сказать: вырос-то я буквально на немощеной улице, на мху, на траве, на лесных полянах и опушках, где никто дите малое пальцем не тронет. Разговаривать учился у кукушек и воробьев. У белохвостых сорок тоже. Честности и чистоты души набирался от зверей и птиц, от дворовых псов. Сердечности, любви к природе и к человеку — от ночных сторожей и прохожих странников. Друзья мои были «уличные мальчишки», мудрость я познавал у кухарок, у базарных торговок, у офень, у бродячих фокусников, у мужиков, у паромщиков, у шарманщиков и камских грузчиков, у сельских учителей. У них же у всех учился стозвучному русскому языку. Какие уж тут учреждения и присутственные места!

А тут на поди: отправляюсь в сердитую, желтой окраски, приземистую гимназию… Страшновато? Да еще с младшим братишкой, — значит, вся ответственность и весь исход событий падает на меня… А тут еще и вход в гимназию необычный. Главные двери заперты, они только для попечителя округа

и для архиерея. А нам, простым смертным, следует входить сбочку. Между тем я прямо направился к главному входу. Заперто… Гм. Странно… Вошли через боковую дверь — и тут новые страхи: мы очутились в темном непроглядном коридоре, особенно охватил нас мрак после улицы, после солнечного, вполне приличного дня.

Постепенно мы освоились, увидели, что прямо перед нами широкая красивая лестница. На первой ее площадке огромные часы. А дальше лестница расходится на две части: хочешь — поднимайся по левому ее крылу, а хочешь — по правому, полная свобода выбора.

В общем, все прошло благополучно. Во втором этаже и окна светлые, и классы большие, просторные. Наши одноклассники — все народ бывалый и общительный, тем более что я-то ведь переросток, так переростком и шел, и мудрые науки мне давались без особенных усилий. А когда в большую перемену мы всей гурьбой ринулись в парк, — Ушаковский парк, раскинувшийся на несколько кварталов, в том числе и напротив гимназии, прямиком перед ее окнами, через дорогу, — и когда выяснилось, что в лапту я умею играть не хуже других, что и от драки не уклоняюсь, и за словом в карман не лезу, — я сразу стал, как говорится, свой в доску.

В общем, вскоре мы обжились в Уфе и зажили каждый своими делами и заботами: мы с головой ушли в учебу, мама — в театральную и общественную жизнь, отец — в педагогическую работу. В конце концов, все мы несли посильный груз.

В Уфе в 1900 году было 23 православных церкви (а по другим источникам — 27), две мечети, один музей, одна городская библиотека, пять книжных лавок, десять богоугодных заведений, один ночлежный дом, пять лесопильных заводов, четыре кирпичных завода, два пивоваренных…

Перенеситесь мысленно в губернский город 1909–1910 годов. Я назову для наглядности некоторые уфимские учреждения того времени:

1. Дворянское собрание.
2. Епархиальное училище.
3. Губернское присутствие по крестьянским и земским делам.
4. Губернская земская управа.

5. Уездная земская управа.
6. Контрольная палата.
7. Епархиальное братство Воскресения Христова.
8. Отделение Крестьянского поземельного банка.
9. Попечительный о бедных Комитет императорского человеколюбивого общества.
10. Комитет попечительства о народной трезвости.
11. Общество покровительства животным.
12. Общество любителей пения, музыки и драматического искусства…

Я назвал, разумеется, далеко не все, а только необычные для нашего сегодня учреждения или поразившие мое воображение. Например, «Братство Воскресения Христова». Учение о воскрешении мертвых и Страшном суде заимствовано церковью из древневосточных иранских религий. Но как его применить в 1909 году? Не намеревалось ли уфимское «Братство» в самом деле воскрешать мертвых?

Уездная земская управа мне знакома, потому что я там некоторое время служил — не то переписчиком, не то статистиком.

В Контрольной палате занимал видный пост отец моего гимназического приятеля Саши Федорова.

В здании Дворянского собрания я бывал на концертах. Билеты для учащихся давали право только стоять позади кресел.

В Обществе любителей пения, музыки и драматического искусства неизменно состояла моя мать, где бы мы ни жили. Уфа не была исключением. А я переписывал там роли — по три копейки за страницу.

А в отделении Крестьянского поземельного банка мой отец купил в рассрочку земельный участок «неудобной» земли (у нас в семье он назывался «хутор», я еще расскажу о нем подробно).

Как я уже сказал, я перечислил лишь малую часть существовавших тогда учреждений. Но привкус чиновного подобострастия и чинодральства почему-то помню, хотя с чиновниками мы не знались, а в нашем доме царили безалаберщина, хаос, что угодно, только не чиновная плесень: мы пели, рисовали, музицировали, вели дневники, ставили домашние спектакли, кто-то сочинял стихи (я и Евгений), кто-то собирал коллекцию бабочек (это Толя, я его так и запомнил: маленький, всегда се-

рьезный, в очках и с сачком в руке), Виталий увлекался гимнастикой и играл в футбол, а наша Верочка в детстве была богомольной, усердно причащалась, исповедовалась, постилась, а мы, помню, издевались над ней и старались ее оскоромить — подложить в ее еду масла, подсунуть что-нибудь мясное…

Мама, участвуя в Обществе любителей драматического искусства, несла народу познание великолепной русской драматургии. Они ни разу не преподнесли публике дешевки, развлекательной галиматьи. Они ставили пьесы Горького, Островского, Чехова, Льва Толстого. Насколько запомнилось мне, это были отличные спектакли! А с какой страстностью, с каким старанием готовились и обставлялись эти театральные зрелища! Все участники Общества любителей где-то были на службе, были заняты, а порой и обременены семейными заботами — и все-таки отдавали все свободное время театру. Участие в Обществе, разумеется, было бесплатным, а сборы от продажи билетов шли на благотворительные цели.

Мой отец преподавал в Учительском институте и вел один класс в городском училище — от младшего возраста и дальше, из класса в класс. Как ни гоняли его из города в город, он остался таким же неугомонным и строптивым, таким же смелым в подаче материала, таким же свободомыслящим и упрямым в пропаганде своих взглядов и убеждений среди молодежи. В городском училище народ подобрался особенно дружный, мне рассказывал об этом один из учеников отца — Леонид Петрович Гнедков (в шестидесятые годы он был главным редактором газеты «Советская Башкирия»). Весь их класс поклялся, чтоб не выдать учителя, когда он увлекался и говорил на уроках истории совсем не то и не так, что и как полагалось говорить по официальной трактовке темы. И ведь не двое, не трое — целый класс дал клятву, что все будет строго конспиративно. Был среди них один ненадежный мальчишка — сын торговца. Но с ним поговорили по душам, что если он только пикнет… И ничего, молчал как миленький. Знал малый, что ребята не шутят и ссориться с ними — упаси Бог.

Весь этот класс — на подбор замечательные ребята. Они потом в самый раз в Гражданскую войну угодили. Пошли в Красную армию. Некоторые на Каме сражались, некоторые в рядах у Блюхера были, некоторые прошли весь путь по Си-

бирской магистрали в составе прославленной 5-й армии. Кто уцелел — все стали хорошими партийцами, выдающимися работниками — каждый на своем посту, а главное — честными, добросовестными людьми, с прочными убеждениями, с высокими идеалами, пронесенными через всю жизнь, и такими их воспитал — как всегда горячо уверял Гнедков — мой отец Дмитрий Никанорович.

Гнедков же мне рассказывал, как однажды (а может быть, и не один раз) они выручили своего учителя из беды, я даже использовал это происшествие в романе. Дело в том, что неясные слухи о крамольном учителе Четверикове все-таки дошли до начальства, недаром же его предупреждал Лисовский о негласном надзоре. И вот для проверки внезапно, без предупреждения пришел на урок Дмитрия Никаноровича сам попечитель округа в сопровождении инспектора. Вошли. В середине урока. Ученики встали, как положено. Начальство замахало на них руками. Все сели. Но один остался стоять, будто продолжая отвечать урок. Дмитрий Никанорович, увлекшись рассказом о гнилости и исторической обреченности царского строя, забыл, а что же полагается сегодня по программе. И вдруг услышал от смышленого ученика-башкирина: «Смутная время была ощщень смутная…» Замешательство Дмитрия Никаноровича прошло, ученик знал задание назубок и отчеканил свой рассказ с акцентом, но без запинки. Попечителю округа ничего не оставалось как только поблагодарить Дмитрия Никаноровича за отличную постановку дела. А у нас в семье эта фраза о смутном времени навсегда осталась в ходу, как и многие другие — из практики отца и из театрального репертуара мамы.

Расскажу уж — к слову — об одной такой фразе: «Ви окотились». Это уже из домашней практики. Дело в том, что у нас в семье постоянно жили один-два, а иногда и больше учеников, которых отец поселял у себя, чтобы побыстрее научить говорить по-русски. Об этой практике уже знали в округе, и к нам часто приходили башкиры и татары, городские и из окрестных сел, и за чисто символическую плату, буквально какие-то рубли, их учили грамоте — с азов, с самых простейших русских слов, причем это было нечто вроде игры, в которой принимали участие все, даже младшие дети, за столом во время еды наперебой доказывая и объясняя малайкам: это нос, это палец,

это ложка, тарелка, хлеб… Ученики повторяли и запоминали слова, быстро усваивая русский язык в такой разговорной практике. Некоторые жили у нас по нескольку лет и выходили потом, так сказать, в люди. Особенно запомнился всем нам Мардыгалям (Мардыгалям Нагуманович, а по фамилии, по-моему, Мухаметов или Мухамедов, впоследствии стал профессором медицины). Это был сын муллы, он пришел к нам подростком, зная по-русски только одно слово «ушить» (учить), и мы все его учили, родители всерьез, а дети — вот так, играючи. И вот, помнится, мама долго объясняла ему понятие «облокотиться», показывая руку, локоть, демонстрируя, как она облокотилась, и заставляя без конца повторять эти слова. Вроде бы Мардыгалям все понял и запомнил. На следующий день мама облокотилась о стол и спрашивает:

— Что я сделала?

Мардыгалям морщится, вспоминает и наконец выговаривает:

— Ви… окотились.

Мама не засмеялась. Она серьезно и старательно стала объяснять, показывая на кошку, у которой как раз были котята, что вот она, кошка, окотилась, а облокотиться — значит совсем другое. Мардыгалям закрыл лицо руками и закричал: «Ой, стыдно, стыдно!» Но урок запомнил, а фраза эта пополнила запас наших ходовых семейных словечек и выражений.

Вообще же Мардыгалям был очень способный и стал потом медицинским светилом. Вера рассказывала, что перед смертью мамы он приезжал к ней из Казани — первый раз за всю жизнь. Наверное, услышал о ее болезни. Но помочь уже было невозможно.

Но я все отвлекаюсь и отвлекаюсь. А речь моя — о гимназии, о МОЕЙ гимназии, о моей ЛЮБИМОЙ гимназии.

Уфимская гимназия! Та самая, что готовилась в 1928 году отметить свой столетний юбилей. Шуточка сказать — сто лет! Гимназия с глубоко сложившимися, устоявшимися обычаями, ухватками, замашками. Старая-престарая. Слежавшаяся, закостеневшая. Древняя, как сама латынь. По-моему, это все-таки совсем особенная, неповторимая гимназия, хотя многие ее черты вполне дают представление об учебных заведениях такого рода.

Немало написано о гимназии и гимназистах писателями и просто любителями воспоминаний и очерков, причем большею частью написано это без лишних похвал. Мне почему-то из этих книг больше всего запомнились «Гимназисты» Гарина[14].

Я не буду вдаваться в историю, только упомяну, что первая гимназия была у нас в России открыта немцем Байером в 1726 году, что успеха она не возымела, в 1737 году в ней числилось всего 13 учеников. Одно время управление гимназией было поручено М. В. Ломоносову. При княгине Дашковой был куплен для гимназии особый дом. Главная беда заключалась в том, что не находили для гимназии хотя бы мало-мальски пригодных учителей. Только в начале XIX века было создано Министерство народного просвещения, и гимназии стали открываться по всей России.

Очень часто менялись программы в гимназиях. Что ни новый министр просвещения, то новые установки: то вставят в программу греческий язык, то выбросят его вон, зато увеличат число часов латинского языка, прибавят танцы и гимнастику. Гимназисты всех без исключения министров ненавидели всеми силами души. А что делать? Министры! Это неотвратимая беда, вроде гриппа или коклюша. Куда денешься от министров!

Введены были классные наставники. Ну что ж. Пожалуйста. Придуманы были надзиратели, которые всюду надзирали за нами. Это уже куда хуже. Надзиратели должны были приглядывать за нами и во время уроков, и на переменах, и даже на улице. Они следили, чтобы мы не ходили на спектакли и концерты, — на те, на которые нам запрещалось ходить. Наблюдали, чтобы мы после концерта — чего доброго — не остались на танцы. Заходили и на дом к ученику, чтобы проверить, чем он там занимается. (К нам, впрочем, никто ни разу не приходил с такой проверкой.) Мы и надзирателей ненавидели не меньше, чем министров.

Мы вырабатывали характер, силу воли. Как я понимаю, мы учились ненавидеть — не гимназию, не предметы, которые в ней не так уж плохо преподавались, — нет, мы, сами того не сознавая, ненавидели СИСТЕМУ, строй, то есть то отжившее, что желало жить, то устаревшее, что отстаивало свои ветхие ка-

ноны, — словом, феодальнопомещичье царское устройство, самодержавие. Ни всех этих терминов, ни всей их сути мы, может быть, и не знали, не понимали. Но мы защищались. Нас хотели вымуштровать — мы не поддавались. Брыкались. Боролись, как могли, с группой особенно косных, особенно подавлявших все живое и смелое педагогов и классных наставников. И в этой борьбе проходили годы учебы.

Учителя были разные, многие мне нравились, хотя и не все. Но самой большой достопримечательностью в нашей гимназии был, конечно, директор — Владимир Николаевич Матвеев. Он был и не стар, но как-то весь соединялся в моем представлении с обликом гимназии, так что мне казалось, что и гимназию-то создал он и сколько она существует, столько существует и он.

Встречаются такие люди, которые опережают свое время. Например, бывает доктор. Есть и другие доктора, и, может быть, даже хорошие, но этот вот — какой-нибудь, скажем, Евгений Федорович Соболев (был такой в Уфе) — это любимец, идол, на него Богу молятся, о нем легенды слагают, что стоит ему словечко сказать да пульс пощупать — и человек моментально выздоравливает, и смерть отступает, посрамленная. Он не врач, он — исцелитель. Чудодей. Бывают такие же прославленные печники: печи, сложенные ими, не дымят, берут мало дров, а дают столь сильное тепло, что в доме зимой хоть голышом ходи.

Вам случалось смотреть на состязания в беге? Сначала все бегут кучно. Затем кто-то выбьется на шаг вперед. А после второго круга вы обнаружите и нескольких безнадежно отставших. Они все-таки топчутся, бегут, а что толку? Вырываются вперед двое или трое. А к финишу первым приходит кто-то один. В марафонском беге человечества среди участников состязания вы найдете отставших на тысячелетия. Но наряду с этим есть люди, обогнавшие сами себя. Они — из Будущего, из следующих веков и эпох.

Директора гимназии Владимира Николаевича Матвеева я свято чту. Чтобы понять и оценить всю его мудрость, всю глубину его любви к человеку, мне потребовалось немало времени. Он занимал в сущности не бог весть какой пост. Но через его опеку проходили целые поколения, его заботами выращивалась будущая русская интеллигенция. Вся жизнь Владимира Нико-

лаевича была в нас, гимназистах. Гимназия была его держава, его детище, и он любил ее всей душой. Никакие циркуляры не могли хотя бы на миллиметр сдвинуть его личных убеждений или его решений по любому вопросу. Может быть, он веровал в Бога. Но не думаю, что веровал в Министерство народного просвещения. Министерство народного просвещения само по себе — Владимир Николаевич сам по себе. У него свои оценки, он по-своему смотрел на воспитание юношества, по-своему решал, что дозволено, что нет.

Садовод, выращивая цветы и деревья, может взять установку на хилые растения, чтобы выходить их, поддержать их рост, а может все внимание сосредоточить на лучших, самых сильных, самых урожайных сортах. Вот этого второго взгляда придерживался Владимир Николаевич. Обнаружил он, что гимназист Гирайтис хорошо рисует — сразу же Гирайтису и поддержка, и поощрение. В студию его устроили, выставку его работ организовали. Оказалось, что есть и еще художники среди гимназистов, стали практиковать в стенах гимназии выставки и их работ. Выискали и музыкантов, создали оркестр духовой музыки и отдельно струнный оркестр: мандолины, гитары, балалайки. Нашлись гимназисты с хорошими голосами, появился хор. «Не хуже, чем у графа Шереметева!» — самодовольно говорил Владимир Николаевич. И действительно: наш хор славился на весь город, наших музыкантов приглашали даже на разные городские празднества, а гимнасты, взращенные в нашей гимназии, выступали со своей программой в городском театре. Какие балы мы закатывали на рождественские каникулы! Какие были виртуозы в оркестре! Музыкантам и хористам делались даже всяческие поблажки — так ими дорожили.

Был Владимир Николаевич в летах и в чинах. Спокойный, подтянутый, он гордился своей гимназией, вел дело с большим умением и тактом. Запомнилось почему-то, как во время богослужения — в нашей гимназической церкви, которая занимала одну продолговатую светлую комнату с окнами на восток, с цветными стеклами в них, а впереди иконостас, отделяющий алтарь, — так вот, во время богослужения учащиеся выстраивались справа рядами, строго по классам, впереди младшие, а Владимир Николаевич всегда стоял отдельно, очень приметный, в генеральской форме, прямой, аккуратный, с седоватой

бородкой. Еще запомнился наш великолепный гимнастический зал и большой зал, где мы обучались танцам. Владимир Николаевич очень любил эти уроки. Он приходил в зал, не привлекая внимания, не требуя приветствий. Встанет скромно в сторонке и смотрит, как мы учимся вальсировать. И вспоминает, вероятно, свою молодость. Грустный такой стоит, задумчивый… Может быть, он предчувствовал, что нашему поколению вряд ли доведется танцевать?

Еще мне припоминается гимназист Володя Крылов. Я частенько к нему заглядывал. Володя жил вдвоем с матерью, больше, видимо, никакой родни у них не было. Жили они как-то так хорошо, так согласованно и дружно, что было радостно на них смотреть. Я приходил к ним, сидел, разговаривал о том, о сем и старался не обнаружить своей растерянности: Володя страстно, самозабвенно увлекался изучением восточных языков и вообще Востока, вся его комната была завалена словарями, атласами и странными, непривычными для глаза книгами, на обложках которых красовались абсолютно непонятные для меня сирийские, египетские, турецкие слова, загадочные, хвостатые, с закорючинками буквы и иероглифы. Я разглядывал их с почтительным удивлением, а для Володи это была родная стихия. Мне что-то кажется, что Володина мама тоже была несколько подавлена и ошеломлена увлечением сына и, собственно говоря, уже определившейся его профессией.

А вспомнил я сейчас о Володе Крылове в связи с тем, что и здесь была добрая заботливая рука нашего директора гимназии: он без шума, без рекламы помог Володе установить контакт с крупными востоковедами страны. Уже взрослым, осмысливая свои гимназические годы, я как-то уразумел всю красоту этого человека — Владимира Николаевича Матвеева: ведь нужны зоркий глаз и доброе сердце, чтобы высмотреть, чем это мальчишка занят, чем увлекается. Вот у кого надо учиться растить людей! Владимир Николаевич втихомолку помогал кой-кому и деньгами. Сам он был одинок и, видимо, давно уже одинок. Ну, я не знаю, какое жалованье получали в те годы директора гимназий, думаю, что не бог весть сколько. Но Владимир Николаевич умел всучить нуждающемуся гимназисту какую-то сумму, и без всяких там умилительных

оговорок, а не то что-то для него купить, приобрести. Думаю, что и в арабские книги, лежавшие в комнате Володи Крылова, была вложена малая толика из директорских добрых рук.

Я уверен, что из Володи Крылова получился бы большой ученый-востоковед. Только, к сожалению, прожил он очень недолго. Уехали мы всей семьей на лето в деревню Князевку, это недалеко от станции Шакша. Вернулись — а Володи нет, умер. Внезапно и неизвестно от чего. Можно представить ужас матери, весь смысл жизни которой был в сыне. Она ненадолго пережила его, умерла в то же лето. И разузнать-то ничего было невозможно. Соседи что-то рассказывали, но сбивчиво и бестолково. А Крыловы — мать и сын — сгинули, как и не было их на свете. Так было страшно, придя после каникул в гимназию, видеть пустое место за партой, где обычно сидел Володя.

Но я еще не рассказал самого главного, что меня изумляет в директоре гимназии Матвееве. Конечно, похвально помогать бедным, но это доступно даже средней руки купчихе. Уметь разбираться в людях, уметь подхватывать какой-то намек, какую-то хорошую наклонность и затем раздувать эту малую искорку в большое пламя — это, несомненно, может быть свойственно только благородной душе и обладателю врожденного педагогического таланта. Но некоторые случаи из моей гимназической жизни повергают меня в недоумение, потому что при анализе их Владимир Николаевич Матвеев вырастает в какого-то рыцаря правды.

Например, в истории с «Крысой» — с инспектором гимназии Соколовским.

С этим субъектом мне довелось познакомиться еще в Троицке. Там я узнал, как гимназисты, уже получившие аттестаты, отомстили инспектору Соколовскому, по прозвищу Крыса, за все жестокости, за все унижения. И надо же было случиться, что мы всей семьей переехали в Уфу — и сюда же, чтобы замести следы неприятного происшествия, убрали инспектора Соколовского!

Урок, полученный Соколовским в Троицке, не пошел ему впрок. Он и здесь, в Уфимской гимназии, продолжал травить гимназистов, подслушивать, придираться, даже сажать в карцер за мельчайшую провинность, хотя карцер уже давненько не применялся как мера наказания. Инспектор устраивал обы-

ски, обшаривая наши шинели, висевшие внизу на вешалке, где не было ни номерков, ни специального гардеробщика. Сделав обыск, инспектор производил потом безобразные судилища за найденные в карманах портсигары или пачки папирос, за любовные и совершенно невинные записочки, за использованные, но по рассеянности не выброшенные билеты на спектакли, которые нам запрещалось смотреть.

И вот здесь во мне обнаружился боевой дух, коего я и сам в себе не подозревал: я организовал «крысиный бунт», причем был удивлен и обрадован, что нашлось много помощников, много изобретательных бунтовщиков среди, казалось бы, таких тихих гимназистов.

Основная масса учащихся в гимназии — по крайней мере моих времен — были сыновья трудовой интеллигенции: учителей, библиотекарей, врачей, лесничих, служащих. Сынков богатеев, отпрысков родовитых семей были считанные единицы, и заправилами были отнюдь не они. Куда там! Они держались обособленно, жались друг к другу, как теляти. С ними никто и не знался, даже не разговаривал. Заправляли всеми делами, всеми гимназическими выдумками мы, отчаянные и вместе с тем более развитые, «начитанные», как тогда называлось, гимназисты. Мы презирали Биркелей, Дьяконовых, или сына уфимского колбасника Нагеля, или сына владельца аптекарского магазина Дворжеца, и, что говорить, они здорово побаивались нас. Они у нас были тихи, как мыши: шу-шу- шу… прыг в свой экипаж — и под крылышко мамочки. А мы, бывало, и выставки своих картин устраивали, и кружок самообразования организовали, и журнал «Мозаика» издавали, и концерты закатывали грандиозные. А случались в гимназии и вот такие происшествия, как «крысиный бунт», который тоже мы, заправилы, учиняли.

Штаб бунта находился у меня дома, в моей комнате. Ближайшие мои друзья — такие, как Саша Федоров, Гирайтис, Никита Башилов (должен заметить, что как его отец — губернатор — понравился моему отцу, так Никита нравился мне, это был исключительно хороший, исключительно талантливый и порядочный юноша, мы замечательно дружили) — так вот, мои друзья быстро привлекли к делу еще добрый десяток смельчаков. Включилось несколько человек из числа ор-

кестрантов, там был отчаянный народ. Мы придерживались правила одного сердитого философа, что проявлять гнев или ненависть нужно не иначе как на деле. Не-ет! Мы не заседали, не произносили зажигательных речей, мы действовали.

Я ночь напролет на небольших листках бумаги игрушечным типографским набором «Колдун» печатал призывы: «Долой Крысу!», «Не позволим инспектору издеваться над нами!», «Соколовский — позор гимназии!» и тому подобное. Другие делали из спичечных головок и еще каких-то снадобий своеобразные бомбочки: они взрывались и дымили, стоило их с силой бросить в стену. Нашлись специалисты-пиротехники, смастерившие «лягушек». Если такую «лягушку» поджечь и бросить на пол, она, взрываясь, с грохотом прыгала по полу. Написали мы и огромные плакаты с теми же призывами, привязали их к воздушным шарам и выпустили на лестнице, где потолки были на высоте полутора этажей. Еще заготовили дощечки с выпуклыми буквами, смазывали их мастикой и печатали на стенах наши призывы.

Все началось с утра, еще до начала уроков. Загрохотали взрывы, взвились воздушные шары с призывами «Долой Крысу!», запрыгали «лягушки»… Стены покрылись трудно смываемыми надписями. Сторожа сбились с ног, срывая плакаты и отскабливая надписи со стен. Кто-то из надзирателей без всякого успеха пытался шваброй достать воздушные шары, торчавшие у потолка. На всех идущих по лестнице сыпались сверху листки с воззваниями. Педагоги, выглянув из учительской, снова скрывались там. На лицах некоторых из них сияло явное одобрение и удовольствие: Соколовский и учителей не оставлял в покое, доносил на них, ябедничал, читал мораль на заседаниях педагогического совета.

Штаб «крысиного бунта» распорядился на всех уроках вести себя образцово, а уроки Соколовского срывать: стучать по партам, кричать «Долой!», чем только возможно выражать возмущение и протест. А тут еще кто-то принес жидкость, которую стоит только разбрызгать в помещении — и все разбегутся от нестерпимой вони.

Учителя поняли наш маневр, и хотя нервничали, но все-таки вели занятия. Порядок в классе был безукоризненный, как никогда. Дежурный по классу вежливо встречал преподавателя

у дверей, все вставали, во время занятий сидели тихо, отвечали урок охотно и старательно…

Но вот — урок латинского языка. Соколовский набрался наглости и вошел в класс. Никто не шевельнулся. Соколовский замялся было, но затем решительно проследовал к столику. И тут по классу хлынули волны зловония, раздался гул и треск разрывающихся бомбочек и хлопушек… Кто стучал крышкой парты, кто хлопал о парту книгами, кто дудел и пищал в какие-то немыслимые пищалки и дуделки…

Соколовский понял. Бросил на нас злобный взгляд и пулей выскочил из класса, провожаемый улюлюканьем и свистом.

Как только он исчез, мы бросились открывать настежь окна и проветривать класс. На следующем уроке опять был идеальный порядок — не придерешься.

Разнесся слух: приехал сам попечитель округа. Теперь все зависело от директора, от того, какое он даст освещение всем этим крайне необычным, даже небывалым событиям. Попечитель, испуганно озираясь на клубы дыма, на разноцветные воздушные шары под потолком, быстро прошествовал к выходной двери.

И что же дальше? Были расследования? Искали зачинщиков? Прочесывали? Допрашивали? Наказывали?

Ничего подобного!

Занятия мирно продолжались. Соколовского сняли с должности инспектора и оставили простым преподавателем латинского языка.

Я не сомневаюсь, что директор отлично знал, кто руководил «крысиным бунтом». И я думаю: где бы могло все так гладко обойтись? Где бы не воспоследовало исключений из гимназии, суровых кар, репрессивных мер? Просто невероятно! И у меня зарождается подозрение: не хотелось ли и самому Владимиру Николаевичу запустить хотя бы один воздушный шарик с призывом «Долой Крысу»?

Или взять случай, происшедший со мной на уроке французского языка у Шерфа.

Он всегда смеялся, этот жизнерадостный француз Шерф. У нас был еще один преподаватель французского языка — Лесгилье. У того была кислая, помятая физиономия, тусклые глаза, тоскующие не то по родине, не то по мадере. Пользуясь его

полным незнанием русского языка, мы у него на уроках вытворяли черт-те что. Например, во время «молитвы после ученья», если урок Лесгилье был последний, дежурный по классу читал вместо молитвы мои стихи «Боже, студи учителей» — читал громко, во всеуслышание, а Лесгилье серьезно слушал «святой текст» и удивлялся, что мы давимся от смеха. А как же не давиться, если молитва звучала так:

Боже, пошли ты мне боль головную!
Я захвораю и в класс не пойду.
Двойку исправь ты мою четвертную
И простуди латиниста в среду!
Пусть разразится суровая вьюга
И заметет все пути в «желтый дом»!
Не заскучаем в минуты досуга
И на каток к гимназисткам пойдем.
Пусть Рождество будет дольше и краше,
Без опасенья колов впереди!
Главное ж — кашель, пошли, Боже, кашель!
Учителей поголовно студи!

Веселого, добродушного Шерфа мы все любили и радовались, что он сменил в нашем классе Лесгилье. Я читал ему со всей выразительностью, на какую был способен, *«Le Corbeae et 1e Reiard»*[23], изображая и зверей, и птиц в лицах. Шерф слушал, смеялся и говорил:

— У вас лионский выговор.

И я был уверен, что все французы такие же веселые и благожелательные, как Шерф, что Лесгилье — это просто печальное исключение. Но и на его уроках я занимался чем угодно, но меньше всего — французским языком. Иногда писал «домашние» сочинения — по заказу однокашников — и очень гордился, что угадывал написать на точно оговоренную оценку: на 4, на 3 с плюсом. Заказчики, конечно, предпочли бы пятерку, но я быстро их отрезвлял:

— Ты же хочешь правдоподобия? А кто же поверит, что ты написал на пять?

Было у меня на парте и бюро шпаргальной взаимопомощи, и бюро любовной переписки, когда я заготавливал шпаргалки всем желающим и сочинял любовные послания «предметам

[23] Название басни Лафонтена «Ворона и Лисица».

любви» гимназистов. Дел хватало! На выдумки и проказы я был куда как горазд!

А в гимназии я был на привилегированном положении, как наши оркестранты и хористы, и мне все сходило с рук. Почему? Сейчас объясню. Только должен заметить, что эти объяснения я сам нашел лишь теперь, а тогда ничего не понимал, да и не старался понять, а просто смекнул, что мне все можно, и озоровал.

Дело, по-моему, в том, что в гимназические годы я проявил разносторонние способности: к литературе, к музыке, к рисованию. И занимался всем этим всерьез, не щадя себя, так что врачи даже отстранили меня на год от учения из-за малокровия и истощения. Худой, как щепка, долговязый, как трехмесячный дог, я никогда не знал, что такое уныние, что такое усталость, и занимался, занимался, все мне было интересно и все хотелось успеть. Учился в гимназии. Казалось бы, этого достаточно? Нет, я еще учился живописи в студии, созданной Нестеровым, пока он находился в Уфе. Я брал напрокат пианино, и ко мне ходила заниматься учительница музыки. И студия была платная, и учительница музыки была платная, и за прокат пианино надо было платить. Никто в семье об этом не задумывался. Платил за все я сам. А чтобы было чем платить, давал уроки отстающим ученикам и ученицам, это называлось тогда репетиторством. Почему-то в городе меня ценили как репетитора, рекомендовали друг другу, спрос на меня был большой, и я мотался с урока на урок по всему городу. Зато у меня находились деньги на покупку мольберта, красок, полотна, на покупку нот и книжных новинок, на оплату студии и учительницы музыки. Странное дело: я очень страдал, что плохо одет, но никогда мне не приходило в голову, что это вполне доступно — приобрести приличный костюм, купить рубашку, ботинки. Я не решался войти в магазин, где продают одежду, так же как не представлял, что можно войти в винный магазин или в ресторан. В доме у нас вино просто не появлялось, никогда не было даже разговора о нем. Отец беспощадно курил, но меня и к курению почему-то не тянуло (наверное, чердынская проба была для меня своеобразной антикурительной прививкой), и никто из нас, пятерых детей в семье Четвериковых, не курил, во всяком случае до того, как все это семейное благополучие рассыпа-

лось в прах и все разъехались в разные стороны, а там в семью пожаловала и незваная гостья — Смерть. Так вот, о моих увлечениях. Помимо живописи, помимо музыки, я очень много работал — сверх гимназического курса — над самообразованием. Много читал, делал выписки из прочитанного, брался за серьезные рефераты и сочинения на очень ответственные темы, изучал историю философии и чего только не изучал. И, наконец, сам писал. Пробовал писать. И стихи, и прозу. Да и тридцать шесть толстых общих тетрадей — моих дневников за гимназический период жизни — это тоже своего рода литературная работа, и большая работа.

В нашей гимназии издавался журнал «Мозаика» — тоже гордость Владимира Николаевича Матвеева. Позволю себе рассказать об этом журнале подробнее, потому что он превосходил школярский уровень и являлся, на мой взгляд, выдающимся явлением. На обложке первого номера «Мозаики» (декабрь 1912 года, когда он, видимо, только начал свое существование) было написано: *«Периодический сборник, издаваемый учениками VII-б класса Уфимской мужской (правительственной) гимназии».* (На следующих номерах слова *«издаваемый учениками VII-б класса»* уже заменены другой формулировкой: *«издаваемый кружком любителей наук и искусств при Уфимской мужской гимназии».* И тут же добавляется, что *«весь чистый доход поступит в пользу Общества вспомоществования нуждающимся ученикам гимназии»).* Этот альманах — в каждом номере было 30–40, а в иных и 80 страниц — печатался в типографии, издавался на правах рукописи, сотрудничали в нем и гимназисты, и учителя.

В первом номере дается любопытное обращение к читателям от редакции, приведу его почти полностью:

«Кто из учащихся не грешил в той или иной степени писательством? Кто не пробовал тайком своих сил? Сколько ходит по рукам учащихся рассказов и стихотворений, вышедших из-под пера “своих”, доморощенных авторов?

Для этих “своих” авторов мы и предлагаем гостеприимство на страницах “Мозаики”. “Мозаика” — периодический сборник, который будет выходить в свет по мере накопления соответствующего материала. Содержание сборника довольно пестрое: рассказы и стихотворения, статьи научного

характера, лучшие (по признанию господ преподавателей) домашние сочинения, математические задачи, статьи, переведенные с иностранных языков, и т.п.

Редакция надеется, что те учащиеся, которые захотят попытать свои силы в писательстве, с интересом отнесутся к предлагаемому изданию. Отчего не поделиться с товарищами плодами своего творчества, будь то рассказ, стихотворение, мысли, навеянные чтением книги, и проч.?

В то же время редакция обращается и к господам преподавателям с просьбой не отказать в помещении в сборнике своих статей. Такие статьи способствовали бы и расширению нашего кругозора, и возбудили бы больший интерес к сборнику…»

И в конце добавляется, что «Мозаика» издается с разрешения Педагогического совета.

У меня и сейчас хранятся ксерокопии шести номеров «Мозаики» — за 1912, 1913, 1914 и 1917 годы, — спасибо Елене Ивановне Никуличевой[15], стараниями и заботами которой я получил такую драгоценность. Удивительный, кстати сказать, человек эта Елена Ивановна! Редчайший, необыкновенный человек! Энтузиаст, каких немного на свете. На ней держится весь музей уфимской 11-й средней школы, созданной на базе дореволюционной мужской гимназии, то есть МОЕЙ гимназии. В 1978 году 11-я школа праздновала свой 150-летний юбилей (счет-то ее годам ведется с основания гимназии), и я послал в Уфу свое шутливое стихотворное приветствие:

Какое безобразие,
Ах, я неутешим,
Что не почту гимназию
Присутствием своим!
Под номером одиннадцать
Есть школа в наши дни…
Хотел бы к вам я ринуться,
Ведь вы же мне сродни.
Пускай моя гимназия
Под номером стоит,
Забыть ни в коем разе я
Не должен ее вид.
Забыв про боль печеночью,
Махнуть бы к вам не грех —

Обнять родных девчоночек
И мальчуганов всех.
Болезнь меня не пустит в путь,
Поэтому пишу.
Приеду после как-нибудь,
Пока же попрошу —
Пусть строки несуразные
И думы неотвязные
Как тост провозгласят:
«Избрав дороги разные,
Вам жить, блистая, празднуя,
Еще сто пятьдесят!»

Строки действительно несуразные, написанные, когда я тяжело болел. Но Елена Ивановна, наверное, и эти мои полудомашние вирши подшила в одну из папок или выставила как музейный экспонат: она дорожит каждой крупицей, относящейся к ее дорогой школе. Слава Богу, есть там у нее и мои уфимские стихи лучшего качества. Вот одно из них:

Ну здравствуй же, Уфа! По улицам знакомым
Шагаю, распахнув завесы многих лет.
И к горлу моему все подступает комом…
И щиплет что-то глаз… И застит что-то свет…
Почтительно смотрю на здание гимназии.
Здорово, старина! Глазеешь, старый зал?
Вот здесь, в преддверьи гор и на пороге Азии,
Премудрую латынь когда-то я познал…
Но в восемнадцать лет подчас не до латыни.
Все внове… Все влечет… Колумбам всем под стать
Открытий, что ни день, не можешь сосчитать.
Как теплится рассвет? Как лужа в марте стынет?
Что — счастье? Что — любовь? Что — ложь? И что — святыня?
Торопишься, спешишь всю жизнь перелистать.

Это стихотворение написано в один из моих приездов в Уфу в пятидесятые годы. Елена Ивановна при наших встречах всегда вспоминает отсюда некоторые строчки, особенно про «премудрую латынь». А встречаемся мы часто. На 9-е мая Елена Ивановна ежегодно привозит в Ленинград группу ребят — почтить память бывших выпускников 11-й школы, павших на

Ленинградском фронте. Прекрасная традиция! И сколько незабываемых впечатлений у школьников от таких поездок в город-герой — с обязательным посещением Пискаревского кладбища и монумента Победы на Московском проспекте и непременным визитом ко мне — иногда маленькой группкой, а иногда чуть не всем классом. Едут каждый год новые ученики, из числа лучших — не только по учебе, но и по работе в школьном музее, в кружке краеведов. Такая поездка — событие, праздник, награда для ребят.

Помню, в 1973 году Елена Ивановна привела ко мне больше двадцати человек. Мы были даже озабочены, как принять такую ораву, где всех рассадить. Но Наташа придумала выход:

— Так, — командовала она, выйдя на звонок в коридор. — Здороваться и знакомиться будем после, когда разместимся. Буду впускать вас «порциями», не всех сразу. Давайте сначала, вопреки этикету, мальчики заходите, человек пять-шесть. И занимайте места за диваном, стоя. Теперь девочки — кто поменьше ростом. Залезайте с ногами на диван и садитесь на его спинку. Ну а теперь — остальные. Входите и садитесь на диван и где найдете место, чтобы быть всем в кучке в кабинете Бориса Дмитриевича. А вот и он! Знакомьтесь и будьте как дома!

И начался разговор. Вынули все мои книги, достали фотографии, засыпали меня вопросами… Я старался больше рассказывать о разных проделках гимназистов и о себе в частности: например, как меня удалил с урока учитель французского языка, а я ответил ему галантно по-французски «avec plaisir» под хохот всего класса, о том, как проходил «крысиный бунт» наш и тому подобное. Ребята развеселились и сразу почувствовали себя свободно и просто. А учителя и пионервожатая, сопровождавшие учащихся, хотя и смеялись тоже, но явно не одобряли моих непедагогических баек. А в общем-то все были довольны, тем более что потом возникли и серьезные темы, разговорились и ребята — словом, было оживленно, наша квартира наполнилась звонкими молодыми голосами, смехом, возней и шумом-гамом. А когда выяснилось, что в соседней комнате приготовлены три блюда с бутербродами разных сортов и бутылок двадцать лимонада, восторг был полный. Все подходили, закусывали с аппетитом a la fourchette, воспитатели зорко следили за порядком, но при всей непринужденности

дети вели себя отлично и никаких замечаний не потребовалось. Деятельное участие во всем принимал наш кот Мурзик, про которого я говорю, что это его сокращенное имя, а полностью его зовут Бен-али-оглы-Мурза-паша Третий (были у нас до него и Мурза-паша Первый, и Мурза-паша Второй). Кончилось все хоровым пением и сольными выступлениями ребят, записью адресов и телефонов, приглашениями в Уфу.

Комментарии

1. Геродот при описании Скифии… — Геродот (между 490–480 гг. до н.э. — ок. 425 г. до н.э.), древнегреческий историк. Почетное имя «отца истории» заслужил за свой труд, условно названный «История» и разделенный впоследствии на 9 книг. Труд Геродота основан на разных источниках: личных наблюдениях, рассказах очевидцев, устной традиции, письменных материалах, официальных записях; все факты достоверны. В 4-й книге сочинений дается первое в античной литературе систематическое описание жизни и быта скифов.

2. Паллас Петр Симон (1741–1811), естествоиспытатель, географ и путешественник, член Петербургской АН (1767). В 1768–1774 гг. возглавил экспедицию Петербургской АН в центральные области России, районы Нижнего Поволжья, Среднего и Южного Урала, Прикаспийской низменности, Южной Сибири, результаты которой опубликовал в труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (ч. 1–3, 1773–1788).

3. …битва Ермака с Кучумом. — Ермак Тимофеевич (г.р. неизв. — 1585), казачий атаман, предводитель похода в Сибирь, положивший начало присоединению Сибири к России и ее освоению. В 1579 г. или 1581 г. Ермак начал поход, в 1582 г. разбил главные силы сибирского хана Кучума, в 1585 г. Кучум неожиданно напал на отряд Ермака и уничтожил его.

4. Батый Бату Саин-хан (1208–1255), монгольский хан, внук Чингисхана. Возглавил поход в Восточную Европу (1237–43), сопровождавшийся массовым истреблением и уничтожением городов. Основал Золотую орду, простиравшуюся от Иртыша до Дуная (1243 — н. 16 в.).

5. Татищев Василий Никитич (1686–1750), государственный деятель, историк. Участвовал в Северной войне 1700–1721 гг., в 1720–1722 и 1734–1737 гг. управлял казенными заводами на Урале, основал Екатеринбург; в 1741–1745 гг. был астраханским губернатором. Создал обобщающий труд по отечественной истории, написанный на основе многочисленных русских и иностранных источников, —

«Историю Российскую с самых древнейших времен» (кн. 1–5, М., 1768–1848).

6. «Любань» — один из самых талантливых романов Б. Четверикова, на первый взгляд имеющий антидворянскую направленность. На самом деле Четвериков, отталкиваясь от проблемы вырождения дворянских гнезд (к тому времени достаточно разработанной в литературе), дает более широкий проблемный фон. Главная мысль романа состоит в том, что все «революционные» преобразования оказались лишь «сотрясением воздухов» и благоприятной почвой для процветания жуликов, авантюристов и выскочек, каким является главный герой, Аничков.

7. Курчатов Игорь Васильевич (1902/1903–1960), физик, академик АН СССР (1943). Основал и возглавил Институт атомной энергии АН СССР. Автор выдающихся работ в области ядерной физики.

8. Пекарский Петр Петрович (1827–1872), историк и библиограф, академик Петербургской АН (1864). Печататься начал в «Современнике» в 1855 г. Изучал историю науки, литературы и просвещения в России XVIII в., русское масонство. Работы Пекарского («Наука и литература в России при Петре Великом», т. 1–2, СПб., 1862; «История императорской академии наук в Петербурге», т. 1–2, СПб., 1870–73) богаты фактическим материалом.

9. Симеон Полоцкий (в миру — Самуил Емельянович /Гаврилович/ Петровский-Ситнианович) (1629–1680), белорусский и русский общественный и церковный деятель, писатель, деятель просвещения. Явился основоположником в русской литературе поэтического и драматического жанров. Как поэт, драматург и проповедник создал стихотворный перевод Псалтыри — Псалтырь рифмотворная (1680), стихотворные пьесы «Комедия притчи о блудном сыне» и «О Навходоносоре царе, о теле злате и триех отроцех, в пещи не сожженных», сб. проповедей «Обед душевный» (1681) и «Вечеря душевная» (1683). Пользовался силлабическим стихом.

10. Корнет-а-пистон — «небольшой металлический инструмент, имеющий приблизительную форму трубы; он короче последней, снабжен тремя вентилями-пистонами. Тембр корнет-а-пистона мягче, слабее тембра трубы. Применяется как в военном, так и в симфоническом оркестрах» (Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон).

11. Эолиаи — «клавишный духовой инструмент, имеющий форму фисгармоники» (Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон).

12. Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928), партийный и государственный деятель. В 1917 г. был членом Уфимского комитета РСДРП, Совета, председателем губернского продовольственного комитета и городской думы. С 1918 по 1922 г. – нарком продовольствия РСФСР.

13. Бабушкин Иван Васильевич (1873–1906), профессиональный революционер, большевик.

14. Н. Гарин (наст. имя и фам. Николай Егорович /Георгиевич/ Михайловский) (1852–1906), прозаик, публицист, инженер-путеец. Создатель автобиографической повести «Детство Темы» (1892), повестей «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895) и других, которые отличаются мастерством психологического анализа и яркостью языка.

15. Никуличева Елена Ивановна (1913–1995).

У меня сохранился снимок от 9 мая 1973 года. Тогда проведал об этом «мероприятии» радиокорреспондент Евгений Самарин, который побывал у нас, записал эту встречу на магнитофон и сделал радиопередачу «Уфимские школьники в гостях у писателя». А Наташа сгрудила всю группу у балкона за моим письменным столом и запечатлела всех вместе с Самариным. (У нее вообще мания — везде и все снимать, вести фотохронику нашей жизни. Задумывала она и альбом интересных встреч, где бывающие у нас люди оставляли бы свои записи на память, но эта затея как-то заглохла на корню, хотя отведен был для этого красивый альбом и начало было положено как раз уфимцами.)

Елена Ивановна каждый раз, побывав у меня, увозит что-нибудь для своего музея. Сколько сил, сколько времени и сколько души вкладывает она в это дело и как любит его! Ее школьный музей выходит, по-моему, за рамки местного, настолько он богат материалами и хорошо организован, причем с активным участием ребят, которые под руководством Елены Ивановны ведут и обширную переписку, и поиски экспонатов, водят по своему музею настоящие экскурсии и страшно увлекаются краеведением.

А я благодаря Елене Ивановне могу перелистать давние номера «Мозаики» и убедиться, что это был действительно очень хороший журнал, с интересными статьями на разные темы (например, «Восточный вопрос и современные события на Балканах», «По поводу 1600-летия Миланского эдикта», «Общественная помощь жертвам войны в настоящее время и в XVII веке», «Аскания-Нова, ее современное положение», «Война и ее орудия у людей и у животных», «Памяти И. С. Тургенева» и др.), с докладами и рефератами учащихся и чуть ли

не стенографическим изложением прений по этим рефератам («Хронологическое и общественно-психологическое преемство Печорина и Онегина», «Типы слуг у Пушкина, Гоголя и Гончарова» и др.), ну и конечно, с множеством стихов и рассказов, среди которых я нашел и с десяток своих первых опусов, есть даже стихотворение в прозе с посвящением «Шуре А.», то есть Алатырцевой, моей будущей жене, и рассказ «Юность», посвященный «Александру Васильевичу Ф.» — не знаю, почему я столь торжественно поименовал Сашку Федорова, неизменного участника всех моих выдумок и проделок, неизменного соседа по парте в течение всех уфимских гимназических лет. В некоторых номерах «Мозаики», например в шестом номере за 1917 год, помещено сразу несколько моих вещей — за разными подписями: Б. Четвериков, Б. Ч. и даже Б. Митрич — вот, оказывается, какой мой первый псевдоним!

Весьма значительным показалось мне объявление в «Мозаике» за 1913 год о создании нового отдела журнала «По родному краю». Редакция обращается к читателям с вопросом: *«Хорошо ли мы, местные жители, знаем свой Уфимский край?» и далее пишет:* «В этом отделе могли бы иметь место описания (по возможности художественные) природы Уфимской губернии, различных местностей ее, интересных в том или ином отношении, (например, связанных с какими-либо историческими воспоминаниями, местными сказаниями, легендами или же просто заслуживающих внимания по красоте как места для интересных экскурсий и т.п.), описания городов, местных достопримечательностей и т.п. Интересно поместить запись народных песен, сказок, легенд, особенно татарских и башкирских, последнее легко сделать ученикам, владеющим этими языками».

И почин сделан в этом же номере: восьмиклассник И. Саркисов описывает осмотренную им в окрестностях станции Чишмы могилу имама Хусейн-бека, почитаемого среди мусульман, а также дворец Тура-хана у деревни Ниж. Термы, построенный во время нашествия татар на Русь.

Нашел я в имеющихся у меня номерах «Мозаики» немало работ моих однокашников и друзей. Например, с удовольствием прочитал перевод с татарского Володи Крылова и несколько этюдов Никиты Башилова: «Льдина» (впечатление от картины

Борисова в Третьяковской галерее), сценку о двух гимназистах «комильфо», которую он кончает совершенно в своем духе: *«Все радует под весенними лучами, даже на грязь смотришь как на провозвестницу радостных, светлых дней. Но только эти люди не оставляют веселого следа в душе, и если улыбнешься, то только с сожалением или сарказмом. Гуляйте себе, если у вас нет никаких интересов, кроме "фасона", если вы так хорошо все знаете, что не нужны вам рефераты, литература, науки; гуляйте, если comme il faut заслепило ваши души, носите браслеты, кольца, стэки, неимоверные фуражки… и каждый скажет — кто вы!»*

Хорошо, не правда ли? Но особенно восхитила меня его статья о «Доходном месте» Островского — умная, взрослая и очень свежая какая-то статья, хоть сейчас ее печатай. Вообще это был прекрасный и очень талантливый мальчик, мы по-настоящему, по-мужски дружили, и я до сих пор скорблю о его трагической судьбе. В 1917 году из гимназистов сколотили какой-то «отряд защиты» или что-то в этом роде. Мне предлагали записаться, но я решительно отказался. А Никита записался. Их, кажется, перевели на казарменное положение. Не слышал, чтобы они с кем-то сражались, но, видимо, проходили учение. Никита тосковал среди них и вел себя неподобающе: бродил по всей округе, а у них под городом были окопы, патрули, пароли. Никита забрел в чужой участок, его окликнул часовой, он не обратил на это внимания, и его пристрелили… Знаю об этом по рассказам. Сам не был на похоронах Никиты, я уже был студентом, все это произошло, когда я уехал в Томск.

Расскажу уж заодно и о судьбе Саши Федорова. Он был в Уфе самым моим закадычным другом, хотя мы были очень-очень разные. Гораздо больше точек соприкосновения у меня было с Никитой Башиловым, но с ним мы общались главным образом на базе «Мозаики» и разных научных обществ, на интеллектуальной, так сказать, почве. Любил я их обоих, но как-то по-разному. С Сашей было проще, я хорошо знал и всю его семью, мы постоянно бывали друг у друга. Жили Федоровы в середине Ильинской улицы, на ее изгибе. Влево — Телеграфная, и если не сворачивать на нее, а идти к Случевской горе или к Фроловской улице, то тут-то и пройдешь мимо этих домов, в одном из которых жил Саша. У него было два брата: Василий

(для меня он был Василий Васильевич, он был много старше, и я с ним не знался) и Аркаша, самый младший в семье. Тогда это был мальчик в коротких штанишках, я его мельком видел, приходя к Саше.

Сейчас он живет в Ленинграде, у него жена и дочь-инвалид, а сам он пожилой, хворый, довольно мрачный человек. Мы с ним встречаемся иногда, раза два-три в год (один раз он был у меня с Васей Орлинковым, нашим же уфимцем-гимназистом, ныне живущим в Свердловске) и всегда вспоминаем Уфу и Сашу. Но с Сашей вся дружба на Уфе и кончилась, дальше наша связь почему-то оборвалась, и я его только однажды видел, перед войной: он пришел ко мне на Моховую, 42, смущался, пыхтел чего-то, ничего о себе не рассказал и быстро ушел. Знаю о нем только, что во время войны он находился в какой-то деревне, там заболел и умер.

Вспомнились мне сейчас еще двое из наших бывших гимназистов — совсем не из друзей моих, просто одноклассники. Михаил Бомштейн превратился почему-то в Волдена и живет в Швеции. Он каким-то образом разыскал меня и даже приходил раз или два, будучи в Советском Союзе, в гости — с женой Кларой и дочкой Маришкой — и все восторгался нашим гостеприимством, восклицая: «Смотри, Клара, вот это и есть русское хлебосольство, о котором я тебе рассказывал!» А второй — Ваня Беленьков, я о нем в «Синей говядине» рассказал нелестно, как о гимназисте-ябеднике. Он откуда-то появился в Ленинграде в двадцатые годы, даже побывал у нас на Гороховой, 3, на седьмом этаже, где мы тогда с Кэт, второй моей женой, жили. Но быстро куда-то исчез, так же неожиданно, как появился. А потом я совершенно случайно встретил его на перроне Вологодского вокзала. Он шел с чайником в сопровождении конвоира. Я купил ему на все деньги, какие были со мной, еды, какая нашлась на вокзале. Проводил его до вагона и даже вошел с ним в вагон. Там были еще люди. Я узнал, что их везут куда-то на север, на Новую землю. Я понял из его слов, что везут их на разработки титановых руд, вообще — на смерть. Простились, расцеловались, конвоир предложил мне удалиться. Больше я Ваню Беленькова не видел. Кажется, он что-то такое рассказывал, но тоже весьма кратко, — что он был у белых, не то колчаковский, не то чей-то офицер.

Вот куда увело меня упоминание «Мозаики». А начал я рассказывать об истории с Шерфом. Но отвлекся на некоторые пояснения, которые тоже не закончил, застряв на «Мозаике», потом на судьбах гимназистов… Однако закончить это отступление нужно, иначе не будет понятна история с Шерфом.

Итак: литературные пробы и опыты, музыка, рисование… Конечно, я разбрасывался, метался, искал свой путь. И даже нашел его, уже тогда, гимназистом. Судите сами.

В студии живописи мне говорили:

— Бросайте все, занимайтесь только живописью, из вас будет толк.

А я, мальчишка, собственно еще несмышленыш, отвечал моим преподавателям-художникам:

— Видите ли… Вы не сердитесь… Но я решил стать писателем… А это — так, для души.

То же я ответил, когда учительница музыки сказала:

— Я передаю вас профессору, Боря. Понимаете, я не справлюсь, тут нужен сам Николай Николаевич.

Дело, по-видимому, обстояло так. Учительница — ее звали Лариса Петровна — задавала мне урок. На следующий раз я откладывал ноты и исполнял заданную вещь, дополненную мною вариациями, разработкой темы. А через некоторое время я сыграл ей сочиненный мною ноктюрн.

— Вы не обижайтесь, Боря, — сказала Лариса Петровна, — но вы не сдули откуда-нибудь этот свой… ноктюрн?

Нет? Сами?

Вот тут-то она и пошла к своему обожаемому профессору и, волнуясь, сбивчиво, бестолково объяснила ему, что, может быть, она ошибается, это надо, конечно, проверить, но сдается ей, что она обнаружила… гм… обнаружила талант… И ведь сумела так настроить профессора, что он забыл про свой ревматизм и пришел ко мне домой вместе с ней, учительницей, и выслушал мой злосчастный ноктюрн и еще одну пьесу моего сочинения, я ее даже сейчас помню — под названием «Раздумье».

И, собственно, он начал уже занятия и предупредил, что я должен «все бросить», «ничем не отвлекаться», что «работать придется, как сатане» и так далее и так далее… И вот тут-то я ляпнул — даже сейчас удивляюсь, как у меня хватило смело-

сти и наглости так сказать:

— Извините, Николай Николаевич, извините, Лариса Петровна, но я не собираюсь быть профессиональным музыкантом. Просто считаю, что для образованного человека приобщение к музыке, к мелодии, к организации звука — обязательно, так же, как изучение рисунка, оттенков цвета, сочетания красок. Только поэтому я и учусь музыке и живописи. А вообще-то я решил стать писателем.

У бедняжки Ларисы Петровны даже язык онемел, настолько ее поразили мои слова. Она переглянулась с маститым профессором, который успел уже задать мне на следующий урок «Смерть Азы» Грига[1], всю составленную из широких аккордов.

— Писателем? — изумленно переспросил профессор, и снова они переглянулись с Ларисой Петровной, его воспитанницей, его любимой ученицей. — То есть в каком смысле? И почему вдруг?

И он поспешно набросил на нос пенсне, желая разглядеть этого чудака, этого психа: его хотят человеком сделать, кто знает, может быть, виртуозом-пианистом, даже композитором, — а он, даже дико слушать, заявляет, что будет писателем!

Этот разговор происходил в 1915 или 1916 году, а через четыре года премировали мою пьесу-буффонаду «Антанта»…

Итак, у меня в гимназии было несколько привилегированное положение. Теперь я понимаю, почему. Мои сочинения посылались в Округ как образцовые. Для моих картин на гимназических выставках предоставлялся отдельный зал. Я печатался в «Мозаике» и выступал со своими фортепьянными композициями на концертах. Действительно, чудо-юдо рыба Кит, «выдающаяся личность», как говорил Саша Федоров, «баловень судьбы». Не только директор, но и гимназисты, класс, в котором я пребывал, гордились «нашим Четвериковым», — как же было мне не задирать нос! Вот я и приходил в гимназию с одной тетрадью для стихов или с «Историей философии» Фурье[2], которую штудировал на всех уроках.

Вот теперь, после такого длинного отступления, я вернусь наконец к истории с Шерфом.

Однажды, как раз к приходу в класс Шерфа, перед его уроком, я начал сочинять новую поэму «Кассиада» — сатиру на министра народного просвещения Кассо.

Лев Аристидович Кассо, ярый реакционер и мракобес, как его аттестует Большая Советская Энциклопедия, получил назначение на пост министра народного просвещения в 1910 году и пребывал на этом посту до самой своей смерти, до 1914 года. Что он творил! Какие учинял расправы! Мы, гимназисты, о деяниях этого злого духа знали, конечно, только понаслышке. Но тихо и прочно ненавидели его. Впоследствии я узнал, что весной 1911 года Кассо в одном лишь Киевском учебном округе уволил за вольнодумство директоров тридцати двух гимназий и 977 учителей. Об этом рассказал нам приехавший в Уфу один из этих как раз уволенных. Но это позднее. А в тот день я только знал, что Кассо издал циркуляр, в котором дан был приказ черные шинели гимназистов заменить светло-серыми, так как черный цвет, видите ли, действует на психику учащихся, чем и объясняются участившиеся самоубийства гимназистов. Представляете, какой богатый материал для сатирической поэмы!

Сознавал ли я тогда, что «ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя из сего никаких последствий»? Ведь если сотнями выгоняли московских студентов, громили все учебные заведения России, то чего проще было полететь не только дерзкому гимназистику Четверикову, но вместе с ним и директору, и французу Шерфу, и многим учителям. Например, из Московского университета уволено было профессоров, доцентов, ассистентов, лаборантов — в целом 131 человек, добрая половина университета. Одного я не понимаю: ведь и в либеральных газетах кое-что сообщалось об этой свистопляске — так неужели у нас в гимназии никто ничего не знал? Но я почему-то не знал, и мне даже в голову не приходило чего-то опасаться.

В те годы продавалась бумага в больших сдвоенных листах, а если эти листы не так сложить, а вдоль, получались длинные полосы, достаточно широкие, чтобы помещалась стихотворная строка. Вот я на таких длинных листах и писал. Закончив лист, вручал его соседу по парте Саше Федорову, он читал первый и передавал лист дальше, наблюдая за порядком. Листы были разнумерованы. Каждый получал их один за другим, быстро прочитывал и в строгой последовательности передавал следующему, с нетерпением хватая продолжение, потому что поэма была сюжетна, там участвовали и некоторые учителя нашей

гимназии, и некоторые официальные лица города, и все это было подано в остро развивающемся действии, так что, начав читать, невольно хотелось прочесть все до конца.

Такие шутки «домашнего употребления» сочинялись у меня легко и быстро, «левой ногой», приятели даже удивлялись, что я как будто переписываю, а не сочиняю, настолько свободно, играючи, прямо набело, без всяких черновиков исписывал я стихами лист за листом. Вот и тут. Поэма была большая, писал я вдохновенно и впрямь ничего не видя и не слыша, радуясь успеху у моих читателей, а их было сорок человек — шутка сказать. К концу урока французского языка в классе было необычайное зрелище: сорок юнцов держали открыто перед собой длинные листы, там и сям слышался хохоток, сдерживаемое хихиканье в кулак и нетерпеливое поторапливанье: «Давай дальше, чего ты так долго!» — «Не мешай, тут самое интересное!» Разве это не высшее наслаждение — воочию наблюдать, как ты владеешь душами читателей!

Да, но что же Шерф? Ведь все это происходило на его глазах, — что же он? Он смеялся, он был доволен и делал вид, что ничего не замечает. Он прохаживался по классу, подходил к окну, смотрел, что делается напротив, в Ушаковском парке. Мы чувствовали его молчаливое поощрение, ну а значит — валяй, не стесняйся! Да и азарт был, некоторые уже откровенно хохотали, Гуменский стонал от веселья, Беленьков, сдерживая смех, как-то странно хрюкал, а Вахрушенко издавал неопределенное «гы-ы». Шерф же спокойно ходил по классу, как бы ожидая выполнения задания: нам надо было перевести один кусочек текста с французского на русский, а другой — с русского на французский — без словаря.

Урок близился к концу. Поэма написана вся, и постепенно — с чрезвычайной аккуратностью — пройдя круг по всему классу, листы ложатся стопочкой у меня на парте.

Шерф все смеется. И как бы невзначай оказывается возле меня. Р-раз — и вся поэма у него в руках. Все так же смеясь, он складывает ее вчетверо и прячет себе во внутренний карман пиджака. В это время раздается звонок, и Шерф медленно и невозмутимо, с той же добродушной улыбкой на лице выходит из класса. А класс как онемел. Все молча проводили его глазами.

Вообще-то Шерф прав. Но его выходка грозит бедой. Все

это понимают, и хотя чем же они виноваты, но все как-то расстроены: выходит, что они здорово подвели меня. Если такая поэма попадет в руки инспектора… Плохо мне будет, ох, плохо!

Все взволнованы. Класс гудит теперь, как встревоженный улей.

— Как хотите, это подло со стороны Шерфа! Если он недоволен, должен был сразу сделать замечание и пресечь. А если сам же позволил, допустил, то зачем же хватать?

— Нечестно это!

— Свинья он!

— Французик из Бордо!

— Мы выскажем ему наше презрение!

— Борису от этого не будет легче!

Опытные лазутчики Сережка Вахрушенко и Гирайтис отправились на разведку к учительской. Остальные даже не выходили из класса, толпились и дружно ругали Шерфа.

— Мы должны принять вину на себя. Коли так, все отвечаем!

Наши разведчики вскоре вернулись понурые и мрачные:

— Полное молчание. Ничего не слышно.

И опять исчезли — подслушивать, попытаться заглянуть в дверь учительской, когда кто-нибудь входит туда.

Не прошло и пяти минут, как они появились снова, но уже совсем в другом настроении: не вбежали даже, а ворвались в класс, крича, размахивая руками, так что мы не сразу поняли, чего это они так.

— Хохочут! — кричали они, перебивая друг друга. — Шерф читает вслух «Кассиаду», и вся учительская хохочет!

Как-то не вяжется: учительская — и вдруг хохочет… Со дня открытия гимназии, наверное, не было этого. Мы были растеряны и не знали даже, как реагировать на такое сообщение.

— Так чего они? Взбесились?

— А смешно же ведь, правда смешно! И Шерф хорошо читает, выразительно!

— Он с ума сошел!

— А чего? Пусть послушают. Поучительно…

— Да-а, они посмеются-посмеются, а потом как шарахнут!

Так мы и разошлись, озадаченные и встревоженные. Только Никита Башилов догнал меня на улице:

— Вот что, Борис. В случае чего — ответственность беру на себя. Понял? Скажешь — по моей просьбе писал, для пьесы.

Я был растроган, но бурно отказывался от такого самопожертвования, хотя понимал, что он как сын губернатора меньше рискует попасть в беду.

На следующий день прошли все пять уроков — и ничего не произошло. Может быть, обойдется?

А еще через день был урок французского языка. Шерф вошел — как всегда, смеющийся, веселый — и направился прямиком ко мне, к моей парте. Вручил мне мою поэму и сказал:

— Спасибо. Получил большое удовольствие.

Все переглядывались, не зная, радоваться или печалиться. А Шерф как ни в чем не бывало сразу начал урок, только улыбался больше обычного и иногда как-то чудно прищелкивал языком.

В перемену к нам пришел преподаватель истории Венедикт Афанасьевич Ефремов, новый, недавно появившийся в нашей гимназии преподаватель, замечательный человек, которого мы сразу полюбили за какую-то особую интеллигентность и за то, что он всегда держался с нами по-товарищески — без пани-братства, но уважительно и дружески.

— Ну и ну! — сказал он, и его сразу окружили, ожидая сенсационных сообщений.

Но он больше ничего не сказал, только все с любопытством и удивлением поглядывал на меня. А говорил о чем-то постороннем, не касающемся этой истории. Мне показалось, что он хотел что-то рассказать, но раздумал.

Странно, невероятно, но все в точности так и было. И когда! В самую черную реакционную пору, в годы столыпинской тишины! И я, как видите, цел, никаких последствий из этого инцидента не было. Думаю, думаю, никак понять не могу: ведь всякие были среди учителей типы… А вот не донесли. Ни один из всего учительского персонала! Может быть, и тут не обошлось без вмешательства Владимира Николаевича Матвеева?

Вспоминается еще один эпизод, тоже очень значительный, оставивший во мне большой след. Он связан с преподавателем модной тогда сокольской гимнастики[3], приглашенным в гимназию для занятий с нами.

Это был чех Герек (или Герик? Не знаю точно). Он довольно

хорошо говорил по-русски, хотя и коверкал некоторые слова на свой лад. По-видимому, он привык командовать и покрикивать на учеников там, у себя на родине. Был он небольшого роста, но весь слеплен из сильно развитых мускулов.

В этот день он пришел к нам на свой первый урок. Мы построились в шеренгу, поздоровались с ним дружно, когда он вошел, и сразу же Герек приступил к занятиям, причем выбор его остановился почему-то на мне, может быть, из-за моего хорошего роста. Он что-то скомандовал, но что именно — трудно было понять. Там были слова «скок», «выпад», которые неизвестно что обозначали. Я неподвижно стоял и старался вникнуть в смысл этих слов, чтобы понять, что надо сделать.

— Больван! — вскричал вдруг Герек. — Ты слушаль моя команда?

Эти слова я понял отлично. После мне рассказывали, что сначала я густо покраснел, затем стал бледным-бледным. Бросив презрительный, как мне казалось, взгляд на Герека, я молча повернулся и твердой походкой, но не спеша вышел из класса.

Навели справки. Узнали, что преподаватель гимнастики пожаловался на меня директору. Я ожидал, что меня вызовут к нему. Но прошло несколько дней, и никто меня не вызывал.

В конце недели я спускался по лестнице, направляясь в раздевалку, и очутился рядом с директором, который тоже шел вниз. Я поздоровался, и мы пошли рядом.

Помедлив, Владимир Николаевич как бы мимоходом спросил меня:

— Что у вас случилось на уроке гимнастики?

Я с некоторой даже горячностью стал рассказывать. Говорил о том, что у нас в семье никогда не ругаются, в гимназии тоже всем говорят «вы», а учитель гимнастики накричал на меня и назвал болваном. И что рассердился преподаватель гимнастики напрасно, потому что я не понял, что он говорил, да и все не поняли, потому что были произнесены какие-то слова, смысла которых мы не знали. А когда Герек обругал меня болваном и назвал на «ты», я почувствовал себя оскорбленным, но сдержался и ничего не ответил, а только молча ушел из класса.

Я замолк. Некоторое время мы шли рядом и оба молчали.

Затем так же спокойно и просто директор произнес:

— Можете не ходить на уроки гимнастики.

Я был потрясен. Вообще-то я ожидал почему-то, что Владимир Николаевич все поймет и все рассудит правильно. И я не ошибся. Но такого ответа я все-таки не ожидал и настолько был ошеломлен им, что даже не сумел ничего ответить, хотя бы сказать спасибо.

Если бы знал Владимир Николаевич Матвеев, какой он мне преподал урок! Недаром же я запомнил это на всю жизнь. Когда я рассказываю об этом случае нынешним педагогам, они неодобрительно покачивают головами, считая, видимо, решение директора непедагогичным. А я считаю это решение мудрым, воспитывающим человеческое достоинство. Думается мне, что преподавать юношеству чувство человеческого достоинства важнее даже и необходимее, чем преподавать все другие премудрости и дисциплины. Нам так нужны сильные, смелые, умеющие постоять за себя люди. На таких всегда можно положиться, знать, что не подведут. Очень важно уважать других, но не менее важно уважать себя и требовать к себе уважения, чтобы тобой не помыкал кто угодно.

Вероятно, Владимир Николаевич рассуждал так. Приехал иностранец преподавать гимнастику. Удивительно ли, что на первых порах учащиеся не поняли, что он говорит? Далее. Преподаватель-иностранец не потрудился ознакомиться с теми порядками, какие заведены у нас в стране. Может быть, на родине этого спортсмена принято говорить школярам «ты»? Может быть, там и розги еще существуют? Как же не узнать о правилах и уставах в русских гимназиях, прежде чем прийти на урок? И прав ли юноша, в сущности уже взрослый человек, что счел себя оскорбленным? Да, прав. И он еще даже деликатно поступил, не возразил, не надерзил преподавателю. Вот это было бы каким-то нарушением дисциплины. А тут — за что же наказывать его?

Наверное, все это директор высказал приезжему гимнасту. Я так думаю. Я почти уверен в этом — высказал и объяснил. А меня освободил от дальнейшего общения с этим человеком. В те годы я не мог разобраться во всем и все поставить на места. Я только охвачен был тогда беспредельной радостью и гордостью, был полон горячей благодарности к вдумчивому, умному директору, умеющему принимать решения независимо от циркуляров и правил. А насчет чувства собственного досто-

инства — это я домыслил уже после, много-много лет спустя.

Недавно приезжал из Казани Вася Андреев[4] — для меня Вася, а вообще-то давно уже почтенный Василий Иванович, в прошлом же тоже наш, уфимский гимназист, только гораздо более позднего выпуска, чем я (он моложе меня на семь лет), и мы взахлеб вспоминали былые годы. Меня порадовало, что и Вася говорил о Матвееве с восторгом. Когда я ему рассказал про этот мой случай с Гереком, про то, как на это отреагировал наш директор, Вася припомнил, как однажды Владимир Николаевич журил его за что-то, но это выглядело не выговором, а дружеским собеседованием, что действовало на шалунов куда сильнее всяких нотаций, и они от смущения глупо улыбались и хихикали. Владимир Николаевич на это мягко заметил:

— Per risum multum poteris cognoscere stupidum[24]

Он вообще любил латинские поговорки и часто применял их. Оказывается, он даже преподавал у них латынь в 1918–1919 годах. Вася был тогда в пятом классе и до сих пор вспоминает, как перед приходом в Уфу красных Матвеев помог ему в спешке без формальностей получить документ об окончании пятого класса. А о дальнейшей судьбе Матвеева Вася ничего не знает.

Да-а, интересный, незаурядный человек был наш Владимир Николаевич Матвеев, след в наших душах он, безусловно, оставил. А вот его любовь к латыни мне не передалась. У меня даже есть в поэме «Детство» такое место:

Я вспоминаю и поныне
О гимназической латыни.
Ее не ставил я ни в грош.
Как ни внушали мне, не видел,
Чем так пленителен Овидий
И чем Вергилий[5] так хорош.
Я даже отсидел в кандее,
За то, что не сумел прочесть
(Не то что толком перевесть!)
«Vox populi — vox Dei».
Когда пришел домой, в прихожей

[24] Дословно: по многому смеху можно определить глупца *(лат.)*. По смыслу эта фраза равнозначна русской пословице: Смех без причины — признак дурачины.

Сказал Виталий мне: «Осел!
Ну как же ты не перевел:
«Народа голос — голос божий»?
Мне был понятней и ясней
Народный говор пристаней.
Я знал, где ходит осетёр,
И как разводится костёр,
И где стерлядка водится…
Но мне запомнилась с тех пор
Латинская пословица.

Владимир Николаевич Матвеев вырос, вероятно, в понятиях и настроениях, обычных для среднего достатка дворянских семей. Конечно, он был далек от всяких новых веяний. Тем удивительнее для меня еще один случай, и тоже непосредственно связанный со мной.

В Уфу приехал и поступил к нам в гимназию на должность преподавателя литературы, или, как тогда говорили, словесности, молодой красивый человек — Павел Дмитриевич Жуков. С появлением его и Венедикта Афанасьевича Ефремова в гимназии сразу повеяло свежим ветром. Они вели преподавание не трафаретно, интересно, смело и этим были очень похожи друг на друга. Жуков был не только учителем, но и литературоведом и критиком. В 1915 году он издал в Уфе очень своеобразную книгу — «А. Блок и Л. Андреев». Ко мне Павел Дмитриевич относился на особицу хорошо. Подчеркнуто выделял меня и не по-казенному, а истинно-дружески держался со мной. (Кстати, в двадцатые годы мы встретились в Ленинграде, и Павел Дмитриевич входил в мою литературную группу «Содружество».)

Когда Жуков предложил желающим писать рефераты, я увлекся этой идеей, долго размышлял, какую бы мне взять тему, и наконец сообщил Павлу Дмитриевичу, что выбрал «Исторические судьбы русской женщины». Павел Дмитриевич нисколько не удивился моему выбору и даже одобрил его. И вот я принялся за бешеную неуемную работу. На моем столе появились самые, казалось бы, неожиданные книги, начиная с толстых томов Ивана Егоровича Забелина[6], замечательного русского историка и археолога, и кончая хлесткими статьями Александра Валентиновича Амфитеатрова[7]. Я просиживал над рефератом ночи напролет, вот тогда, вероятно, и выработал привычку пи-

сать по ночам. Удивительно то, что домашние мирились с этим моим «запоем» и не урезонивали меня. (Я вообще удивляюсь, что родные спокойно смотрели, как я несколько лет подряд беспощадно растрачивал силы и довел себя до крайней степени переутомления.)

Характерно для Жукова, что, когда я объявил об окончании работы, он не потребовал дать ему реферат для ознакомления, а прямо назначил чтение на одно из ближайших воскресений. Я был шестиклассником и очень гордился, что на чтение реферата пришли гимназисты седьмого и восьмого классов. Мы разместились в одной из аудиторий, я сел впереди за учительский столик, рядом с Павлом Дмитриевичем.

— Ну что ж, давайте начинать, — сказал Павел Дмитриевич и огласил название реферата.

В этот момент в класс вошел директор. Он сделал знак, чтобы все сидели, и скромненько сел на задней парте.

Чтение началось. Слушали все с напряженным интересом — не то что бывает на уроках. Тишина стояла образцовая. Я читал с азартом, задорно, я говорил о Домострое, о бесправии, об униженном положении русской женщины, о препятствиях при получении образования… Все шло хорошо до заключительной части реферата, где я с горячностью проводил параллель между положением русской женщины и положением рабочего люда на наших заводах, а заканчивал реферат предсказанием недалекой уже революции (это в самые-то черные годы реакции!) и уверением, что и русская женщина пробьет себе дорогу и освободится от пут.

Когда я начал читать эту заключительную главу, Павел Дмитриевич забеспокоился, заерзал на стуле и вдруг встал, остановил меня и объявил, что на этом чтение реферата кончается, сделаем перерыв и приступим к обсуждению.

Все шумно протестовали, но Жуков был непреклонен. Уже начиная споры, пускаясь в рассуждения, возбужденные слушатели высыпали в коридор, потащили меня в курилку, и там я громко и внятно закончил чтение последней главы.

Выслушав ее, все отправились снова в класс, и начались горячие, оживленные высказывания. В этой суматохе никто не заметил, когда ушел директор. Как-то я тогда и не задумался ни над чем. А ведь время было такое, что за вольнодумные

речи (например, предсказание, что в России в ближайшее время произойдет революция) по головке не гладили. Не только учителей и профессоров — немалое число и гимназистов запросто выгоняли из гимназий. И директор мог потребовать от Жукова, чтобы мой реферат был представлен для ознакомления начальству.

Однако настал понедельник после воскресенья, когда я читал реферат, настал и вторник, минула неделя. Но и Павел Дмитриевич не попрекнул меня, что, дескать, как же это ты подводишь своего преподавателя, и вообще никто ничего мне не высказал по этому поводу. А вскоре я писал новый реферат — для преподавателя истории Ефремова — на тему «Земские соборы», позволяющую много говорить о народном самоуправлении и о том, чем отличается такое самоуправление от абсолютизма, от деспотизма, от монархии, от методов в царствование Николая Второго.

Впрочем, этими смелыми высказываниями и ограничилась вся моя революционность. А насчет революционности нашей семьи хочу сказать, что самый апогей ее был, на мой взгляд, в чердынский и ирбитский периоды жизни, а потом — я уже говорил об этом — отец как-то отошел от сходок, от подпольной работы, от агитации — может быть, разуверился в социалистических идеях, разочаровался в чем-то, обманулся в каких-то надеждах, а скорее всего — просто-напросто устал в свои пятьдесят лет под грузом забот о большом семействе (на пятерых ребят одной обуви не напасешься!) и, оставшись прогрессивным учителем, никакой другой деятельностью в плане служения революции уже не занимался, не хотел рисковать.

Странное дело: а его ученики и в те времена знали талантливого и до невероятности смелого в суждениях преподавателя, остроумного, красноречивого человека, вырастившего не одно поколение развитых, с передовыми взглядами людей. Уже спустя много лет, когда отец поселился в Ленинграде, к нему приезжали на поклон его воспитанники (в том числе и уфимские), восторженно повторяя, что этими передовыми взглядами они обязаны ему и что они ему навек за это благодарны.

Мне же по Уфе отец запомнился вечно мрачным, молчаливым, раздраженным, недовольным всем и всеми брюзгой — полный контраст с тем веселым, энергичным, общительным

и неунывающим Дмитрием Никаноровичем, каким он был в Чердыни и в Ирбите. Вообще-то станешь тут мрачным брюзгой: сколько ни зарабатывай, все как в прорву проваливается, как в дырявый мешок — при такой-то «хозяйке», как Клавдия Витальевна. Основной учительский оклад у отца был шестьдесят рублей в месяц плюс месячное жалованье к Рождеству, как, по-видимому, полагалось всем служащим. А отец ухитрялся приносить домой до ста пятидесяти рублей: он, кроме своего городского училища, взялся преподавать еще в епархиальном училище, еще в женской гимназии, а вечером бегал, как мальчишка, по частным урокам — репетитором. В результате мы, дети, совсем перестали с ним видеться. Только знали, что за стеной, в спальне, или спит, или лежа в постели пьет чай и одновременно курит угрюмый, сердитый человек, которому не до сходок и не до подпольной работы. И не до детей.

Мама в Уфе была даже активнее отца, меня удивили ее письма Саше за 1917 год, я приведу их позже. Но отца и это бесило: дом заброшен, беспорядок везде фантастический (в этом отношении мама была непревзойденной), прислуга тащит все чуть ли не возами, а его дражайшая супружница бегает по митингам и общественным мероприятиям разного рода.

Ну, а я — я был абсолютно аполитичен. Сколько себя помню, никогда меня не увлекала ни одна партия, ни одно политическое течение. Интересы мои были очень разнородны, но все ограничивались областью литературы и искусства, а в политическом отношении я был полный невежда и дальше рефератов да «крысиных бунтов» не шел.

Спору нет, воспитание молодого поколения в должном направлении — дело полезное, работа Клавдии Витальевны, моей матери, талантливой актрисы, а впоследствии учительницы — работа прогрессивная, даже мой кружок самообразования в старших классах гимназии и мои рефераты с дерзкой постановкой вопроса о положении женщин в нашей стране, о положении рабочих, о земских соборах и народном самоуправлении — все это, вероятно, тоже приносило какую-то пользу. Но во всем этом не было никакой особой революционности, настоящей революционности в полном значении этого слова, все это было обычным для интересов и настроений интеллигенции той поры.

Но рефераты рефератами, гимназия гимназией, а мое описание жизни в Уфе будет неполным, если я не коснусь нашего, ну, что ли пригородного хозяйства в районе станции Черниковка, — мы-то называли его «хутор».

Я не нашел никаких его следов, когда в пятидесятые-шестидесятые годы приезжал на свидание с моей Уфой и специально ездил по этим местам. Все застроено-перестроено, — не узнать. Сплошные здания, железнодорожные пути, переезды, улицы, магистрали… Людно, шумно… Не только хутора — окрестных деревень и то не нашел. Где тут Каловка, где Курочкина, где Глумилино? Отдельные дома вроде сохранились, что-то есть, но в целом… Все не то и не так! Запутался я, устал и даже села Богородского и речки Шугуровки не мог найти, сколько ни бродил по этим местам. Единственное, что обнаружил, — это горушку вдалеке, за зданиями: когда-то она стояла посреди чистого поля, и по ее склонам я мальчишкой собирал землянику…

А взять саму Уфу?

Она хороша, красива, в ней много новых, высоких зданий. Но я бы сказал, это новый город, построенный на месте прежней Уфы! Уже одно то, что в городе взорваны чуть ли не все двадцать семь церквей, — уже одно это меняет облик города. Улицы переименованы. Маленькие домики — с палисадниками, яблоневыми садами и необычайно пышной сиренью — снесены с лица земли. Улицы залиты асфальтом, постройки хороши, но производят впечатление некоторой гигантомании. А я думаю: почему бы новый город не построить на новом месте? Что за скверная привычка — прежде чем начать строить, обязательно крушить все и ломать?

У нас был период, который можно назвать «переименовательная лихорадка». (Он не совсем прошел и сейчас.) Во многих делах мудрой можно назвать сдержанность, осмысленность. Нет этой мудрости — и тогда мы наблюдаем нелепый азарт, приносящий исключительный вред. Повторюсь, но подчеркну еще раз свое мнение: хочется дать какое-то звучное название — построй новый город или новую деревню и назови полюбившимся тебе именем. И то надо еще подумать, удачное ли название. Но расправляться со старинными, иногда насчитывающими тысячелетие городами — это кощунство. Без

конца и края именовать улицы во всех городах и пригородах, селах и поселках одними и теми же названиями, прикрываясь тем, что названия, дескать, очень революционные, — это непростительная глупость, уже много раз высмеиваемая и в кино, и в периодической печати, это обезличивание, обесцвечивание, стандарт, бездушие, это так же порочно, как порочно сооружение домов-ящиков, домов-казарм, однотипных, скучных, унылых. Это наши промахи, это победа казенщины, это ляпсусы взявшихся не за свое дело ретивых дураков.

Не избежала и Уфа этого похода против красоты и самобытности. Какому дуботелу взбрело в голову приняться за переименование уфимских улиц — подряд, без раздумья? Я представляю физиономию горе-деятеля, который зачеркнул название «Бондарная» и поставил, так сказать, более «прогрессивное» название «Токарная»! Еще уцелели как-то Аксаковская, Пушкинская и некоторые другие. Но кому помешали Бекетовская, Вавиловская, Соборная, Телеграфная, Ильинская, Сибирская, Тобольская, Успенская, Малая Береговая, Фроловская, Александровская, Казанская, Усольская улицы, Уральский проспект и многие-многие другие? Что нашли предосудительного в этих названиях? Ну ладно бы еще Тюремную или Губернаторскую улицы забраковать (хотя и это напрасно), но ведь даже Красную не оставили в покое, а уж куда, кажется, революционнее! Я получил длинный список переименований уфимских улиц от одного старожила Уфы, Бориса Николаевича Полетаева, который с горечью пишет: *«Даже Суворовскую улицу переиначили!*

Тоже ведь еще неизвестно, прилично ли именовать советскую улицу именем царского фельдмаршала».

Грустные шутки!

У каждого человека, даже независимо от возраста, от горячей любви к местам, где он живет, где работает, — все равно хранится особая, нежная, немного печальная, но сладостная привязанность к какой-то своей Малеевке, Чесноковке или к какому-то своему Козельску, Весьегонску, к какой-то памятной рябине, к какому-то заповедному ручью, любимому березняку… Шаляпин в зените славы, в полном благополучии и семейном уюте жил в Париже и все вспоминал, тоскуя, о каком-то российском сеновале, где он когда-то в давнюю пору ночевал. И у каждого есть свой такой сеновал — чудесный,

врезавшийся в память на всю жизнь. Если разобраться, все мои воспоминания — это лирическое повествование о каком-то моем сеновале. Но уж извините, за этой сеновальной лирикой вы найдете много выстраданного, много значительного для каждого непредубежденного ума и сердца.

Итак — хутор.

Три с половиной десятины «неудобной» земли были куплены задешево (по 125 рублей) и в рассрочку через земельный банк. По письмам нашего дядюшки Володюшки к Саше (а он жил в это время у нас) получается, что это он надоумил брата Дмитрия приобрести землю и заняться садоводством и огородничеством, что это он — специалист по сельскому хозяйству. Я не думаю, что это была идея дяди Володи, но, возможно, присутствие родственника способствовало решению отца: он надеялся на помощь брата и легче решился на такую покупку. Но никакой он не был специалист, наш дядя Володя. Старый закоренелый холостяк, непутевый человек, промотавший всю жизнь на пустяки, ничему-то он не научился до самой старости, не приобрел никакой специальности. До переезда к нам мотался по разным городам, жил и в Самаре, и в Троицке (тоже, оказывается, у нас, как выясняется из писем мамы в Уральск), ездил и в Симбирск к брату Ивану, пока тот был жив, потом какое-то время обретался в его семье — вообще все старался прилепиться к кому-то, так как был совершенно не в состоянии жить самостоятельно. А то снимал углы, селился даже в помещениях типа общежития, по двое и по четверо в одной комнате. Одно время жил при складе торгового дома «Макаров и сыновья», где служил кем-то. В общем, болтался по белу свету где придется и был вечно у всех в долгах.

У нас он жил в основном круглый год на хуторе. Все сидел, бывало, перед топящейся печью, щурился на синее пламя, пробегающее по раскаленным углям, дымил папиросой и перебирал в памяти былое да, посмеиваясь, рассказывал всякие небылицы. До чего безобидный был человек и до чего бесполезный! Ничего не умел, ничем не интересовался, мало чего знал, жизнь прожил непутевую, никчемную, что называется — ни себе, ни людям. Важничал, правда, здорово и воображал себя агрономом, но ведь никому не возбраняется воображать себя кем угодно, вреда от этого никакого нет. Но и толку мало.

Впрочем, какой-то толк был, какая-то польза от дядюшки все-таки была и что-то на хуторе он все-таки делал. Во всяком случае в моем представлении хутор как-то сливается с дядюшкой Володюшкой, до того они были неразделимы, до того мы все привыкли, что когда ни приедешь на хутор — дядя Володя там. На хуторе он как бы обрел себя, нашел свое место в жизни. Если бы не пил, так бы и прожил до конца своих дней. Но слова своего — не пить — не сдержал, из-за этого рассорился в пух и прах с братом и был им выгнан (об этом я еще расскажу позже), а вскоре взял да помер — тоже как-то недуром, неожиданно, так как-то невзначай: все не болел вроде — и вдруг слег, но недолго, месяца два всего похворал и умер.

Такова несуразная судьба этого человека. Но это я забежал вперед, а пока что в течение пяти лет он жил у нас. Сначала в городской уфимской квартире, а потом вот на хуторе, когда отец приобрел участок.

Поехали мы, помню, всей оравой, с дядюшкой в том числе, поглядеть на свою землю. Действительно, нетронутый участок неподалеку от железнодорожной будки стрелочника Зиган-гирея близ станции Черниковка. Три рощицы — или как еще назвать три болотца, поросшие деревьями и непролазным кустарником? И примыкает наш участок вплотную к железной дороге. Когда мы обнесли участок плетнем и поставили самые деревенские неказистые ворота, то из ворот приходилось выезжать прямо на железнодорожные владения, на так называемую отчужденную полосу возле железнодорожной насыпи, поросшую травой. А со всех остальных трех сторон мы были окружены ржаными, овсяными, гречишными полями. Представляете?

Задуман был отцом этот хутор всего лишь как подспорье, приработок, наконец, корм нашим всегда голодным ртам. Семейка-то была ничего себе: папа с мамой, нас целая пятерка, дядя Володя, поселившийся с нами почти сразу после нашего переезда в Уфу, да Мардыгалям, папин ученик и воспитанник (их было много, таких учеников, живших у нас годами, но Мардыгалям жил у нас дольше других и давно был зачислен, так сказать, в нашу роту, в состав нашей семьи).

Девять человек (а фактически куда больше), конечно, нелегко было прокормить, тем более если учесть, что в Уфе нам

особенно везло на вороватую прислугу. Кухарка не просто поворовывала, а буквально грабила нас. А мама так доверяла ей, что долго ничего не замечала. Дело дошло до того, что к ней пришли наконец из соседнего дома незнакомые люди и рассказали, как из нашей квартиры уносят продукты, одежду, разные вещи — бельевыми корзинами. Мама не поверила, но однажды сама, вернувшись домой в неурочное время, увидела такой грабеж — именно корзину, наполненную мукой, маслом, крупами и даже пирогами. Прислуга так и обмерла при виде мамы: она в этот момент как раз набирала еще вторую корзину — уже не продуктами, а бельем и всякими шмотками, за чем ее мама и застала. Сцена была, надо сказать, как в хорошем спектакле, и кто был больше потрясен при этом — еще вопрос. Кухарка упала в ноги хозяйке: «Виновата!» — и была великодушно прощена. Но тащить все равно не перестала, разве что несколько умерила свой аппетит да стала чуток поосторожнее. Да и как было, скажите, не красть у такой «хозяйки», как Клавдия Витальевна, когда она в театре аплодисменты зарабатывает да общественницей-активисткой заделалась, а дома почти не бывает и в хозяйстве нет ни порядка, ни учета, все валом валится.

Можно понять отчаяние отца, который волочил воз из пятерки детей и бесшабашной жены плюс кормил и одевал чуть не дюжину учеников-нахлебников. В доме постоянно толклись посторонние люди, и при полной бесхозяйственности Клавдии Витальевны это был сущий разор. Вот и хотел отец приобретением земли хоть чуточку поправить дела, заимев хоть какой-то «подножный корм». И в этом смысле подсобное хозяйство было весьма не лишним.

Но отец еще и другое имел в виду, покупая участок: приучить детей к физическому труду, дать им сельскохозяйственные навыки, образовать нечто вроде семейной трудовой коммуны. Это не громкие слова и не пустые фразы. И это придавало всему замыслу особенно благородный оттенок.

Хутор… Произнесешь это слово — и повеет на тебя запахами ржи, цветущей гречихи, свежевспаханной земли, болотным дурманом… А деревья! Надо возле них и среди них пожить, чтобы различать волнующий запах березы, терпкий запах черемухи… И у каждого дерева и куста, у каждой травинки и былинки свое особое приметное дыхание, свой нрав, свой облик,

которые научаешься различать и начинаешь прочно, глубоко любить не просто лес, а множество знакомцев, множество зеленых друзей.

Например, дуб. В наших краях дуб и клен часто встречались. И всякий раз, любуясь на этого крепыша, я неизменно вспоминал, что при Петре Первом за злостную порубку дуба причиталась смертная казнь. В этом удивительном постановлении во всей красоте встает дуб и во всем величии Петр. Где только не встречал я широко раскинутые дубовые шатры, на которые старожилы показывали: «Сам батюшка-царь сажал!» Я с уважением отношусь к Петровым насаждениям и горюю, что такие Петры не часто родятся, а все больше Павлы да Бироны.

Вероятно, этот запомнившийся мне наказ Петра и воодушевил меня на великий труд. За железнодорожным полотном, в перелеске, выросшем так, на дурика, возле канавы, я выискал аккуратные, крепкие молодые дубки. Немало попотел, покорпел-поработал, чтобы «со стулом», то есть с большим комом земли родимой, перевезти к нам на хутор четыре дубочка. Помогали мне Виталий, Женя и даже Толя с Верой, малыши. Дубки прижились, им у нас понравилось, и, выйдя утром вдохнуть упоительного воздуха, полюбоваться на земную красу, я дружески здоровался с моими дубками. А потом их вырубили… Уже без нас, когда хутор был по сути брошен после семнадцатого года. И некому было злодеев казнить: ведь уже не было Петра Первого.

Испытывали ли вы острую, нестерпимую боль, как будто это вас самого кромсали и полосовали на куски, при виде подпиленного богатыря — красавца-дерева? Я так просто не могу на это смотреть.

Электрическая пила замолкла. Дерево некоторое время стоит, не шелохнется, хотя оно уже убито, подпилено, там, внизу, на самом корню, хотя его уже нет, осталось просто бревно, а не дерево. Но вот оно глянуло, прощаясь, на облака, на дальние поляны, на соседние деревья… затем дрогнуло, чуть затрепетало ветками, как бы вздохнуло — и вдруг рухнуло, с шумом, треском, ломая кусты, падая и уже не выбирая, куда упасть… И такая жалость к нему, такая боль, что кажется, разорвется грудь и вывалится сердце, ей-богу.

У меня есть стихотворение «Реквием» — реквием погубленному кусту. Оно, мне кажется, передает это настроение:

В порыве грустном и простом —
Знак уваженья вечен —
Я шляпу снял перед кустом,
Что кем-то изувечен.
На стыке двух дорог стоял,
Подтянутый и стройный,
И зорко-зорко охранял
Лесной уклад спокойный.
Подкрался враг и подстерег,
Числом сильнее втрое, —
На перекрестке двух дорог
Куст смертью пал героя.
Служебный долг у нас был прост:
В одной зачислясь ветке,
Я человечий занял пост,
А он — в лесной разведке.
Мой брат зеленый! Мой родной!
Нет счета скорбным датам!
Прощался с небом он, с весной
И умирал солдатом.
А я поклялся всем святым
Над горестной могилой,
Что мы отвагой осветим
Сердца с безмерной силой,
Что, как бы ни губили нас,
Стремясь сломить под корень,
Придет наш день, грядет наш час,
Народ наш непокорен.
Спи, благородный, честный куст!
И в блеске перламутра,
Как с христианами Исус,
С тобой простится Утро.
Гром поднебесный даст салют.
Из тучи хлынут слезы.
Тебе отходную споют
Скорбящие березы.

У меня вообще какая-то жалость ко всему. К пристрелен-

ной птице, обиженной женщине, полуразрушенной церквушке. Мне жалко даже, что вот это мгновение, чем-то удивительное, особенное, с его неповторимыми чертами, красками, чем-то драгоценное, — минует и сгинет безвестно, и не будет его больше никогда. В сущности таков весь мир, все без исключения. Вот и хутор наш сгинул, и дубки мои сгинули, и время то сгинуло, и люди… А память осталась. Уроки хутора остались навеки. Наташа, родившаяся в 1923 году и знающая хутор только по нашим восторженным рассказам, и посейчас любит этот хутор так же, как и я, как и ныне живущая в Уфе сестра моя Вера. И вы бы полюбили его, если бы послушали всех нас.

Купили мы в деревне на снос избу. Перевезли ее. С одного боку соорудили к ней дощатую пристройку, где жил я, с другого боку построили теплицу. Отец выращивал в ней среди всего прочего раннюю клубнику и любил удивлять друзей: дарил им в горшочке клубничный кустик с уже созревшей ягодой — и это когда? — на Пасху, когда никакой ягодой ни у кого еще и не пахло! Фурор был полный!

Поблизости от избы был вырыт колодец — сажень на сажень, хороший колодец, с воротом, чтобы крутить ручку и спускать привязанное на веревку ведро, пока оно не захлебнется, зачерпнув воду. И еще был построен, как в деревнях, большой навес, частично включавший в себя конюшню, погреб, и во всю длину этого навеса, то есть крытого пространства, укрепленного на прочных столбах, находился под самой его крышей просторный сеновал. Сено мы косили сами. И сами там спали. И сами радовались. Кто хочет запомнить на всю жизнь и получить светлое, ни с чем не сравнимое удовольствие — переночуйте хоть разок на деревенском сеновале. Как упоительно пахнет сено, как задорно поют на рассвете петухи! А, да невозможно рассказать о том, какое счастье охватывает человека, проведшего ночь на сеновале. Это надо испытать.

Вот бьюсь-бьюсь, ищу слова, чтобы описать этот навес, а ведь сам-то вижу его и сейчас как наяву, во всех подробностях, — вижу — и телега там стоит, и лопаты в грудку собраны, и хомут висит, и шлея, и санки стоят в углу, прислоненные к стене.

Каюсь, было приятно, что это НАШ сеновал, НАШЕ сено, НАШ колодец. Очевидно, мы все были испещрены пятнами

прошлого, пережитками собственничества, частновладельческим инстинктом. Вера до сих пор вспоминает этот сеновал, на крыше которого она загорала и писала письма (два-три ее письма Саше тоже сохранились, написанные гимназисточкой-приготовишкой и первоклашкой). Еще ей запомнилось, как я развлекал их с Толей — все на этом же сеновале — литературными играми: например, подобрать рифмы к какому-нибудь слову — кто больше? — или найти как можно больше географических названий на определенную букву. Это было наше любимое место — сеновал. Виталий обычно пыхтел где-нибудь поблизости, возясь с гирями или кувыркаясь на турнике. А Женя держал нейтралитет и не ввязывался в игру. Он у нас вообще был какой-то непритычный, не подходя как средний по возрасту в нашей пятерке ни к младшим, ни к старшим. Устраивают что-то для малышей — ему говорят: «Ты уже большой». А когда старшие идут в театр или на вечеринку, ему опять от ворот поворот: «Подрасти чуток, ты еще маленький». Так получалось, что я — с Виталием, Вера — с Толей, а Женя все больше один да один. Тогда мы как-то не замечали этого, а сейчас думаю об этом с грустью. Даже фотографий его почти не сохранилось: одна очень мелкая (групповая), другая — не очень удачная…

Разные вспоминаются случаи, связанные с хутором. Однажды весной, в половодье, Толя нашел какую-то дверь, оторвавшуюся от сарая, спустил ее на воду на манер плота и — в компании, конечно, с Верой — устроил плавание по образовавшемуся в лесочке озеру: шестами-палками отталкиваются оба от дна и гоняют по этому разливу. Я, помню, приехал из города как раз в тот момент, когда мама шуганула их, вымокших до нитки, и хотела нашлепать для острастки хотя бы одного, она гонялась за Верой и, трижды обежав вокруг дома, так и не догнала. Рассказав мне все это, она рассмеялась:

— Раз в жизни думала Верку отшлепать, и то не удалось! Ну она хоть согрелась, наверное бегаючи, так авось не простудится. А Толя на сеновал удрал. Зови их чай пить скорей.

Я пробовал впечатления от хутора воплотить в повесть «Золотой Клин», рассказал о хуторе в повести «Синяя говядина». А все мне кажется, что я еще ничего о нем не рассказал. Да и возможно ли все о нем рассказать, если это неисчерпаемо

много? Легче было выкачать всю воду из нашего колодца, а мы в дни больших поливок это делали, причем поливка производилась вечером, после захода солнца, чтобы растения вдосталь напились и вода не испарилась, вся пошла на благо кочанов капусты, кустов помидоров, участков виктории (так в Уфе называли садовую клубнику в отличие от полевой). Тяжелая это работа, да еще одолевают комары, а руки заняты, в каждой по ведру или ведерной лейке. И все бегом, и все слышен голос отца, отец организовал этот поливочный аврал, подбадривает нас, работает сам и досадует, что вот-вот вычерпаем весь колодец: столько народу, что можно бы еще поливать и поливать, а как это необходимо в такие жаркие засушливые дни.

И овощи, и ягоды — все, что мы выращивали, было лучших сортов. Отец выписывал журналы, справочники, а затем выбирал из рекомендуемых сортов наиболее его привлекавшие. И вот что получалось: если нам приходилось случайно попробовать чужие, не свои овощи и ягоды, мы их не могли есть, настолько они по вкусу были хуже наших. И я часто раздумываю: а почему за полвека существования советского сельского хозяйства не истреблены дрянные дубовые яблоки, плохая картошка, свекла, морковь и во всей стране не выращиваются наилучшие сорта, чтобы мы даже забыли о том, что бывают несъедобные помидоры, безвкусные деревянные груши… Или арбузы. Я родом из арбузных мест и никогда даже не пробовал неспелого зеленого арбуза, — помилуйте, кто бы привез на базар плохие арбузы? А сейчас каждую осень привозят в Ленинград абсолютно непригодные для еды арбузы, — и сотни, сотни вагонов. Одни, купив и попробовав, выбрасывают товар на помойку. Другие съедают с грехом пополам, приговаривая, что «все-таки сок»… «все-таки полезно для почек»… Я надеюсь, что когда-нибудь это заметят те, кому следует заметить, и примут меры. Брак следует возвращать и наказывать негодяев-обманщиков, которые знают только вес, а качество их не интересует. И лучшим наказанием, по-моему, было бы — заставить их же и пользоваться своим недоброкачественным товаром, не давая им другого: пусть бракоделы-мебельщики сами же сидят и спят на своих уродах-стульях и кроватях, пусть горе-заготовители сами же и едят тот мордоворот, который они сбывают нам, покупателям, да еще по той же цене, что и первосортный продукт. А между

прочим, до революции, раскрошившиеся кусочки, скажем, копченой рыбы, по вкусу такого же качества, как и цельные, добротные куски, продавались за полцены, как и обрезки сыра, колбасы, как и оставшиеся лоскуты ткани. И это естественно, это нормально, так и должно быть!

Нет, у нас на хуторе все было вкуснейшим, отборным! Съешь красавец-помидор, так во рту потом целый час приятное воспоминание, а рука так и тянется за вторым.

Между прочим, как это ни странно, помидоры в те времена в некоторых деревнях Приуралья не выращивали и даже сроду их не видели. С первых же дней, как мы расположились на хуторе, к нам стали приходить крестьяне из соседних деревень и сел. Приходили какие-то настороженные, как будто входили в клетку льва. Здоровались. Тоже сдержанно. Слово за слово, разговорившись, оценив уважительное к ним отношение, слушали рассказы отца о сортах малины, земляники, овощей… Показывал им отец особую машинку, которая быстро и просто изготовляет из навоза, смешанного с землей, баночки для рассаживания огурцов и любой рассады. Такую машинку отец выписал через Земство. Стоила такая машинка, как я узнал из писем дяди Володи, 2 рубля 25 копеек.

Я видел, как наши гости косятся на тарелку, полную спелых сортовых помидор. Косятся, но ни один не желает показать себя неучем, дураком и не спрашивает, что это за штука.

Отец сначала не понял, что помидоров они вообще не видывали. Он думал, их занимает, что это за сорт и каковы они на вкус. Отец назвал сорт и предложил им попробовать, тут же потребовав уксус, соль, лук, сметану, хлеб, тарелки и вилки.

Мужики присматривались, не вышучивает ли их приезжий учитель: разве ЭТО едят?

— Да вы садитесь, дорогие гости, в ногах правды нет.

— Да уж чево уж… садиться-то… Нам ведь и недосуг. Так, идем мимо — дай, думаем, заглянем, значит, познакомиться с учителем, ведь оно получается, что соседи мы…

Между тем отец наложил в тарелки по нескольку кусочков помидоров, приправленных перчиком, уксусом, репчатым луком, а в своей тарелке залил все сметаной.

— На мой вкус, — объяснял отец, как бы совершенно не замечая ни замешательства, ни недоверия мужиков, — вот эти

хороши. Вы не смотрите, что они желтые, это не значит, что не дозрели, это сорт такой. Некоторые не любят со сметаной, а едят просто с солью, — кто как. А я вот с лучком да с уксусом… Вкуснота! Говорят, что уксус со сметаной несовместимы, а у меня так очень совместимы, я и пельмени так ем — и с уксусом, и со сметаной.

Видя, что отец ест и похваливает, один из мужиков — рослый такой великан, черный и видать сильный, даже стесняется своей силищи — крякнул, махнул этак рукой, дескать, где наша не пропадала, и, как будто собирался на кулачки схватиться, сказал:

— Давай!

Сел на табуретку — а весь этот разговор шел во дворе, в тенечке, перед нашим сараем, где всегда стоял стол и были чурбаки вместо стульев да табуретки, а подальше, возле лесочка, отец смастерил печурку и сколотил самодельный нехитрый стол, врытый в землю, там мама с Любочкой часто кухарила на вольном воздухе, — сел и, неуклюже ковырнув вилкой, подцепил кусочек желтого помидора и осторожно откусил от него. Все остальные мужики испытующе смотрели на него.

— А что? — сказал великан. — Огурец не огурец, яблоко не яблоко, а как бы это сказать… Скусно!

— Скажи ты! — удивился самый невидный из всех, но, видать, весельчак и балагур. — И ничего?

— Да ты не жмись, Арсентий, — несколько пренебрежительно цыкнул на него великан. — Боисся — отрависся и помрешь? Невелика потеря.

— Я это боюсь? Да я, Иван, поди давно истратил все боялки, остались одни наплевалки.

И тут Арсентий юркнул за стол, бойко придвинул к себе тарелку, взял кусок хлеба, перекрестил лоб и стал за обе щеки уплетать помидоры.

— Конечно, это не пища, — ораторствовал отец, — это приправа к мясному. Например, к телятине, к котлетам…

— Прохаживались по котлетам, да, кажись, прошлым летом, — прожевав и проглотив, нараспев отозвался Арсентий.

— Пошел! Теперя не остановишь! — хохотнул великан.

— Нам останавливаться нельзя, — отозвался Арсентий. — За остановки не погладят по головке.

Мужики обернулись к отцу:

— Он у нас такой, не обращайте внимания.

— Да нешто. С него что взять — голь перекатная.

Арсентий не обижался, да и они говорили о нем всякое, но, похоже, с любовью и не то с жалостью, не то с сочувствием. Этот Арсентий потом к нам больше всех прибился. Он как раз и повел отца с дядей Володей и стал обсуждать, как болотце лесное осушить, куда воду отвести. И по его совету канаву вырыли. Этого оказалось мало, понадобилось еще проредить лесок, убрав сорняк, всякую дрянь, непролазные кусты, давши ветру пронизывать наш лесок насквозь. Болото исчезло, комаров стало меньше, лесочек в рост пошел. А через год и трава там другая пошла, не болотная.

Ближе всех к нам была деревня Каловка. И речушка возле деревни тоже называлась таким неблагозвучным именем. Деревня, или поселок, не знаю, как правильнее назвать, была невелика, дворов на десять-двенадцать. Но жили в той деревне ладно, даже, я бы сказал, богато, — в отличие от Курочкиной, где в основном обитали бобыли да безлошадники, вроде вот этого Арсентия. Мы в Каловке и молоко покупали, и сметану, и яйца. Каловские хозяйки не дешевили, цену держали, зато продукты у них были на удивление: молоко вкусное, неснятое, выпил стакан — второй просишь налить; сметана такая густая — хоть на хлеб, как масло, намазывай. Должно быть, и куры у каловцев были особенные: яйца они несли крупные, с белейшей скорлупой. С той поры и по сей день я лаком до яичек всмятку, омлета, драчены да и простейшей глазуньи. Люблю, грешник, яйца! Как Наташа скажет, что завтрак будет яичный, так у меня праздник.

После первого посещения деревенских соседей прошло несколько дней. Смотрим — шагает к нам великан Иван, житель села Богородского. На этот раз один, без приятелей. Мы встретили Ивана радостно: коли пришел второй раз, значит, нашел у нас что-то занятное, значит, что-то задело его богатырское сердце.

Отец прежде всего предложил:

— Что ж, давайте, как положено, знакомиться. Вас, я слышал, Иваном зовут? А по отчеству?

— Иван я. Да. Иван, значит, Хворостинов.

— А по отчеству-то как? — повторил отец вопрос. — Батюшку вашего как звали?

— Отца-то? — почему-то не очень охотно произнес Иван. — Кузьма он.

— Вот теперь и познакомились, уважаемый Иван Кузьмич. Вы из Богородского? А меня зовут Дмитрий Никанорович. Учитель я, вы знаете. А вон возле лесочка варенье варит — это моя супруга Клавдия Витальевна. А вот этот рослый парень — мой старший сын Борис. Их у меня пятеро, детей-то. Не сразу, пожалуй, а будем встречаться — всех узнаете, даже наших собак. Вот этого черного, как черт, пса Мильтоном зовут. А маленький, беленький — это Бимка. Мильтон уже старый, заслуженный пес, на вас, видите, не лаял, запомнил, что вы у нас были. А Бим тут к нам прибился. Пришел, все обнюхал, одобрил и стал жить. Сам нас в хозяева выбрал. Пустолайка. А вас тоже не облаял, даже удивительно.

— Меня собаки уважают. Они хилых не любят, которые не собранные. А тут чуют, что человек сурьезный, шутить не любит.

— А вы не любите шутить?

— Когда как.

Слово за слово завязался разговор. Но чувствовалось, что у Ивана Кузьмича есть заделье, только не сразу он приступает к главному. Расспросил про огурцы, про редиску…

— Лошадь, слыхал, купили?

— Немудрящую, да для нашего хозяйства сойдет…

Вот тут Иван Кузьмич нашел наконец удобным коснуться главного, для чего пришел:

— Рассаду-то, Митрий Никанорыч, штучно продаете или как?

— Рассаду? — растерялся отец. — То есть что вы имеете в виду?

— Эти, как их… помидоры, что ли? Я бы, пожалуй, не прочь бы испытать, отвел бы для них грядку. Спробовать.

— Ах, помидоры! — страшно обрадовался отец. — Отлично! Спасибо скажете! А рассады — вон ее сколько, берите, Иван Кузьмич, ни копейки с вас не возьму.

Вспоминая эту сцену, я, прикидывая все обстоятельства дела, считаю, что отец допустил ошибку: надо было какую-

никакую, но назначить на рассаду цену. По-моему, уважения больше было бы. А если бесплатно, так не подумал бы Иван Кузьмич, что здесь есть какой-то подвох. Чего это так? Бесплатно? Несолидно выглядит. Я видел тогда, что Ивана Кузьмича это поколебало. Но отец, видимо, понял, что поступил неправильно, и внес коррективу:

— Ведь вы говорите, Иван Кузьмич, что для пробы посадите грядку? За пробу я ничего не возьму, а то вдруг не понравится. Вот когда опробуете да решите по-настоящему помидоры разводить, тогда и о цене потолкуем.

— Ладно, коли так, — сразу размяк и согласился Иван Кузьмич.

И отец потащил его забирать рассаду, пока тот не раздумал. Причем выбирал самые крупные кусты, потому что какая рассада, когда июль на пороге, раньше надо было думать. Но хотелось отцу привить эту новую культуру на селе, надеялся, что к сентябрю у Ивана Кузьмича что-то образуется, если сделает все, как надо.

Прошел месяц, если не больше, мы и забыли про богородского великана-богатыря. И вдруг — приходит. Да чем-то расстроенный, даже поздороваться позабыл.

— Повыдергали все, Митрий Никанорыч, созоровали…

— Что? Помидоры повыдергали?

— Ну да. Есть у нас на селе шептуны да ненавистники, что ни год, второе пришествие предсказывают. Они сразу загалдели, как я рассаду принес: «Сгинь! Тьфу-тьфу- тьфу! Это от нечистой силы! И дух-то какой от твоих кустов идет… Смотри, Иван! Поостерегись, Иван!» В общем и целом они, конечно, меня боятся, видели, как я подковы гну, как железную палку узлом завязываю. Предупредил я их, конечно, грядку хорошо ухоженную отвел. Сам поливал, и все, как вы наказывали, делал. Мать-то у меня, конешное дело, что она? Только что пироги на славу делает, а насчет там умственности — ни бум-бум. Вижу, недовольна, губы поджимает, а так молчит. Тем временем помидоры и цвет набрали и, гляжу, наклевываются, наклевываются…

Иван Кузьмич помолчал. А на лице его, видим, как туча прошла, аж судорога, как молния, по скулам пробежала.

— А вчерась, — заговорил он совсем другим голосом, —

сплю я и чую: что-то неладно… А я в чуланчике сплю, для прохлаждения. И сразу как ударило: а ведь это стервецы паскудят! Выскочил, как был, в исподнем, — вижу: трое. Только глянули на меня — и деру. Одного пымал. Убивать негоже, я его только поперек ухватил и через забор к Нефедовым забросил. К соседям, значит. Ихний он, Андрюшка. Говорят, не помер, однако лежит, помяло его. А грядка вся вытоптана, все кусточки повыдерганы. А на них, смотрю, уже розовенькие клубочки кажутся… Э-эх!

Успокаивали мы его, потом чаем поили со свежим вареньем. И на этот раз как-то хорошо познакомились, другом он нам стал. И мы его оценили. На следующую весну продали ему рассады по копейке за куст, он не торговался. Никак, десять гряд отвел под помидоры. А на селе долго не рассусоливал, пообещал только, что ежели что — убьет. И вырастил он помидоры. А еще через год в нескольких селах их растили. Женщины приходили, советовались, как, мол, на зиму, нешто солить их, али пригожее моченые делать. Мама уговаривала мариновать, предлагала сама прийти показывать. И с той поры знакомства у нас пошли и дружба. Только Ивана Хворостинова убило в четырнадцатом на германском фронте, недолго подружили.

В Курочкиной жил Николай Иванович Ключарев, пчелами он занимался. Два его взрослых сына пошли во флот. Так что дома только он да жена его Анна Васильевна.

— Как от берега отчалили, — так и поминай как звали, — горевал Николай Иванович о сыновьях. — Не то чтобы от нас отвернулись, этого нет, приедут — не нарадуются, только и слышно: «папаня» да «маманя». Поживут, порадуют нас, а как уедут — все, опять все глаза проглядишь ждамши. Такая у них служба. Письма приходят — мать родная! — то с Канарских островов, то из Риги, то из Гельсингфорса, и уж не знаю откуда еще.

Помолчит-помолчит и добавит:

— Удивительно жизнь человеческая устроена. Нет чтобы семьей, вместях… А не то для чего и семья? Так словно нарочно все еле склеено, чуть ветерок — и полетели во все стороны. Не жизнь, а землетрясение, а ей-богу правда.

Очень интересно с ним разговаривать. А отец к нему ходил главным образом о пчелах потолковать. Новая фантазия у отца:

у себя ульи поставить. Только эта его затея так и не состоялась.

Нас — молодежь — Ключаревы очень к себе зазывали, а мы стеснялись: неловко как-то, если бы хоть у них наши ровесники были, а так-то ведь ничего не получится. И все-таки надумали разок сходить. У нас как раз Саша Федоров гостил, вот мы втроем и отправились: я, Виталий и Саша. Прямиком — полями.

Встретили нас с шумным ликованием. Оба засуетились, захлопотали. Николай Иванович сразу в погреб побежал, Анна Васильевна выволокла из сундука новешенькую скатерть и постлала ее на стол. Мы в смущении толпимся, чего-то дурацки хихикаем, Виталий старается светский разговор организовать, спрашивает, сколько ульев у них, сколько меду дают в год и всякое другое.

— Ульев-то? — на ходу переспрашивает Анна Васильевна. — У нас-то? Мно-ого. Сколько меду получаем? А чтобы не соврать, во какие кадушки! — показывает, широко разведя руки, и смеется добродушно.

Виталий пыжится, чтобы серьезная беседа вышла, а она его сбивает, сбивает. И хохочет-заливается. Им что радостно: хоть не свои, не родные дети, а все равно приятно молодых людей за стол усадить, попотчевать.

Виталий все-таки добился своего, вызвал Николая Ивановича на серьезный разговор. Ключарев рассказал нам о себе и рассказал, чего мы не знали: оказывается, он сельским учителем был, поцапался с начальством, ушел и вот — своим хозяйством занялся, и ничуть не жалеет о прошлой работе.

— С той поры только и живем как люди, — молодцевато закончил он. — И с женушкой неразлучны, и весело нам, и в достатке век свой доживаем, небось не на учителевом жалованье. Ведь так, Анюта? Правильно говорю?

— Расхвастался очень.

— А зачем прибедняться? Живем — хлеб жуем, чужой век не заедаем, милостыню не просим.

— Этого не хватало!

Подхватили и мы непринужденный, шутливый тон. Рассказали о гимназии, о нашей ненависти к этому стоячему болоту и что прозвище наше — «синяя говядина»: это у нас синие фуражки с белым кантом и кокардой в виде двух листиков. Анна

Васильевна и Николай Иванович слушали нас с удовольствием и смеялись, какие клички мы даем учителям: латинист — Вобла, инспектор — Крыса, преподаватель немецкого языка — Шкалик.

Тем временем на столе появилось незатейливое, но вкусное и красивое угощенье: Анна Васильевна принесла большую миску прозрачного золотого меду, нарезала ломтями свежий, только что с пода хлеб — такой аппетитный, пышный, что у нас сразу слюнки потекли. И ложки деревянные Анна Васильевна подала. И стаканы. А Николай Иванович притащил, должно быть, тяжелый жбан, от которого веяло погребом, прохладой и сладостью.

— Нашего медового кваску отведайте! — промолвила Анна Васильевна, наполняя стаканы. И видно было, что большое наслаждение доставляет ей угощать нас, приветствовать, смотреть, с каким аппетитом мы принялись за дело.

Хлеба пришлось еще подрезать, стаканы еще и еще раз наполнить. Медовый квасок, холодный, сладкий, ароматный, пришелся нам по душе, и мы не заметили лукавой улыбки на лице хозяюшки. Квасок-то был, оказывается, крепкий да хмельной. Всегда молчаливый Саша Федоров стал непрерывно что-то болтать. Виталий напускал на себя важность и рассуждал о прелестях сельской жизни, о питательности меда, о значении просвещения… Но язык чем дальше, тем решительней отказывал ему.

— Какие вы забавные да хорошие под хмельком! — слушала наши бессвязные речи Анна Васильевна, радуясь, что хорошо угостила гостей.

— Под хмельком? — удивился Виталий. — Это кто, интересно знать, под хмельком? Не мы ли? Милостивая государыня Анна Васильевна, уверяю вас, что у меня, возьмем к примеру, ни в одном глазу! Саня! А ты как, дорогой друг?

Тут он неосторожно слишком круто повернулся к Саше Федорову и недвусмысленно покачнулся. Саша подхватил его под руку, и тут мы поняли, что нам пора. Стали прощаться. А Виталий даже пытался поцеловать ручку Анне Васильевне.

Как только вышли мы на широкую деревенскую улицу, да как пахнуло на нас вольным, нагретым солнцем ветерком, — сразу почувствовали мы, что с этим обманчивым медовым

кваском шутки плохи. Ноги наши плохо нам повиновались, избы подмигивали нам окошками и будто слегка приплясывали. Было чертовски весело на душе, охватывало какое-то умиление, какая-то нежность и к домам, и к овсяным полям, и ко всему человечеству. Особенно забрало Виталия, мы с Сашей буквально волочили его через поскотину, через поляны и рощицы.

Слава тебе, Господи, вот и наш хутор. Ворота давно слезли с петель, избоченились, накренились и теперь никогда не закрывались: входите, люди добрые, милости просим. На хуторе мы застали сонное царство: всех разморила жара, все попрятались в более или менее прохладные места и крепко спали — кто где. Хотя в этом не было надобности, но мы почему-то крадучись, на цыпочках стали пробираться к сеновалу, причем Виталий комически грозил нам пальцем: «Т-с-с!»… Лестницу на сеновал он дважды брал приступом и наконец преодолел препятствие. За ним последовали и мы. И тут почувствовали, что можем ослабить мускулы и не требовать от себя твердой осанки.

Свежее сено одурманивало терпкими запахами клевера, кашки, мышиного горошка. Мы рухнули в него и сразу же уснули. Правда, Виталий пытался произнести речь о пользе пчеловодства, способного поднять благосостояние России на небывалую высоту, но дальше первых бессвязных восклицаний дело у него не пошло.

Проснулись мы затемно и всем телом ощутили, что на землю опрокинулась вечерняя прохлада.

Тут стали просыпаться по всем закоулкам, а на хуторе всегда было людно и всегда кто-нибудь гостил. Каждого приезжего сперва кормили, поили солодовым квасом или горячим чаем с вареньем, а затем показывали на огромное поле, засаженное отборными сортовыми породами виктории: «Паситесь». Для особых гурманов добавляли: «Обогните этот лесок — там плантация челакаевской земляники, попробуйте, верх изыска!»

Две курсистки — Соня в пенсне и Валентина Филипповна в пенсне — гостили все лето. Один раз приехала моя двоюродная сестра Вера со своей норовистой мамой. Это — семейство дяди Вани, Ивана Никаноровича Четверикова, полковника, убитого в войну с Японией в 1904 году. От моей кузины, ми-

ловидной, рослой девушки, всегда пахло касторовым маслом: мамочка заботилась о росте волос своей единственной дочки и ежедневно смазывала ей корни волос касторкой, разведенной спиртом. Что удивляло меня — у Веры и без того были отличные русые косы. Но мамочка, видно, готовила для выдачи замуж товар экстракласс. Когда мы с кузиной отправлялись погулять по окрестностям, я старался идти с подветренной стороны, чтобы относило этот въедливый запах, сразу напоминающий о неприятных процедурах при расстройстве желудка.

Виталий привозил на хутор своих товарищей — футболистов, гимнастов, мускулистых пареньков. Даже к Жене однажды прикатил из города голубоглазый, как и сам Евгений, мальчуган.

Можно представить, в какое отчаяние приводила отца эта отнюдь не расположенная стесняться разноликая орава. Отец запрещал разводить на хуторе кур — так опасался потравы. Но может ли курица идти в сравнение с краснощеким футболистом? Да и курсистки, даром что малокровные, тоже обладали феноменальным аппетитом. Обитатели хутора громко говорили, много смеялись, пели хором «За Доном гуляет», «Пошел купаться Виверлей»… и истребляли отцовский урожай то прямо с гряд, то уже собранные овощи и ягоды. Особенный жор был, конечно, на клубнику (так и хочется назвать ее по-уфимски викторией). Все прямо-таки объедались ею, запивая молоком. Некоторые увозили ягоды и с собой — корзиночками. Убыток от этого, мне кажется, не был велик. Ягод у нас вызревала прорва. Мне особенно запомнился сорт «шарплес» — крупные, темно-красные, сочные ягоды чуть продолговатой формы и с какими-то налитыми неровностями, что делало ягоду еще красивее и соблазнительнее.

Отец редко присоединялся к разудалой компании этаких безмятежных дачников. Он молчал, но хмурился и уходил спать в свой чуланчик, с окошечком прямо на кусты красной и белой смородины. Я удивлялся недовольству отца: «Что ему, жалко, что ли? Полно же всего, чего он жадничает!» Отца действительно редко удавалось видеть довольным и веселым. Хутором, правда, он очень увлекался, много труда положил на то, чтобы наладить там образцовое хозяйство. Но в замысле своем был горько разочарован: получилась не трудовая коммуна, а при-

ют для бездельников и дармоедов. Вот отчего он хмурился, как я понимаю теперь. Не от жадности, а от обиды: есть все горазды, а на работу охотников нет.

Сам отец очень много работал. Когда ни посмотришь — на грядках. И обычно около него копошилась одна Вера-Верулеточка, как отец называл свою единственную обожаемую дочурку. Они были обоюдно привязаны друг к другу — старый да малый, и на прополке обычно пыхтели вместе, а рядом с ними дымила в старой худой лейке головешка — от комаров. Так и вижу эту картину — две фигурки среди ягодного поля, и отец что-то показывает, объясняет Вере, страсть как довольный не столько ее помощью, сколько самим присутствием этой козявки около него. Больше всего отец и страдал именно от дачных настроений детей. Нет бы помочь, работы всегда невпроворот, а у всех расположение духа отнюдь не рабочее, а сплошь отдыхательное, и мать-потатчица их оправдывает: устали за зиму, зачахли, пусть отдышатся-отоспятся… Баловство!

Комментарии

1. «Смерть Азы» Грига — Вероятно, имеется в виду «Смерть Озе», 2-я часть сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Понт» Э. Грига.

2. …с «Историей философии» Фурье. — Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837), французский утопический социалист.

3. Сокольская гимнастика (полное название — Сокольская система физического воспитания) — всестороннее физическое развитие, эстетическое и нравственное воспитание с помощью гимнастических упражнений. Создана в Чехословакии доктором М. Тыршем в 1861–1881 гг.

4. Андреев Василий Иванович (1903–1997), бывший уфимский гимназист, в 30-е гг. преподаватель физики и математики Казанского кооперативного техникума, в 50–70-е — доцент и зав. кафедрой физики и электротехники Казанского инженерно-строительного института.

5. Овидий Назон Публий (43 г. до н.э. — ок. 18 г.н.э.), Вергилий, Публий Вергилий Марон (70 г. до н.э. — 19 г. до н.э.) — крупнейшие римские поэты, оказавшие большое влияние на дальнейшее развитие мировой поэзии.

6. Забелин Иван Егорович (1820–1908/1909), историк и археo-

лог, член-корреспондент (1884), почетный член Петербургской АН (1907). Большое внимание уделял изучению истории русского быта: «Домашний быт русского народа в 16–17 столетиях», т. 1 — «Домашний быт русских царей»; т. 2 — «Домашний быт русских цариц» (1862–1869); «История русской жизни с древнейших времен» (ч. 1–2, 1876–1879; 2-е изд., 1908–1912). Труды Забелина, богатые фактическим материалом, — крупный вклад в разработку истории материальной культуры, быта, археологии.

7. Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург; автор сатирических стихов, которому было свойственно стремление к сенсационности, «несложность идей», торопливость — «бегом через жизнь, не давая ее углубленной трактовки» (А. Измайлов).

Впрочем, пусть и не так часто, но отцу удавалось все же вовлечь всех присутствующих в аврал — на обширную поливку. Для колодца он вскоре приспособил насос, стало легче доставать воду, а поливать приходилось много, и работали мы на поливке, когда включались в это дело, до седьмого пота.

Я не знаю, может быть, для нас, подростков, было тяжеловато таскать полные ведра на дальние участки. Но и радость доставляло это занятие, все даже удивлялись потом: какое это, оказывается, удовольствие — работать! У меня запечатлелось в памяти и журчание, плеск воды, и погромыхивание ведер и леек, и назойливый писк комаров. Вероятно, именно во время таких поливок я понял то, что знала всю жизнь Прасковья Ивановна Ермакова, героиня одного из моих романов: что у капустной рассады и уши есть, она слышит, и глаза есть, она видит, и душа есть, надо только самому увидеть, как радуется и морковь, и капуста, и клубника, и каждое-каждое растение, когда ты ему, задыхающемуся от зноя, от пересохшей, потрескавшейся земли, принесешь воды, колодезной, хрустально-прозрачной, благостной, утоляющей жажду. Как благодарно смотрит на вас каждый кустик в своей лунке, каждый лист свеклы с его нежными лиловыми прожилками, даже счастливец-огурец, на который попала прохладная струя воды! Он улыбается, блестит, красуется — милый, добрый огурец! Как становится в этот момент понятно, что едино, созвучно все живое, что нет старших и младших братьев, и не будем спорить, кто благо-

роднее — конь или человек. А деревья! Почему-то мы редко задумываемся, какая это драгоценность — деревья. У меня лично религиозное, языческое преклонение перед этими добрыми существами, щедро дарующими нам жизнь. Впрочем, я вообще язычник. Только без человеческих жертвоприношений.

Да, конечно, хутор был школой, и в этой школе преподавался отнюдь не один только предмет — физкультура, нет, программа этой школы была обширна, а профессорский состав очень пестр: ректор — лес, учителя — Арсентий из деревни Курочкиной, Иван Кузьмич Хворостинов из села Богородского, Николай Иванович Ключарев, пчеловод, Анна Васильевна, мастерица делать медовую кислушку… Еще кто? Чувствую, что не в силах перечислить весь педагогический состав этой Зеленой Академии. Даже черный пес Мильтон добросовестно прочел нам свой полный курс честности и преданности, затем состарился и умер. Мы горько плакали. Похоронили его в дальнем лесочке, где был незадолго до этого погребен и Бимка, который трагически попал под поезд, заметавшись между ребятами, уже перешедшими железнодорожный путь, и теми, кто был еще по эту сторону дороги. (Мильтон после этого яростно, до хрипоты облаивал каждый проходящий мимо поезд.) Могилы Мильтона и Бима, как и вообще все могилы, были со временем потеряны, заровнены, застроены какими-то зданиями.

Да разве Бим и Мильтон составляют какое-то исключение из правил? Мы, живущие, походим на тех древних славян, которые справляли тризну на могильных курганах. Они возлежали на заросшем травой холме, пили вино, закусывали, вспоминали о славных подвигах погребенных здесь людей, слушали вещие сказания и струны звонкие Бояна… Что скрывать — мы живем на пластах плодородной, удобренной телами предков земли, чтобы со временем образовать новый ее пласт, ничуть не хуже предыдущего. И когда я смотрю на цветущие, густо заросшие травой луга, в моем представлении вырисовывается такой же густо заросший клин — человечество. И я говорю: пусть оно цветет и кустится возможно богаче и возможно нарядней. Как только сумеет.

Вот некоторые умения, которые мне преподал невзрачный мужичонка Арсентий, причем без профессорской помпы, без назидательных вступительных слов, так, вроде бы мимоходом.

Он научил меня слышать то, что слышно, но почему-то не улавливается многими людьми, особенно горожанами. Оказывается, слышно, как перекликаются полевые мыши, шныряя в траве. Оказывается, слышно, как режут в полете воздух крылья птиц, и можно по этому признаку различить, какая птица пролетела, даже если ты не увидел ее. Оказывается, слышно, как на заре раскрываются назревшие бутоны полевых цветов, слышно, как шуршит ящерица по камням и песку, слышно издалека, как надвигается ливень… И множество других, как будто неуловимых звуков заполняют мир. Научиться слышать — значит как бы войти в царство живых, приобщиться к порядкам, нравам, навыкам всего сущего в природе.

— Слыхал? — таинственно спрашивал Арсентий. — Это медуница, лесная пчела пролетела. — Арсентий смеялся счастливым смехом: — Тяжело летит. Набрала цветочных соков свыше меры, дуреха.

Он же научил меня различать запахи, ими всегда наполнен деревенский воздух. Конечно, береза пахнет не так, как осина. А запах вереска? Запах спелой ржи? Надо научиться (именно научиться!) распознавать тончайшие оттенки ароматов, научиться пользоваться носом — как и ушами, глазами, языком — всем, что у вас есть. Видеть, обонять, слышать — значит включиться в окружающее, значит узнать о многом, чего раньше не замечал, стать побратимом травам, кустам, птицам и зверюшкам, облакам и ветрам, молниям и солнцепеку.

— Не корми собаку горячим — потеряет нюх, — остановил меня Арсентий, когда я хотел поделиться с Мильтоном горячим мясным пирожком.

С этого и начался курс преподавания. Оказывается, издалека можно унюхать, что впереди река. Оказывается, вечером можно учуять далекую грозу. Ее пока не видно и не слышно, однако остерегайся завтра поутру забираться куда-нибудь далеко, в места, где негде от грозы укрыться.

И вот я стал каждый вечер предсказывать погоду.

— Дождь? — насмехался Виталий. — Ну какой может быть дождь, когда солнце не село в синюю пелену, когда в небе ни-ни, ни тебе облачка, ни хоть малюсенькой дымки.

Я снова отходил от всех в сторону, слушал, принюхивался, вглядывался и возвещал:

— Будет дождь! Вот посмотрите: будет! Да вы послушайте, как лягушки надрываются! Валентина Филипповна, вы завтра в город собираетесь? Не забудьте взять зонт!

Один отец понимал меня. Он тоже умел предсказывать, предчувствовать дождь и был рад, что я научился этому. Нет, это не знахарство, не колдовство. Это наука.

Сколько удивительных вещей я узнал от Мильтона! Теперь я понял, почему собака, если признает человека достойным ее дружбы, возьмет да незаметно лизнет у него руку. Это все равно что заполнить анкету или получить отпечатки пальцев: человек этот навечно записан в картотеку Мильтона. Через год, через пять лет Мильтон сразу узнает его и сразу отнесется к нему с доверием: свой.

Мне многие живые существа нравятся и вызывают мой пристальный взгляд. Я все больше убеждаюсь: чем ближе человек знакомится с обыкновенным, тем оно необыкновеннее выглядит. Корову мне жалко. Она, пожалуй, из всех, кого бесцеремонно держит при себе на свою утеху человек, самая обездоленная. Ну что она видит? Какие радости украшают ее дни? Ей дают корм, она перерабатывает его в молоко, молоко доят, а ей опять дают корм. Ни попрыгать, как козел, ни полаять на проезжую трехтонку, как собака, ни пробежаться рысцой по зимней дороге, как лошадь. Стойло, корм, доение. Стойло, корм, доение. Однако приглядитесь — и у этой рогатой скотины есть светлые минуты и огорчения, есть привязанности, есть свой норов. К нашей Вере как-то на хуторе пристал поросенок: ходит и ходит за ней, как щенок. Она собирает ягоды — и он, встав на задние ножки, тоже рядышком ест с нижних веток смородину. Она ляжет спать — и он ложится на полу рядом с кроватью и спит, смешно похрюкивая. Вера назвала его Диком, и дружба у них была удивительная, даже Бим ревновал. Потом нашлась его хозяйка, страшно рада была, что он цел и невредим. Но дело не в этом, а в том, что у поросенка-то обнаружились какие-то не поросячьи повадки, каких мы за ним не знали. Многое, очень многое из того, что у нас под самым носом, мы еще не поняли, не разгадали.

Между прочим, обитатели хутора не только и делали, что ели садовую землянику, запивая ее молоком. Нет, у нас было занятно, у нас были и споры, и обсуждения порою острых во-

просов. Тут и курсистки были заводилами, и приезжавшие летовать учителя, агрономы, студенты. А если бывали содержательные разговоры с крестьянами, то только на особицу — или гуляя между грядами, или стоя где-то далеко, за малинником, возле нашего обветшалого плетня. Это место у нас называлось — «третий лесок».

Наши «лески» нельзя назвать даже рощицами, уж очень они были малы. Но мы любили их. Наши лески. Ничего, что малы. Маланья мала, да Федоту мила. Они нам нравились. Хотя в них даже грибы не росли. Болото-то мы осушили, а все же сыровато было в наших лесочках. Видимо, болото не так просто превратить в цветущий луг, нужно и умение, и время.

Но в общем-то три с половиной десятины «неудобной» земли, которую никто даже на запахал до нашего прихода, на которую никто до нас не позарился, нашими трудами, нашими руками (больше всего, конечно, руками и трудами отца, но, право же, и мы немало там работали и многому научились, мне до сих пор оказывают услугу умения, полученные там, на хуторе) — превратились из первозданной целины в сущий рай.

Щедрое цветение, богатые урожаи, ну да и выручка какая-никакая. Помню, малины мы продали в одно лето на шестьдесят рублей. А ведь к обеду малина с молоком подавалась на всю компанию, малинового варенья заготавливали огромные стеклянные банки, хватало на всю зиму. Ранние огурцы, ранний редис, цветная капуста давали какой-то доход. А поздние овощи даже не имело смысла продавать, слишком низкие цены на них держались на базаре: огурцы шли по восемь копеек сотня, помидоры — по восемь и десять копеек сотня в зависимости от качества и величины, лучшая кочанная капуста — от рубля до полутора рублей за сотню вилков, картошка помельче — восемь копеек, а отборная — пятнадцать копеек пуд.

Эти цены я почерпаю из писем дяди Володи в Уральск. Он любил пускаться в рассуждения на хозяйственные темы, и из его писем я узнал много любопытного, начиная с даты приобретения нашего хутора. Оказывается, это произошло 24 декабря 1910 года, через год с небольшим после нашего приезда в Уфу. Или те же цены. Интересно ведь, какие тогда на все были цены. Вот, например, дядя Володя пишет Саше в 1913 году (он своеобразно ставил всегда дату на своих письмах: *“1913, января*

6-го дня», “1910, декабря 27-го дня» и т.д.):

«…На даче у нас поставлена простая изба, купленная за 65 рублей, но с перевозкой и постановкой обошлась в 160 руб. Теплица обошлась в 100 руб. Два парника завели по 9 рам, вырыли колодец в 6 сажень, обошелся тоже в сто рублей, воды дает всего только 300 ведер в сутки, очень мало. Потом всю усадьбу оградили плетнем, хворосту и кольев пошло рублей на 150, а огораживали сами…»

Вообще он описывает разные приобретения для хутора, о многом я, конечно, не помнил и поэтому радовался, что в его письмах сохранились всякие детали и подробности: *«…Еще завели сарай саженей в 10, только еще крышу не покрыли, крыть будем соломой. Лошадь держим только весной и летом, а в зиму продаем, вот теперь уже третью лошадь будем покупать».*

«…Мы занялись, как говорится, вплотную огородничеством. Плуг завели и борону зигзаг, разделываем землю под огород…»

«…Прошлым летом посадили грядок 15 клубники и земляники, кустов 600 малины, кустов 500 черной смородины, а яблони в здешней местности идут очень плохо…»

«…Нынешний год лошадь оставили в зиму, купили сани городские, и вот я развожу всех за кучера и делаю рамы для парников, стекла покупаем в фотографии…»

Насчет стекол я помню и даже описал это где-то, кажется, в «Золотом Клине»: отец покупал у фотографа негативы в большом количестве, а мы отмывали с них изображения и использовали для остекления парников, это обходилось куда дешевле, чем обыкновенное стекло.

Узнал я из этих писем и о том, что, оказывается, и в Уфе отец участвовал в любительских спектаклях. Правда, может быть, только один случай такого рода и был, описанный дядей Володей, но факт налицо:

«…Для ребят у нас была елка, а большие ребята ставили сами дома водевиль “Денщик подвел” и живую картину из “Демона” с освещением бенгальского огня. Вышло очень недурно, народу было много — гимназистов и гимназисток. Клавдия Витальевна служит в любительском кружке драматического искусства антрепренершей, получает 35 руб. в месяц и сама

участвует в игре. 20 января ставят пьесу “Иван Мироныч». Ивана Мироныча будет исполнять Митя, а его мать — Клавдия Витальевна…»

Что мама всегда и везде была театралкой, об этом я говорил, это в письме дяди Володи для меня не новость, об этом у него есть и еще одно упоминание: “*Клавдия Витальевна подвизается на любительской сцене, играет старух и получает за это 40 руб. в месяц».* Удивила только такая подробность, как мамино антрепренерство, и то, что мама получала жалованье за участие в спектаклях. Думаю даже, что тут дядюшка, мягко говоря, ошибается, чтобы не сказать «врет», у него вообще все моментально переводится на деньги.

Приведу еще характеристики, какие дает нам с Виташей, да и всем остальным, дядя Володя, это касается непосредственно меня, — взгляд, так сказать, со стороны. В одном месте он кратко касается этой темы:

«…Молодые Четверичата оба такие Дон Жуаны, да к тому же очень интересные люди».

А в другом — весьма подробно:

«…Борис и Виталий учатся в VI классе гимназии, способности у обоих большие, но лентяи страшные в отношении учения уроков, а в особенности латыни, больше все читают для развития ума, Борис даже пописывает сочинения и печатает в “Уфимском Вестнике”. Если б только окончили курс в гимназии, могу сказать без преувеличения — выйдут из них хорошие люди, ибо сейчас уже юноши на возрасте, но ума, как говорится, не теряют, не сделались ни пьяницами, ни развратниками, как бывает со многими их возраста молодыми людьми. Оба очень хорошие художники, Борис пейзажист, а Виталий портретист, а также и музыканты, можно сказать, очень хорошие. Способности к музыке имеют большие, у них есть балалайка, гитара, мандолина, скрипка и гармония, собираются купить рояль, но пока еще не хватает средств, ибо рояль минимум стоит рублей 500. Хорошие конькобежцы, только не танцоры, за барышнями ухаживают как настоящие юноши. Недостатки, *какие я в них подметил, то это чересчур уж горды и самолюбивы и к старшим не имеют никакого почтения. Я не указываю это про себя, но вообще они так ко всем взрослым относятся. Евгений учится в 3 классе гимназии,*

учится тоже порядочно, но тоже с ленцой паренек, учится самостоятельно, без репетиторов. Анатолий учился в приходском, но его теперь взяли, и Клавдия Витальевна готовит его сама в гимназию в 1 класс. Человек тоже с гордостью и самолюбием. Верочка учится в гимназии в приготовительном классе, она немного помягче характером, но тоже не лишена гордости и самолюбия».

Это написано в *«1914 году, февраля 3-го дня».*

Ну, и наконец о самом больном — о разрыве моих родителей с дядей Володей. Об этом есть очень большое письмо мамы Саше, на семи сдвоенных почтовых листочках, то есть на 28 (!) страницах. С наивозможными сокращениями, но приведу и его, так как оно дает, по-моему, полное представление об этом конфликте, а конфликт был серьезный и произвел на нас на всех тяжелое впечатление: мы привыкли считать дядю Володю своим и очень переживали его изгнание из семьи.

«…Да, Саша, самую-то главную новость я тебе и не сообщила, — пишет мама 3 сентября 1914 года. — *Дядя Володя от нас уехал, поругавшись с Митей. Старый Вольдемар до старости дожил, а ума не нажил, — дикий человек, не ценящий ни своих выгод, ни хорошего отношения. Надо тебе сказать, что дядя Володя обязан нам очень многим, чуть не жизнью. Раз пять, если не больше, он нас очень здорово подводил, и мы же его выручали из безвыходного положения. Когда-то, помню, по получении наследства, Володя застрял в Одессе, где его, пьяного, обворовали в каком-то притоне и выпустили без одежды, без денег и без паспорта, так что его этапным порядком отправили в Н. Ломов, где он форменно голодал. И вот после его умоляющего письма мы послали ему денег на дорогу и взяли к себе. Затем он уезжал, приезжал снова и снова жил у нас… Историю с капустой на ферме ты, вероятно, помнишь? Он пропил и лошадей, и капусту, и Мите пришлось за все платить пайщикам. Потом последняя история с ним была в Троицке. Митя нашел ему место, поручился за него, а через год мы переехали в Уфу, поручив Володе переправить все наши вещи сюда же из Троицка, где он продолжал служить. Ну и что же? Ждем мы месяц, другой, пишем, спрашиваем — нет вещей и ответа нету. Пишем знакомым, и вот наконец нам сообщают, что Владимир слетел с места, пьянствует, пропил*

казенные деньги 150 рублей, за что привлекается к суду. Можешь представить наше положение: без вещей, да еще Митя поручился за его честность… Ну, кое-как наши вещи переслали наши знакомые, только деньги на пересылку пришлось вновь выслать, так как оставленные 30 или 50 рублей Владимир тоже пропил вместе с казенными. Ну, мы здесь намаялись без вещей и без одежды. Потом, конечно, получаем опять слезное письмо, обращенное ко мне, и в нем Владимир называет себя подлецом, негодяем, словом всячески себя проклинает, говоря, что ему теперь стыдно нам в глаза посмотреть, но что он надеется на мое доброе сердце, на то, что мы простим его, что он готов теперь быть у нас за кухарку, лишь бы только вымолить прощение и хоть немного вознаградить нас за все неприятности. Тут же добавляет, что он голодает, сидит без копейки и даже чай пьет только два раза в неделю, тогда как у нас он привык весь день сидеть за самоварчиком.

Ну, мне, конечно, стало его жаль, стала я убеждать сурового дядю Митю пожалеть старика и взять к себе. Митя в конце концов сменил гнев на милость и под строгим ультиматумом — ни рюмки водки! — разрешил Владимиру приехать опять к нам. Владимир приехал худой, оборванный, ползал на коленях перед нами, прося его простить и клянясь, что теперь в жизни никогда не напьется и не изменит нам — всю жизнь будет для нас работать, чтоб жить с нами… Ну, стали жить. Я было живо сфантазировала, что у меня в доме теперь родственник, добродушный дядя-дедушка, о которых так хорошо пишут в детских книжках. Но вскоре я убедилась, что наш дядя добродушен только до тех пор, пока ни о чем не просишь, а каждая просьба об услуге его или очень сердит, или обещается, но не исполняется, так что моя надежда, что дядя заменит меня в мое отсутствие около ребят, не оправдалась: вечно он про них забудет, и они или без чаю насидятся, или лягут спать в 11 часов, что совсем не полагалось, и еще дядя в моду ввел скармливать ребятам что-нибудь старое, несвежее, вообще пришлось с дядюшкой воевать, а потом оставить его в покое, забыть, что есть в доме замена. Если он и уделит им внимание, то займет их разговорами о пивных, о ресторанах, где он тогда-то и тогда-то кутнул, — совсем неудобные темы для ребят. Затем дядюшка оказался вообще

настоящим барином и ужасно стыдился всякой работы, так что пришлось в этом его прямо воспитывать живым примером: я и Митя не стыдимся никакой работы. Но вот у Мити возникла мысль купить дачу, и там он надеялся приспособить Владимира. Завел теплицу, сделал раннюю посадку томатов, огурцов, капусты и поручил Владимиру доглядывать и поливать. Тут Владимир оказался абсолютно никуда не годным: то засушит, то зальет, то заморозит и т. д. — относился к работе прямо нечестно, ничего не хотел делать, и наша теплица, кроме большого расхода, ничего не давала, только массу огорчений Мите приносила, так как он все наладит, устроит, посадит, даже вырастит, а Владимир одним неосторожным недоглядом враз все испортит. У Мити копилось раздражение против него несколько лет. Выходило так: один как вол работает, а другой все портит. Если поставим на продажу Владимира, то он поедет в город, сбурит по дороге торговкам все за бесценок и, выспавшись, приезжает очень довольный домой, объясняя, что ничего не покупают и приходится отдавать за полцены торговкам. А позднее выяснилось, что он никому и не предлагает и на базаре не стоит и часу. Случится кому-нибудь из нас с ним поехать, настоишь, чтобы он постоял часа 2–3 на базаре — и выручка бывает вдвое больше. Все это нам доказывало, что надеяться на Владимира невозможно и что мы со своей продажей переливаем из пустого в порожнее. <…> Поклявшись никогда не пить, он напивался несколько раз. Как только мы уедем с дачи, так он начинает устраивать попойки. Сначала все это он тщательно скрывал от нас, но потом начали доходить слухи, а раз даже такая история случилась: приезжаем из города, а Владимир встречает весь в синяках, избитый. Оказалось, он устроил сначала у себя попойку, потом пьяный отправился к соседям- крестьянам, там пили, и он пьяный стал нежничать с женой одного крестьянина, тот с товарищами стал бить Владимира, чуть не убили совсем, он зашел куда-то в поле, попал в болото, тут ночевал и на другой день кое-как дотащился до дому. <…> Митя несколько раз за эти 5 лет хотел отправить его искать место, а я все доказывала, что некуда ему, старику, идти и что надо оставить его у себя на всю жизнь, изменив только взгляд на него и сняв с него ответственную работу: просто

смотреть как на сторожа. Всю Страстную и Пасху Митя и старшие ребята всегда уезжали в избушку и работали с 5 ч. утра до 10 ч. ночи, а уже в мае-июне выяснялось, что вся эта работа и все затраты по отоплению из-за Владимира совсем не оправдывались. У Мити руки опускались и создавалось мрачное настроение, а Владимир был весел и доволен. Все-таки за последнее время Владимир научился копаться в земле и хоть не сидел без дела весь день, а то пополет, то облунивает. Но нынешнее лето он не желал работать, только ездил продавать раза 2–3 в неделю. Потом постоянно стал Мите говорить, что он без жалованья больше работать не будет. А как платный работник он никуда не годный: во-первых, ленив, во-вторых, халатен, в-третьих, непорядочен. Его можно было терпеть только как дарового работника и только в силу того, что ему некуда идти. Последний год он стал с Митей до непозволительности груб. И вот нынче в конце лета, когда Митя стал упрекать Владимира, что он не успеет нас проводить, как забудет про работу и устроит пирушку, Владимир стал кричать на весь двор и обругал Митю площадной бранью. Митя попросил его не хулиганить и уходить. Владимир в тот же день ушел от нас, получив 15 рублей и новые сапоги, — и мы остались без «управляющего», как мы шутя его называли. Владимир, очевидно, допился до старческого слабоумия и перестал соображать, даже прямой своей выгоды не сумел взвесить: имел все готовое, теплый угол, хороший, сытный стол, даже без конфет уж чай не стал любить, всегда имел табак, а главное — хорошее к себе отношение от всей нашей семьи. Словом, был одет, обут, сыт, обласкан и жил полным хозяином на даче — чего еще надо безродному старику! Мы во всем смотрели на него как на члена семьи, никакого ни в чем различия не делали, ребятишки всегда были с ним искренно ласковы… Единственно, чего у него не было, это ни пива, ни водки, ни возможности кутить без просыпа, так вот, видно, по этому всему он соскучился, не нагулялся еще и в 50 лет. Старый дурень, теперь опять наголодается и измотается. Сначала мне было жаль его, но я пришла к выводу, что таким, как наш Володя, необходимо время от времени помотаться и поголодать, чтобы научиться ценить блага жизни. <…> Прямо бы жить да радоваться. Мог у нас очень хорошо ско-

ротать жизнь — на ласке, в тепле и уходе, мы так и решили, что он у нас навсегда поселился, а он высказывал прямо наивные и вместе возмутительные мысли, что хорошо бы было, если бы хутор передали ему теперь же. Я и Митя добавляли, что он его теперь же и пропил бы…

Такая-то вот история наша с дядей Володей. А ты было только порадовалась, что он прижился у нас… Вот наголодается да потолкается в поисках работы — тогда горько поплачет об утерянном и будет опять посылать умоляющие письма. По уходе от нас он на другой же день уехал в Казань, откуда написал Виташе, самому ласковому из старших ребят, что он живет "в углу" и ищет места. А работать он ровно нигде не может и не умеет, так что если и найдет место, то продержится недолго. Но пусть его, это ему очень полезно и даже необходимо. Тебе еще он не писал ничего? Интересно, что он будет плести на нас? Он ведь нахал порядочный, когда даст себе волю. Теперь, наверное, будет проситься к тебе или поедет погостить к Инне Сергеевне…»

Дядя Володя в письмах к Саше касается, конечно, этого вопроса, но немногословно и смягчая, разумеется, свою вину:

«…В ведении хозяйства у нас все происходят разные недоразумения и разногласия. Пословица говорит, что два медведя в берлоге не живут. Живу я с ними прямо-таки по безвыходности, а иначе давно бы разошелся». (1913 год)

«…Я до сих пор живу у них без жалованья, из хлебов. С Клавдией Витальевной у нас часто бывают недомолвки, и мы часто с ней ссоримся из-за всякой всячины. С Митей бывает, но очень редко». (Февраль 1914 года)

А вот уже из Казани, 23 августа 1914 года:

«…Что же касается водочки, то я отрицать не могу, изредка выпиваю, но уже не так, как раньше, может, в год раза два или три самое большее. С Митей раздор вышел, собственно, из-за этого, но это было с полгода тому назад, он меня попрекнул, я не стерпел, дальше — больше, и мы рассорились с ним, как говорится, вчистую…»

Насчет же того, что теперь будет Володюшка к Саше проситься, мама как в воду глядела! Уже 1 января 1915 года дядя пишет письмо Саше, из которого явствует, что он мечтает перебраться к ней, то есть опять пристроиться к родне, опять

прилепиться — теперь к семейству другого своего брата, Алексея, такого же выпивохи и забулдыги, как он сам. Дядя Володя сообщает, что работает *«на фабрике Алафузовского торгово-промышленного общества, где изготовляют сумки для патронов, портупеи, шинели и всю военную амуницию для снаряжения солдат на войну»,* что втроем снимает комнату *“с самоваром”»*, еле сводит концы с концами, — и добавляет:

«…Я проживу у них только немного, чтобы накопить на улучшение одежды и на дорогу к вам, а осенью уже переселяюсь к вам в Уральск и всецело займемся садоводством и огородничеством. Караул сада и уход за двигателем и парниками — беру все на себя. Мне уже очень скучно жить без своих, без близких знакомых. Если б дела мои обстояли лучше, я сейчас же бросил бы все и уехал к вам, но как-то совестно ехать ни с чем».

Денег на дорогу он, видимо, не набрал, да и вообще никуда уже не смог поехать, так и умер в Казани в феврале 1916 года, бездомным и одиноким. Я уделил ему столь много места и времени потому, что ведь это тот самый Вольдемар, который куролесил в Ломове, который поджег свое родовое гнездо — дом родителей — ради получения страховки, который довел всем этим до помешательства свою мать… Я рассказывал о нем достаточно подробно и теперь почувствовал потребность, даже необходимость довести до конца рассказ о его печальной судьбе.

Мама очень сочувственно писала о нем Саше:

«Когда умер наш Володя, первая мысль была написать тебе о том, как вдруг стало глубоко жаль нашего несчастного дядюшку. Я с ним больше всех ссорилась, и в то же время у нас были очень искренние хорошие отношения, длинные беседы, часто сопровождаемые неудержимым смехом до слез: дядюшка любил похохотать, а я умела его смешить…»

А еще у Саши сохранилось большое письмо Виталия, «*самого ласкового в нашей семье из детей»,* по словам мамы, — на эту же тему и с кое-какими подробностями:

«…Я знаю о последних днях и смерти дяди Володи. Его квартирная хозяйка, госпожа Москвичева, довольно пространно описала нам все эти факты в своем письме от 26 февраля. По своем приезде в Казань дядя поступил на должность простого сторожа на Алафузовскую фабрику с девятью рублями

месячного жалованья. Лишь после Пасхи он поступил в контору на 20 руб. жалованья, но его зимняя служба не прошла ему даром. Частенько лежал он, прихварывал, но не придавал этому никакого значения. (И в самом деле — за все время, пока он жил еще с нами, он очень редко хворал, и если хворал, то ничем не лечился, но ложился спать, а на другой день вставал здоровым). Перед Рождеством прошлого, 1915 года дядя совсем расхворался. Однако к доктору не обращался. Перед Масленицей дядя слег в постель, и только когда хозяин пригрозил ему пожаловаться брату (то есть моему папе), что он не желает лечиться, дядя поехал к врачу, который определил у него бугорчатку легких. Он прописал ему какие-то дорогие капли, которые дядя стал принимать. Как будто аппетит у него стал улучшаться, но все-таки он не столько ел, сколько просил есть. За неделю до смерти дядя не вставал с постели. Хозяйка пригласила священника, который исповедовал и причастил его. За два дня до смерти хозяйка пригласила доктора, который посоветовал перевезти дядю в больницу, что и сделали в среду 24 февраля утром. На другой день хозяйка пошла навестить дядю, но он уже умер. Перед смертью он непрестанно повторял, что в марте месяце отправится в Уфу, к нам. На похороны от Алафузовской фабрики, где он последнее время получал уже 35 рублей, было выдано 20 рублей и жалованья 12 рублей. Сюда же пошли скопленные им на дорогу 28 рублей. Похоронили его с колокольным перезвоном, священники провожали гроб до Ягодного кладбища, от Алафузовских мастерских был возложен на гроб металлический венок. Так печально кончилась жизнь дяди, однообразная, без больших радостей, полная скитаний по чужим сторонам. Помню, прислал он мне первое письмо из Казани, где, никого не виня, он жаловался на свою судьбу. Я послал ему в письме марки. Получил второе письмо доплатным, но он не упоминал ни про недомогание, ни про то, как он служил всю первую зиму. Летом я получил от него довольно даже жизнерадостное письмо, затем осенью. На все его письма я, конечно, всегда отвечал, но с нынешней зимы, когда я осенью пожил один на нашем хуторе и постоянно вспоминал о дяде, тосковал по нем, до того привык быть там с ним, особенно осенью, то невольно и наши стали совсем иначе обсуждать все недоразумения с дядей, и посте-

пенно переписка с дядей перешла к моему папе, и я, отступив на второй план, написал ему последнее письмо осенью, ушел в свои дела, ожидая благоприятных результатов переписки поссорившихся братьев. Нет никакого сомнения, что братья очень скоро договорились бы и поняли, как дороги они друг другу. Понял папа, как необходим на хуторе, отстоящем на 18 верст от города, свой человек. Дядя тоже почувствовал всю тяжесть утраты нашей близкой ему семьи. Папа звал дядю в феврале, но дяде хотелось дожить месяц, чтобы получить жалованье. Очевидно, он хотел приехать в приличном виде, может быть, даже думал привезти нам из Казани какие-нибудь подарки. Они уже условились о жалованье, о процентах с чистого дохода хутора в дядину пользу. Но, очевидно, судьба решила по-своему… Мне, Саша, тяжело вспоминать. На днях я еду на хутор по своему всегдашнему обыкновению провести там весну в работе. И вновь будут возникать воспоминания, и трудно отделаться от них.

Сегодня такой солнечный спокойный ясный день. Я с утра сижу за своим столом. Сначала читал газеты, потом разобрался в своем ящике стола, где отыскал письмо дядиной хозяйки, и вот теперь уже скоро час дня. Между прочим, я перечитал твои последние письма. Они навели меня на размышления о том, как может быть хороша жизнь, когда между близкими людьми держится постоянная духовная связь, когда они отзываются всем сердцем как на радости, так и на несчастья родных. Помнишь, как начали мы с тобой нашу переписку? Как мы познакомились в письмах и как писали друг другу о своих печалях и радостях, но никогда не чувствовалось мне той духовной близости, как теперь, когда мы оба, отделенные тысячами верст, испытываем грустное, тяжелое чувство — тоски по невозвратно утраченному… Не потому ли тебе еще больше захотелось видеть всех своих родных, разбросанных по разным углам России?..»

Хорошее письмо! Виталий никогда не видел Сашу, все собирался и очень хотел съездить в Уральск, но из этого ничего не вышло, так Виталию и не удалось познакомиться с Сашей, но писал он ей часто и много. Сейчас, перечитывая эти давнишние письма, я вдруг поразился каким-то душевным сходством дядюшки Володюшки и Виталия. Даже не в том дело, что оба

любили поважничать, поприписывать себе какое-то особое значение, прихвастнуть, даже и не в том, что оба любили приложиться к бутылке (у Виталия это проявилось гораздо позже, но проявилось сильно, я даже шутил, что он за меня все вино выпил, а отец весь табак выкурил). Нет, не в том дело. Еще какие-то почти неуловимые черты характера роднят этих двух совершенно разных вообще-то людей.

Приведу несколько выдержек из писем Виталия (отрывочных, не связанных между собой), отбирая такие кусочки, которые наиболее характеризуют его и дополняют картину нашей жизни в Уфе:

«…У нас есть малинник, есть парники, много места занимает земляника “виктория”. По мере того как мы все работаем на своих обширных плантациях, все приобретает стройный, приятный вид. С поезда железной дороги, которая, как тебе, верно, известно, проходит совсем рядом с нашей землей, можно хорошо видеть наши фигуры с лейками, лопатами, граблями и т.д. В марте, когда не растаял еще снег, один из наших учителей устроил экскурсию на пятую станцию от Уфы в нашу сторону (к Златоусту) осматривать сталелитейный завод. Я участвовал в этой экскурсии, и мне пришлось проехать мимо нашего хутора. От завода с его громадными машинами, блеском расплавленного металла, грохотом и всей сложностью этой громады, а также и от всей поездки у меня осталось большое впечатление, которого в письме не передашь <…> Уже давно закатилось солнце. Небо — алое, но гаснет заря, темнеют деревья и из таинственной глубины их теней доносится неизменное “ку-ку, ку-ку”. Квакают за полотном дороги лягушки. Все так хорошо, все зачаровывает. Но люди… “Окся! Дай квасу”, — пищит где-то за стеной мой братишка Антон, вернее Анатолий. Ему давно спать пора, а он — “квасу”»! Боря меланхолично наигрывает на мандолине “Не разлюби”. Стучит мимо поезд почтовый, тот самый, который завтра повезет к тебе мое письмо. Он очень красив, как бы иллюминирован — весь в огнях. Я прочитал твое письмо, то самое письмо, где я оказываюсь “премилым поросенком”, но все же “лучше крестника”, значит, крестник — целая свинья. Но это секрет, я это помню и ему никогда не скажу. Ты спрашиваешь, как прошли экзамены. Что же тебе сказать

о них? На латинском (самый трудный для нас, гимназистов) сначала спрашивали Борю, а я стоял у окна и "обдумывал". Он поражал меня своим неведением латинской грамматики. (У меня прошлый год была летняя "практика" по латыни, и я выдержал осенью на 4). Борису пришлось очень долго краснеть перед столом, покрытым в контраст ему ярко-зеленой скатертью, прежде чем ему предложили спрягать латинский глагол "pereo", что значит "я погибаю". Тут я принужден был фыркнуть и посмотреть внимательно в окно, т.к. положение и у меня было довольно критическим. Вскоре после этого он сидел на первой парте и вселил в себя веселое настроение духа. Я кое-как вылез (и то мне дали на осень выучить стихи Овидия). Саня Федоров отвечал последним больше получаса и казался совсем спокойным. Он больше молчал и только спрягал латинский глагол "morior", что значит "я умираю".

И он провалился. Зато накануне этого злополучного дня мы все трое обложились массой Цицеронов, Овидиев, переводов и словарей. Мы сидели у себя на балконе или просто на "антресолях" в нашей комнате, выпили несколько самоваров чаю, немного музыканили и даже исполняли самые модные танцы, т.к. были почти в райских костюмах…»

Так Виталий в комических красках изображает наши будни. А упоминание балкона и антресолей свидетельствует о том, что мы жили в это время на Фроловской улице, поблизости от Случевской горы и невдалеке от речушки Сутолоки. Мы снимали флигель во дворе, среди сада. Хорошее место. И хорошо мы там жили. Даже очень хорошо. Только Толя и Вера болели свинкой. Сначала — Толя, наш Антон-Горемыка, как мы его называли. Его изолировали, строго соблюдали карантин. Но Вера тайком пробиралась к нему, чтобы угостить чем-нибудь вкусненьким, — вот и заразилась тоже. Так что наши неразлучники и болели вместе, на пару.

«Между прочим, ты говоришь, что на будущий год я — студент, — пишет Виталий в другом письме. — *Ведь у нас 8 классов, и 8-й самый трудный благодаря огромной программе. Но и 7-й класс тоже труден, программа тоже велика, требуется серьезный, усидчивый труд. Теперь мы по истории словесности проходим Гоибоедова. Скоро будет Пушкин, Лермонтов и т.д. И этот урок — самый интересный для меня. И учи-*

тель на меня и на моего брата, твоего крестника, смотрит более серьезно, чем просто как на учеников. А я читаю теперь "Путь жизни Л. Толстого"[1]. Я попробовал было организовать нынче совместное чтение "Войны и мира" Л. Толстого, т.к. в настоящее время войны особенно интересно, как разрешает и разрешает ли бесконечное множество возникающих недоумений и вопросов этот великий человек. Но… нам не удалось кончить чтение. Оказалось, что товарищи по чтению (здесь были и гимназистки) слишком поверхностно и невнимательно относятся к этим ужасным вещам. Оказалось, что, собравшись вместе, они могут интересоваться только самыми узкими, личными интересами. Мне так жалко было, что я начал все это. Впрочем, мы решили подвергнуть обсуждению, дочитав порознь "Войну и мир". Ты спрашиваешь, что я люблю читать. На этот вопрос я несколько затрудняюсь ответить. Дело в том, что, как мне очень нравится (я знаю наизусть некоторые места и буду учить еще) "Горе от ума", так близки моей душе сочинения В. М. Гаршина, Короленко, Дорошевича, Никитина, Надсона, Тургенева и много, много других. А сколько еще я не знаю? Достоевский, Л. Толстой, Пушкин, Лермонтов — ведь я так многого еще не читал из произведений этих писателей. Меня всегда мучает эта мысль, всегда я порываюсь читать, достаю много книг, но… гимназия, увлечение собственным — и, вероятно, мнимым — талантом писания, увлечение вообще пошлым механизмом жизни, от которого так трудно отрешиться, — вот причина недостатка времени… Я замечаю, что письмо мое очень отрывисто. Это оттого, что Борис играет на пианино, а в другой комнате играют "в школу" ребята. Один изображает учителя, другие — учеников. Мне слышно, как "учитель" ставит колы, двойки, ставит в угол непослушных учеников, и я не могу сосредоточиться…»

«Вспомнил сегодня про то, что я могу летом очутиться в своем родном городе Уральске, т.к. сестрица Саша, кажется, не собирается выгнать нас, если мы с крестником приедем к ней. Четвериковы, как я знаю, и прежде были кочевым народом. Начиная с 1-го класса, мы с Борей переучились в трех гимназиях, переезжая из одного города в другой. Нынче в сентябре я один ездил в незнакомый уездный городок Белебей, за что меня дома прозвали "диким". Когда однажды я для раз-

нообразия лег спать в столовой под столом, то утром прочитал подобающие надписи по этому поводу на листе бумаги, приколотом сбоку стола. Там было между прочими другими — "Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок"[2] и пр.».

«…Я делаю сокольскую гимнастику к вечеру, который будет устроен на Масленице в пользу раненых, пишу в наш классный (печатный) журнал "Мозаика", пишу (но, конечно, неудачно) в "Уфимский Вестник", участвую в струнном оркестре, который тоже будет, вероятно, на этом вечере, исправляю двойки и чужие письменные работы по словесности, пишу домашние сочинения и т.д. без конца. И все не хватает времени, некогда записать мысль, бродящую иногда в голове перед сном в постели, некогда читать, заниматься художествами. При том, Саша, у меня малокровие, и мне нельзя сидеть поздно вечером, необходимо гулять, 8 часов спать и принимать капли, пахнущие коньяком… Я стал чувствовать, что после занятий вечером я прихожу из гимназии, как будто испытав самые тяжелые переживания, как будто я болен совершенно. И лишь утром мне снова ничего до следующего вечера. Письменные работы, репетиции, раздражительность уставших учителей, их споры, перебранки и всевозможные недоразумения из-за отметок с учениками так повлияли на мои и без того потрепанные нервы, что я в один "прекрасный" вечер решил своим больным усталым мозгом бежать на лыжах на наш пустой хутор. Я уложил припасы, бумагу, чернила и пр. в ранец своей сестры Веры и в 4 часа, одевшись в валенки, теплую шапку и короткую тужурку, с лыжами на плечах ушел из дому. За городом, когда на востоке только еще показалась золотая розовая полоска, я надел лыжи. Руки сильно зябли и сам я тоже. Пути не видно, и я несколько раз оказывался на краю какого-нибудь оврага или канавы, где можно легко сломать лыжи и еще что-нибудь. Едва взбираясь по крутым склонам оврагов, я наконец вышел на открытую ровную гору. Взошло солнце, осветило бесчисленные крыши домов Уфы. Я все еще не знал, где я иду, и только тут увидел, что, чтобы попасть на дорогу в деревню, от которой 10 верст до хутора, нужно по крайней мере часа полтора пробираться по таким же оврагам. (А путь этот я уже знал, мне приходилось нынче раз с двумя товарищами

путешествовать туда.) Я стал колебаться в нерешимости. Залюбовался раскинувшейся на холме Уфой с ее пятнами бесчисленных садов, церквами и круто спускавшимися улицами. Я сильно раздумывал и наконец решил, побродив здесь поблизости в окрестностях, вернуться домой. В 12 я был дома и узнал, что мама сильно беспокоилась обо мне и уехала туда же на поезде. Я все-таки не мог преодолеть своей усталости и уснул как убитый. Вечером вернулась мама на посланной за нею лошади, я встал, как с похмелья, неясно представлял все себе. Только вечером мама и папа, видя такое мое расстройство, уговаривали меня остаться на второй год в 7 классе, чтобы поправиться. Прежде я и мысли не допускал об этом, наоборот, старался исправить старые грехи по латыни, но тут я сдался, и мы решили, чтобы я только немного походил в класс — до Пасхи, а там бросил… Теперь я часто думаю о лете, строю всевозможные планы, и прежде всего разобрал проект нашей поездки в Уральск. Однако материальная сторона этого плана оставляет желать лучшего. По-видимому, нынче не судьба нам быть в Уральске. Поездка обойдется не дешевле 40 рублей на брата. Верно, придется тебе сделать первой свой зимний визит к нам. Мы же посетим свою родину на будущее лето… По-прежнему идет снег, засыпая деревья сада и крыши домов. Мама читает Толе рассказ, так как ему поставлен градусник. Слышно, как Вера подбирает что-то на пианино. Больше дома никого нет. Надвигаются тихие зимние сумерки».

«…Я неожиданно для себя захворал малярией. Теперь я почти совсем уже поправился, и мы с мамой ходили к доктору, который назначил мне лечение от принимающего угрожающий характер малокровия. Так что теперь я на правах больного. В восьмой класс я нынче еще не перешел: имею “три экзамена” в августе. Впрочем, эти экзамены меня не страшат, и получил я их очень неожиданно, благодаря тому, что захворал к концу трети перед Пасхой. А учения после Пасхи нынче не будет. Зато наша Вера превзошла всякие ожидания: она перешла в 1 класс (после двух подготовительных) с похвальным листом! Весна здесь вступила в свои права. Снегу на улицах почти нигде не видно, местами все уже просохло, а общественный сад, находящийся на склоне крутой горы, спускающейся прямо к Бе-

лой, открыт для входа публики с первого дня Пасхи. Однако Белая еще не тронулась окончательно, хотя в одном месте прорвалась, а от берегов оттаяла уже давно. Я теперь спешно готовлюсь заняться чтением книг, т.к. физический труд, особенно же гимнастика, мне доктором запрещен, и на хутор я пока не поеду. Кончаю письмо уже утром. Вчера до 10 ч. не успел, а в 10 мне нужно ложиться спать. Боря играет "Венецию", все разошлись по своим делам. Мама пишет повестки для кружка. Но сейчас мы пойдем с ней смотреть нашу новую квартиру, в которой будем жить будущую зиму. Мне принесли сейчас из аптеки всевозможного железа для принятия внутрь, огромный пузырек капель и лепешки весьма подозрительного вида. Вообще я чувствую уже теперь, когда еще не начал лечиться, права больного. Как-то ничего не делаю, никуда не бегаю, а только спокойно хожу. День весь в моем распоряжении: схожу на Случевскую гору (сад, с которого открывается вид на реку Белую), посижу там на скамье, опять уйду, приду домой — сажусь и занимаюсь не тем, что я ДОЛЖЕН делать, а просто — что захочется…»

Упоминаемая Виталием квартира — это последнее наше пристанище в Уфе до революции: на Вавиловской улице, дом 72. Это мое маленькое пояснение, а засим я продолжу (еще немного) цитировать Виташины письма:

«..Да, я давно не писал тебе, Саша, но это не лень. Теперь прошло две недели, как кончился пятидневный приступ малярии, а он очень ослабляет. Хочется надеяться, что больше не будет. У нас здесь на хуторе очень хорошо нынче летом. Лесок, примыкающий вплотную к дому, дает хорошую тень, только в нем все же много комаров. Я помещаюсь в чулане. Из окна видно полотно железной дороги, по которому то и дело громыхают поезда, наполненные новобранцами или уже обмундированными солдатами, или австрийцами. Перед окном ряды смородиновых кустов, примыкающих к леску. Левее длинные клумбы с махровым маком и цветами. Еще левее расположен обширный и высокий (в рост человека) малинник, с которого нынче мы собрали до шести пудов ягод. Но если чего много было у нас нынче, так это виктории, которой мы напродавали почти на сто рублей, наварили варенья и объедались сами. Она теперь отошла, и только мелкая челакаевская земляника не

перестает поспевать. Она будет поспевать до поздней осени. Только с неделю как установилась хорошая погода, а то дождик лил аккуратно каждый день вечером, днем же было солнце, так что нам едва удалось сено убрать. А однажды в Уфе был град — величиной не только с куриное яйцо, но даже больше — весом с полфунта. Я как раз был в Уфе и шел по улице. Когда загрохотали по крышам эти камни, я очутился в критическом положении. Попробовал бежать у забора, т.к. в полквартале был знакомый дом, но у меня сшибло фуражку, и я едва успел скрыться под каким-то крыльцом, где переждал град вместе с дрожащей от страха собачонкой. На другой день утром я шел на вокзал при свете яркого солнышка, и с одной стороны улицы зияли сплошь выбитые стекла в окнах. Даже странно смотреть, как будто был погром или бомбардировка. В газете читал о многих ушибах и убийстве скота, и приходилось только радоваться, что я отделался так милостиво. Май месяц прошел в восхищении и созерцании дружной нынешней весны. Я сразу переселился на хутор. Июнь я с Борисом издавал журнал "Курлы-мурлы", отнявший немало времени, читал Достоевского, но всего еще не кончил. Приближается середина июля и встает вопрос о трех переэкзаменовках, которые я должен выдержать, чтобы быть в 8 классе. Я начал заниматься и занимаюсь настолько, что времени остается мало. Между тем теперь лишь началось самое настоящее лето с теплыми лунными ночами и красотой заката, лето со всеми его развлечениями — футболами и купаниями. И всего трагичнее, что при моей малярии доктор запретил мне купаться и много играть в футбол. Для меня с потерей возможности купаться неинтересно стало и лето. Но я радуюсь тому, что могу гулять и смотреть на воду, сидя где-нибудь на берегу речки. Я здесь всегда почти один. Боря часто уезжает в Уфу, сам же я как-то никуда не езжу…»

«…Сегодня первый день Рождества, настроение у всех праздничное, все дома, и все не заняты никаким неотложным делом. Но завтра это необычное для нашего дома явление нарушится. Папа уезжает на хутор на несколько дней. Я еду в село Богородское, что в трех верстах от хутора, где устраивается спектакль для народа, в котором я принимаю участие. У нас все здоровы. Мама недавно поступила на службу

в Земство, где будет получать 87 рублей. Дороговизна жизни заставляет изыскивать всевозможные побочные доходы. Уроков, однако, теперь что-то не находится. Я получаю в месяц 25 рублей, и этого едва хватает на мои мелкие расходы…»

Война, начавшаяся в августе 1914 года, о которой уже вскользь упоминается в приведенных мною письмах Виталия, конечно, нарушила наше беспечное существование. Мы сразу повзрослели, о многом задумались и уже почувствовали, что это такое — война. Далеко стоит Приуралье от Перемышля и Карпат, а стоны умирающих доносились и до Уфы. В те времена полагалось убитых доставлять родственникам. Привезли и в Уфу мертвецов — бывших гимназистов Уфимской гимназии. Мы тогда еще не привыкли к такому, и похороны произвели на нас тягчайшее впечатление. Слишком близко сверкнула коса безглазого всадника — Смерти. Это было потрясение. Взрыв. Менялись все понятия, все менялось. Жизнь развивала невиданные скорости. Все летело кувырком.

Наш хутор примыкал к железнодорожному полотну, и мы невольно целыми днями наблюдали движение бесчисленных воинских поездов. Это были теплушки, приспособленные для перевозки солдат. Облик Уфы тоже менялся. На улицах города появились пленные австрийские офицеры — в необычного покроя мундирах, при шпагах и в невероятных головных уборах. А тут в Уфу привезли партию раненых: 800 человек, затем еще 200. Все наиболее вместительные здания были отведены под лазареты, в первую очередь заняли ими учебные заведения. Вдобавок решено было сделать Уфу сборным пунктом новобранцев. Вот когда мы своими глазами улицезрели пусть какой-то краешек, но краешек войны…

У Виталия в письмах есть еще кое-какие детали об этом периоде жизни Уфы и уфимцев:

«…К нам в Уфу постановлено поместить пленных австрийцев. Первая партия офицеров уже прибыла. В своих оригинальных костюмах со шпагами они кучками бродят по главным улицам, пленяя своим видом местных барышень и дамочек. Я нарочно всматривался в лица. В самом деле, культура наложила на них свой благородный отпечаток, у некоторых лица мне показались чрезвычайно интересными, но много и не останавливающих на себе внимания».

«…Твой проект, Саша, меня восхищает. Ты хочешь за раз навестить всех. Смущают меня немного многоточия, которые ты расставила, когда заговорила про Уфу… Но будем надеяться. Еще будем надеяться, что я перейду в 8 класс, и что в январе меня не отправят в военное училище в Казань, и что к лету кончится война, и я в Казань поеду не в юнкерское училище, а к дяде Володе в гости…»

«…В училище, где занимается папа, уже решено учение закончить на неделе Великого поста, переводить учеников (кроме выпускных классов) по годовым отметкам, без экзаменов…»

«…Мечтаю о многом, и в самом далеком — о теплом солнышке, отдыхе и покое, основанном на успокоении всех после прекратившейся ужасной войны…»

Мечты, мечты… А война все продолжалась, раненые все прибывали, лазаретов в Уфе становилось все больше…

Кто видел хоть раз серые землистые лица несчастных парнишек, искалеченных на полях битв, томящихся в лазаретах, тот не забудет их. Как они тоскуют! Как они морщатся от боли, когда при перевязке отдирают у них присохшие кровавые бинты! С каким детским удивлением смотрят на горожан, слушают пришедших к ним актеров, читающих для них чеховские рассказы!

Гимназисты тоже шли в лазареты, пряча под гимназические шинели гитары, балалайки, мандолины, опасаясь, как бы на морозе не лопнули струны. И вот эти парни — в тапочках, в больничных халатах — спешили в бывшую учительскую, превращенную в концертный зал. Гимназисты настраивали музыкальные инструменты, а зрители — кто постукивал костылями, кто передвигался ползком, некоторых приносили на носилках. И гимназисты, напуганные необычным составом публики, старательно исполняли вальс «Амурские волны», полонез Огинского и «Коробейников». У оркестрантов было чувство выполняемого долга, обязательства. Да и все были встревожены, особенно женщины, этот удивительный народ. Они записывались сестрами милосердия и приносили радость раненым уже одним своим присутствием да и не боялись ни грязной работы, ни кровоточащих ран, ни затянутой тонкой кожицей культи. А кто и не работал сестрами милосердия, тоже шли и шли. Дежурили около тяжелобольных, выносили

горшки, приносили из дома пироги, старались сделать все, что только могло быть приятным «солдатикам».

«…Мама теперь часто ходит по лазаретам читать раненым, — пишет Виталий Саше. — *Участвовала в спектакле, поставленном их любительскими силами, в нескольких лазаретах подряд. Я же вследствие своей болезни, несмотря на свое сильное желание, не могу принять участие в увеселении тоскующих раненых. Двое раненых были раз как-то у нас в гостях, рассказывали много интересного о войне и военной жизни. А я очень жалею, что не сбываются мои планы. Я прежде всего хотел организовать "Общество (пока тайное) юных друзей вернувшихся с войны солдат" или что-нибудь в этом роде, среди своих знакомых гимназистов и гимназисток. Хотел устроить силами этого "общества" спектакль для раненых (подобно любительскому), хотел организовать в этом же "обществе" посещение хотя бы некоторых лазаретов с чтениями и музыкально-литературными вечерами, хотел устроить среди тех же знакомых литературный конкурс, посвященный войне, хотел и еще кое-что, но принужден бездействовать…»*

Но один спектакль Виталий все-таки организовал под Новый 1916 год. Правда, не для раненых, но с благотворительной целью. Он подробно описывает его Саше, и мне кажется это интересным:

«…Известие об уходе в отставку графа П. Н. Игнатьева, бывшего министра народного просвещения, застало меня в селе Богородском в день спектакля, на который должно было приехать немало интеллигентной публики из города, из соседних сел и деревень. К вечеру народу набралось больше двухсот человек. Артисты спешно гримировались на сцене (которая была специально заказана плотникам за сто рублей) при закрытом занавесе. Я гримировался последним, т.к. исполнял одновременно и роль декоратора, и режиссера, и его помощника. Но вот открылся раздвижной занавес, устроенный мною же, и началось действие. Артисты, из которых многие выступали в первый раз в жизни, вдруг оробели и проваливали свои фразы одну за другой, давая неправильный тон и перевирая слова. Я в ужасе хватался за свой парик вместо головы и с трепетом ждал, что будет дальше. Однако, по счастью, начал выручать мой товарищ-гимназист, который играл на сцене не первый

год. Он дал верный тон, освоился со сценой и начал играть хорошо. За ним одна из артисток, игравшая самую главную роль, вдруг заговорила живым уверенным тоном, так что к моему выходу на сцену в средине действия общий тон пьесы был дан, и мне оставалось лишь окончательно ободрить оробевших артистов уверенностью, с какой я уже привык держаться на сцене. Скачавши первое действие и услышав от публики, что действие совсем нельзя считать проваленным, мы через 10 минут антракта повели второе, которое сошло гораздо лучше, и наконец третье — самое трудное — также прошло без всяких заминок, даже гул ветра за окном одинокого постоялого двора в лесу был удачно исполнен мною при помощи цельного листа картона, который я легко встряхивал, держа за угол. Проведя последнее действие такой трудной пьесы, как "На бойком месте" Островского, где я играл роль Миловидова, мы уже с легкостью сыграли одноактную вещицу "Ночное". Когда все было кончено и довольные успехом артисты шумно разгримировывались, я почувствовал большое облегчение от того, что свалилась с плеч гора моей первой пробы срежиссировать большую серьезную пьесу. Действительно, публика от нас ничего подобного не ожидала, и все поздравляли нас с успехом. На спектакль мне удалось затащить даже папу, который приезжал на хутор во время праздников, и маму с двумя меньшими ребятами. Женя участвовал в пьесе, только Боря не приехал на мое первое торжество на поприще театрального искусства…»

«…Как ваше с Таней путешествие? Если до осени меня и Борю не заберут в солдаты, то мы оба не поедем на лето на хутор, — кончает Виталий это письмо, — *а останемся в Уфе служить и копить деньги на переезд в Москву, куда по крайней мере я решил отправиться после окончания гимназии. Если вы в конце концов надумаете совершить свою поездку, то сначала вам придется заехать в Уфу, здесь у нас и остановиться, а уж отсюда в первый же праздник вместе с нами — на хутор, "на лоно природы". От Уфы до станции Черниковка 20 минут езды по довольно живописной горной местности. Лишь только возле самой Черниковки холмы прекращаются и расстилаются широкие поля. Сойдя в Черниковке с поезда, мы пройдем по полотну железной дороги две с половиной версты пешком, ког-*

да очутимся на хуторе, где нас еще издали встретит черная собака Мильтон (очень нежное и ласковое существо) и трое свободных граждан средней школы — Женя, Толя и Вера. Да, Саша, сидя за столом в своей комнате и рассматривая белые узоры, какие сделал мороз на оконном стекле, я уже начинаю мечтать о летнем тепле. Как представлю себе, что, может быть, я буду тогда полноправным гражданином, свободным и самостоятельным, то делается мне радостно и забываю про холод нашей зимы. Но пока что положение наше очень неопределенное: неизвестно, когда кончится учебный год, попадем ли мы в университет осенью или отправят нас куда-нибудь в школу прапорщиков, неизвестно, когда кончится война, — вообще ничего неизвестно, даже будет ли у населения хлеб насущный — и это покрыто мраком неизвестности. Время теперь настало тревожное и трудное. Пока хлеб есть, все есть, хотя и все дорого. Публика не волнуется. Все спокойно. Ни лавок, ни магазинов не грабят, съестные припасы керосином не обливают. Как-то живете вы? Все ли у вас есть?»

Да! Тяжесть войны мы ощутили и в нашей безмятежной Уфе. Не слышно стало смеха, всюду встречались заплаканные лица. В газетах подсчитывали, сколько морских судов утопили в общей сложности та и другая воюющие стороны: отправили ко дну пятьсот боевых кораблей, утопили тысячу вспомогательных и шесть тысяч торговых судов. Я слышал, как некий пестрый румяный господин, откинув газетный лист, похохатывал: «Вот раздолье акулам! Представляю!» Ему казалось, что на суше он в безопасности. Но даже то, что мы видели в Уфе, не предвещало ничего хорошего.

Пришел черед и нашей мужской гимназии. Здание передали военному ведомству, занятия стали производиться в помещении 2-й женской гимназии, во вторую смену, с двух с половиной часов дня до половины седьмого с сокращением продолжительности каждого урока до сорока минут. Заниматься вечерами было трудно и непривычно, весь день был как бы сломан. Какие там уроки, все эти Овидии и Цицероны и в голову не шли, тем более что все больше разговоров было о мобилизации выпускников-гимназистов в армию. Вот тут-то мы с Сашей Федоровым и решили пожертвовать одним годом учебы, чтобы избежать военной карьеры. Виталий так пишет об этом:

«Прошел здесь слух, будто бы учение наше продолжится нынче до 1 января, после чего всем восьмиклассникам придется поступить в военное училище, чтобы через месяц отправить всех на войну уже офицерами. Кажется, Борис с товарищем, с которым они готовятся вместе к экзаменам, обдумывают остаться в 7 классе, "чтобы не сделаться юнкерами", как они выражаются. Однако я намерен не менять своего решения, хотя бы слух оказался справедливым. Меня утешает то, что через какой-нибудь месяц мобилизованная русская промышленность будет изготовлять количество снарядов не менее германских крупповских заводов. Значит, не с голыми руками вступим в бой».

Это письмо датировано 13 июля, а год не указан. Надо полагать, что это 1915 год. Мы с Сашей так и поступили, остались в седьмом классе. А бедный Виталий, который был болен, которому чуть ли не было запрещено читать и учиться, в таком состоянии попал в Самару, в 3-ю запасную артиллерийскую бригаду, причем без денег, без всякой материальной помощи, а рядом с ним богатенькие сынки благополучных родителей щеголяли в отличных шинелях и шиковали, даже находясь в армии.

Много лет тружусь я над этими страницами воспоминаний и — чего скрывать — заглядываю не только в закоулки своей памяти, но и пользуюсь обширными материалами архивов, библиотек, пользуюсь и помощью всех, у кого не отшибло память. А еще я давно заметил: когда изучаешь какую-нибудь тему, весь поглощенный работой над ней, жизнь сама то и дело подсовывает нужный материал, который так и идет тебе в руки. Вот недавно я получил подарок от Георгия Михайловича Нестерова, уральского краеведа, живущего в городе Сатка. Знакомство наше началось с его письма, когда он написал мне по поводу моих книг, которые радуют его как уральца. Так завязалась переписка. А потом я и получил от него в подарок небольшую книжечку Усманова, где много сведений справочного характера, очень нужных мне. И Ольга Кадомцева, давняя знакомая нашей семьи, вдруг ни с того ни с сего подарила мне книгу об Уфе, и тоже очень кстати. И от Бориса Николаевича Евграфова, отца моей Наташи, я получил где-то им выкопанную уфимскую газету, возраст которой 75 лет. К этому надо прибавить разные

истории и воспоминания самых разнообразных людей, в основном уфимцев, с которыми я в разное время в разных местах встречался. Так, то один, то другой случай помогают в работе, дают какие-то дополнительные штрихи и факты.

В Уфе того времени, о котором я повествую, было, как и в любом другом городе, несколько замкнутых миров, и каждый тут же, на одном и том же пространстве, жил своей обособленной жизнью, не соприкасаясь с другими кругами, каждый сам по себе. Попробую рассказать об этом несколько подробнее: окоротишь, так не воротишь.

Ни я, ни мой отец, ни моя мать — все мы знать не знали, ведать не ведали, что есть в Уфе полицмейстер Бухартовский, или богач Араслан Али Мухамедович Султанов, или купцы Дмитрий Петрович Берштейн, Давид Борисович Гительман, Родион Петрович Платонов. Их имена я узнал впоследствии, изучая архивы. Знали мы, и то по вывеске, Блохина. Его магазин книг и канцелярских принадлежностей был в центре города, и мы говорили: «Где купил тетрадь?» — «У Блохина». Что есть вице-губернатор граф А. Г. Толстой, мы не знали, а вот Толстую, его однофамилицу, знали, она участвовала в спектаклях, как и мама. Предводителя дворянства князя Кугушева мы, конечно, тоже не знали, но фамилия эта была нам известна: дочери Кугушева мой отец давал частные уроки, и, надо думать, хорошо оплачиваемые. Так же не знали мы и обособленного, замкнутого мира духовенства. Например, отлично представляли, что есть в Уфе такая «архиерейка», ее домишки лепились на откосе реки, и жили в этом районе города забубенные головушки, там случались и драки, и поножовщина. А вот архиерей нам был ни к чему. Слыхали, что раньше был епископ Уфимский и Мензелинский со странным именем Иустин, а лет через пятнадцать после него епископ Андрей, родом аристократ, из князей Ухтомских, по какому-то побуждению принявший духовный сан, говорят, у него невеста погибла от несчастного случая, и он ушел в монахи. А общаться ни с кем из церковных кругов нам не приходилось.

Семейство Четвериковых, если не вспоминать давние молодые годы Дмитрия Никаноровича, всегда слыло безбожным. Никаких таких обрядов мы не признавали, в церковь не ходили и только по требованию гимназического начальства являлись

на исповедь и получали справку, что ученик такого-то класса исповедывался и причащался. Это принуждение тем более вызывало протест, возмущение.

У нас в гимназии был умный, со значком Духовной академии на рясе священник-законоучитель. Он сразу же понял, что я не верю ни в сон, ни в чох, и глубоко меня возненавидел. Ненавидел в младших классах гимназии, ненавидел в старших классах — все восемь лет моей учебы в Уфе. Нет, он не донимал меня придирками, какими-нибудь трудными вопросами, он просто не замечал меня, смотрел как на пустое место. Я мог готовить заданное, мог не готовить, он ни разу за все эти годы не вызвал меня отвечать урок и неизменно ставил мне неслыханно низкие для его предмета отметки за год: обычно у всех были круглые пятерки по Закону Божию, а у меня поведение — 3, прилежание — 3, успехи — 3, что мне изрядно попортило аттестат зрелости.

А вот Вера, моя сестра, вспоминает своего гимназического батюшку тепло, с любовью. До сих пор она рассказывает со смехом, как, будучи приготовишкой, неслась в большую перемену по залу и на всем лету врезалась головой… прямо батюшке в живот. И его ушибла, и сама ушиблась, даже упала. Когда увидела, на кого она наткнулась, Вера помертвела от страха: что-то теперь будет… А батюшка — ничего. Поднял ее, погладил по головке и сказал ласково: «Потише надо бегать, милая».

У меня таких светлых воспоминаний о законоучителе не осталось. Но Вера-то у нас вообще была набожной. Она крестилась потихоньку под столом, садясь обедать, исправно соблюдала все посты, отдавая в эти дни все свои завтраки нянечкам и уборщицам гимназии (она училась в 1-й женской гимназии на Пушкинской улице, где теперь средняя школа № 3, которую кончала моя Наташа), ее даже привезли однажды с уроков на извозчике, потому что ей стало дурно: довела себя, голодая и постясь, до обморока.

Когда я был маленьким, еще до Уфы, я, помню, тоже иногда тайком молился: просил, например, у Бога, чтобы на завтра была хорошая погода, так как мы всей семьей собирались в лес — на весь день. Помнится, моя молитва всегда была услышана. Да и время стояло подходящее: поездка-то за город намечалась в мои именины, а это по старому стилю 24 июля,

в день убиенных князей Бориса и Глеба, — разве что гроза в эту пору пронесется, вообще же июль у нас в Приуралье солнечный, знойный, упоительный. Лето в самом разгаре, травы буйно разрастаются, деревья густолиственны, лесная земляника вызрела, встречаются поляны, где ступить негде, до того разгулялся земляничник. Да ведь и малина уже спелая, и вишня сочная, налитая, просвечивается лучами солнца и переливается рубиновым соком, сладкой мякотью… Да, молитва моя была услышана, и мы все, от мала до велика: отец, мама, пятерка детей и прислуга — до сумерек проводили в лесу, на крутом берегу реки.

И моя мама была безбожной. Однако, сажая пирог в печь, непременно крестила лист, на котором размещалось волшебное произведение искусства: калиновый, или капустный, или рыбный с вязигой и рисом, или мясной, благоухающий приправами и сдобой, — словом, роскошный, аппетитный, огромный именинный пирог.

Мы, конечно, были самые настоящие безбожники. Но именины праздновали. И блины у нас были на Масленицу, и даже по всем правилам — со сметаной, растопленным маслом, с красной икрой. И пасху делали. И куличи. А уж пасхальные яйца разрисовывали всем на удивление. И укладывали их в тарелку, где была засыпана земля и выращен к Пасхе овес, в зеленых всходах крашеные яички — это было красиво.

Праздники тоже надо уметь праздновать. Теперь люди разучились веселиться, как, бывало, прежде. Качели. Игра в лапту. Пикники. Вечеринки — с играми, шарадами, плясками, с обязательным хоровым пением. Гуляния на улицах города и площадях в Масленицу, на Святки, в пасхальную неделю. Рождественские елки. Маскарады. Балы… Губернский город Уфа не был в этом отношении исключением. Я уже рассказывал о жизни нашей семьи в Уральске, в Чердыни, — помните, как люди умели весело, интересно проводить время. Надо учиться этому заново. Конечно, на свой, теперешний лад, иначе, чем раньше, но надо научиться веселиться. И хороводы должны быть, и катанья, и качели-карусели, и балы. Но чтобы все это было не казенным, не мероприятием для галочки, а по-настоящему праздничным, красивым, радостным. Надо, чтобы на балы ходили в непременном порядке офицеры, городские власти,

«государственные мужи», райкомовцы-обкомовцы, и не как важные персоны, а как участники веселья. На балах должны быть и папы-мамы, которые веселились бы вместе со всеми и увозили домой дочек, когда кончится праздник. Все поколения должны участвовать в таких развлечениях!

Вот я хочу рассказать о пасхальных праздниках.

Масленая неделя называется «светлая седьмица сплошная». А первое воскресенье после масленицы — Прощеное воскресенье, когда люди друг у друга просят прощения, если чем не потрафили, либо обидели, нагрубили, блюдом обошли. Кроме того, Прощеное воскресенье — это заговенье на Великий пост. Седьмая неделя Великого поста — Страстная неделя — это у христиан неделя самого строгого поста. Помню, мы еще в младших классах гимназии были и вздумали как-то двое — я и Виталий — по всем правилам говеть, то есть поститься всю неделю до двенадцати ночи, когда кончается суббота и вступает в права воскресенье, пасхальное воскресенье, начало Пасхи. Не то в четверг, когда читают двенадцать Евангелий, не то в пятницу, когда выносят плащаницу, я оглянулся в церкви и увидел, что Виталий благополучно доедает восковую свечу… Мы, конечно, были безбожниками, и все так и считали, что мы безбожники. Но, видимо, нам хотелось чего-то необычного, загадочного, нарядного. Ведь никто нас не заставлял поститься, слушать церковную службу, а вот надумали, потянуло нас к этому. И каким благостным показался нам пасхальный стол!

У нас так было заведено: в Страстную субботу вечером мы надевали новые рубашки, начищали до ослепительного блеска ботинки и шли с отцом бродить по городу — обычно двое-трое старших, а иногда и все пятеро. Улицы были тогда слабо освещены, и тем поразительней выступали из тьмы 27 городских церквей в фонариках иллюминации. Каждая церковь хотела выглядеть в пасхальную ночь наряднее других. Разноцветные фонарики, гирлянды огоньков освещали церковные здания до самого купола. Да и сами церкви были разной формы, разной окраски. Например, Успенская церковь была светло-зеленая. Спасская церковь красовалась над оврагом своими белыми колоннами. А какая-то церковь была построена в форме пасхальницы. Кафедральный собор был массивен и величав. Производили особое впечатление зажженные плошки, расставлен-

ные на соборной площади. Их пламя создавало живые полосы света, все мерцало, трепетало, и казалась какой-то загадочной, таинственной толпа, стоящая перед входом в собор, который не вмещал всех прихожан.

Самая необычность этой ночной прогулки да еще не такое частое у нас общение с отцом — все это радовало, будоражило. Красивое было зрелище, когда духовенство со свечами, с хоругвями обходило вокруг церкви, а затем священник в сверкающем праздничном одеянии выходил на крыльцо и внятно, эффектно произносил, обращаясь ко всем: «Христос воскресе!», — трижды произносил, и толпа все три раза гулко, мощно отвечала ему, как полагалось согласно обряду: «Воистину воскресе!» И тут все 27 церквей поднимали многоголосый ЦЕЛОДНЕВНЫЙ звон во все колокола, особенно напевный и выразительный, причем в Пасху каждый желающий мог залезть на колокольню и самолично поучаствовать в этом концерте, только не всем это удавалось: искусный звонарь — это редкость, тут нужен особый талант, у меня на эту тему даже есть рассказ — «Последний звонарь». Как мне жаль людей, которые никогда не слыхали этой ни на что другое не похожей, изумительной музыки, потрясающей все существо! Не слыхали и вряд ли уже услышат… Историк В. О. Ключевский писал: *“Неизвестно, каков будет человек через тысячу лет… но если отнять от современного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб обрядов и праздников — тогда он все забудет, и всему разучится, и должен будет все начинать сначала».* Тысячи лет еще не прошло, но боюсь, что современный человек уже стоит перед этим печальным фактом.

Мы были неверующими, но мы умели ценить красоту. То, что мы видели, то, что мы слышали в пасхальную ночь, поражало, брало за душу, волновало, наполняло нас ликованием, непередаваемым восторгом. Восторгом жизни. Торжества жизни над смертью. Непокорностью, задором. Не забывайте, что Пасха — это весенний праздник, время года, когда все пробуждается, растет, цветет, любится, вьет гнезда, ломает лед, линяет, опыляется, зеленеет, кудрявится. Да, мы были, вероятно, неверующие. Но мы были потомками тех, кто чтил деревья, реки, гром и грозу, урожай и обилие. Мы были потомками язычников и совсем особенных — славянских, русских — христиан, осе-

нявших себя крестом, вступая в Куликовскую битву, осенявших себя крестом, размещая редут на Бородинском поле, осенявших себя крестом и в час смерти, и усаживаясь за свадебный стол.

Мы были верующими в жизнь, в счастье, в Россию, в будущее. Я только усмехнулся, прочитав Ренана, который доказывал, что Иисуса Христа вообще не было[3], что это одна из легенд, воодушевляющих людей на подвиг. Ну и что? Разве не тревожит каждого человека мысль о смерти, исчезновении, мысль о прахе, которым и питаются деревья, хлеба, растения, насекомые, птицы, животные, а в конечном счете и человек. Каждому хочется смертию смерть попрать, каждому хочется верить в бессмертие, в свою вечность, в цветение, в весну. Как же не волноваться, когда священник в необычной красивой одежде выходит ночью на крыльцо церкви и при мигающем, колыхающемся свете церковных плошек возвещает людям, что некий человек воскрес, его умертвили жестокой смертью, но он воскрес…

Комментарии

1. «Путь жизни» (1910) — философско-религиозное произведение Л. Н. Толстого (1828–1910), в котором он предлагает путь нравственного самоусовершенствования взамен революционного переворота. Книга написана под впечатлением революции 1905 года.
2. «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок» — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).
3. Ренана, который доказывал, что Иисуса Христа вообще не было… — Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель, историк и филолог-востоковед. «Жизнь Иисуса» — первая книга «Истории происхождения христианства» (т. 1–8, 1863–1883; рус. пер. Т. 1–7, 1864–1907); в ней Христос изображен не божеством, а идеализированным человеком.

Христос воскресе! Мы, держась за руку с отцом, бодро шагаем к дому. Мы знаем, что к Пасхе всем служащим в любом учреждении и даже учителям выдают дополнительное месячное жалованье. Есть на что разгуляться! И дома нас ждет стол, накрытый белой скатертью, и на столе пышущие сдобой, облитые глазурью — сладким составом — куличи, пасха, которую одни хозяйки любят делать вареной, другие предпочитают

сырую. На большом блюде очаровывают взгляд крашенки — крашенные в разные цвета и разрисованные нами яйца, сваренные вкрутую. И холодная телятина. И розовый окорок. И еще что-то — тоже очень вкусное, от чего заранее текут слюнки, заманчивое и праздничное.

— Христос воскресе! — сообщаем мы маме.

— Воистину воскресе! — отвечает, улыбаясь, она.

И мы уверены, что пойдем по жизни, смерть поправ. Обязательно пойдем.

О духовенстве, об уфимских церквах и вообще об Уфе я много узнал уже позднее от дочери дьякона (а потом, кажется, священника) Августы Владимировны Колокольцовой, по мужу Матвеевой. Она, кстати, подарила мне церковный календарь на 1958 год, который до сих пор у меня в среднем ящике письменного стола на самом видном месте и не раз сослужил мне добрую службу.

— Вам пригодится, — сказала Августа Владимировна. — Для справок. Например, там все имена перечислены. Мужские и женские. Это ведь писателю нужно бывает?

Я познакомился с Августой Владимировной, когда приезжал в Уфу навестить свою мать, свою сестру, свою племянницу. Августа Владимировна жила в том же доме, что мои, — почти последнем на Ильинской улице (ныне Фрунзе), на уфимской окраине. Этот двухэтажный деревянный дом когда-то весь принадлежал ее отцу, а в советское время был поделен на шесть квартир: три наверху и три внизу. Две верхние квартиры занимали Августа Владимировна и ее сестра Зина со своими семьями, а одну из нижних, окнами на улицу, — мои Вера с Наташей (мамы уже не было в живых, когда я там побывал впервые после реабилитации в 1956 году). В прежние времена вокруг дома был большой сад, а дальше по Малой Никольской улице (ныне Гафури) до самой Вавиловской (ныне Зенцова) был сплошной орешник, так что жили как в лесу, утопая в зелени. В 1956 году это было голое, унылое место с торчащей посреди двора уборной и сараями вдоль забора, лишенного одно время каких бы то ни было ворот (да и забор-то жильцы не сразу после разрухи восстановили). Сад давно вырублен, орешник тоже сгинул, а теперь и дом, как и другие развалюхи по соседству, снесен. В семидесятые годы за этот район взялись с энтузиазмом,

и теперь стоят по всей улице многочисленные многоэтажки, а благоустроенная, заасфальтированная магистраль, в которой и не узнать заросшую травой, немощеную Ильинскую улицу, исхоженную мною вдоль и поперек в гимназические годы (ведь на ней и здание нашей гимназии, на ней, только в противоположном ее конце, и Сашка Федоров жил, мой дружок), ведет прямиком к величественному корпусу Телевизионного центра, построенного совсем рядом с былым обиталищем семейства Колокольцовых.

— Все посты постимся, а никудышеньки не годимся, — так начала Августа Владимировна свой рассказ, когда мы впервые с ней встретились.

И потекла ее складная, неторопкая речь, тихая, как раздумье, журчливая, как ручеек. Она не выбирала, что рассказывать. Узнав, что меня влечет всякая мелочь, всякий случай, особенно всякий человек, потому что я собираюсь писать об Уфе, какой она была в незапамятные времена, когда я и сам здесь жил, о той уфимской жизни, которой и сам был участником, Августа Владимировна тотчас прониклась желанием мне помочь и стала что-то вспоминать, перебирать разные истории и происшествия, рассказывать о себе, о родных, о знакомых. И я был очень ей признателен за это.

Много говорила она о матери-попадье и очень жалела ее: та, не подумав, сгоряча выскочила замуж за священника, а сама-то была вот уж не богомольная, вот уж не постница — вертушка, хохотушка, любимица в семье и баловница. Влетела сразмаху, как пичуга в западню. Спохватилась, да поздно. В гости ходить — беса радовать. В театр — и подавно дорога заказана: сатанинское игрище. О танцульках, о гуляньях и думать не моги: грешно. Сошьет что понаряднее, так и то ни к чему, одно удовольствие — в этом платье к обедне пройти да от обедни покрасоваться перед людьми, направляясь к дому…

Августа Владимировна приостановила рассказ, чтобы присмотреться: слушаю ли я, сочувствую ли, интересно ли мне. Я сочувствовал. Меня всегда приводит в отчаяние, если я узнаю, что и ту-то малюсенькую жизнишку, отпущенную человеку скупой природой, — так и ее не удалось кому-то мало-мальски сносно, мало-мальски по-человечески прожить. По-видимому, выражение моего лица удовлетворило Августу

Владимировну, и она продолжала:

— Так мы и жили. Либо чаевничали до седьмого пота, либо в карты играли — в «кончину». Тоже грех, колоду карт я прятала в чулок, не станет же папа по чулкам шарить. А не то сядем, бывало, рядом, в одну шаль закутаемся, и начнет мама о привольном своем житье вспоминать, до замужества. О чем только не расскажет: и как яйца на Пасху красили, и какой голосистый петух у них был, и как в горелки играли, и какая лежанка в доме была уютная — любимое место бабы Фали… Смешная эта баба Фаля была, я ее помню. Спросит ее кто, сколько ей лет минуло, а она: «Ох, много, батюшка, никак девять десятков набралось, я и со счета сбилась, зажилась, милай, охохонюшки, зажилась, и чего это смертушка не берет…» Шли годы, а она все приговаривала, что ей никак девять десятков сравнялось: засмеют ведь, если признаться, что давно за сто перевалило, от людей совестно… Добрая была и ласковая наша баба Фаля, все ее любили.

Я слушал и дивился. Вот они, уфимцы, уфимские жители, или как еще говорят — простые люди.

Давно известно, что даже к царю болезнь является без доклада. Стала мама Августы Владимировны прибаливать и как-то сама собой на нет сошла. И не стало ее. А рассказы Августы Владимировны не меркнут в моей памяти. Много она и про учебу свою рассказывала, про детство. А я невольно вспоминал Помяловского, Воронского, только Августа Владимировна училась, конечно, не в бурсе, а в епархиальном училище, предназначенном для дочерей духовенства.

Как-то мы бродили по городу, ездили в разные его концы, и Августа Владимировна рассказывала про Уфу, что помнила сама и что слышала от других. Я знал давнюю Уфу, но Августа Владимировна показывала ЕЕ город, и он был для меня внове, а главное — показывала то, что вот-вот сгинет, если еще не успело исчезнуть, развеяться в прах.

Показала, например, особняк Молло, уверяя, что Молло — француженка, родственница знаменитого парижского юриста, написавшего книгу об адвокатской чести и совести.

— Кто ее знает, может, и верно, а может, выдумки. Да и то сказать, всякие люди живут на свете.

Потом она показала, где жил редактор газеты «Уфимская

жизнь» Ница — на Ильинской улице, где жил Чудинов — на Телеграфной, между Приютской и Уфимской, нельзя сказать, что в самом центре города. Все улицы Августа Владимировна называла по-старому, как они раньше назывались, и это придавало ее рассказам особый оттенок.

Заметив, что упоминание Чудинова вызвало на моем лице какое-то движение, Августа Владимировна пояснила:

— Да, да, тот самый, которому поручили в восемнадцатом году перевезти царскую семью из Тобольска в Екатеринбург.

— Знаю. Дмитрий Михайлович. Даже встречался с ним один раз. Да он больно неразговорчивый. «Как же, говорит, было, было такое дело». И все. Больше я от него никаких подробностей не выудил. А ведь специально приезжал, чтобы его повыспросить. Но, помнится, он тогда не на Телеграфной жил.

— А вот здесь, на Гоголевской, была у большевиков конспиративная квартира, — вдруг сказала Августа Владимировна.

— Вы-то откуда знали это?

— Да уж знала. Знала да помалкивала, я не доносчица, меня хоть на огне жги, чужую тайну не выдам.

— А свою?

— Шутите, какие у меня могут быть тайны. Я безтайная.

— Ну, не было, так будут. Как же без тайн? Будет дождик — будут и грибки, — пошутил я.

Но Августа Владимировна ответила серьезно, не поддержав шутки:

— В том-то и дело, что засуха.

И еще раз удивила меня: вдруг остановилась — специально чтобы взглянуть мне в лицо, внимательно посмотрела на меня своими выпуклыми, немного навыкате (базедова болезнь?) глазами и, вздохнув, сказала со святой наивностью:

— Суворовскую улицу переименовали… А ведь Суворов известный был полководец, и в Уфу он приезжал — не зря назвали улицу-то… И что такого, если в Уфе была Мининская улица? Зачем ее Краснодонской называть? Чем это лучше-то? Или тоже пошла мода называть улицы фамилиями умерших людей. Это на кладбище хорошо, идешь и читаешь: здесь погребен раб божий такой-то, а здесь — раба божья такая-то… Я бы давала улицам веселые названия: Солнечная, Радостная, Цветущая… Вы не согласны? А по-моему, дурость какая-то: вы

вот много ездите, наверно, скажите, видели хоть один город или даже райцентр, где бы не было улицы Ленина? Одно и то же, одно и то же кругом — тошнехонько! Вон и мы теперь на улице Фрунзе живем. А кому помешала Ильинская? А Ушаковский парк кому помешал, что его сделали Матросовским? Матросов, что ли, его создавал?

Я был поражен: надо же, буквально мои мысли! Сколько я возмущался таким варварским переименованием!

— Не боитесь? — подзадорил я. — Ведь такие рассуждения — своего рода критика государственных мужей, кои критике не подлежат…

Августа Владимировна усмехнулась:

— На дуре не взыщут! Говорят, чтобы не отстать от жизни, надо жить налегке. А я всю жизнь прожила налегке, а отсталая. Какой уж из меня критик! Дайте-ка я вам лучше про уфимских дураков расскажу. Правда, правда, про дураков. Были такие — Коля косопузый да Игошка, не слышали про таких? А это как раз из тех лет, когда вы в Уфе жили, их весь город знал — Колю Рязанцева, но его по фамилии никто не звал, а все косопузый да косопузый, и Игошку, похожего на галчонка — носатый такой да сгорбленный был. А еще была Критька-дурочка. Кристина, наверное, полностью-то? — Августа Владимировна рассмеялась и закончила несколько смущенно: — Она, представьте, забеременела! Анекдот, да и только! И когда ее спрашивали, чего это у нее такой большой живот, Критька, поглаживая его, важно отвечала: «Шапши наела», что должно было обозначать: «Лапши наелась»… Смех и горе! Вы не помните их? У нас они все около церкви отирались, папа в Сергиевской служил.

Я нарочно перебрал все эти пустяшные разговоры, чтобы подчеркнуть внезапность того, что рассказала Августа Владимировна напоследок. Так бывало у нас на Урале: бредешь по склону горы, под ногой осыпается галечник, оседает мох, — и вдруг что-то такое увидел… Поднимаешь камушек — изумруд! Красивейший из уральских драгоценных самоцветов, его только отдать в руки гранильщика — и засверкает изумруд зелеными искрами, начнет переливаться загадочными бликами, зелеными безднами, зеленой глубиной…

— Дом с мезонином вон там впереди видите? — спросила Августа Владимировна, когда мы уже возвращались по Пуш-

кинской улице домой. — В нем жили Кадомцевы, когда переехали в Уфу из Бирска. А вот этот — наш домик, — показала Августа Владимировна после некоторого молчания, когда мы довольно долго шагали молча, уже свернув за угол. И поправилась: — был наш.

— Улица Гоголя, дом шесть? — прочитал я на фасаде.

— Прежние хозяева продали дом из-за одного приключившегося случая… А мы его купили…

Тут я сразу насторожил уши: так, здорово живешь, не продают маленькие уютные домики.

— Да, да? — поторопил я Августу Владимировну, учуяв что-то интересное. — Какого же случая?

— Вы-то знаете, какие грозы разражаются в наших краях. Вот и в тот день — ух, страшная гроза была, мы с мамой, помню, ни живы ни мертвы сидели и дрожмя дрожали, пока она не кончилась. А в этом доме жили молодые муж и жена, хозяин с хозяюшкой, недавно обвенчанные, зажиточные, он каким-то редким мастерством владел, а она мастерица была гнездо вить — тоже ведь уметь надо. Вдвоем-то мужу и жене, да молодым и красивым, да еще и при деньгах — чего бы и не жить? Слава тебе Господи, живи да радуйся…

Августа Владимировна замялась. Видно было, что дальше ей не хотелось рассказывать, как детям не хочется дочитывать книгу с плохим концом. И она оттягивала, ходила вокруг да около, расписывала, какие были у молодых супругов сундуки да пуховики, скатерти да тарелки, как у них все сверкало, полы были намыты, разноцветные половики постланы, а на подоконниках фикусы да бегонии красовались… Августа Владимировна перевела дух, прежде чем расстаться с описанием житья-бытья счастливых хозяев трехоконного домика на Гоголевской улице, дом шесть.

— Грохотала гроза, хлестал ливень, и в самый разгар этого светопреставления перед домом остановилась телега, с телеги соскочил какой-то бородач и, торопливо привязав лошадь к телеграфному столбу, постучал в окошко: “Пустите Христа ради, люди добрые, грозу переждать!» А люди добрые не пустили… Кто его знает, что за человек, может, лиходей какой? Бородач постоял-постоял и пошлепал по лужам к той стороне дома, где меньше мочит дождем. И надо же было так случиться: ударила

молния и убила бородача! Аж почернел весь и свалился возле кадочки с дождевой водой. Экая беда, а?! С той поры не стало покоя хозяевам дома: все мерещился этот человек… Наконец не выдержали: продали дом и уехали куда-то. Вот оно, какие мучения совесть-то вызывает. Но, конечно, не у всех, только у совестливых.

Очень взволновала меня эта история. Помню даже, все хотел рассказ написать на этот сюжет. До чего же выдумщица на всяческие переплеты товарищ Жизнь! Но что меня еще поразило — это бесстрастие, с каким рассказывала Августа Владимировна. Ведь нехорошо поступили хозяева дома? Ведь грех? Между тем Августа Владимировна жалела, но не осуждала. И я ничего не мог понять. Как же так? Ведь она должна бы обрушить проклятия на тех, кто из-за своей черствости, из-за вещелюбия погубил человека?

И вдруг меня осенило. Рублевский Георгий Победоносец вонзил копье в проклятого змия? Вонзил. Но вглядитесь в его лицо: оно безмятежно, осиянно, оно не искажено злобой, на нем нет ярости. Ведь так? И я не удивляюсь по размышлении, что в голосе моей рассказчицы не чувствовал осуждения и гнева. Да, положительно этой поповой дочке доступны некие высоты народной мудрости, некие тайны народного прозрения! Может быть, Августа Владимировна затронула какую-то самую, что называется, суть? Ведь нет для человека ничего важнее, чем чистая совесть.

Неотступно стоит передо мной эта картина. Так и вижу все: и эту грозу — страшную грозу, вроде той Кичигинской, которую с малолетства и по сию пору помню… и промокшего мужичка, с которого ручьями стекает вода… и смирную лошадку…

Нависли над городом тучи. Бушует гроза. Грохот и гул стоят в воздухе. Сверкают ослепительные молнии — одна за другой, одна за другой. Дождь льет стеной — как из ведра. И под этим дождем мокнет покорная судьбе чалая кобыла, привязанная вожжами к столбу. Стоит, бедная, понурившись, и только ушами прядает, как громыхнет гром. А поодаль от водосточной трубы, из которой бьет тугая струя, стоит промокший до нитки человек, случайно очутившийся вдалеке от родного очага, — приехал по делам и угодил в грозу. Он зябко поводит плечами.

Он поглядывает сочувственно на кобылку: тоже, поди, невесело ей, горемычной. Он пробует отжать одежду — какое там! А в окнах маячит хозяйка дома. Краем карего глаза ухватывает эту черную тень, этого проезжего, мокнущего под дождем. Она еще насупливает соболиную бровь на красивом лице, еще хорохорится и упрямо доказывает себе, что поступила правильно, что нельзя каждого встречного-поперечного впускать в дом, этак и беды нажить недолго. Она так дорожит выпавшей ей крупинкой счастья, так оберегает удавшуюся жизнь: и муж достался хороший, непьющий да работящий, и домом обзавелись, и всякими плошками-поварешками… Как же не дрожать за все это? Вот и не пустила чужого: натопчет он, все половики перемажет, лужи с него натекут по всему полу… Да и кормить его придется… Конечно, не разоримся, но и потакать лодырям тоже не дело. На базар ведь, поди, приезжал, все распродал, стало быть, деньги есть, а полтинника, сквалыга, пожалел, чтобы на постоялом дворе остановиться… А теперь вон просится — грозу, мол, переждать… А ты встань под крышу, не сахарный подикося, не размокнешь… Но все доводы и доказательства молодухи — удивительное дело! — оказываются почему-то невесомыми, бестелесными, как мыльные пузыри, даже, пожалуй, вздорными. Муж молчит, но видно, что и он не одобряет жениного поступка. Не одобряет. Но молчит. Оба, значит, виноваты в гибели человека? Ошиблись… Оступились… Может же человек идти по улице и споткнуться? Вот так споткнулись эти домовитые хозяева, не протянувшие руку человеку в беде. Споткнулись. И вывихнули совесть. И совесть их замучила.

Да-а… Вот и давно я слышал эту, на первый взгляд, незамысловатую историю, а помню ее, даже по-особенному остро помню. Много минуло времени, уже и Августы Владимировны нет на свете, и я не уверен, что уцелел домик на Гоголевской улице. Я даже не хочу выяснять, цел ли этот домик, не построена ли на его месте громадина в десять этажей. Домик этот нельзя уничтожить, он бессмертен, он памятник, именуемый Совестью. Совесть — мерило всех человеческих поступков, экзамен каждого на звание человека. Есть совесть — значит, есть человек. Нет совести — нет человека.

А вспоминая теперь Августу Владимировну и все свои раз-

говоры с ней, я одного себе простить не могу: как же это я не обратил внимания, что по мужу-то она не Колокольцова, а Матвеева?! Не родственник ли ее Паша (Павел… а отчество не помню…) нашему директору гимназии — моему любимому и глубоко почитаемому Владимиру Николаевичу? За голову теперь хватаюсь: как же это я не познакомился с этим Пашей, уже седым в пятидесятые годы, крупным таким мужчиной, которого я видел только мельком и издали, как же не расспросил его о родне, о семье? Может быть, он, Павел Владимирович, и является сыном того Матвеева? Или тоже Николаевич, и тот Матвеев — его брат? Нет, слишком много лет прошло, Владимир Николаевич и тогда был не молод, и будь у него брат даже намного младше его, он не дожил бы до пятидесятых годов… Но все-таки, все-таки! Матвеевых, конечно, полно на свете, но почему-то кажется мне, что тут не простое совпадение фамилий. Недаром же этот Матвеев тоже был учителем, кажется, даже директором школы в Деме, в той самой Деме, где я когда-то гимназистом жил целое лето у помещиков Россинских в качестве репетитора двух их сыновей, которые погибли через несколько лет в колчаковской армии…

Кстати сказать, лето у Россинских — это целое событие в моей мальчишеской жизни, я упомянул его в рассказе «Свидание», но оно стоит того, чтобы о нем рассказать и подробнее: ведь Россинские, как и Колокольцовы, Кадомцевы, Лисовский, Башиловы и все, о ком я пишу в этой главе, — тоже уфимцы, а мое пребывание у них — тоже страница моей уфимской жизни, — так как же не описать эту историю, раз уж коснулся ее.

Имение Евгения Владимировича и Софьи Федоровны Россинских находилось близ деревни Лекаревка, между станциями Дема и Юматово. Был у них и в Уфе дом — неподалеку от нас, на углу Телеграфной и Ильинской улиц, и одну зиму я занимался с их сыновьями, а на лето меня пригласили репетитором к ним на дачу. Как я гордился этим приглашением! Ведь мне, семикласснику, положили довольно большое жалованье, да еще при полном питании и обслуживании, при проживании в отдельной комнате во флигеле «бабы Маши» и всего-то при четырех часах работы в день (по два часа занятий с каждым мальчиком в отдельности)! У меня была уйма свободного времени, к тому же я мог иной раз и съездить «на побывку» домой,

благо езды-то тут было всего-ничего.

Жил я эти месяцы настоящим буржуем: комнату убирают, постельное белье меняют, в саду ешь смородину и яблоки сколько влезет… Но главное, что мне особенно льстило, завтрак я получал чуть ли не в кровать, его приносили в мою комнату. Обычно это был кувшинчик (стакана на два) парного молока с домашним печеньем или булочкой. На обед я являлся — по колоколу! — к общему застолью. А ужинал по выбору: хочу — у себя, хочу — вместе со всеми.

Вот такой мне выпал удачный случай — в девятьсот четырнадцатом или пятнадцатом году. Евгения Владимировича Россинского уже не было тогда в живых, так что его я не имел счастья знать. Софью Федоровну тоже почти не видел в то лето, а находился в полном ведении управляющей имением Марии Дементьевны Якубович, которую все обитатели поместья называли не иначе как бабой Машей. Родни, близкой и дальней, а также друзей и знакомых было у этой семьи множество, и все буквально паслись целое лето у Россинских, то полным составом (в именины и праздники), то поочередно, так что я и не помню, чтобы за стол садилось меньше двадцати человек. Чаще всего гостили Иван Васильевич Андреев с женой и детьми Васей и Ваней, Николай Михайлович и Елизавета Ивановна Чижовы с дочкой и сыновьями, Миклашевские, Агафоновы… Всех не упомню, но народом кишмя-кишела вся усадьба. И всех как-то размещала баба Маша — у себя во флигеле или в барском доме, всю ораву кормила, для всех находила приветливое слово. В ее подчинении был весь штат прислуги, она действительно заправляла всеми делами, вела все хозяйство и при всем при том была всеобщей любимицей и душой этого райского уголка. Сидит, бывало, и смотрит, как ребятня гоняет мяч или бултыхается в пруду на мелководье, а барышни с молодыми людьми играют в крокет или во «флирт» (была такая игра[1], очень популярная у молодежи, при помощи которой и впрямь можно было флиртовать при всем честном народе и в то же время втайне от всех). Каждый находил себе занятие и развлечение по душе, в соответствии с возрастом и наклонностями. Была в имении богатая библиотека, биллиард, были на пруду лодки, а в саду и гамаки, и качели, и уединенные беседки, одну из которых облюбовал я, забираясь туда с охапкой

книг на удивление всех окружающих. Больших компаний, тем паче аристократических, я в те времена стеснялся и предпочитал одиночество, поэтому то пропадал все свободные часы на Деме, то, увлеченный изучением философии, штудировал какого-нибудь Канта или Дидро[2]…

Вот ведь как, одно маленькое слово, всего из четырех букв: «Дёма», а сколько пробуждает воспоминаний! Я сильно отвлекся, но это уже все. Добавлю только, что я хорошо отдохнул в то памятное лето и прилично заработал, а оба мои подопечные успешно сдали переэкзаменовки и перешли в пятый класс, чем еще больше повысили мой репетиторский авторитет среди уфимцев. А теперь можно и продолжать свой рассказ. О чем бишь я? Ах да, о Колокольцовых!

От их дома до Дёмы — рукой подать, рядом татарское кладбище, пройдешь его — и начинается спуск с горы к железной дороге, к реке Белой, в которую здесь, у самого моста, впадает речушка Дема, — отсюда и название станции и поселка. Раньше тут от водокачки была лестница в 199 ступенек — сколько раз я их пересчитал в гимназические годы! Теперь на откосе стоит огромный памятник Салавату Юлаеву[3], с поезда, как только проедешь железнодорожный мост, его хорошо видно: высоко с горы этот всадник как бы приветствует всех приезжающих в Уфу. А прежде никакого памятника не было, была водокачка. Спустишься около нее с горы, одолеешь две сотни ступенек (вниз-то легко, а вот вверх…) — и попадешь прямо на станцию Правая Белая. А за мостом и станция Дема — один всего перегон, если не считать маленького полустанка Левая Белая, где поезд останавливается всего на полминуты.

Муж Августы Владимировны, работавший в Дёме, наверное, проделывал ежедневно тот же путь, что и я когда-то: мимо татарского кладбища, вниз — и на поезд… Он всегда, выходя с портфелем в руках из дома, шел именно в том направлении, а Августа Владимировна (близкие звали ее Авочкой) часто выходила его проводить и что-то говорила вдогонку…

Ну как же, как же не зацепился я тогда за фамилию, не ухватил ее важной для меня сути?! Как же не вдумался и не перекинул мостика от этого Матвеева к тому?! Какое упущение! И ничего теперь не вернешь, не поправишь, сколько ни кусай локти. Так-таки вот и пропустил мимо ушей, не вник. А какое

интересное могло получиться расследование семейных связей и родства душ, какая перекличка эпох и поколений!

Вернемся, однако, к Уфе 1909–1917 годов. Мне осталось рассказать еще об одном существенном, на мой взгляд, эпизоде из моей уфимской жизни. Даже не эпизоде, а периоде, что ли, вернее сказать.

Не помню, как и когда я познакомился со Всеволодом Ивановичем Поповым[4]. Во всяком случае это было еще до войны, но я был уже в старших классах гимназии. Кажется, это было в то время, когда у меня нашли какое-то нервное заболевание или переутомление и запретили мне учебу. Значит, это был 1912–1913 год.

Я был предоставлен сам себе. Много читал. Писал дневники, их накопилась большая стопка общих тетрадей. Бесцельно бродил по улицам, иногда уезжал на несколько дней на хутор. И необычайно остро воспринимал все происходящее вокруг, даже самые мелочи. Да, конечно, восприятие мира было у меня тогда обостренное. Не зря же врачи освободили меня от занятий в гимназии на целый год. Я, по-видимому, был действительно болен. И лучшим лекарством для меня стали блуждания по городу. То я часами смотрел, как вешние воды реки Белой напористо мчатся и мчатся, унося в беспредельную даль сверкающие льдины. То сидел где-нибудь в отдаленной аллее Ушаковского парка и слушал, как соборный колокол в пятьсот пудов весом, пожертвованный городу елабужским купцом Стахеевым, размеренно и протяжно гудит в надвигающихся сумерках. То наслаждался на хуторе тишиной и отрешенностью от всего на свете.

Тяжелая была пора. Смутные предчувствия. Смутная тревога. Тихо, как перед грозой. Солнце сверкает, но какой странный неестественный блеск. Желтая мгла стоит в воздухе, как будто где-то горят леса. Ни грома еще, ни молнии. Но лиловая туча уже наползает по горизонту. Гнетущая неподвижность. Люди как потерянные ходят, разговаривают, хлопочут о каких-то своих делах. А участь многих уже решена, только пока еще точно не установлено: кому предстоит погибнуть в болотах, находясь в армии Самсонова, проклиная измену Ренненкампфа, кому суждено бежать в атаку — безоружному, ожидая, когда пуля сразит соседа и винтовка перейдет из рук в руки, кому дове-

дется три года спустя бросить окопы, ехать в раздолбанных теплушках по домам, требовать хлеба и мира, устанавливать на местах советскую власть, а кому будущее сулит брать приступом Зимний дворец, или сражаться под Волочаевкой, или вести на расстрел Колчака, или самому быть расстрелянным, замученным где-нибудь в каменных стенах Александровского централа или — позже — на Колыме, в Соловках, а то и прямо на Лубянке…

В августе 1914 года началась война с Германией. Назревали события, коим суждено было свершиться в роковом семнадцатом году… Но пока наш город сохранял свой обычный облик. Так же были пыльны улицы. Так же бурна весна и томителен летний зной. Так же разгульна мокропогодица. Так же в магазине Блохина на Центральной улице продавались общие тетради в клеенчатых обложках, а рядом — в Дворянском собрании на углу Центральной и Пушкинской — устраивались танцы и благотворительные вечера в пользу неимущих учащихся гимназии.

Познакомился я со Всеволодом Ивановичем Поповым случайно. Меня поразил его томный разочарованный взгляд. Он говорил тусклым, бесцветным голосом, лицо его было матово-бледным, глаза полузакрыты, как будто он очень-очень устал. Я полагал, что он и должен быть таким: ведь всем известно, что он — не так себе, он — настоящий литератор, самый настоящий, и печатается не у нас в «Уфимской жизни», а там, в Петербурге, в далеком непонятном мире, столь же недоступном для меня, как Сириус или Млечный Путь.

Всеволод Иванович пригласил меня к себе. Дома у него совсем не так, как у нас. Все солидное, дорогое. Даже воздух в его квартире особенный, пряный, благоуханный, и стоит такая тишина, что мы сидим с ним на диване в кабинете, но слышно, как тикают рядом, в столовой, большие, в дубовом футляре, тоже очень солидные и неторопливые часы.

У нас дома таких часов не было, и если кто-то хотел справиться, сколько времени, то мчался на кухню, где беззаботно выщелкивали секунды шустрые ходики. Ходики ухитрялись за сутки уходить вперед на сорок минут, но наша кухарка Оксинья, которую все звали Окся, просыпавшаяся раньше всех, сразу же наугад возвращала минутную стрелку на место. Висели у нас в столовой большие круглые часы, но почему-то они

стояли, — сколько я помню, стояли всегда.

Главное в квартире Всеволода Ивановича, что произвело на меня потрясающее впечатление, — это, конечно, книги. Их много, очень много. Стены в кабинете от пола до потолка уставлены книгами. Да и в других комнатах, и даже в коридоре — всюду сверкают стеклянными дверцами умные, словно очкастые, шкафы, битком набитые нарядными, приковывающими взгляд и, должно быть, страшно интересными книгами.

Но что это? В каждом шкафу на видном месте наклеена бумажка, и на ней четкая, крупная надпись: «Книги никому не выдаются». Я еще ни слова не успел сказать Всеволоду Ивановичу о его книгах, я только с нескрываемым восторгом, с упоением и жадностью глазел на них. Прочитав надпись, я густо покраснел, я почувствовал, как горят мои щеки. Было такое ощущение, словно я, проходя мимо окон, нескромно заглянул в чужую спальню. Я отвел глаза от книг. Пусть себе стоят, мне-то какое дело. И вообще — разве это книги, если их никто не читает?

Тем временем Всеволод Иванович познакомил меня с тихой и тоже изящной, как вся мебель в квартире, грустной женщиной:

— Познакомьтесь. Представь, Лора, этот молодой человек пишет недурные стихи.

Женщина посмотрела на меня рассеянно. Видимо, ее нисколько не удивило и ничуть не взволновало это обстоятельство — что я пишу недурные стихи.

Мы сели за стол и стали пить чай. Тут все внимание я сосредоточил на том, чтобы не пролить на скатерть чай, не звякать ложечкой, не слишком наваливаться на сладкое и в то же время внимательно слушать рассуждения Всеволода Ивановича о литературе.

— Поэзия — как волшебство[5], прав Бальмонт, — говорил он. — В чарующей музыке стиха можно передать непередаваемое, тончайшие интонации души.

— Еще чашечку? — безучастно предложила мне грустная женщина.

— Лора, помолчи! — простонал Всеволод Иванович. — Я приведу молодому человеку пример инструментовки влажного «в» и плещущего «л».

Тут он совсем зажмурил глаза и, покачиваясь, как шаман, прочел нараспев стихотворение:

С лодки скользнуло весло…
Ласково млеет прохлада…
Милый мой! Милый! Светло,
Сладко от беглого взгляда[6]…

У меня было печенье во рту, но я боялся его разжевать, так как печенье могло захрустеть и нарушить всю инструментовку влажного «в» и плещущего «л».

— Севочка, — робко произнесла женщина, — разве там «беглого взгляда»? Кажется, там — «светлого»…

…И все-таки, несмотря на строгую надпись на книжных шкафах, Всеволод Иванович давал мне книги. Как я ими зачитывался! Как упивался! А книжечку Бальмонта «Поэзия как волшебство» купил в магазине Блохина, эта книжка стала у меня настольной. Передо мной открылся новый мир: оказалось, что каждая буква что-нибудь означает! В каждом слове — музыка! Я с ней долго не разлучался, во всяком случае до той поры, когда жизнь закрутила меня, как щепку, брошенную в самую быстрину, в самый водоворот. А пока я мог читать и зачитываться, я мог изучать эту книжечку и даже написать о ней статью, которая была напечатана в одном из номеров «Мозаики».

Для домашних я стал невыносим. Я зажмуривал глаза — в точности как Всеволод Иванович, и, требуя общего внимания, декламировал:

Милый мой, милый! Светло,
Сладко от беглого взгляда…

Затем без всякой паузы:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка озорной…[7]

Мама шептала в ужасе:

— Милостивый Бог, никак, он уже и вино пить научился!

А меня волны поэзии влекли дальше. Я таращил глаза, вращал белками и рычал:

Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься по берегам![8]

И вдруг — с наигранной развязностью:

Послушайте, господин Бог!
Как вам не скучно
В облачный кисель
Ежедневно обмакивать
Раздобревшие глаза?[9]

Я учился в классической гимназии. Как же гимназисту не знать, что риторика родилась в школах софистов[10], что еще Георгий Леонтийский толковал о метафорах, фигурах, аллитерации[11], что у нас в России еще Ломоносов издал «Риторику»[12], а небезызвестный Кошанский составил «Общую риторику»[13], выдержавшую десять изданий… Да. И это не мешало мне зачарованно вслушиваться в музыку влажного «в» и плещущего «л».

Вскоре вся наша семья знала наизусть бальмонтовские «Камыши». А я сочинил стихотворение «Точильщик ножей», составленное из сплошных «ч» и «ж», затем стихотворение «Майский жук», наполненное жжжужжжанием.

Долго трудился я над стихотворением «На овине молотили», которое задумал построить так, чтобы в нем ни разу не встретились подряд две согласные буквы, что должно было, как мне казалось, передать простор и ширь изображаемого мною русского раздолья:

Солодовые болота,
Тихоходы-караси,
Пашеницы-позолоты
Уродило на Руси!
Сорокапятипудовый
На овине умолот,
А покосами медовый
Молочая дух идет.
Ай, и бабы белолицы!
Ай, задиры мужики!
Ай, обозы-вереницы
Перемолотой муки!
Ели сало, пили воду.
На тагане чугунок.
Ало-липового меду
На залаве лагунок.
Огороды да овины,

За овинами — поля,
Сенокосы, логовины,
У дороги тополя.
Ай, умолы-умолоты.
Муковеи на Руси!
Камышовые болота,
Чебаки да караси.

«Точильщик ножей» и «Майский жук» не сохранились, безнадежно потеряны, как и множество других моих стихотворений, рассказов, пьес, в которые вложено было столько трудов, столько вдохновения. Они погибли. А вот «На овине молотили» каким-то чудом уцелело, и я включил его в мой сборник стихов «Половодье», изданный в 1976 году. Мне хотелось сделать в этом сборнике целый раздел своих ранних стихов и поэм, но это не удалось, попали в сборник только единицы: «На овине молотили», да «С покоса», да «Будочка в степи» и «Захолустье». Может быть, и не стоит об этом сожалеть, ибо не все, конечно, заслуживает внимания. Но кое-что было очень характерно для своего времени и любопытно, по-моему, было бы и для теперешнего читателя — именно тем, что стихи эти запечатлели определенную эпоху.

Пользовались когда-то успехом и мои стихи с местным, восточным колоритом. В этом отношении интересны поэмы «Гюн-Дахды» и «Басмачи», отражающие мои впечатления от Средней Азии. А из уфимского дореволюционного периода очень характерно стихотворение «Продавец апельсинов». Ходили тогда по улицам и даже по дворам Уфы такие продавцы-лотошники. Кто продавал фрукты, кто угли (да, да, угли, их охотно брали хозяйки — для утюгов, для самоваров), а кто не продавал, а, наоборот, скупал — тряпки, старье, всякие поношенные вещи, и каждый зазывал народ, привлекал к себе внимание. Я и описал одного такого торгаша, который время от времени провозглашал громким гортанным голосом на ломаном русском языке: «Апельсин-лимон!», причем обязательно в этом выкрике напирал на букву «а», делая ее протяжной, долгой, а потом скороговоркой договаривая остальное: «А-а-апельсин-лимон!». Эти слова у меня и повторяются рефреном после каждого куплета. Вот оно, это стихотворение:

Яблонь в уфимских садах зацвела…

Алла-бисмилла!
Небо — тюбетейка голубая.
Как ичиги — солнца лучи.
Весны у Аллаха-бабая
Слаще алычи!
Апельсин-лимон!
Королек тонкокорый! Королек тонкокорый!
Полные несу короба я.
Переполненный короб! Переполненный короб!
Слаще весен Аллаха-бабая!
Апельсин-лимон!
Как солнце, ряба апельсинная кожура,
А солнце рябо, как апельсин.
Апельсин — это весны, ветра, утра,
Апельсин — это солнца сын!
Апельсин — лимон!
Мой бешмет нараспашку: жарко.
Почки на тополе: крак, крак.
— Эй! Кыз! Черноглазая смуглолицая татарка!
Саган апельсин киряк?
Апельсин-лимон!

Писал я и стихи без всякого колорита. Просто обыкновенные стихи:

У нас в Уфе полным-полно сирени,
Таких кустов не встретите нигде!
Как стаи птиц — полет стихотворений,
И столько солнца в каждой борозде!
И сердце хочет сердцу отозваться,
И ветер хочет листья растрепать…
Никак тобой мне не налюбоваться!
Опять весна! И солнечно опять!

Вообще в Уфе я всерьез занимался творчеством. Писал, правда, за редким исключением плохо, насколько я вижу и оцениваю это сейчас. Но какое ни есть, а начало моего творчества — именно в Уфе, где я печатался почти в каждом номере гимназического журнала «Мозаика», публиковал в местной газете очерки об уфимских нравах — первые, так сказать, прозаические свои этюды, и даже осмелился написать Рубакину[14], писателю, который много и активно помогал в те годы начина-

ющим, пробующим свои силы в литературе молодым людям.

Я бы, может быть, и забыл об этом факте своей биографии, но Александр Андреевич Шмаков[15], которого я очень люблю и как писателя и как человека, будучи у меня в один из своих приездов из Челябинска, рассказал, что видел мое письмо в архиве Рубакина, и я попросил его уточнить эти сведения и прислать мне, если возможно, копию этого письма: интересно же посмотреть через 60 лет на свои фантазии! В 1976 году Шмаков мне сообщил: *«Охотно удовлетворяю Ваше любопытство. Ваши стихи и письмо я обнаружил в архиве Н. А. Рубакина и впервые публично об этом сказал на Археологической уральской конференции в Оренбурге, которая состоялась в 1975 году. Затем материалы моего сообщения, посланные в Уфу, попали в руки М. Рахимкулову и с моего разрешения были им использованы в газетной статье, посвященной Вашему юбилею. Я непременно вышлю Вам стихи и полный текст письма, но только чуточку позднее…»* А через несколько месяцев, в январе 1977 года, я получил от него и драгоценный пакет с копиями, который Александр Андреевич сопроводил такими словами: *«Мой ответ задержался потому, что я не перепечатал письмо и стихи, посланные Вами Н. Рубакину, и чувствовал себя крайне неловко, что не выполнил до сих пор обещания — прислать Вам эти уникальные для Вас документы. Я думаю, что и письмо, и стихи — любопытны. Они помогают лучше увидеть гимназиста Четверикова, еще наивного, но, что мне очень нравится, решительного и волевого паренька, уверовавшего в себя в те молодые и теперь далекие годы. Так кажется мне. А для Вас это воспоминания, быть может, забытых картин и настроений, всего того, чем богата юность человека».*

Приведу и текст своего юношеского письма Рубакину, благо теперь — спасибо Шмакову — имею такую возможность:

«Многоуважаемый Николай Александрович!

Когда я в Вас встретил не только намагниченного, но даже наэлектризованного интеллигента, мне тотчас захотелось в числе сотен других людей пойти к Вам, потянуться к Вам из уфимской глуши. Вы нашли в нищете, в унижении человека, борцов. Вы протянули руку жаждущим света, самообразования. Вы, я уверен, откликнетесь и на мой зов, только бы

письмо дошло до Вас. Вы скажете — есть тысячи людей, которым помощь более нужна, чем мне, человеку из более или менее обеспеченного класса (я – гимназист, сын учителя городского училища). Это правда, но… но и мне нужна поддержка, и к кому же мне обратиться, если не к Вам, лучшим людям нашего времени. Кажется, у Толстого в одной брошюре я прочел, что юношество должно требовать себе помощи, совета, разъяснений у взрослых. Я очень нахально и бесцеремонно обратился к Вам, но ведь не у Вербицкой же искать мне опоры[16] *и решения.*

А дело мое — "писательство".

"Э! Какой-нибудь непризнанный поэт, неумолимо читающий всем стихи и втайне помышляющий о будущей своей славе, которая затмит и Пушкина, и даже самого Игоря Северянина"[17].

Да, Вы угадали. Перед Вами житель города, в котором учились Аксаков и Авдеев, и даже с какой-то стороны родственник последнего. Перед Вами человек, прятавший лет десять (с 10-ти лет) свои вдохновения от людей и не знающий, что он прятал: зародыши чего-нибудь большого или мусор, которого и без того достаточно во всех журналах и книгах последних дней. Не откажитесь же разъяснить ему, что он и что в его стихах — искорка или торичеллева пустота.

Письмо у меня пишется каким-то разнузданным слогом, но я сейчас пришел к Вам с душой, я раскрыл Вам душу и, может быть, маскируя волнение, умничаю и психопатствую. Письмо это — моя заветная мечта, я давно лелеял мысль, что прямо и просто подойду к лучшим людям, имена которых до тех пор были чем-то святым, но далеким и недоступным простому смертному, — и скажу: посмотрите мне в душу и скажите, не ошибся ли я, променяв все на музу, не мечтаю ли я о чуждом моей душе, могу ли я работать в этой области. Прежде чем решиться задать этот вопрос, перемучился, передумал я много и писал много, писал "наперекор стихиям" (как и читал), писал, так как мне необходимо было, я сидел ночи… Есть ли в душе что развивать, или я ошибся, или я не пирожник и мое дело — тачать сапоги? Вы ответите мне, да? Вы скажете все, что подумали?

Вот что хочу отдать на Ваш суд — несколько стихов.

В письме только стихи и возможно переписать, у меня есть проза, есть драма, но с ними нельзя никак сделаться, да и у Вас отниму слишком много времени.

...Вот растерялся и не знал, что выбрать. Но не все ли равно, что выбрать? Если есть — везде есть. Скажите — есть или нет? Умираю от ожидания ответа.

Борис Четвериков.

Мой адрес: Уфа, Вавиловская ул., д. № 72».

К письму мною были приложены 4 стихотворения. Но, Господи, до чего же они слабы! Поражаюсь: неужели это было лучшее из моего творчества того периода? По-моему, я неудачно выбрал отнюдь не перлы. Но это уже факт истории, и бесполезно тут рассуждать и критиковать.

Между прочим, на конверте (это зафиксировано в копии, присланной Шмаковым) рукою Рубакина написано: «Отвечено». А я даже не помню, что получил ответ.

Как раз в ту пору, когда я целыми ночами писал дневники и сочинял стихи, когда читал и читал — запоем, неуемно, когда я входил в мир творчества, сочинительства и когда усердно прорабатывал бальмонтовскую книгу, — в наш город приехал и сам Бальмонт, совершающий турне по российским городам. И хотя я знал, что на такие концерты нам, гимназистам, ходить не разрешается, я, конечно, был в зрительном зале в тот памятный вечер 11-го ноября 1915 года.

Я очень волновался. Меня охватывало нетерпение поскорей увидеть своего кумира. Он мне представлялся неземным существом, сказочным красавцем, перед которым бледнеет даже сам Всеволод Иванович.

Вероятно, Бальмонт и был таким обаятельным в годы своего расцвета. Но годы, когда он был интересен и эффектен, минули безвозвратно. И теперь меня постигло горькое разочарование, когда на сцену вышел невзрачный, непредставительный субъект с острым подбородком и мелкими птичьими глазками. Сначала я даже подумал, что это не Бальмонт, а кто-то из местных, например, администратор театра, вышедший объявить о начале концерта. Нет, это был сам поэт.

— Будем как солнце![18] — предлагал он.

Но я никак не мог представить, чтобы этот рыжеватый мужчина в возрасте этак под пятьдесят ухитрился превратиться

в солнце.

А Бальмонт не ограничился и этим.

— Хочу быть дерзким, хочу быть смелым![19] — заявлял он. Наша провинциальная публика, видимо, не желала воспринимать поэзию как волшебство.

— Куда уж ему! — проворчал кто-то в зале, вздыхая.

— Оно бы и очень можно, да никак нельзя, — добавил еще кто-то, вызвав сдержанный смешок.

Тогда я обиделся за Бальмонта. Ведь это как-никак большой, известный поэт, о нем и Всеволод Иванович много рассказывал, правда, добавляя, что была такая мода у поэтов-символистов — изображать демонов, напускать на себя чертовщинку, позволять себе больше, чем позволено: я, дескать, поэт, мне все можно. Всеволод Иванович рассказывал о бесчисленных «романах» Бальмонта, — значит, он чем-то нравился женщинам? И я снова вглядывался в его черты. Лоб большой… Глаза какие-то странные… Шевелюра… Крахмальный высокий воротник подчеркивает рыжий оттенок бородки… Нет, конечно, он своеобразен… Кроме того, очень самоуверен… И стихи у него звучны, ярки и тоже самоуверенны. Но зачем он возит с собой в турне эту чахлую поэтессу? Или не поэтессу, а музыкантшу? Она-то и портила общее впечатление. Всеволод Иванович уверял, что она — импресарио. Очень может быть.

Бальмонт запросто побывал у Всеволода Ивановича. Оказался в этот вечер приглашенным и я.

Я внимательно и почтительно, с любопытством и некоторым недоумением смотрел, как знаменитый поэт откусывает желтыми беличьими зубками от бутерброда с сыром, как пьет чай, с шумом втягивая его в себя, как одновременно прожевывает и что-то рассказывает о петербургской жизни и ругает скотиной какого-то издателя.

— Представьте, Константин Дмитриевич, — улучив удобный момент и показывая на меня, сказал Всеволод Иванович, — этот молодой человек пишет очень недурные стихи.

— Вот как? — отозвался Бальмонт. — А тут что у вас? Балычок? Пройдемся по балычку, это я люблю. Стихи, говорите? Все гимназисты пишут стихи.

После таких пренебрежительных слов я готов был провалиться сквозь землю. И боялся только одного: вдруг он все-таки

пожелает познакомиться с моими стихами? Но этого, к счастью, не случилось.

Впоследствии мне нередко приходилось встречаться с этим именем: Бальмонт. И я каждый раз вздрагивал: ох, что бы со мной было, если бы тогда, в квартире Всеволода Ивановича Попова, знаменитый поэт соизволил снизойти и пожелал познакомиться с моими незрелыми гимназическими сочинениями?!

Довелось мне перелистать книгу Андрея Белого «Луг зеленый»[20], где он со свойственной ему заумью вырисовывает портреты своих собратьев по перу, «властителей дум» того времени. Вот и о Бальмонте — на этот раз без всякой зауми:

«Легкая чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространства попадает Бальмонт на землю — в салон, на улицу. Порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал, церемонно сдерживается, надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поджимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой».

Зло? И, кажется, похоже?

И дальше:

«Облик его двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение и испуг — все это чередуется в нем…»

Читаю и вспоминаю: “А тут у вас что? Балычок? Пройдемся по балычку…»

А вот Горький в одном из писем упоминает о Бальмонте благожелательно:

«Познакомился с Бальмонтом. Дьявольски интересен и талантлив этот нейрастеник. Настраиваю его на демократический лад».

Собирая воедино, сопоставляя все эти разрозненные высказывания и впечатления, я хочу понять: что же такое, наконец, этот Бальмонт? Что это за явление?

Вот Бальмонт «исповедуется»:

Разными путями к смерти мы пришли,
Счастия искали, счастья не нашли.

Действительно, он шел такими уж «разными», такими сложными путями, этот «нейрастеник»! И так был восприимчив к моде времени, к «погоде»!

В самом деле, не так уж трудно провозгласить поэзию вол-

шебством, когда уже написано Бодлером:

Природа — это храм. Под сводами живыми
Здесь слышится порой нам шепот смутных слов.
Проходит человек сквозь лес неясных снов
И символов и грез, как будто меж родными.

И если Рембо воспевал окраску гласных звуков[21], то почему бы Бальмонту не заняться и согласными и не написать свои «Камыши»?

Приходит 1905 год. Тэффи[22] написала стихотворение «Пчелки» — о швеях, сшивших «кровавое знамя свободы». Евгений Чириков[23] выпустил страшно левую сказку «Орел и курица». Почему бы и Бальмонту не написать что-то революционное? И он вполне искренен, когда возвещает:

Осуществятся все мечты,
Ты победишь, Рабочий![24]

Но вот рабочий победил. А Бальмонт оказался по ту сторону баррикад. И воспевает теперь не рабочего, а белогвардейского генерала Корнилова. И тоже искренно. Он всегда был искренним: и сотрудничая в большевистской «Новой жизни», и сочиняя оды генералу Корнилову, и ругая монархию в 1907 году в сборнике стихов «Песни мстителя»[25], и ругая социалистическое государство в 1917 роковом году. Так он понимал, по-видимому, ту пресловутую «свободу творчества», о которой еще в 1905 году Ленин писал:[26] *«Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка…»* Так что одной ссылкой на «нейрастеничность» тут ничего не объяснишь. Зависимость писателя от денежного мешка в капиталистическом обществе не находили нужным скрывать и сами эти «денежные мешки». Стоит только вспомнить о цинизме, с каким говорил на эту тему московский банкир Рябушинский: «Я вполне убедился, что писатели то же, что проститутки: они отдаются тому, кто платит, и если заплатить дороже, позволят делать с собой что угодно». Вот и толкуйте о свободе творчества в капиталистических условиях!

Когда я в 1922 году очутился в самой гуще литературной жизни, переехав в Петроград, одним из сильнейших моих впечатлений тех лет был доклад Валерия Брюсова в Доме печати «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии»[27]. Как подхватывала

каждое слово докладчика молодая аудитория! Как выразительно было аскетическое лицо Брюсова! И как запомнились мне его жестокие слова о моем бывшем кумире, о существе, казавшемся мне в те давние гимназические годы загадочным, неземным: «Константин Дмитриевич Бальмонт уже лет пятнадцать назад стал превращаться в заурядного графомана, а книжки его стихов, вышедшие в революционные годы, прямо оскорбляют убожеством содержания и формы, отсутствием даже проблесков когда-то яркого дарования».

Видимо, разрыв с родной почвой не прошел для поэта даром. Бальмонт не эмигрировал. Но, поехав в Париж на один год, застрял там, попутался с белоэмигрантщиной, а потом сам же клял ее, тосковал о России, с ненавистью писал о европейской буржуазии… Жизнь его закончилась трагически в 1942 году в местечке Нуази-ле-Гран под Парижем.

И вот что я скажу об этом человеке в заключение.

Бальмонт много писал, очень интересно жил, путешествовал, объездил, можно сказать, весь свет, даже совершил несколько кругосветных путешествий, владел многими языками самых различных народов. Он много переводил, сделал интересные литературные портреты Оскара Уайльда, Уитмена, Метерлинка, увлекательно рассказывал о Египте, Индии, Мексике, Индонезии… Пусть Брюсов побранил Бальмонта, от этого Бальмонт не стал ни хуже, ни лучше. Он блистал в свое время. И нельзя отрицать, что он талантлив и своеобразен. Это хороший, яркий русский поэт[28].

А я ему еще и обязан: ведь это он научил меня прислушиваться к звучанию каждой буквы, вдумываться и понимать, как и из чего лепится художественное произведение. И что там ни говорите, а я целиком и полностью готов признать поэзию как волшебство. Да она и есть удивительное, счастливое, лучезарное волшебство. И как я ни горюю, что развернувшимися в стране событиями был лишен университета, я счастлив, что прикоснулся к этому волшебству в юные годы, я счастлив, что прошел свои «уфимские университеты», ибо все, что я пережил в Уфе, все, с чем столкнулся в Уфе, начиная с моей гимназии, с моих обожаемых учителей Павла Дмитриевича Жукова и Венедикта Афанасьевича Ефремова, с моего идеала воспитателя — глубокоуважаемого мною Владимира Николаевича

Матвеева, о котором я храню светлую память, включая мои встречи и общение с художниками-педагогами студии живописи, с профессором музыки Николаем Николаевичем, со Всеволодом Ивановичем Поповым и с Бальмонтом, — все это оставило во мне неизгладимый след, сделало меня человеком, привило мне жадность к познанию и умение работать, а это доставило мне в дальнейшем много счастливых часов.

Вообще об уфимском периоде жизни — особенно до 1914 года — у меня самые светлые, самые восторженные воспоминания. Может быть, потому, что на склоне лет юность всегда вспоминается с восторгом и умилением. Во всяком случае и мои письма тех лет, сохранившиеся у Саши, носят беззаботный, шутливый характер. Возможно, правда, что я взял этот тон, так как был по сути не знаком со своей крестной и не мог писать ей иначе. Впрочем, Виталию это не мешало переписываться с Сашей всерьез, философствовать и рассуждать в письмах, умничать и выражать глубокомысленные соображения о разных вещах. Ничего этого нет в моих письмах. Я дурачусь и острю, а в сущности посылаю отписки, просто подаю, так сказать, голос. Вот некоторые выдержки из моих писем. В первом, от 1910 года, я еще немного серьезничаю, пишу поделовому и на «Вы», а потом Саша, видимо, меня пробрала за это «выканье», и я стал писать раскованно и шутейно.

«Дорогая Саша! Извиняюсь перед Вами, что я так долго не отвечал на Ваше письмо. За него же большое Вам спасибо, а не писал потому, что все не мог собраться: то нет времени, то забудешь. Я учусь в четвертом классе гимназии. Виташа тоже в четвертом — вместе поступили, вместе и идем. Мне 14 лет, а Виталию 13. Вы спрашиваете, большой ли я? Теперь сажени полторы буду и в скором времени обгоню (если еще не обогнал) Вас. Когда-то Вы меня таскали вокруг купели, а теперь я могу Вас протащить. К Вам же с удовольствием заеду, но только не раньше как из университета. На днях нам выдали табеля. Я девятый ученик, Виталий двадцать четвертый. В классе у нас 42 ученика. Я очень люблю рисовать и ужасно много рисую. Если Вы хотите, я могу Вам послать один из моих рисунков. Пишите скорей и не полстранички, а как следует. За письма буду очень благодарен. Но не сердитесь, если и впредь долго не буду отвечать: я со многими переписываюсь

и всем отвечаю всегда не скоро…»

«Я вот сейчас сижу и размышляю, здорово Вы на меня сердитесь или не здорово. Но, ей-богу, я молчал не потому, что я такой отъявленный лентяй (хотя вообще-то я лентяй), нет, я молчал потому, что совершенно не было времени, а урывками писать не хотелось. Я — человек минуты, ждал настроения писать. Собственно, я уже писал Вам одно письмо, но имел неосторожность прочесть его еще раз перед тем как посылать, и оно мне не понравилось. Пришлось его оставить в покое и ждать нового свободного часа. Впрочем, не подумайте, что у меня такие государственные дела. Дела у меня: гимназия, урок с учениками, ежедневно два часа, а иногда и больше, урок музыки — на скрипке, а там подготовка к экзаменам и т.д. и т.д. Читать теперь почти ничего не приходится, хотя я прочитал недавно Ибсена[29]…»

«Спасибо Вам… виноват… тебе, сестра и крестная, за письмо, карточку и рубашку. Последняя, хотя и мала немного, но все же производит неотразимое впечатление на наших уфимских гимназисток. Так что они смотрят больше на рубашку, чем на меня. Вот я и придумал: как хочу кого-нибудь очаровать — надеваю эту рубашку… Тебя я не видел очень давно. Помню, когда-то мы с тобой были друзья и ты меня носила на руках… Увы, теперь меня никто уже не носит на руках! Зато как приятно вспоминать теперь о тех ушедших счастливых днях, о кастрюле и о крестном!..»

«Театр я люблю, не пропускаю ни одного любительского, хожу на концерты (недавно к нам приезжал Пиастра и Эрденко[30], едет Сибиряков). Летний театр у нас взял Струйский — очень хорошая труппа. Завтра идет “Ревность” Арцыбашева[31]. Что же касается нашей жизни, то мы поживаем себе, Виталий вот все делает гимнастику, помешался на ней, а Евгений дуется в бабки. Дядя Володя кружит головы и свел с ума половину города. Но всех превзошел, без всякого сомнения, Дмитрий Никанорович: он написал оду и посвятил ее некой девице Валентине Накоряковой. Та теперь млеет и при встрече с папой шепчет: «Ах, как мне душно!» и т.д. Вот все сплетни, какие у нас существуют. Мама у нас — отчаянный деспот. Вот сейчас, например: я пишу письмо, а она зовет пить чай со свежим сыром. Хочешь не хочешь, а приходится повиноваться.

Впрочем, я тебе надоел, вероятно, своей болтовней. В таком случае ты можешь не дочитывать. Видишь ли, я такой господин, что иногда могу говорить целый день, да и ночь — не прочь, а иногда молчу, как сорок четыре чурбана…»

«Ты меня уж извини, что я размазал букву "П", но клянусь вот этой самой промокашкой, что я совсем не хотел этого делать. Дунул в окно ветер и чуть не сдул бумагу, я ее придавил пальцем и как назло попал на букву "П». Как будто не мог придавить пустое место! Но впредь постараюсь не размазывать и вообще писать чистенько, а то черт знает что за буквы у меня получаются. Еще предупреждаю, что если я поставлю где-нибудь многоточие, то это значит, что меня укусил комар и я… бросаю… ручку, чтобы раздавить его. Пишу на даче, на лоне природы. А Виталий, который, извини за выражение, по уши влюблен, он сидит… и вздыхает и смотрит за неимением луны на сковородку, и тихо шепчут его уста сочиненные им страстные стихи:

Ах, пусть то не луна, а сковородка,
Пускай комар пьет кровь из подбородка,
Но все же я тебя люблю, мой свет,
Сильней варенья и конфет!

Да, славное, признаться, сочинил он стихотворение! Как тебе нравится? А девица, в честь которой он его сочинил, — это чудо, честное благородное слово, чудо. Я сам хотел в нее влюбиться, но побоялся, что Виталий меня застрелит, ну ее к черту лучше… Да и где уж мне на старости лет (мне на днях стукнет 18) влюбляться! Пусть влюбляются другие, кому… (проклятый комар укусил за нос!)… не лень… Ну, всего наилучшего! Когда перебью всех комаров, напишу еще. Я пишу письма без всякой очереди, когда вздумается».

К этому письму приложен мой рисунок: могила, на ней крест и два венка с надписью: *"От комаров, кусавших Бориса и не погибших»,* а к нарисованной на могиле плите я прилепил двух убитых комаров, и — подумать только! — они тоже сохранились у крестной вместе с письмом! Это с июня 1914 года! И я могу удостовериться, что и тогда комары были точно такие же, как и нынче. Под рисунком написано: *"Спите, труженики! Мир праху вашему, милостивые государи комары и милостивые государыни комарихи! Здесь покоятся в братской могиле*

два комара, укусившие меня за нос и скончавшиеся 11 июня 1914 года».

Через месяц с небольшим после этого «комариного» письма стало не до шуток: началась война, и скорбеть пришлось уже о людях, о жертвах этой войны. Сохранилось мамино письмо от 3 сентября 1914 года, которое хорошо отражает общее настроение военного времени:

«Теперь мои волнения за ребят кончились, я уже успела отоспаться и отдохнуть от всех переживаний. Боря и Виташа перешли в 7 класс, Женя в 4-й, Толя поступил в 1-й класс гимназии, а Верушка перешла в старшее отделение приготовительного класса. А за это время надвинулась общечеловеческая беда — война, и я волнуюсь вместе со всеми за бесчисленных раненых, за исход войны… Ужасы творятся, и все мысли летят туда, на место общего стона… Встречаем печальные партии раненых, сжимается сердце при виде этих несчастных, и невольно подчас плачешь вместе с их родными. Тяжелое время и захватывающее. Как встаешь, тянешься к газете, бежишь куда — по пути проглатываешь телеграмму, а вечером ложишься с газетой… Жгучее желание что-нибудь еще узнать, услышать, прочесть. Каждая наша победа радует, как шаг к концу этого кошмарного времени, каждая неудача наших печалит, наводит тоску. Когда уж и кончится эта ужасная, мировая бойня!? Много уж уфимцев ранено и убито — несчастные родственники с ума сходят от горя… Ужас! Общество энергично работает: много организовано комитетов помощи раненым и их семьям. Шьют и кроят без конца. Я тоже теперь стала ходить в Земскую управу кроить — сколько еще там работы! Сшито на 1 тысячу раненых, а их прибудет до 10 тысяч, говорят, в Уфу. Все казенные помещения заняты под лазареты и под запасных, все училища переполнены, так что во многих пока нет учения. Делают уж так: в одном здании посменно занимаются несколько учебных заведений. Мужская гимназия занята солдатами, и наши гимназисты не занимаются… 22-го сентября будет устроен кружечный сбор — продажа флажков в пользу раненых и их семей… Пишут, что теперь только еще надо ждать крупных событий, ибо все войска — и наши, и германские — стягиваются на русскую границу. Ох, что-то будет!.. И теперь уже

раненых-то чуть не сотни тысяч. Здесь у одной хорошенькой барышни брата-офицера убили и жених-офицер все время в боях — представляешь ее настроение? У другой знакомой муж-офицер и два сына — все на войне… Говорят, пленные австрийцы очень дружелюбно относятся к русским, а германцы держатся в стороне. Народ наш — русский — очень сердечно относится к пленным, особенно к раненым. Хорошая русская черта: не мстительны. Ты читаешь газеты? Какие? Мы выписываем местную и затем во время войны покупаем «Русское слово». Ну а как у вас настроение общества? Также усиленно работают? Ты участвуешь в чем-нибудь? Ты как свободный и бездетный человек можешь много пользы принести…

Ты писала, что читаешь только наших классиков, а современную литературу не любишь читать. Конечно, так, как писали наши классики, теперь уж не пишут, тогда больше изображали идеальных людей, идеальных женщин и создавали действительно прелестные женские типы, например, тургеневские женщины, толстовские и Достоевского — чистота! Но все-таки, по-моему, необходимо и крайне интересно следить за современной литературой: ведь в ней отражается современная жизнь, интересно же, чем и как теперь живет общество. Читала ли ты "Юность" Чирикова? Это такая прелесть, художественный язык, слог, потом так жизненно, просто обдает свежестью и молодостью — не оторвешься. Прочти, если не читала. У Чирикова три книги об одном: "Юность", "Изгнание" и "Возвращение", последние помещены в журнале "Вестник Европы" за 12–13 год и отдельно есть. А Горького ты читала? Мне очень, страшно нравится его пьеса "На дне" — правдиво до слова, и какие типы! Я с большим, говорят, успехом играла роль Насти, удачно будто бы передала трагизм души этой рвущейся "со дна" девушки. Я люблю следить за современной литературой, только порнографию терпеть не могу. А читала все же "Санина"[32] *Арцыбашева, чтоб посмотреть, чем так увлекается молодежь. Ведь в Москве и СПб образовались даже кружки "санинцев". Но теперь это прошло, молодежь уж не увлекается больше Саниным. И правда — гадость! А "Ключи счастья" ты читала? Это уж совсем гадость и не художественно. А публика читала нарасхват! Боря выписывает журнал "Бюллетени жиз-*

ни и литературы" — очень интересный. Ты его знаешь? В нем отражается все лучшее современной жизни и литературы…»

Виталий первый из нашей семьи на себе ощутил войну, попав сразу после гимназии в армию. Сохранилось два письма от него этого периода. Одно — из Самары от 14 мая 1917 года с обратным адресом: "Самара, 3-я запасная артиллерийская бригада, 1-я батарея. Вольноопределяющемуся Виталию Четверикову». Он в этом письме пишет:

«Когда я собирался сюда, то мне казалось, что все предвидел, все предугадал. Но, оказывается, я не предугадал самого главного, понадеявшись на свои силы, — это того, что остаюсь совсем один безо всякой поддержки. Когда сойдутся несколько незнакомых прежде людей на каком-либо празднике, то они готовы "примириться" друг с другом. Но когда сходятся люди для неприятного или бессмысленного дела, то они способны жить, совершенно чуждые друг другу. Правда, все "солдатики" — весьма бесхитростные, хотя и темные, души, но, чтобы войти к ним в доверие и завязать искренние, дружеские отношения, нужно много души и знаний вложить в их души. Я уже давно пришел к мысли о необходимости скорее начать какие-либо беседы или лекции с ними, но пока неустановившаяся жизнь, последние недомогания физические и неполная уравновешенность духа, с одной стороны, и отсутствие каких бы то ни было книг, с другой — все это заставляет медлить с этим. Что касается моих товарищей Кости Скворцова и Ирека Бальдвина, то здесь не приходится говорить о какой-либо поддержке, кроме разве материальной, денежной, которую я, впрочем, принял в силу необходимости не без многих колебаний. Наши с ними отношения основываются на взаимном непонимании, поэтому они представляют собой не что иное, как кодекс трафаретных фраз, просьб, слов, предложений и сводятся к обсуждению вопросов мелочной повседневной жизни. Не найдя друг в друге ничего "подходящего", мы все трое "бежали" из казарм неоднократно в город — погулять, людей посмотреть, себя показать. Костя Скворцов в этом отношении превзошел нас обоих: имеет звякающие шпоры, только сегодня отделанную шинель с нашивками и кантами, погоны с бесчисленными трафаретами и офицерскую фуражку. У Ирека вместо букв "З. з.б." (тре-

тья запасная бригада) только "Зз", но зато он, кажется, сидел целый день с утра до вечера, но все-таки подшил себе к погонам трехцветный кант вольноопределяющегося. У меня же каким-то образом не оказалось ни трафаретов, ни скрещенных пушек, ни даже канта на шинельных погонах, и я пробавляюсь погонами, пожертвованными мне Всеволодом. Но так или иначе, а бегство в город с его многолюдными бульварами, садами и трамваями свелось к улыбке со стороны девиц для Кости, выстрелу глазок Иреку и ноль внимания мне, а о мужчинах и говорить нечего: никому до нас во всей Самаре не было дела. И я уже перестал искать всяких новых встреч. (Костя и Ирек еще не угомонились: вот уже 10 часов вечера, а их нет). Я неуклонно стремлюсь к тому, чтобы сократить до минимума лишние мелочи повседневной жизни, и все внимание хочу обратить на саморазвитие и кое-какую работишку среди солдат. Вот я и выслеживаю да выспрашиваю о библиотеках, хочу записаться. Буду заводить "серьезные" знакомства и пользоваться всяким удобным случаем, чтобы добыть себе каких-нибудь книг. Порядок жизни у нас такой, что с 11 до 2-х и с 5 до вечера мы свободны. В это время можно успеть отдохнуть, поесть, попить и чем-нибудь позаниматься, тем более что по праздникам мы также свободны. Занятия пока что не слишком утомительны. Ничего яркого, ничего выдающегося нет в нашей солдатской жизни, если не считать совершившегося у нас в Самаре "сверх программы" небольшого погрома винных погребов, произведенного солдатами и чернью благодаря подстрекательству провокаторов, бывших полицейских да жандармов, понадевавших на себя солдатские формы. Был я еще на лекции-беседе приезжавшего к нам Чирикова, но она была, к сожалению, бледна и даже скучна. Только письма, получаемые от тех, кого привык считать близкими или знакомыми, освежают сердце, поднимают упадающий дух и возбуждают к меланхоличным, но увлекательным воспоминаниям и к активному участию в тянущейся уныло жизни. Может быть, она сама по себе и не уныла, но хочется подчеркнуть и выделить, какою светлою представляется вся прежняя жизнь среди своих родных и близких, в постоянном общении с ними и с дорогими утраченными друзьями и приятелями… Я как-то подумал: жили мы да поживали под крылышком своих родителей да

сбочку, с краешку у своей alma mater — гимназии, с традициями коей сжились, изменив их на свой лад, поскольку это было возможно. И вот в какие-нибудь несколько дней перевернулась жизнь…»

«…Видно, еще не судьба мне побывать на своей родине, да и спешить некуда. Буду жив-здоров — непременно приеду посмотреть в глаза, которые перечитали уже не один такой листок, и послушать наяву те строки, какие получал еще будучи гимназистом-шестиклассником и которые надеюсь получить в свои солдатские казармы. С переездом, сборами да с многочисленными своими делами я, вероятно, забыл и оповестить тебя, Саша, о своем отъезде на военную службу. Прости меня за эту оплошность: слишком был этот вопрос для меня самого серьезен и важен, и много нужно было думать, говорить, убеждать и самому убеждаться, чтобы решиться на этот шаг. Пока что живем с двумя товарищами в отдельной комнате. К службе и жизни солдатской еще не совсем привыкли. Но думаем и надеемся, что все как-нибудь обойдется. А главное, "взялся за гуж, так не говори, что не дюж". Конечно, кроме разве формы, на службе интересного не слишком много. Но я пошел туда ведь не для интереса… Будь здорова и не откажись черкнуть мне. А я напишу, когда немного выяснится положение и когда переедем в лагерь».

Второе письмо Виталия — неполное, нет начала, нет даты, написан этот один листок, видимо, в поезде, очень блеклыми зелеными чернилами, выцветшими к тому же, так что местами очень трудно разбирать текст. Но письмо это мне кажется значительным (да и вообще, по моему, интересны письма полувековой и больше давности — и по содержанию, и по манере излагать мысли), поэтому приведу то, что уцелело:

«Сдается мне, Саша, что ты уже возмущаешься моим долгим молчанием, но ты меня простишь в этом, как только узнаешь, что твой братец, обретаясь долгое время в отчаянном пессимизме относительно своей жизни, вдруг взял да и съездил в Уфу на 5 дней, приехав туда в день ангела мамы 18 мая поздно вечером. Как сейчас помню эту великую минуту. Подхожу по знакомым местам к хутору. Во мраке почти ничего не видно. Не верится, что приехал на родину, все кажется, что нужно стоять в проходе вагона, нужно, чтоб кто-нибудь

тебя толкал, давил и обвинял в чем-нибудь. Я даже почему-то был уверен, что с нашим поездом будет крушение. И вот — на хуторе. Щелкают соловьи, где-то квакает лягушка. Как в святую обетованную землю вступил я в заветные ворота, поцеловав губами грязную рельсу и ощущая непоколебимую землю под ногами. Далее — нежданная встреча и… и вновь моя солдатская обстановка. Сейчас пойду с чайником за кипятком. Приехав в лагерь, я не застал дома товарищей. Вот уже 9 часов, а я один… С музыкой отправились солдаты на позиции, на фронт. Они скоро поедут, а я буду пока пить чай из жестяного чайника…»

Я не понял: почему же Виталий не отправился вместе со всеми? Но уточнить не у кого, да и не суть важно, важно то, что Виталий испытал всю тяжесть армейской жизни в условиях войны. А назревали еще более грозные и значительные события, коим суждено было свершиться вскоре, в том же семнадцатом году.

Февраль семнадцатого года прошел в Уфе как-то незаметно, и в апреле мама пишет Саше:

«Теперь настроение часто мрачное: тяжело, больно жить материально. Я поступила на службу в Земство. Это стоило мне большой душевной ломки: тяжело было решиться бросать ежедневно на полдня ребят, особенно малых Толю и Веру, которые до сих пор без призора моего никогда не жили. Но лишние 90 рублей в месяц были очень нужны, тем более что Митя так устал, что ему пришлось сократить работу. И вот до 3-х я в Управе, а остальное время суета по дому, шитье и т.д., и так дни летят незаметно, только в праздник маленькая остановка от этого круговорота…

Последние события прямо ошеломили, так все неожиданно. Однако у нас все удивительно спокойно, в городе работают уже сорганизованные общества, в уезде организуются, все тихо пока, хорошо. Но говорят, черная сотня не дремлет и тоже втихомолку организуется, провокаторов масса. Страшно подумать, если они сумеют настроить наших солдат, — вся сила в них и в их сознании, что войну нельзя кончать, пока нет победы. Если бы не эта окаянная война, то можно бы только радоваться, а так бороться очень трудно. Ну, Бог даст, все к лучшему.

У нас здесь было много митингов. Между прочим, был женский митинг, в организации которого и я принимала участие. Читали женщины доклады на темы: "Женщина и политическая борьба", об участии женщины в этой борьбе, о том, что женщина давно уже заслужила равенство в избирательных правах в Учредительное собрание. Я дала ряд женских образов: Перовской, Засулич, Брешко-Брешковской, Волкенштейн, Веры Фигнер и Маруси Спиридоновой — этих великих женщин, борцов за свободу. Народу было тысячи полторы мужчин и женщин. Прошел митинг очень удачно.

Кстати: через Уфу из Сибири проезжала "революционная бабушка" Брешковская[36]*, пробывшая в ссылке и каторге да по тюрьмам чуть не 50 лет, и уфимцы устроили ей торжественную встречу с оркестром музыки. Народу было тысяч пять, я стояла около этой великой бабушки и со слезами слушала ее проникновенные простые речи, смотрела на ее милое лицо, то полное глубокого страдания, то все светившееся ясной лаской и радостью. Было 30 делегаций от разных обществ, говорила бабушка горячие речи, она каждого делегата целовала, каждому отвечала, стоя на столе. Минута была необыкновенно торжественная, все плакали. Эта старая женщина поражала и умиляла величием своей души, стойкостью и колоссальной энергией, каким-то чудом в ней уцелевшими. Бабушка пробыла в Уфе целые сутки, посетила четыре митинга, везде говорила горячие речи. Никакие страдания не могут сломать этих поистине великих людей, наших борцов…»*

«…Я замоталась вся, потому и редко пишу. Некогда страшно, да еще пришлось участвовать в солдатском спектакле. И в Женском союзе работаю, бываю на собраниях. Женский союз наметил меня в кандидатки в гласные городской думы и, соединившись в блок с С. Р. партией, будет меня через нее проводить. Вот честь-то какая! Пользуюсь доверием и симпатиями, благодаря своим выступлениям на собраниях. Одну мою речь похвалили в "Уфимском Вестнике", только я не добыла этого номера и не знаю, как и что…»

Вот вам и «домохозяйка» Витальевна! Какую кипучую деятельность развила! Даже Дмитрия Никаноровича переплюнула! Он смотрел на жену с некоторым страхом и был недоволен ее активностью в ущерб семье и дому. Да и не ее это ума дело,

и зря она лезет не в свои сани, ничего ведь не понимает в политике, не разбирается во всех этих Брешко-Брешковских, а туда же — приветствовать, митинговать!

Меня, признаться, тоже удивила мамина прыть. Увлекающаяся натура! Она же не знала гениального открытия Ленина — бациллы меньшевизма, так отчего бы ей не восторгаться Брешко-Брешковской?

Итак, общественная жизнь в Уфе, судя по письмам мамы, бурлила. Но внешне после февраля 1917 года в городе не произошло никаких особых перемен. Не было и столкновений. Так что создавалось впечатление, что в стране ничего такого не случилось. И я, как раз в семнадцатом году окончив гимназию, да еще женившись сдуру на Шуре Алатырцевой, спокойненько поехал (вместе с этой Шурой) сначала погостить в Уральск к крестной, а потом поступать в университет, да не куда-нибудь, а в Томск, благодаря чему попал в самую колчаковскую заваруху и еле остался жив…

Обо всем этом я расскажу в следующих главах. А пока… Пока была мирная уфимская обстановка, вся семья была еще в куче, почти в прежнем составе (только уехал Виталий, а у нас поселилась моя Шура), все было привычно, знакомо, и иллюзия полного благополучия умиротворяла и убаюкивала.

Я бродил по полям, широким лугам, нарядным перелескам в окрестностях хутора. Я любил, стоя на берегу Уфимки, протекавшей здесь же неподалеку, вглядываться в искрящуюся отблесками солнца лиловую даль. Там Миньяр, Кропачево, Сатка… А дальше — Златоуст, Миасс, Челябинск… еще дальше — и Томск, куда я собирался ехать… С любовью и нежностью перебирал я эти близкие мне и в то же время загадочные, неразгаданные названия. Мой милый красавец Урал! Я навеки привязан золотыми нитями родства к тебе. Но меня манили и новые места, влекли ближние и дальние края, окутанные тайнами и загадками.

Я вглядывался, я мечтал. Не знаю, о чем, но о чем-то очень хорошем. Мечтая, я все-таки ничегошеньки не предугадал, не понял, что меня ожидает. Да и можно ли было предугадать? Человек с неудержимой фантазией, готовый на любые головоломки и выдумки, — и тот не смог бы предсказать, что здесь, рядом с нашим смешным и трогательным хутором, разразятся

грандиозные события. Судите сами. Деревня Степановка — вот она, рядом. А ведь это как раз то место, где легендарный Чапай разгромил колчаковские дивизии. Александровка… Красный Яр…

Место, где переправилась через реку знаменитая 25-я дивизия красных, где произошла памятная нам психическая атака белогвардейцев. А этот железнодорожный мост через Уфимку? Мог ли я представить, что мне доведется не раз промчаться через него в поезде — таком же, как прогромыхавший сейчас по двум пролетам этого моста, но Бог ты мой, при каких обстоятельствах!..

Как было представить все это неоперившемуся юнцу, вчерашнему гимназисту, стоявшему на берегу Уфимки летом 1917 года?

Река блистала. Ветер запутался в ветвях берез. Облако разлохматилось и было похоже на старое ватное одеяло, во все дыры которого лезут солнечные лучи. Я вглядывался в заречные дали, в бездонные небеса и думал о своем будущем, о новой полосе жизни, открывающейся предо мной. Что-то ждет меня? Судя по стихотворению, которое сохранилось у крестной в подлиннике, написанное моим почерком и мною подписанное, с датой “29 м. 1917 года» («м», вероятно, означает “март». Или “май»? Нет, думаю, что “март»), — так судя по этому стихотворению, настроение у меня в те весенние месяцы было самое безмятежное и радужное:

Последнюю весну встречаю гимназистом.
Последнюю весну — и светлую весну.
А дальше, впереди, как в летнем небе чистом,
Так близко к сказке все, к виденью, грезе, сну…
Там, впереди, манят свободной жизни годы,
Там, впереди, простор, рожденье в жизнь мечты,
Там царство красоты, там творчество свободы,
Там солнечная жизнь, там яркие цветы.

Я верил в свою звезду, в свое светлое завтра. Я готов был бесстрашно вступить в это завтра, в новое, какое оно будет, какое сочинит неистощимая выдумщица Жизнь. А она сочинила страшное, если прикинуть объективно и беспристрастно, если трезво, без лозунгов и трафаретов осмыслить все произошедшее с нашей страной за 60 последних лет…

Комментарии

1. …во флирт (была такая игра…) — В черновиках Б. Д. Четверикова так описывается эта игра: «Представляете? Собралась молодежная компания, и, большая она или маленькая, все желающие могут принять участие в игре. Для этого не нужны никакие атрибуты, не нужно определенное количество игроков. На столе лежит стопка карточек — типа игральных карт… бывали в продаже разные: в простенькой или богато оформленной коробке-футляре, на дешевой, неказистой бумаге напечатаны карточки или на дорогой, глянцевитой, с виньетками и рамочками, с ярким, красивым крапом — на все вкусы и возможности. Кое-кто изготовлял эту игру сам, от руки, и эти самодельные "флирты" бывали обычно гораздо интереснее, содержательнее по набору реплик и цитат… Текст на карточках распределялся между разными цветами (ведь игра-то и называлась "Флирт цветов"): реплика георгина, реплика резеды, гвоздики, мака. Иногда использовалась какая-нибудь цитата из произведения, стихотворного или прозаического, из песни, широко применялись пословицы шутки, ну а в основном текст состоял из обычных фраз — вопроса, восклицания, сообщения.

Приведу для примера одну карточку целиком —

Ландыш. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего не дал мне, кроме страданий.

Ромашка. Я не хочу быть пятой спицей в колеснице.

Незабудка. Почему Вы мрачны?

Ирис. Не вопрошай меня напрасно,
Моя владычица, мой Бог,
Люблю тебя сердечно, страстно,
Никто сильней любить не мог.

Мак. Вы очень кокетливы.

Лилия. Когда мы с вами увидимся?

Настурция. Я об этом не могу и думать.

Подснежник. Не знаю, чем я могу Вас отблагодарить.

Левкой. Ваших дьявольских глаз я боюсь, как огня.

Фиалка. Любви все возрасты покорны.

Акация. Вы кажетесь лучше, чем Вы есть на самом деле.

Резеда. Ты рождена играть сердцами!

И вот ты берешь несколько карточек, ищешь подходящую реплику и подаешь эту карточку тому или той, кому хочешь это сказать, говоря при этом: "Мак". Твой адресат читает реплику Мака: "Занято ли Ваше сердце?" и ищет на той же или на другой карточке нужный ответ Ландыша: "Не будьте любопытны", или Астры: "Не приставай-

те ко мне, я не в духе”, или Ромашки: “Можете попытать счастья”. Словом, это была своеобразная переписка, игра в почту, особенно удобная для начала знакомства, для привлечения к себе внимания, интереса, когда напрямик еще стесняешься выразить свои чувства и прибегаешь к помощи “флирта цветов”. Играли часами, бывало, пока не надоест, на вечеринках, на именинах и других домашних сборищах. Объяснялись в любви, обменивались любезностями или колкостями, шпильками, назначали свидания, упрекали в неверности и умоляли о прощении — и все на виду у всех и втайне от всех».

2. …Канта или Дидро — Кант Иммануил (1724–1804), родоначальник немецкой классической философии. См. также коммент. № 6 к «Послесловию». Дидро Дени (1713–1784), французский философ-материалист, писатель, идеолог революционной французской буржуазии XVIII в.

3. …памятник Салавату Юлаеву — Салават Юлаев (1752–1800), башкирский национальный герой, сподвижник Е. И. Пугачева, поэт-импровизатор. Памятник ему выполнен в 1967 г. скульптором С. Д. Тавасиевым, архитектором И. Г. Гайнутдиновым.

4. Попов Всеволод Иванович (1887–1953), блиставший в Уфе начала века литератор, выступавший с литературными лекциями и декламацией, кумир молодежи. (Сведения сообщены В. И. Андреевым).

5. «Поэзия как волшебство» — книга К. Д. Бальмонта (см. коммент. № 11 к «Вступлению») о сущности и назначении лирической поэзии. Бальмонт наделяет поэзию волшебно-магическим, заклинательным смыслом, устанавливает семантику звуковых элементов русской речи.

С лодки скользнуло весло…
Ласково млеет прохлада…
«Милый мой! Милый!» — Светло,
Сладко от беглого взгляда… — цитата из стихотворения К. Бальмонта «Влага» (книга «Будем как солнце» — 1903).

6. *Я с тобой не буду пить вино,*
Потому что ты мальчишка озорной… — начальные строки стихотворения А. Ахматовой «Я с тобой не стану пить вино, / Оттого что ты мальчишка озорной» (1913) (книга «Четки»).

7. *Сарынь на кичку! Ядреный лапоть*
Пошел шататься по берегам! — цитата из поэмы В. Каменского (см. коммент. № 7 к главе «Пульс минувшего») «Стенька Разин» (1915), типичного произведения футуризма.

8. *Послушайте, господин Бог!*
Как вам не скучно
В облачный кисель
Ежедневно обмакивать

Раздобревшие глаза? — цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» (1915).

9. …риторика родилась в школах софистов… — Софисты — учителя мудрости и красноречия, философы 2-й пол. V — 1-й пол. IV в. до н.э. Наиболее значительными софистами были Протагор, Горгий, Гиппий, Критий. Софисты переместили философские интересы в область этики, политики, теории познания.

10. …Георгий Леонтийский толковал о метафорах, фигурах, аллитерации… — Георгий Леонтийский (V–IV вв. до н.э.), один из главных представителей греческой софистики, разработавший приемы риторской художественной прозы (так называемые «горгианские фигуры»).

11. …Ломоносов издал «Риторику»… — Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученый, поэт и литературный теоретик, классически разработал риторику применительно к художественной прозе, написав «Краткое руководство к красноречию» (1748). В таком виде риторика оставалась частью гуманитарного образования до XIX в.

12. …небезызвестный Кошанский… составил «Общую риторику»… — Кошанский Николай Федорович (1781–1831), профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее, архаист и педант, к которому лицеисты относились иронически (см. «Моему Аристарху» А. С. Пушкина, 1815). В его «Общей Реторике» (1829) (устарелое написание слова «риторика» через «е») определения терминов весьма невразумительны, формулировки обычно бессодержательны (к этому и сводится курс Кошанского).

13. Рубакин Николай Александрович (1862–1946), книговед, библиограф и писатель, которому принадлежит разработка типологии книг в тесной связи с изучением психологии основных типов читателей (итогом явилось создание библиопсихологии). Вел обширную переписку с читателями, для которых составлял индивидуальные программы самообразования; создал рекомендательные каталоги для народных библиотек.

14. Шмаков (псевдоним — Александров) Александр Андреевич (1909–1989), прозаик, литературовед. Автор книг «Рассказы о матери и сыне» (1941), «Петербургский изгнанник» (кн. 1–3, 1951–1955), «М. Горький и Урал» (1968) и др.

15. …не у Вербицкой же мне искать опоры… — Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928), прозаик, драматург, чье творчество, несмотря на невысокий художественный уровень, имело огромную популярность в 1910-е гг. благодаря занимательности повествования и популярному изложению злободневных политических и культурных вопросов. В начале 20-х гг. дореволюционные произведения

Вербицкой и особенно «Ключи счастья» (1909–1913) (где затрагивается проблема эмансипации как требование полной свободы в половых отношениях) воспринимались как символ пошлости, как бульварщина с элементами порнографии.

16. …о будущей славе, которая затмит… даже самого Игоря Северянина — Игорь Северянин (наст. имя и фамилия Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941), прославленный поэт-эгофутурист, удостоенный звания «Короля поэтов». Сборники стихов: «Громокипящий кубок» (1913), «Златолира» (1914), «Ананасы в шампанском» (1915), «Поэзоантракт» (1915), «Миррелия» (1922) и др. Славе поэта во многом способствовал и его исполнительский дар. Б. Пастернак: «На эстраде до революции соперником Маяковского был Игорь Северянин».

17. «Будем как солнце!» — название книги К. Бальмонта (1903) и начало одноименного стихотворения.

18. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым!» — цитата из стихотворения «Хочу» («Будем как солнце», 1903).

19. …книгу Андрея Белого «Луг зеленый»… — Андрей Белый (наст. имя и фамилия Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934), прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист. Один из представителей «младших» символистов, автор книг «Золото в лазури» (1904), «Кубок метелей» (1908), «Урна» (1909), романов «Серебряный голубь» (1909), «Петербург» (1913) и др. Как критик и теоретик школы символизма написал книги «Символизм» (1910), «Луг зеленый» (1910), «Арабески» (1911).

20. …написано Бодлэром… И если Рембо воспевал окраску гласных звуков… — Бодлер Шарль (1821–1867) и Рембо Артюр (1854–1891), французские поэты-символисты, высказывали мысль о «соответствиях» между звуками и цветами (сонет А. Рембо «Гласные»).

21. Тэффи (наст. фамилия и имя Лохвицкая Надежда Александровна), в замужестве Бучинская (1872–1952) — писательница-юмористка, произведениями которой «восхищались буквально все, начиная от почтово-телеграфных чиновников и аптекарских учеников… до… Императора Николая II» (И. Одоевцева. На берегах Сены). Эмигрировала в 1919 г.

22. Чириков Евгений Николаевич (1864–1932), писатель-реалист, драматург, публицист. Печатался в горьковских «Сборниках товарищества “Знание”». Самое известное произведение — автобиографический роман «Жизнь Тарханова» («Юность» — 1911, «Изгнание» — 1913, «Возвращение» — 1914). После революции 1917 г. эмигрировал.

23. *Осуществятся все мечты,*

Ты победишь, Рабочий! — цитата из стихотворения К. Бальмонта «Русскому рабочему» (1906).

24. «Песни мстителя» (Париж, 1907) — книга политических стихов К. Бальмонта, в которой он обличает «зверя самодержавия», была запрещена к распространению в России.

25. …«свободу творчества», о которой еще в 1905 г. Ленин писал… — имеется в виду статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905).

26. …доклад Валерия Брюсова в Доме печати «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» — Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), один из мэтров русского символизма, крупнейший культурный деятель своего времени, литератор-энциклопедист, приветствовавший Октябрьскую революцию. Доклад, а в дальнейшем — статья «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» (Печать и революция. 1922. № 7) представляет собой обзор советской литературы и искусства за первое пятилетие после Октября.

27. Это хороший, яркий русский поэт. — Современную оценку творчества К. Бальмонта см., например, в книге: К. Бальмонт и мировая культура. Шуя, 1994.

28. Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург, автор знаменитых пьес «Пер Гюнт» (1867), «Кукольный дом» (1879), «Привидения» (1881). В России в начале XX в. был одним из властителей дум интеллигенции.

29. Пиастро Иосиф Борисович (псевдоним Борисов) (1889–1964), американский скрипач (родом из России). Окончил Петербургскую консерваторию, концертировал по городам России. В 1920 г. поселился в США, где стал концертмейстером симфонического оркестра в Лос-Анджелесе. Эрденко — см. коммент. № 6 к главе «Ирбитские пряники».

30. «Ревность» Арцыбашева. — Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), прозаик, драматург. Его пьесы («Ревность» — 1913, «Война», «Враги») развивают темы адюльтера, одиночества и умирания.

31. Роман «Санин» (1907) принес Арцыбашеву широкую (и даже полускандальную) известность, поскольку в нем утверждалось право личности на мгновенное удовлетворение желаний, которое вело к отрицанию нравственных норм и всех видов общественной активности. Роман понравился Куприну, а Толстой писал об Арцыбашеве: «Этот человек очень талантливый и самобытно мыслящий, хотя великая самоуверенность мешает правильной работе мыслей». Чуковский назвал «Санина» небывалым в русской литературе прославлением «хама». Книга имела успех у публики, особенно — среди учащейся молодежи: устраивались диспуты на тему «прав ли

Санин?», организовывались подпольные «лиги свободной любви», «кружки санинистов». Немалое число подражаний «Санину» образовали литературное течение, специфическими признаками которого являются пристальное внимание к «вопросам пола», общественный индифферентизм.

32. …«революционная бабушка» Брешковская… — Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934), одна из организаторов и лидеров партии эсеров. С 1874 по 1896 и с 1907 по 1917 г. провела на каторге и в ссылке. После Февральской революции вернулась в Петроград, в 1919 г. эмигрировала.

СТИХИ ОБ УФЕ

Здравствуй, Уфа!

Ну здравствуй же, Уфа! По улицам знакомым
Шагаю, распахнув завесы многих лет.
И к горлу моему все подступает комом…
И щиплет что-то глаз… И застит что-то свет…
Почтительно смотрю на здание гимназии.
Здорово, старина! Глазеешь, старый зал?
Вот здесь, в преддверье гор и на пороге Азии,
Премудрую латынь когда-то я познал…
Но в восемнадцать лет подчас не до латыни.
Всё внове… Всё влечёт… Колумбам всем под стать —
Открытий что ни день не можешь сосчитать.
Как теплится рассвет? Как лужа в марте стынет?
Что — счастье? Что — любовь? Что — ложь? И что — святыня?
Торопишься, спешишь всю жизнь перелистать.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Янина СВИЦЕ[25]

«ПОПЫТАТЬ СВОИ СИЛЫ В ПИСАТЕЛЬСТВЕ…»

Стихотворения, опубликованные в гимназическом сборнике «Мозаика»

В декабре 1912 года в одной из уфимских типографий был отпечатан Периодический сборник «Мозаика», подготовленный учениками VII-б класса Уфимской мужской (правительственной) гимназии. На первой его странице было размещено обращение к читателям: «Кто из учащихся не грешил в той или иной степени писательством? Кто не пробовал тайком своих сил? Сколько ходит по рукам учащихся рассказов и стихотворений, вышедших из под пера «своих», доморощенных авторов? Для этих «своих» авторов мы и предлагаем гостеприимство на страницах «Мозаики». «Мозаика» — периодический сборник, который будет выходить в свет по мере накопления соответствующего материала. Содержание сборника довольно пестрое: рассказы и стихотворения, статьи научного характера, лучшие (по признанию г.г. преподавателей) домашние сочинения, математические задачи, статьи, переведенные с иностранных языков и т.д. Редакция надеется, что те учащиеся, которые захотят попытать свои силы в писательстве, с интересом отнесутся к предлагаемому изданию. Отчего не поделиться с товарищами плодами своего творчества? Будь то рассказ, стихотворение, мысли, навеянные чтением книг и проч.? В то же время редакция обращается к гг. преподавателям с просьбой в помещении в сборник своих статей. Такие статьи способствовали бы и расширению кругозора и возбудили бы больший интерес к предлагаемому сборнику. «Мозаика» издается, с разрешения Педагогического совета, учениками VII-б класса мужской (правительственной) гимназии. Главное руководство издаваемым сборником любезно согласился принять на себя, по просьбе

[25] Свице Янина Сигизмундовна — краевед, научный сотрудник Музея полярников им. В. Альбанова (Уфа).

учеников, инспектор гимназии П. М. Андреев. Редакция надеется, что сборник приветливо будет принят читателями, и в этом убеждении выпускает первый номер. Редакторы — ученики VII-б класса. П. Баус, А. Боровков, М. Голынко, Е. Мокшанцев, И. Мелик-Саркисов, А. Рышков».

Всего до 1917 года вышло 6 номеров этого весьма интересного, неплохого по уровню содержания, и, без преувеличения, уникального издания. Мужская гимназия, основанная в Уфе в 1828 году, до 1865 называлась «Оренбургской мужской гимназией», и была первым светским средним учебным заведением огромной губернии. В 1847 году на улице Большой Ильинской, для гимназии были построено двухэтажное главное здание и два каменных двухэтажных флигеля, которые сохранились до наших дней (третьи этажи надстроены в 1930-х гг.), и ныне, это один из корпусов Башкирского государственного медицинского университета (ул. Заки Валиди, 47). В классических гимназиях гуманитарным наукам, в том числе словесности, литературе, иностранным языкам уделялось преимущественное внимание (в отличие от реальных училищ, где основной упор делался на естественно-научные дисциплины). Библиотека Уфимской гимназии была одной из самых крупных в городе: в 1903 году в трех ее отделах было более 14 500 томов, выписывались периодические издания. В гимназии учились многие, ставшие потом знаменитыми, уфимцы, и в том числе и те, кто оставили заметный след в русской литературе. Это писатели Михаил Авдеев, Борис Четвериков, полярный штурман Валериан Альбанов — автор записок «На юг, к земле Франца-Иосифа», признанных одним из лучших литературных произведений об Арктике. В Уфимской гимназии учился отец писателя Михаил Осоргина — Андрей Федорович Ильин, а в 1863–1865 директором этого учебного заведения являлся дед Осоргина со стороны матери — Александр Степанович Савин.

К 1917 году в Уфе, из средних учебных заведений, кроме мужской (правительственной или первой) была еще частная мужская гимназия, три женских гимназии, реальное училище, епархиальное женское училище и духовная семинария. Возможно, и в них существовали подобные кружки любителей литературы, и даже велись рукописные журналы, но только в первой мужской гимназии нашлись средства для типограф-

ского издания периодического сборника. «Мозаика» дает очень наглядное представление, о том, какой литературой интересовались провинциальные гимназисты 1910-х, участниками каких обсуждений, встреч они были, каким был уровень их обучения и интеллектуального развития. Уникальность «Мозаики» состоит еще и в том, что это практически единственный периодический литературный сборник, вышедший в Уфе в дореволюционные годы. В 1912 г. Семейно-педагогическим обществом был издан «Уфимский альманах», но, по всей видимости, он оказался единственным (недолго просуществовало и само общество). Благодаря серьезной работе над «Мозаикой» ее редакции, состоявшей из преподавателей и самих гимназистов, уровень сборника был весьма высок, и со временем на его базе мог возникнуть профессиональный литературный журнал, но этому помешали начавшаяся война и революция. Полистаем же страницы «Мозаики». В № 1 были опубликованы стихотворения учеников гимназии П. Бауса и С. Петрова, а так же перепечатка шуточного стихотворения «Правило решения уравнения первой степени с одним неизвестным» из № 7 «Записок математического кружка при Оренбургском реальном училище». Павел Баус происходил из семьи давно обосновавшейся в Уфимской губернии. Владимир Иванович Баус, еще в 1873 году служил в Бирске секретарем уездного полицейского управления, а его сыновья, в 1910-х годах: Александр был секретарем Уфимского уездного дворянского съезда, а Иван — становым приставом в Бирском уезде. Ставший одним из инициаторов издания «Мозаики» Павел Баус, публиковал на его страницах не только стихи, но и прозу, в первом номере были напечатаны его путевой очерк «Магнитная гора». Пробовал свои силы в прозе и С. Петров, переведший с немецкого языка рассказ Э. Мюлленгофа «Из повседневной жизни». В этом же году в «Уфимском альманахе» был помещен рассказ С.П. «Не сошлись в цене» (возможно, его автором был так же С. Петров).

В первом номере «мозаики» было уделено место литературоведению: «Николай» составил биографию А. К. Толстого, а П. Д. Жуков предоставил для сборника статью «Историко-литературное значение «Душеньки» И. Ф. Богдановича» (продолжение печаталось в № 2). По сведениям из «Памят-

ных книжек Оренбурского учебного округа» и «Адрес-календарей Уфимской губернии» — Павел Дмитриевич Жуков с 1910 года служил преподавателем русского языка и словесности в Уфимской мужской гимназии. Этот еще очень молодой педагог (родился он в 1886 году, окончил Санкт-Петербургкий историко-филологический институт), был одним из первых уфимских литературных критиков. В «Уфимском альманахе» (он состоял членом Семейно-педагогического общества) Жуков опубликовал две статьи «Экскурсия в лабораторию творчества А. И. Куприна» и «Темное царство А. Н. Островского». Павел Жуков даже издал в Уфе несколько брошюр: «К вопросу о стиле» (1912), «Экскурсия в лабораторию творчества А. И. Куприна» (1912), «Л. Андреев и А. Блок» (1915), и со статьей «Отечественная война в русской литературе первой половины XIX в.» был одним из авторов небольшого сборника «Любовь к отечеству — источник силы народной», посвященного юбилею войны 1812 года. Забавно, что книжка «К вопросу о стиле» начинается со следующей фразы: «В наше время все чаще и чаще раздаются голоса, что молодое поколение пишет безграмотно…». С 1916 года П. Д. Жукова уже нет в «Адрес-календарях», и, по всей видимости, он покинул Уфу. Второй номер «Мозаики», вышедший в феврале 1913 года, был посвящен празднованию 300-летия юбилея дома Романовых, и был очень разнообразен по тематике (впрочем, такими были и все выпуски): исторические очерки, публицистика, этнография, занимательная физика, математика, биология, география, химия и прочее. Довольно много места было уделено прозе, напечатаны: рассказ «Льдина», «Из охотничьих воспоминаний» Е. Левитского (VI-а кл.), «Деревенские очерки» И. Власова (VIII кл.). Были напечатаны стихотворения С. Петрова, Б. (П. Бауса?), и даже пародия на Игоря Северянина (в эти годы писавшего еще под псевдонимом через «черточку» — Игорь-Северянин). По ней можно судить от том, что в гимназическом литературном кружке живо обсуждались все последние столичные поэтические веяния, которые, несомненно, оказывали влияние на начинающих поэтов. Так, стихотворения П. Бауса «Warum?», и «В старом парке» написаны под явным впечатлением от творчества символистов. Третий номер периодического сборника вышел в сентябре

1913 года. В обращении к читателям прозвучало желание редакции, которое выводило издание на новый более высокий профессиональный уровень. «Весьма желательно было бы завести с этого года в сборнике особый отдел, под заглавием: «По родному краю». В этом отделе могли бы иметь место описания (по возможности художественные) природы Уфимской губернии, различных местностей ее, интересных в том или ином отношении (например, связанных с какими-либо историческими воспоминаниями, местными сказаниями, легендами, или же просто заслуживающих внимания по красоте, как места для интересных экскурсий и т.п.), описания городов, местных достопримечательностей и т.п. Интересно, далее, поместить записи народных песен, сказок, легенд, особенно татарских и башкирских; последнее легко сделать ученикам, владеющим этими языками… такие сообщения, не говоря о степени их важности, вообще интересны и полезны. Хорошо ли мы, местные жители, знаем свой Уфимский край?». Идеи уфацентризма и тогда волновали молодых уфимских литераторов!

На страницах «Мозаики» взяли за правило отмечать все значительные литературные юбилеи. В 1913 году исполнялось 30-летие со дня кончины И. С. Тургенева. К этой дате ученик VIII класса «Николай» подготовил статью «Памяти И. С. Тургенева». 14 сентября в Мужской гимназии состоялось обсуждение доклада ученика VII класса Рышкова «Женские образы в творчестве Тургенева». Доклад был опубликован на страницах «Мозаики», и подробно описано (практически запротоколировано) заседание, на котором присутствовали преподаватели и 110 учащихся (ученики двух старших классов гимназии и реального училища). После почти двухчасового чтения доклада, началось его горячее обсуждение, временами переходившее в не менее горячие споры, так что председателю (им был преподаватель реального училища А. С. Бриллиантов) время от времени приходилось примирять оппонентов. В заключение председатель подвел итог встречи и пригласил на обсуждение рефератов, которые состоятся у реалистов, «подчеркивая важность единения уфимской учащийся молодежи на почве изучения русской литературы». Поддерживая традиции, уфимские гимназисты и реалисты «враждовали», время от времени устраивая драки «стенка на

стенку». Гимназисты называли своих противников «тухлой яичницей» (за желтые петлицы на форменных шинелях, и фуражки с желтым кантом), реалисты — гимназистов «синей говядиной» (на их шинелях были петлицы синего цвета).

Из прозы в третьем номере «Мозаики» были опубликованы: «Пешком по Уралу» И. Саркисова (VIII кл.), «На току» Евгения Левитского (VI кл.), и состоялся литературный дебют, впоследствии известного советского писателя Бориса Дмитриевича Четверикова (1896–1981), а в то время ученика VI класса Уфимской мужской гимназии — было напечатано его стихотворение в прозе «Ночные думы». Интересно, что братом его деда по материнской линии был писатель Михаил Васильевич Авдеев. А если углубиться далее в их уфимскую родословную — предками Михаила Авдеева и Бориса Четверикова были уфимские священники Ребелинские, известные как первые уфимские мемуаристы (несколько представителей этой семьи в XVIII–XIX веках вели дневники, писали мемуары и памятные записки). В 1927 году Борис Четвериков на основе своих гимназических дневников написал роман о гимназистах «Синяя говядина», о котором в очерке «Благословенная Уфа» он писал позднее: «Теперь, на закате своей жизни, я жалею, что там я охаял гимназию — всю целиком. Это несправедливо…».

Четвертый номер «Мозаики», вышедший в феврале 1914 года, выпускала уже редакция в новом составе. Основатели сборника закончили обучение и «издание сборника передано VIII-м классом VII-му». Редакторами-руководителями состояли инспектор гимназии П. М. Андреев и преподаватель словесности П. Д. Жуков; а редакторами отделов ученики: VII-а класса — Панов, Добромыслов, Чуфаровский; VII-б класса — Афанасьев, Рышков, Черняков. Был опубликован рассказ ученика VI-а класса Евгения Левицкого «Вечерка». «Отрывки из воспоминаний» (о детстве) разместил на страницах «Мозаики» ученик VI-а класса Никита Башилов. Этот, по воспоминаниям Б. Д. Четверикова, «исключительно хороший, исключительно талантливый и порядочный юноша, мы замечательно дружили», был сыном последнего уфимского губернатора — Петра Петровича Башилова. Известный и очень достойный государственный и общественный деятель, он в то же время серьезно зани-

мался литературным творчеством, и даже являлся членом «Общества русских драматических писателей и оперных композиторов». В Книжной Палате РБ сохранилось несколько его книжек, изданных в Уфе в 1913–1916 гг. с переводами прозы и драматургии итальянских, французских и испанских авторов, переводов японских преданий и сказок. Большое литературное будущее могло ожидать и Никиту Башилова, но студент Пермского университета, он вступил в ряды белой армии, и в августе 1918 года был убит в бою под селом Ирныкши Стерлитамакского уезда, похоронили его в Уфе. В № 4 «Мозаики» в разделе «Хроника» были помещены подробные отчеты о четырех гимназических литературных заседаниях, состоявшихся в январе-феврале 1914 года. Об обсуждении в Мужской гимназии доклада Александра Рышкова «Хронологическое и общественно-психологическое преемство Печорина и Онегина» и доклада ученика VIII класса Сотникова «Типы слуг у Пушкина, Гоголя и Гончарова (Савельич, Осип и Захар)». Преподаватель словесности П. Д. Жуков прочел две большие лекции «Байрон, его жизнь и творчество». Пятый номер «Мозаики», вышедший вскоре после четвертого в апреле 1914 года, был заполнен неплохими рассказами: «Весной» Евгения Левицкого, «Comme il faut» Никиты Башилова, «Весенние песни» Бориса Четверикова, «Утро» ученика III-а класса Г. Азерьера. Появился перевод с татарского. Ученик VII-б класса Вл. Крылов перевел отрывок «Загра» из сочинения Фатиха Амирхана «Девы народа». Ал. Рышков опубликовал рецензию на сборник народных сказок Алексея Ремизова «Докука и балагурье». Был напечатан отрывок из дневника Н. Башилова «Под впечатлением от «Доходного места А. Н. Островского», и статья ученика VIII класса А. Шатунова «Шекспировский и тургеневский Лир». Поэзия оказалась представлена только одним стихотворением, о котором составители сделали следующее примечание: «Помещаем доставленное в редакцию стихотворение 11-летнего автора, отклик прошлогодних балканских событий». Юный патриот Вадим Аглинцев, по всей видимости, был из семьи военных. По крайней мере, по Адрес-календарю Уфимской губернии за 1914 год, командиром одной из рот, находившегося в Уфе 190-го Очаковского пехотного полка был капитан Герасим Иванович Аглинцев.

По воспоминаниям бывшего ученика мужской гимназии Александра Тимченко (опубликованы в краеведческом сборнике «Уфа: страницы истории. Книга первая», изданном в 2015 г.), в августе 1914 года в связи с началом войны здание мужской гимназии было занято под казармы для новобранцев, а ученики занимались во вторую смену во Второй женской гимназии (ныне здесь на ул. Коммунистической находится факультет Романо-германской филологии БГУ). Тимченко писал, что уровень преподавания в мужской гимназии был очень высоким: «Всесторонняя эрудиция дореволюционной гимназии была в порядке вещей, все учителя имели университетское образование, отлично знали педагогику и свой предмет. Выделялся преподаватель русского языка и литературы Николай Федорович Сысоев, прекрасный оратор: за большую шевелюру гимназисты называли его «рыжей капустой».

Намечавшуюся тенденцию с выходом двух номеров «Мозаики» в год прервала начавшаяся война, и 6-й и последний сборник был выпущен в 1917 году. Месяц издания указан не был, но по редакционной статье можно сделать предположение, что вышел он до февральской революции. На его обложке было указано, что это «Периодический сборник, издаваемый кружком любителей наук и искусств при Уфимской мужской гимназии». Редакторы: Сидоров, Смирнов, Федосеев, Четвериков Б., Четвериков В., Крепляк, Одинцов.

Были опубликованы несколько рассказов: «Василий» Никиты Башилова; «О лебеде», «Юность» Бориса Четверикова (под псевдонимом Митрич); «Поздней осенью» ученика VIII класса Вечерова. Напечатана большая восторженная рецензия Б. Четверикова на книгу «Поэзия как волшебство» Константина Бальмонта. «…Как открывает глаза этот обзор вселенной поэтом. Вдруг оживает кругом все, населяется мириадами жизней... даже буквы живут и дышат». В рецензии Четвериков упоминает о посещении Бальмонтом Уфы с лекцией на эту же тему, полностью содержащуюся в книге. Несомненно, что все увлеченные литературой уфимские учащиеся были на этой встрече. Поэт посетил наш город в конце 1916 года и выступал в здании так называемой «Вспоможенки» на Бекетовской улице (Социалистической, ныне Мустая Карима). Этот очень красивый деревянный особняк, с декором в стиле готизирован-

ного модерна, было Клубом Уфимского общества взаимного вспоможения частному и служебному труду, и в нем находился очень большой зрительный зал. При варварском уничтожении исторических кварталов на улице Социалистической, несмотря на то что здание находилось на государственной охране как объект историко-культурного наследия, оно было снесено в 2003 году.

Истоки. Уфа, 2018. № 31 (1 авг.). С. 6–7.

Татьяна ПОПОВА[26]

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАВЕДЕНИИ УФИМСКОГО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

История Благовещенского женского монастыря, созданного в Уфе в первой половине XIX века после более чем полувекового отсутствия здесь женских монастырей, являет собой яркую и во многом типичную для своего времени картину зарождения, развития, процветания характерной для Приуралья православной женской обители и закрытия ее с приходом советской власти.

Интереснейшим материалом по истории монастыря является «Краткое историческое описание о первоначальном заведении Уфимского Благовещенского монастыря, составленное его игуменией»[27]. Повествование идет от лица игумении Филареты (Бычковой). Документ датирован 1856 годом. На тот момент девичья община существовала тридцать лет, и почти двадцать из них — официально в качестве монастыря. Это было время первого расцвета обители. Уже была заложена солидная материальная основа монастырского хозяйства: построены церковные здания и жилые корпуса, налажена деятельность мастерских, получены и освоены земля, лес, прочая недвижимость. Монастырь приобрел добрую славу. Можно было обернуться

[26] Попова Татьяна Евгеньевна — бакалавр теологии, соцработник в Приходе Крестовоздвиженского храма г. Уфы.
[27] РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 573.

назад, чтобы вспомнить и другим поведать, с чего же все начиналось.

Это не просто мемуары настоятельницы, а отражение именно тех эпизодов ее жизни, которые привели в итоге к созданию Уфимского женского монастыря. Поступки, высказывания, помышления и душевные порывы будущей игумении, а тогда девицы Стефаниды, наравне с самим стилем изложения позволяют увидеть характер автора: очень живой, непосредственный, открытый, простой и в то же время устремленный к духовному опытному знанию, взращенный на церковной службе, душеполезном чтении и ежедневном труде.

Повествование начинается сразу с рассказа о явном чуде исцеления хромого брата Стефаниды, случившемся во время принесения в их родное село Бетьки Мензелинского уезда Оренбургской губернии чудотворной Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери. Игумения Филарета поясняет: «это чудо имело необыкновенное влияние на мою душу, хотя я и прежде имела веру». Душа девушки была подготовлена как общим благочестивым строем жизни в ее семье, так и самостоятельным «рассуждением» о житии «святых Божиих угодников и святых дев». Первый наивный порыв выразился в том, что юная Стефанида «крепко привязалась к образу Божией Матери» и, «не желая отстать от иконы», отпросилась у родителей в числе прочих односельчанок провожать чудотворный образ в Седмиезерную Богородицкую пустынь (недалеко от Казани). А там уже, по рекомендации иеромонаха Саввы, «весьма благочестивой жизни старца» из этой пустыни, была принята вместе с подругой Анастасией в Казанско-Богородицкий девичий монастырь на срок действия выданных им паспортов (то есть меньше месяца). Послушание девушкам дали такое, что у них оставалось достаточно сил и времени для знакомства с монастырской жизнью.

Первый опыт пришелся подругам до того по душе, что они условились отпроситься у родных в Киев «для поклонения и где-нибудь остаться в девичьем монастыре навсегда дальше от своей родины и избрать себе в руководство духовную строгую игуменью или ею указанную старицу, в каком-либо российском монастыре, чтобы она научила нас, как спасти душу и в разум истины прийти Богопознанием». Такая цель говорит

о серьезности намерений: девушек влечет отнюдь не внешняя сторона иноческой жизни, а ее сокровенная суть, о которой они догадываются. В родительском доме перед глазами Стефаниды постоянно присутствовал чудесно исцеленный брат, и это обращало ее мысли к Богу. Игумения Филарета вспоминает, что ее удивляло «милосердие Божие и сила, исходящая от святой иконы. Я не переставала думать об ней и читала акафист каждодневно Божией Матери». Мотив предстоящего паломничества объяснен ею так: «Потрудиться пешком, тем засвидетельствовав наше усердие и благодарность к Богу милосердному».

В долгий путь подруги отправились на другой день после храмового праздника — Владимирской иконы Божией Матери (26 августа по старому стилю) 1825 года. Прежде всего девушки зашли в Седмиезерную пустынь поклониться святыне, встреча с которой изменила их жизнь, тем более что с ними отпустили и исцелившегося мальчика. Упомянутый ранее иеромонах Савва дал им совет «идти в Саровскую пустынь, чтобы видеть там затворника Саровской пустыни Серафима и принять его благословение. Мы и прежде слышали об нем и желали видеть его».

Первая встреча со святым старцем вспоминается м. Филаретой и через многие годы чрезвычайно ярко, она приводит его собственные слова, которые, надо полагать, не раз вспоминала в течение этих лет. Интересно, что преподобный Серафим после обычного благословения паломников оставил одну Стефаниду для беседы, очевидно предузнав в ней ту, кто сможет объединить вокруг себя девичью общину. Он спросил ее об имени и возрасте, а она «от радости и от страха к старцу не могла объяснить, сказала, не помню». Тогда он сам назвал сначала день именин Стефаниды (тогда, особенно в крестьянской среде, ребенку давали имя того святого, чья память приходилась на день крестин), потом день ее рождения и возраст: «17 лет будет скоро». Далее перечислил недостающие девушке качества: «Ты не умна… не богата… не благородна» (словно вторя житию святой Екатерины), и предложил средство к их приобретению — молитву Божьей Матери. «Я сказала: “Батюшка, мне ничего этого не нужно. Укажите мне место, где спасти мою душу, и желаю отдать себя старице, которая научит меня как спастися. Желаю немедленно остаться в каком

Вы укажете монастыре девичьем в России”. Он сказал: “В Уфе будет девичий монастырь, там спасайся”. Я говорю: “И слуху нет, чтобы там хотел быть монастырь. Там татары, и не может быть скоро монастыря, да хотя и будет, так не скоро, и я туда не пойду, мне надобно как можно скорее в готовый”. Он сказал: “Готовую пашню пахать легко, да хлеб хуже родится. Гряди теперь в Киев, и там Бог покажет путь”». В словах Стефаниды видны нетерпение деятельной натуры, категоричность сильного характера и в то же время горение веры, жажда религиозного подвига. Соответственно этому и увещание старца, открывающее более высокую цель, чем та, которую видела пока перед собой девушка.

Стефанида с братом и Анастасией отправились дальше, но тут же вынуждены были повернуть обратно в Саровский монастырь, так как мальчик сильно заболел. Подруги поспешили к преподобному Серафиму поведать о своей беде, но тот «упредил» их: «Брат твой останется в Сарове, а вы пока подите в Дивеевскую общину, поучитесь монашеской жизни». Прошло почти два месяца, прежде чем старец благословил девушкам продолжить путь, наказав их землячке «старухе Ксении», очень вовремя пришедшей по своей надобности в Саровский монастырь в самый трудный для юных паломников момент, не оставлять их нигде и привести опять в Саров на обратной дороге.

Следующим памятным городом на пути паломниц был Воронеж. Там один «очень хороший человек» написал им, «какими городами идти и где какие монастыри есть, и в соборах чудотворные иконы, и где какие особенно отмеченные знамениями старцы или русские монахи, знающие монашескую жизнь не по рассказам только, а по опыту, и приобретшие благодать Божию, дары Духа Святого, прозорливости, слова назидательные для спасения души, боговидение и святое богопознание… Он сказал: “Будьте внимательны, заметьте, о которых я вам написал, их слова”. В числе других тут был написан Филарет, настоятель Глинской пустыни».

Заходя по дороге в разные монастыри, подруги «смотрели на жизнь монастырскую», «всматривались в монастырское правило и уставы», искали, «где покажет… Господь остановиться, в каком монастыре и при руководстве знающей пути духовного

правления и видящей ясно, в чем состоит спасение души и как приобресть Царство Божие, что сказал Спаситель: внутрь вас есть Царство Божие». Так, в Борисовской пустыни (женской), где «служба продолжительна на праздник — восемь часов шла утреня», им «весьма понравилось пение и чтение внятное», «для спасенья души казалось нам лучше и желать нельзя». Но даже при таком серьезном подходе, как констатирует м. Филарета, монастырскую жизнь девушки «видели только в одежде, а внутри постигнуть не понимали. Мы думали, можно поучиться одними глазами, как пойти по монашеству». С высоты жизненного и настоятельского опыта игумения Филарета дает оценку своей прошлой наивности: «Дикие и неопытные», — отмечая единственное ее достоинство: «Только одно носили в себе пылкое желание, как бы угодить Богу и спасти душу».

Киев занимает в «Описании» сравнительно мало места: для выражения восторга у автора просто не хватает слов. Зато рассказу о посещении Глинской пустыни уделено особое внимание: здесь Стефанида обрела духовного отца и мудрого учителя на долгие годы, в честь которого получила потом и свое монашеское имя. На переправу через Днепр паломники потратили свои последние деньги и вынуждены были дальше идти пешком. Но они не роптали, а славили Бога за то, что по дороге встречали много людей, «уповающих с верою на имя Божие», и не поленились завернуть в Глинскую пустынь, отстоявшую от прямой дороги на 15 верст.

Если славу про о. Серафима народная молва донесла до Бетьков, то про о. Филарета девушки ничего не знали, к тому же они добрались до Глинского монастыря вечером и не успели «посмотреть в записку, что написал… монах в Воронеже». Приняв настоятеля за простого монаха, паломницы даже не подошли под его благословение. Эта оплошность ничуть не повредила их дальнейшему общению, и на следующий день состоялась беседа. Девушки спрашивали у о. Филарета, «где остаться, в каком монастыре удобнее спасти душу свою». «Старец сказал: “Я вчера получил письмо от преосвященного Амвросия из Уфы. Ведь это вашей губернии. Он пишет ко мне, что желает открыть монастырь в городе Уфе, и просит совета, как начать дело открытия монастыря. Я дам вам устав, вы пойдете к преосвященному вашему и покажете устав, и как

он вам велит, так и начинайте основывать монастырь”. “Да нам говорил и Саровский отец Серафим, что будет там монастырь, да я туда не пойду”, — я сказала. “Отчего?” — вопросил старец. “Не скоро будет, а мне надобно скорей, в готовый пойду”. Батюшка Филарет сказал: “Как же ты будешь противиться воле Божией?” Я говорю: “Как узнать, что есть воля Божия? Бог с неба записки не бросит”. Как я была смела и бестолкова, не хотелось мне идти в свою сторону. Старец закрыл глаза и не хотел ничего говорить с нами, как только приметно было, что он умом молился. Это продолжалось четыре часа. И мы стояли перед ним и не смели сесть».

То, что у девушек хватило сил простоять столько времени на усталых ногах, дожидаясь ответа, говорит о том, как важен был им этот ответ. Упрямые слова Стефаниды, видимо, были не пустым дерзким капризом, а криком души, жаждущей исполнить волю Божью, но не видящей ее и потому боящейся совершить непоправимую ошибку. И их терпение было вознаграждено.

Когда о. Филарет наконец открыл глаза, было «исполнено лицо его необычным благоговением. Сказал, смотря на меня прямо: “Вот вы говорили, записки Бог с неба не бросит, целый указ получен”, — указывая сюда, на свое сердце или грудь. — “Идите, я вам дам устав, я писал его для Борисовской пустыни близ Белограда, когда я был в Санкт-Петербурге… в 1821 году».

«Когда сказал батюшка Филарет: “Вы должны идти в Уфу к преосвященному Амвросию с уставом”, в ту минуту я почувствовала какую-то необыкновенную преданность, не смогла больше противиться или не желать исполнения воли Божией. Мне казалось, сам Бог чрез уста старца приказывает идти с уставом в Оренбургскую губернию”». Помня о настрое и характере Стефаниды, остается признать ее внезапную покладистость в этом вопросе настоящим чудом. Она спросила только о том, как же будет управляться новый монастырь, будет ли о. Филарет давать свои советы, и тот обещал «писать чрез почту».

Недели две, пока переписывался устав, девушки жили «в гостинице, устроенной для странников богомольцев», говели. «Сам исповедывал и приобщал о. Филарет святыми Тайнами. В служении святой литургии о. Филарет был необыкновенным, лицо его доказывало, что он в присутствии Божием совершает

святую литургию. Когда видишь, то чувствуешь к нему страх и благоговение, любовь и преданность в послушание его слову, слова его были сильны, основаны на Священном Писании. Беседы непродолжительны, а назидательны. Лицо сияющее светом, каким-то Божественным, не умею вполне выразить, как только могу сказать: сосуд избранный, жилище Святого Духа, полный благодати Божией». Вот какого духовного наставника обрела Стефанида. Есть предание, что он в те дни тайно постриг её в иночество, но это маловероятно.

Итак, получив устав, «напутствуемые благословением и назидательными советами о. Филарета», паломницы двинулись дальше: через Орел и Тулу в Москву, потом в Саров, куда пришли «в последних числах сентября». Радостна была встреча Стефаниды с братом, всё ей в нем понравилось: «как переродился». «После ранней обедни пошли мы с прочими к батюшке Серафиму. Народу было очень много» (к тому времени старец окончательно оставил затвор), но преподобный Серафим заметил их и велел пропустить к себе, назвав на этот раз «киевскими». «Он повел нас по коридору мимо своего гроба, стоявшего в сенях, провел в келью, затворил и запер на крючок. Он запирал вероятно для того, чтобы не помешали другие говорить ему, кому нужно говорить особенно». Услышав, что о. Серафим все повторяет: «Бог поможет тому монаху», Стефанида сказала: «У нас есть устав, не угодно ли бы его прочитать», на что преподобный ответил: «Я и говорю, Бог поможет тому монаху. Я читал тот устав». Эти слова обнаруживают наличие таинственного общения между старцами.

Угощая девушек, кроме сухарей и святой воды преподобный Серафим «достал грибы рыжики называемые, заплесневелые, покрытые белой плесенью, с маслом конопляным. Дал нам своими руками, почерпнувши большой деревянной ложкой, с словом: “Разшири уста и приими пустынной пищи”. Мне дал больше, а Анастасии меньше, очень немного, с словом: “И, приобщившись пустынной пищи, грядите с миром”». Возможно, этим он предсказывал девушкам меру трудов, которую каждая из них понесет в монастырской жизни, а вместе с тем и меру скорбей (плесени).

На следующий день, благословляя Стефаниду с Анастасией и братом в дорогу, преподобный Серафим сказал им на про-

щание: «Как есть звание Божие» (то есть призвание, призыв), «ничто не удержит человека в мире, хоть бы цепями приковали его к столбу, и то оторвет и будет в монастыре». Эти слова были адресованы брату Стефаниды, желавшему остаться в Сарове, но отсылаемому пока домой. Вместе с тем они были поддержкой и для самой Стефаниды. — «Грядите с миром в село, покуда будет у вас община, а потом будет монастырь в Уфе. Господь благословит, матушка, и Он поможет». Называя Стефаниду «матушкой», великий старец прикровенно предрекал ей настоятельство. Вряд ли это именование может служить подтверждением предания о тайном постриге Стефаниды, так как раньше «матушками» звали не всех монахинь, а лишь старших.

Стефанида вернулась в Бетьки 21 октября 1826 года, но еще до этого ее родными недалеко от церкви была устроена вместительная келья, в которой обитало до десяти девушек-черничек. Родители Стефаниды им во всем помогали. Девушки, вместе с которыми Стефанида и Анастасия уходили в Киев, вернулись в Бетьки на полгода раньше их. На обратном пути они тоже заходили в Саров, и о. Серафим «им особо дал наставление по пришествии домой купить избу и недалеко от церкви строить кельи деревянные. “У вас будет монастырь”, — сказал им о. Серафим. Они по пришествии своем и купили лесу, но не успели еще ничего выстроить». Скорее всего, среди них была и младшая сестра Стефаниды, Евдокия. Объединенные стремлением создать общину девушки собирались для совместной молитвы и не дожидаясь постройки своей особой кельи. Так, после возвращения Стефаниды они каждый воскресный день приходили в «маленькую избушку просвирни» (матери Анастасии) и читали там акафисты, каноны, «пели, что умели из церковной службы до 12 часов ночи. В 3 часа вставали к утрене, шли в церковь».

Приехав, Стефанида сразу показала полученный от о. Филарета устав девушкам-«черничкам» и передала «старшим из них» его слова о том, «что нужно поехать в Уфу к преосвященному, представить ему устав. Меня же и послали. Я явилась к преосвященному Амвросию. Приняв благосклонно, он взял устав в руки и нашел надписи руки о. Филарета, поцеловал и сказал: “Блаженны вы, видевшие сего премудрого вождя настоятельства и вождя монашеской жизни, искусного

и премудрого наставника в познании духовной жизни. Готов я с удовольствием содействовать в этом полезном деле спасения многих душ. Здесь непременно нахожу нужным открыть девичий монастырь. Я представлю в Священный Синод, а вы поживите в Бетьках общиной, изберите себе настоятельницу из своих сестер и ко мне пришлите”».

Когда паломницы были в Глинской пустыни, о. Филарет говорил им о полученном от преосвященного Амвросия письме с просьбой о помощи в устроении женского монастыря в Уфе. Теперь понятно, почему владыка обращался к Глинскому настоятелю: он знал о его успешной деятельности по воссозданию монастырей, основанной на личном духовном опыте.

В послужном списке игумении Филареты сказано, что девичья община была устроена ею «с разрешения Правительства» 1 сентября 1825 года, то есть в то время, когда она находилась с подругами на пути в Киев. Это можно объяснить тем, что, скорее всего, не все девушки смогли отправиться в то паломничество. Например, младшая сестра Стефаниды Евдокия, ставшая впоследствии ее верной сподвижницей, в Киев тогда не ходила. Оставшиеся и начали ту деятельность, которая дала право указать в официальных документах столь раннюю дату основания девичьей общины, устроенной «для возбуждения благочестивой ревности и усердия ко трудам общежития», а именно: «прачешни, хлебопекарни и огородных земледельческих трудов, шитья башмаков и других рукоделий».

Владыка Амвросий после разговора с вернувшейся из паломничества Стефанидой пожелал своими глазами увидеть Бетьковскую общину. Скорее всего, он был в Бетьках и в 1825 году, когда благословил создание общины, и в 1827 году.

По словам м. Филареты, бетьковский приходской «священник получил от преосвященного чрез благочинного указ, чтобы взойти в положение собравшихся девушек». В его присутствии сестры выбрали настоятельницу. «Старейшая» из девиц была Варвара Павлова, «серьезная, благочестивая и опытная по домашним делам экономка и в строительной части очень искусная», но безграмотная. «А у нас у всех, кроме ее, усердия много, а толку мало, особенно во мне», — пишет м. Филарета. — «Только читать лучше их умела акафисты и каноны, но

без порядка, как напечатано в книгах. Простые девушки думали, что я лучше их всех». Стефанида предложила избрать начальницей Варю Павлову и поклонилась ей в ноги, призывая других сестер последовать ее примеру. Но сестры поклонились Стефаниде и готовы были подписать «удостоверение, что они избирают ее». Стефанида попросила пока не писать об этом владыке, а подождать пару месяцев, посмотреть, что получится из ее управления, так как, говорит, «знаю себя, что я совершенно не способна быть их руководительницей, особенно по домашности. Думаю, беда моя теперь, все будут смотреть на меня и увидят все мои ошибки и неумение и страх; от родителей грозились, и возьмут меня от них и отдадут за мужа на беду мою». В самом деле, в течение 1827 года Стефаниде пришлось претерпеть много скорбей от родных за избранный ею путь, но, «благодаря Богу, они скоро убедились письмами и вниманием великого старца Филарета, сочли это Божиим служением назначенным и женихам отказали».

Весной была начата постройка флигеля «при руководстве Варвары Павловой. Божией помощи шло порядочно, я и поручила ей этим заниматься… Народ стал прибавляться, прибавляться стали и внутренние труды противу дьявольских покушений, если бы не письма от о. Филарета и особая Божия помощь, то бы не устоять, могло бы скоро все разрушиться».

В 1828 году от преосвященного последовал уже «указ строгий с запросом, почему до сих пор не избрана настоятельница». Тогда Стефаниду «вторично проводили в Уфу. Я обнадеживала себя, преосвященный увидит молодость мою, не согласится и скорее вызовет настоятельницу Богом избранную».

Стефанида отправилась в Уфу не одна, а с Варварой и ее помощницей. Побеседовав в отдельности со всеми тремя, владыка назначил им начальницей юную Стефаниду. Даже если девушки и привезли с собой что-то вроде «протокола общего собрания», окончательное решение было во власти владыки, тем более что сестры слишком долго медлили оглашать свой выбор, выказывая этим свою неуверенность в его правильности. Время утверждения Стефаниды в должности настоятельницы Бетьковской общины — «по избрании сестер и по резолюции Преосвященного Амвросия» — подтверждается послужным списком игумении Филареты: 10 февраля 1828 года.

Перевод Бетьковской общины в Уфу произошел в 1832 году при епископе Михаиле (Доброве). Причиной этого переезда была воля епископа и благословение старцев на создание женского монастыря именно в Уфе, причем игумения Филарета вспоминает, что эта миссия воспринималась ею как тяжкий крест.

Для размещения общины в Уфе приобрели большой дом Пахомовых у Сергиевской церкви, в историческом центре Уфы — на месте ее кремля. Здесь, помимо Сергиевской, располагались и другие старейшие церкви Уфы: Троицкая, Покровская. Одним из занятий черничек, приносившим общине некоторый доход, стала выпечка просфор для близлежащих церквей. Кроме того, они возделывали имевшийся при доме огород, осваивали ремесла.

Чтобы ходатайствовать об открытии женского монастыря, необходимо было располагать землею для него. Неподалеку от дома, в котором поселилась община, — буквально через дорогу от него, по Усольской улице, на правом берегу реки Белой, — было скуплено несколько ветхих домов. Это было то самое место, где некогда располагался Успенский мужской монастырь, закрытый еще в 1764 году и возобновленный в 1799 году уже на новом месте (близ «каменной переправы» через реку Уфу), так как старое место было застроено частными домами. Стефанида сумела уговорить обитателей этих «лачужек» продать их на снос. «Только некоторые старушки выразили желание, чтобы до их смерти их домиков не сносили, а включили бы в черту обители и дозволили бы им в своих домиках и век скончать».

В свое время Успенский монастырь имел «две церкви: Успения Пресвятой Богородицы и Богоявления Господня». Когда же он был закрыт, «имения его отобрали в казну, братию разместили по другим монастырям. Лишь утварь осталась при монастырских церквах, из которых одна была сделана приходской, а другая перенесена на городское кладбище». Приходская Богоявленская церковь и стала с открытием женского монастыря его первым храмом.

Обычно первой церковью Благовещенского монастыря называют надвратную кирпичную церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского, построенную только в 1852 году (через два года после неудачи с постройкой камен-

ного Благовещенского храма, освященного лишь в 1867 году). В то же время очевидно, что монастырь не мог четырнадцать лет существовать без своей церкви, где бы ежедневно совершалось положенное по Уставу богослужение. Возводить неспешно каменные храмы позволяло наличие деревянной церкви, срубленной в считанные дни или оставшейся с прежних времен, как это и было в Уфимском женском монастыре.

Официальное открытие Уфимского женского монастыря состоялось 15 марта 1838 года. По совету о. Филарета Уфимский женский монастырь был назван в честь ближайшего после выхода Указа о его открытии Богородичного праздника — Благовещенским. Ко дню открытия Благовещенского монастыря требовалось подготовить икону Благовещения Пресвятой Богородицы, «но сколько ни искали, таковой найти, а тем более сготовить новую — не могли, и не знали что делать». Тогда одна из старушек, оставленных доживать свой век на территории монастыря, «принесла в дар юной обители» хранимый в ее семье образ Благовещения, писаный в первой половине XVIII века. Эта икона стала монастырской святыней, перед ней по субботам пели акафист Пресвятой Богородице.

Церковь, оказавшаяся фактически на территории монастыря, была передана ему с соответствующим изменением названия. Так, в ведомости за 1838 год (составленной, как положено, в конце года, в декабре) Богоявленская церковь названа уже «Благовещенской, переименованной в настоящем году из Богоявленской, состоящей в городе Уфе в новоустрояемом Благовещенском женском монастыре».

Итак, главной причиной «первоначального заведения» этого монастыря был духовный подъем, исходивший из самой глубины народной среды. Будущая игумения избрала для себя монастырский образ жизни по сугубо духовным мотивам. Рожденная в зажиточной, близкой к купечеству семье, она, тем не менее, была с детских лет окружена атмосферой искреннего благочестия. Оказавшись свидетельницей явного чуда, она смогла достойно откликнуться на этот Божественный призыв и посвятить всю свою жизнь Богу. Это не было в ее среде чем-то исключительным: были у нее и сподвижницы, были и благодетели, никто не удивлялся и не препятствовал сильно их занятиям, — монашеский путь был в порядке вещей.

В связи с этим крайне неверным кажется мнение о том, что «религиозное рвение» является хоть и первой, но самой незначительной причиной ухода в монашество. Будто бы «гораздо больше в монастыре было девушек и женщин, у которых просто не сложилась личная жизнь, либо которые рано овдовели», а также неимущих, «которые получали в монастыре кров, питание, одежду» в обмен на «свою мускульную силу и профессиональные навыки». В действительности, чтобы решать проблему несложившейся личной жизни или бедности путем ухода в монастырь, надо уже иметь сильную религиозную мотивацию, приобретенную соответствующим воспитанием или самовоспитанием. Только реальная жажда духовного подвига дает силы преодолеть все трудности монастырской жизни, ярким примером чему является жизненный путь игумении Филареты и ее сподвижниц.

Анна МАСЛОВА[28]

«ВАШ ЗЕМЛЯК БОРИС ЧЕТВЕРИКОВ…» (Материалы о Б. Д. Четверикове из фондов музея Аксаковской гимназии)

История гимназического образования в Уфимской губернии берет своё начало без малого двести лет назад, когда в далёком 1828 году была открыта Уфимская мужская гимназия, первое в наших краях светское учебное заведение. Ансамбль гимназических зданий — основной корпус и два флигеля-крыла сохранился до сего времени. Сейчас здесь располагаются учебные аудитории Башкирского государственного медицинского университета. Но ниточка школьных дел никогда не прерывалась. После революции здесь была фельдшерская школа, затем советская школа второй ступени № 2. Преемницей последней стала средняя школа № 11, в 1995 году преобразованная в Аксаковскую гимназию, для которой было построено новое здание.

Много славных имен выпускников Уфимской мужской гим-

[28] Маслова Анна Павловна — переводчик, журналист, краевед; редактор-переводчик научных журналов «Проблемы востоковедения» и «Вестник Академии наук Республики Башкортостан» (Уфа).

назии вписано в историю нашей страны. Это поэт М. Л. Михайлов, академик П. П. Пекарский, геолог А. Н. Заварицкий, писатели М. В. Авдеев и Б. Д. Четвериков, художник М. В. Нестеров, полярник В. И. Альбанов, ботаник П. Н. Овчинников, физик В. М. Тучкевич, врач-окулист В. П. Одинцов.

Хранителем памяти школы-гимназии, основателем её музея стала школьный библиотекарь Елена Ивановна Никуличева, одна из лучших уфимских краеведов. Она неутомимо искала всё новые и новые сведения, собирала документы, устанавливала связи с бывшими гимназистами, привлекала к этим увлекательным поискам старшеклассников.

Вот так в начале 1970-х она выяснила ленинградский адрес Бориса Дмитриевича Четверикова, автора повести «Синяя говядина» о жизни уфимских гимназистов. Было написано первое письмо, завязалась оживленная переписка, школьники приезжали в Ленинград в гости и были радушно встречены четой Четвериковых — Борисом Дмитриевичем и Натальей Борисовной, тоже, кстати, уроженкой Уфы.

Интересно читать поздравительные открытки, которые посылались в Уфу к каждому празднику — Первомаю, Дню Великой Октябрьской революции, Дню Победы, Новому году, окончанию учебных занятий. Сколько здесь тепла, доброй улыбки, незатейливых шуток. И пожеланий, чтобы письма шли и шли, не иссякая, даже когда для его юных друзей прозвучит последний звонок.

По поводу переданной ему посылочки с башкирским мёдом Борис Дмитриевич откликнулся благодарностью в стихах: «Друзья! Скажу вам наперёд, что спас меня уфимский мёд». Или новогоднее поздравление на открытке, где слова «С Новым годом» были напечатаны на разных языках и рядом усмешливая приписка Четверикова: «Все ясно?». Благодарил за дорогой подарок — уфимскую «Мозаику». (Это был дореволюционный гимназический журнал, печатавшийся в типографии на правах рукописи, где появились первые стихотворные опусы будущего писателя). То и дело он повторял, что не надо бояться пропустить запятую или сделать грамматическую ошибку, тем самым ободряя школьников писать от души, как рука ведёт. Делился творческими планами, рассказывал о своей будущей многотомной автобиографической книге «Стёжки-дорожки».

Почти к каждому его посланию добавляла свои слова его жена, иной раз даже по периметру писала, если места на открытке не хватало. Наталья Борисовна — третья его супруга. Первый брак с Шурочкой Алатырцевой сам Четвериков называл трагикомическим. Второй брак с Татьяной Ильиничной Самоквасовой закончился разводом с её стороны, когда Четверикова в 1945-м арестовали как «врага народа» (в заключении он провел одиннадцать лет). И лишь Наталья Борисовна Евграфова поистине стала его ангелом-хранителем: литературным секретарем, машинисткой-переписчицей, хозяйкой гостеприимной квартиры в писательском доме на улице Ленина, 34 — всем на свете.

В музее Аксаковской гимназии, помимо поздравлений на открытках, хранятся её письма о картинах Четверикова (помимо литературы его талант проявился в музыке и живописи), её душевное посвящение мужу, написанное акростихом, где по первым буквам читается: БОРИС ЧЕТВЕРИКОВ, письма самого Бориса Дмитриевича с уточнением биографических данных, записи Е. И. Никуличевой. Читайте их, они того достойны.

Биографические сведения

Копия.
Исп. ВХ №
прокуратура
Союза Советских
Социалистических
Республик

главная
военная прокуратура
13 марта 1956 г.
№ 13–34627–46

Москва,
ул. Кирова, 41.
Гр-ке Четвериковой Татьяне Ильиничне
Ленинград, Кировский пр.,
дом 25, кв. 29

Сообщаю, что определением Военного трибунала Ленинградского военного округа от 2 марта с.г. дело Вашего мужа, ЧЕТВЕРИКОВА Бориса Дмитриевича, по которому он был осужден в 1946 году Особым Совещанием при МВД РСФСР, прекращено за отсутствием состава преступления (п. 5 ст. 4 УПК РСФСР). На этом основании ЧЕТВЕРИКОВ Б.Д. освобождается от ссылки на поселение и считается полностью реабилитированным по настоящему делу.

Зам. главного военного
прокурора полковник юстиции Д. Терехов
Подпись

05 октября 1989 г. Я, Соколова Е. В., государственный нотариус Первой Государственной нотариальной конторы города Ленинграда, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1К 6634
Взыскано государственной пошлины 0–20
Государственный нотариус Подпись Печать

Любовью к Родине.

В 1974 году на ленинградской квартире Четверикова произошла встреча наших краеведов с Борисом Дмитриевичем. Борис Дмитриевич рассказал о себе, о своих творческих планах, читал отрывки из своих произведений. Эта встреча была записана Ленинградской радиостудией и транслировалась по Ленинградскому радио.

Несмотря на свой «почтенный возраст» (Борис Дмитриевич прожил почти 85 лет) он продолжал много работать. Работал увлечённо до последних дней, стараясь в своей автобиографической повести поделиться своими раздумьями с читателями, оживить воспоминания об интересных встречах с русскими писателями, о путях становления и развития молодой советской литературы, о замечательных строителях коммунистического общества, с которыми ему пришлось встретиться.

Недавно жена писателя Наталия Борисовна передала наше-

му музею несколько листочков черновиков. Многочисленные поправки, зачеркивания говорят о том, как требователен был к себе автор, как много работал над своими произведениями.

Появилась у нас картина Бориса Дмитриевича «Сирень», в редкие свободные минуты «отдыхал» писатель таким образом.

Записано со слов Бориса Дмитриевича

Отец Бориса Дмитриевича Дмитрий Никанорович до революции работал преподавателем в городском училище. Вскоре после революции уехал в Ленинград. Работал экскурсоводом в Арктическом музее. Умер в войну.

Мать Клавдия Витальевна до революции сдала на учительницу, преподавала, была режиссером, играла в здании Дворянского собрания. В 30-е годы преподавала в юридической школе. Умерла 11/VI-1953 г.

Дети: Борис, р. в 1896 г., Виталий, р. в 1898 г. (учились в одном классе), Евгений 1899 или 1900, Анатолий 1903, Вера 1904.

Борис Дмитриевич жил в Ленинграде.

Виталий умер в Ленинграде в блокаду.

Евгения в Сибири видели больным тифом, это было в период Гражданской войны.

Анатолий умер в 1927 г. от диабета.

Борис Дмитриевич член Союза [деятелей художественной литературы] с 1922 г. (руководил Ф. Сологуб), член Союза писателей с 1934 г.

Был дружен с Всеволодом Ивановым (он его и вызвал из Сибири). Дружил в 1918 г. с Б. Лавреневым, М. Козаковым, Зощенко, Брауном.

Запись сделала Никуличева
7/V-1976 года.
P. S. Арестован Б. Д. 11/IV-1945 г.
Арестован по доносу Розена.

Из воспоминаний Б. Д. Четверикова

В Париже сохранилось 10 писем Авдеева к Тургеневу.

У Четверикова хранятся письма Тургенева к Авдееву.

Что запомнилось из гимназических лет?

Директор гимназии был Матвеев. Он выделял некоторых гимназистов, в том числе и я, в силу чего не знаю — был на привилегированном положении.

К нам прислали нового преподавателя гимназии — чеха. Он привык грубо обращаться с учениками. На одном из уроков чех меня обругал за что-то. Я повернулся и ушел. Чех пожаловался директору. Директор подозвал меня и попросил объяснения. Я объяснил почему ушел. Директор задумался, а потом сказал: «Можете не ходить на уроки!».

Брат Виталий погиб в Ленинграде во время блокады.

Лучшим другом был Саша Федоров.

Записала Е. Никуличева во время встречи в 1974 году дома у писателя.

Переписка Б. Д. и Н. Б. Четвериковых с Е. И. Никуличевой и учащимися 11-й школы г. Уфы

6 апреля 1971, Ленинград

Уважаемая Елена Ивановна!

Неожиданно получили мы путевку в санаторий в Карловы Вары, собрались в несколько дней и поехали. Сейчас уже дома, вернулись. Малость поболели, вероятно, от перемены климата. И только теперь я собрался поблагодарить Вас за «Мозаику». Ну, зато скоро отблагодарю Вас «сувенирчиком» — новой моей книгой, которая вот-вот должна выйти. От Натальи Борисовны привет.

Жму руку Борис Четвериков

Простите за приписку, а почему Лен. биб-ка не прислала Вам тит. листов книг Б.Д. того периода, когда он подписывался «Дм. Четвериков»? У Вас есть книжечка Бордукова, где он объясняет этот прежний псевдоним Б. Д-ча? Если нет, я пришлю. С приветом Н.Б.

Январь 1975

Друзья! Скажу вам наперёд,
Что спас меня уфимский мёд.
Услышав о моей болезни

Решили вы, что нет полезней
Лечиться мёдом. Мигом мёд
Привёз мне шустрый самолёт.
Я ложку выпил — посветлел,
Вторую в рот — повеселел.
Поверьте мне, что после третьей
Стал веселей на мир смотреть я.
Стал непоседливым, бедовым,
Ну, словом — липовым, медовым.
И вот спешу я впопыхах
О том поведать я в стихах.
Борис Четвериков

Всем, всем, всем — учителям и уф. гимназистам — гимназисткам 1975 года.

С Новым Годом!

Happy New Year!

Glückliches Neujahr!

Buon Anno! Bonne Annėe!

Feliz Año Nuevo!

Всё ясно?

Борис Четвериков

21 апреля 1975, Ленинград

Дорогие друзья!

Поздравляю от всего сердца с Первомаем и прекрасным, совсем особым праздником праздников — Днем Победы — 9-го Мая.

Желаю счастья! Борис Четвериков

Ленинград, 7 ноября 1976

Дорогие друзья и земляки!

Шлю самые горячие и сердечные поздравления с праздником Великого Октября.

Рапортую комсоргу, что тружусь, не покладая рук, пишу автобиографическую повесть, которая займет пять больших книг.

Хотелось бы получить весточку от всех, кто однажды навестил меня.

С комсомольским приветом Борис Четвериков

Март 1977

Спасибо за хорошее письмо, дорогие ребята-десятиклассники!

Б.Д. сейчас болеет. Надписал вам для музея книгу и просил передать девочкам и учительницам его поздравления с Женским Днем, а всем — успешного окончания школы и удачи в выборе дальнейшего жизненного пути.

Будете в Ленинграде — звоните, наш телефон теперь: 235–64–57. И пишите, даже, когда кончите школу. Всегда рады вашим письмам и нашей дружбе!

Наталья Борисовна

Май 1977, хирургическая больница I ЛМИ, палата 17

Майский привет! Желаю успешно сдать экзамены!

Дорогие мои друзья! Милые краеведы! И вот-вот вы перестанете быть ребятами, вступите во взрослую жизнь… А нас связала большая дружба, и она не должна прерваться, как только вы окончите школу, напротив, она должна стать еще прочней. Не теряйте мой адрес, не забывайте меня. Сейчас я приветствую вас из больницы, но я остаюсь собой и хочу с вами дружить.

Борис Четвериков

Ленинград, 1978

Дорогие друзья! Привет от уфимского гимназиста!

С Новым Годом, с Новым Счастьем! Кто принял эстафету на 1978 год? Пишите, на каждое письмо буду отвечать. По секрету: не бойтесь, если где не поставите запятой, и не смущайтесь, пишите обо всем, о чем хочется, о чем думается в этом Новом году!

Ваш земляк, Ваш друг Борис Четвериков

Телеграмма

Уфа 22 Менделеева 7/2

Ленинград 22/1 79108 201744

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ РАДУЮСЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПРАЗДНИКУ СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЭТО ЗДОРОВО СПАСИБО ВАМ ПРОДОЛЖАТЕЛЯМ ГИМНАЗИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ЗАДАЧА КАЖДОГО БЫТЬ

ЧЕЛОВЕКОМ ЗНАЧИТ ИМЕТЬ СОВЕСТЬ НИЧЕГО НЕ БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ БЫТЬ ПРЕДАННЫМ РОДИНЕ И БОРОТЬСЯ С ВРАГОМ РАСТИТЕ ТАКИМИ А ЕЩЕ ТРУДОЛЮБИВЫМИ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМИ УПОРНЫМИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСПОМИНАЮ КАК ЗИМНИМ УТРОМ МЧАЛСЯ ПО УФИМСКИМ УЛИЦАМ СТАРАЯСЬ НЕ ОПОЗДАТЬ А ПОЖАЛУЙ ЭТО ГЛАВНОЕ НЕ ОПОЗДЫВАТЬ ВЫПОЛНЯЯ ЗАДУМАННОЕ ЖЕЛАЮ ВАМ РЕБЯТАМ ВАМ ДЕВОЧКАМ СЧАСТЬЯ УСПЕХОВ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ ПЕДАГОГАМ ПОКЛОН УФЕ СЛЕДОМ ПРИШЛЮ КОЕ-ЧТО ДЛЯ МУЗЕЯ СОЖАЛЕЮ ЧТО НЕ МОГУ БЫТЬ НА ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ ДУШОЙ И МЫСЛЯМИ С ВАМИ — БОРИС ЧЕТВЕРИКОВ —

Ленинград, 29 мая 1978

Дорогие друзья! Ребята!

Спасибо за письмо. Поздравляю с окончанием учебного года и желаю вам за лето хорошенько загореть. Вы теперь мои и Натальи Борисовны друзья и знакомые, пишите нам, заведем переписку, в письмах преспокойно делайте грамматические ошибки, отметки ставить не будем и будем рады письмам.

Мой сердечный привет Борис Четвериков

Передача о вас, ребята, была не специальная, а как страничка в «Последних известиях». Вы, м.б., ловили ее, но не знали, что дальше будет про вашу встречу с Б. Д. Ну, ничего. Евг.Ф. обещает сделать заверенный текст этой передачи. Копию пленки они не делают, а текст передачи, официально, от Радиокомта можно, говорит, дать. Н.Б.

Ленинград, 5/XI-79

С праздником Октября!

Спасибо за поздравление.

Дорогие друзья!

Всегда испытываю к Вам некое родственное чувство. Не следует нам терять связи, и я бы очень обрадовался, получив от кого-нибудь из Вас письмо.

Человеку свойственно чувство дружбы, родства, землячества. Это — проявление души. И нет ничего страшнее бездушия.

Желаю Вам радостей, свершения того, что задумано.
Обнимаю Борис Четвериков

Без даты
Дорогая Елена Ивановна!
Я беспокоилась, не получая от Вас подтверждения в получении бандероли. Но, слава богу, она дошла до вас, а вот, что Вы болели — это безобразие.
Теперь меня удивляет другое: почему Вы ни слова не пишите о своих впечатлениях от «Всего бывало на веку»? Я так жду этого! Мне так это интересно и важно!
За инициативу с «Вечёркой» спасибо. Пусть печатают столько, сколько могут и хотят, я не возражаю. Надо бы им послать и концовку, чтобы они сделали какой-то более или менее цельный монтаж. Вы кому дали для ознакомления? Докучаевой? Пусть обратится ко мне, если что нужно.
А я корплю над подготовкой этой рукописи для издания книгой. Нашла еще в дневниках Б.Д. много лагерных воспоминаний и делаю вставку — для полноты картины.
Еще читала верстку лениздатовской книги — скоро, значит, и она выйдет в свет.
Всего хорошего! Н.Б.

1 сентября, 1983
Музею 11-й уфимской школы
Увозя к себе в Ленинград сестру Бориса Дмитриевича Четверикова, Веру Дмитриевну, приношу Вам в дар картину, которую Борис Дмитриевич написал в 1958 году.
Это не лучшая работа Бориса Дмитриевича в области живописи (он писал ее наспех — к новоселью сестре), у меня дома есть много других, в частности, и две «Сирени», гораздо лучше этих. Но эта — в Уфе, и я не хочу увозить ее, а передаю Вам, чтобы у Вас была хоть какая-то его картина.
Желаю Вашему музею жить и процветать, пополняясь все новыми материалами и экспонатами.
Н. Четверикова

[Стихи жены писателя]
Акростих

Беречь тебя, любить, лелеять
От всех ударов заслонять,
Ромашками твой путь усеять
И солнцем над тобой сиять.
Служить твоей волшебной лире,
Четыре жизни жить с тобой,
Еще четырежды четыре
Тебя во всем прославить мире —
Вот мой девиз, вот лозунг мой!
Единственный, неповторимый,
России преданный навек —
Изобразить бы это зримо,
Какой ты чудо-человек!
Откуда только красок взять
Воспеть тебя, тебя объять?!
Н. Четверикова
1967

Библиография сочинений Б. Д. Четверикова и литературы о нём

Сочинения

1919

1. Четвериков, Б. На походе; Верую; Борцы; Отдых; Броневик; Двухрядка; Трехдюймовка // Уфимец. — 1919. — № 15 (29 июня (11 июля); № 23 (26 июля (9 авг.); № 34 (11 (24) авг.); № 37 (18 (31) авг.); Вперед. — Екатеринбург, 1919. — № 64 (22 мая (4 июня); № 75 (5 (18) июня); № 91 (23 июня (6 июля); то же: Истоки. — Уфа, 2019. — № 14 (3 апр.). — С. 9.

1920

2. Изюмов, В. (Четвериков Б.). Антанта: пьеса. — Омск: Госиздат, 1920.

1924

3. Четвериков, Д. Атава: повесть // Красная новь. — 1924. — Кн. 3. — С. 98–131; Кн. 4. — С. 97–124; Кн. 5. — С. 63–96.

4. Четвериков, Д. Обруб: рассказ // Стройка: альманах. — 1924. — С. 22–32.

5. Четвериков, Д. Сытая земля: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1924. — 147 с.

1925

6. Четвериков, Д. Атава: повесть / Б. Д. Четвериков. — Ленинград; Москва: Госиздат, 1925. —? с.

7. Четвериков, Д. Будни: рассказ // Звезда. — 1925. — Кн. 1 (7). — С. 6–38.

8. Четвериков, Д. Бурьян: рассказ // Звезда. — 1925. — Кн. 2 (8). — С. 73–95.

9. Четвериков, Д. Волшебное кольцо // Красная новь: альманах. — 1925. — Кн. 1. — С. 204–275; то же: Москва: Прожектор, 1925. —? с.

10. Четвериков, Д. Госпожа идеология: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: Прибой, 1925. — 48 с.

11. Четвериков, Д. Золотое кольцо / Б. Д. Четвериков. — Москва: Изд. б-ки «Прожектор», 1925. —? с.

12. Четвериков, Д. Кустарный ларёк: [стихи] / Б. Д. Четвериков; рис. Д. Митрохина. — Ленинград: Гиз., 1925. — 12 с.: ил.

13. Четвериков, Д. Продавец апельсинов: стихотворение // Современные рабоче-крестьянские поэты в образах и автобиографиях с портретами / сост. П. Я. Заволокин. — Иваново-Вознесенск, 1925. — С. 104.

14. Четвериков, Д. Простой народ: повесть // Новый мир. — 1925. — Кн. 12. — С. 11–47.

15. Четвериков, Д. Тавро: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1925. — 62 с.

16. Четвериков, Д. Трахтырь: рассказ // Красный журнал для всех. — 1925. — Кн. 2. — С. 67–75.

1926

17. Четвериков, Д. Бурьян: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1926. —? с.

18. Четвериков, Д. Жестяной ангел: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1926. —? с.

19. Четвериков, Д. Кривулина; Робинзоны: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1926. —? с.

20. Четвериков, Д. Лес: [стихотворение] // Огни Востока. — Уфа, 1926. — № ?. — С.?; то же: Истоки. — Уфа, 2018. — № 23 (6 июня). — С. 7.

21. Четвериков, Д. Робинзоны / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1926. —? с.

22. Четвериков, Д. Самовар: рассказы / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: Госиздат, 1926. —? с.

23. Четвериков, Д. Федька Кувылда: повесть / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: Госиздат, 1926. —? с.

24. Четвериков, Д. Шайтан: рассказ // Огни Востока. — Уфа, 1926. — № 2. — С. 3.

1927

25. Четвериков, Д. Будни / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Ленингр. Губпрофсов, 1927. —? с.

26. Четвериков, Д. Малиновые дни: повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1927. — 226 с.

27. Четвериков, Д. Синяя говядина: повесть / Б. Д. Четвериков. — Харьков: Пролетарий, 1927. — 302 с.

28. Четвериков, Д. Фатима: рассказ / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Госиздат, 1927. —? с.

1928

29. Четвериков, Д. Бунт инженера Каринского: повесть /

Б. Д. Четвериков. — Берлин: Петрополис, 1928. —? с.
30. Четвериков, Д. Заиграй овражки: повесть / Б. Д. Четвериков. — Харьков: Пролетарий, 1928. —? с.
31. Четвериков, Д. Любань: роман / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: Госиздат, 1928. —? с.
32. Четвериков, Д. Матлет: избранные рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Мысль, 1928. —? с
1929
33. Никодимов. Голубые лучи / Б. Д. Четвериков. — Харьков, 1929. —? с.
34. Четвериков, Д. Заграничный Степан / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: ЗИФ, 1929. —? с.
35. Четвериков, Д. Перекат / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград: ЗИФ, 1929. —? с.
36. Четвериков, Д. Семь каменных братьев / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Красная газета, 1929. —? с.
37. Четвериков, Д. Синяя говядина: повесть / Б. Д. Четвериков. — Ленинград, 1929. —? с.
38. Четвериков, Д. Солнечные рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Прибой, 1929. —? с.
1932
39. Четвериков, Д. Афанасий Ковенчук / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Изд-во писателей, 1932. —? с.
1933
40. Четвериков, Д. Голубая река: роман / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Изд-во писателей, 1933. —? с.
1939
41. Четвериков, Б. Д. Деловые люди: роман-памфет / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Сов. писатель, 1939. —? с.
1943
42. Четвериков, Б. Д. Вороний камень / Б. Д. Четвериков, И. А. Груздев. — Москва: Театр. изд-во, 1943. —? с.
1944
43. Четвериков, Б. Д. Три года всеобуча в Ленинграде / Б. Д. Четвериков, И. Н. Стариков. — Ленинград: Лениздат, 1944. —? с.
1957
44. Четвериков, Б. Здравствуй, Уфа!; Степь; Сергею Тимофеевичу Аксакову: стихи // Литературная Башкирия: альманах. —

Уфа, 1957. — № 8. — С. 120–122.
45. Четвериков, Б. Д. Повесть о Котовском: роман / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Сов. писатель, 1957. —? с.
1958
46. Четвериков, Б. Восемь лошадей и один воробей: [басня] // Литературная Башкирия: альманах. — Уфа, 1958. — № 10. — С. 200.
1959
47. Четвериков, Б. Д. Бессмертие: сб. рассказов / Б. Д. Четвериков. — Москва: Сов. Россия, 1959. —? с.
48. Четвериков, Б. Свидание: рассказ // Литературная Башкирия: альманах. — Уфа, 1959. — № 14. — С. 46–65.
1960
49. Четвериков, Б. Д. Мы — мирные люди / Б. Д. Четвериков, В. И. Дмитриевский. — Ленинград: Лениздат, 1960. —? с.
1961
50. Четвериков, Б. Д. Котовский: роман: в 2 ч. / Б. Д. Четвериков. — Москва: Воениздат, 1961–1964. —? с.
1964
51. Четвериков, Б. Атава: повесть // Повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград, 1964. — С. 244–329.
52. Четвериков, Б. Д. Повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Худож. лит., 1964. —? с.
53. Четвериков, Б. Синяя говядина: повесть // Повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Москва; Ленинград, 1964. — С. 7–109.
1967
54. Четвериков, Б. Д. Навстречу солнцу: роман Б. Д. Четвериков. — Москва: Воениздат, 1967. —? с.
55. Четвериков, Б. Д. Страна задумчивых берёз: стихи. — Москва: Сов. Россия, 1967. —? с.
56. Четвериков, Б. Д. Утро: роман / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Лениздат, 1967. —? с.
1970
57. Четвериков, Б. Священная война: [отрывок из романа Б. Четверикова «Во славу жизни»] // Ленинградская правда. — 1970. — 21 июня.
1971
58. Четвериков, Б. Д. Во славу жизни: роман / Б. Д. Четвери-

ков. — Москва: Воениздат, 1971. —? с.

59. Четвериков, Б. Д. Избранное / Б. Д. Четвериков; вступ. ст. А. Хватова. — Ленинград: Худож. лит., 1971. —? с.

1975

60. Четвериков, Б. Д. Котовский: роман / Б. Д. Четвериков; худож. В. А. Политов. — Ленинград: Лениздат, 1975. — 685 с.: ил. — (Юношеская библиотека).

1976

61. Четвериков, Б. Д. Избранные повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Ленинград: Лениздат, 1976. —? с.

62. Четвериков, Б. Д. Половодье: поэмы, стихи / Б. Д. Четвериков; худож. О. И. Алимкина. — Москва: Воениздат, 1976. — 175 с.: ил.

1977

63. Четвериков, Б. Д. Уфимские зори: повести и рассказы / Б. Д. Четвериков; ред.-сост. М. А. Чванов. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1977. — 299 с.: ил. — Содерж.: Малиновые дни; Синяя говядина; Братья; Жестяной ангел; Фатима; Сидание.

1978

64. Четвериков, Б. Д. Золотой Клин: повести и рассказы / Б. Д. Четвериков. — Москва: Современник, 1978. — 285 с.

65. Четвериков, Б. Через годы, через расстояния: (вступление в новую книгу [«Стёжки-дорожки»]) // Веч. Уфа. — 1978. — 9 янв.; 10 янв.

1980

66. Четвериков, Б. Несколько слов о красоте; Осторожно: человек; Реквием: [стихи] // Веч. Уфа. — 1980. — 2 сент.

1981

67. Четвериков, Б. Д. Избранное: в 3 т. / Б. Д. Четвериков; вступ. ст. Н. Утехина. — Москва: Современник, 1981–1982. —? с.

1986

68. Четвериков, Б. Знакомьтесь; Дождь идёт; «И нынешним всем птолемеям…»; Я счастлив; Золотая свадьба: [стихи] / публикация Н. Б. Четвериковой // Веч. Уфа. — 1986. — 3 июля. — С. 3.

1987

69. Четвериков, Б. Здравствуй, Уфа!: стихи // Песня родной Уфе: сборник стихов / сост. Р. Борисов; художник А. Королев-

ский. — 3-е изд., доп. — Уфа, 1987. — С. 113.

1989

70. Четвериков, Б. Д. Волшебное кольцо: повести и рассказы 20-х годов / Б. Д. Четвериков; послесл. А. Хватова. — Ленинград, 1989. —? с.

71. Четвериков, Б. Кровная родня: [фрагменты из книги мемуаров «Стёжки-дорожки»] // Веч. Уфа. — 1989. — 21 февр. — С. 3; 22 февр. — С. 3; 23 февр. — С. 3.

1991

72. Четвериков, Б. Д. Всего бывало на веку: [воспоминания] / Б. Д. Четвериков; предисл. и подгот. текста Н. Четвериковой. — Ленинград: ЛИО «Редактор», 1991. — 159 с.

1997

73. Четвериков, Б. Д. Благословенная Уфа: воспоминания // Башкирия в русской литературе: в 6 т. / биогр. справки, коммент. и библиогр. М. Г. Рахимкулова; предисл. и сост. М. Г. Рахимкулова и С. Г. Сафуанова. — Уфа, 1997. — Т. 4. — С. 425–527.

74. Четвериков, Б. Песок воспоминаний: [фрагмент из мемуарной книги «Стёжки-дорожки», посвящ. работе в 1920-е годы в газете «Петроградская правда»] // Веч. Петербург. — 1997. — 15 сент.

1999

75. Четвериков, Б. Д. Стёжки-дорожки: отрывки из главы «Между жизнью и смертью» // Клио. — Санкт-Петербург, 1999. — № 3 (9). — С. 320.

2002

76. Четвериков, Б. Футуристические дни: к 120-летию Д. Д. Бурлюка / вступ. заметка С. Шуртакова // Лит. газ. — 2002. — № 28/29 (10–16 июля). — С.?

77. Четвериков, Б. Д. Любовь с первого взгляда: [отрывок из главы четвёртой книги воспоминаний «Стёжки-дорожки» «Эти двадцатые годы»] / вступ. заметка Н. Б. Четвериковой // История Петербурга. — 2002. — № 2 (6). — С. 13–18; № 3 (7). — С. 12–19.

2008

78. Четвериков, Б. Благословенная Уфа: очерк // Бельские просторы. — Уфа, 2008. — № 9. — С. 50–64.

2011

79. Четвериков, Б. Д. Стёжки-дорожки: (повесть о человеке XX века) / вступ. статья Н. Б. Четвериковой; коммент. А. Г. Разумовской // Клио. — Санкт-Петербург, 2011. — № 7 (58). — С. 3–17; № 8 (59). — С. 6–25; № 9 (60). — С. 3–14; то же: Уфа. — 2011. — №№ 7–9.

2012

80. Четвериков, Б. Д. Стёжки-дорожки: (повесть о человеке XX века) / коммент. А. Г. Разумовской // Клио. — Санкт-Петербург, 2012. — № 1 (61). — С. 8–18; № 2 (62). — С. 25–46; № 3 (63). — С. 15–25; № 4 (64). — С. 15–23; № 5 (65). — С. 3–12; № 6 (66). — С. 3–11; № 7 (67). — С. 3–21; № 8 (68). — С. 3–10; № 9 (69). — С. 3–18; № 10 (70). — С. 3–13; № 11 (71). — С. 3–12; № 12 (72). — С. 7–19; то же: Уфа. — 2012. — №№ 1–8; № 9. — С. 3–18.

2013

81. Четвериков, Б. Д. Стёжки-дорожки: (повесть о человеке XX века) / коммент. А. Г. Разумовской // Клио. — Санкт-Петербург, 2013. — № 1 (73). — С. 10–18; № 2 (74). — С. 12–22; № 3 (75). — С. 18–24; № 4 (76). — С. 19–25; № 5 (77). — С. 3–10; № 6 (78). — С. 3–12; № 7 (79). — С. 15–26; № 8 (80). — С. 22–29; № 9 (81). — С. 18–26.

2015

82. Четвериков, Б. Благословенная Уфа: очерк // Бельские просторы. — Уфа, 2015. — № 7. — С. 51–59.

2018

83. Четвериков, Д. Лес: стихи / публикация и вступ. заметка Я. С. Свице // Истоки. — Уфа, 2018. — № 23 (6 июня). — С. 7.

2019

84. Четвериков, Д. Весенняя песня: [рассказ]; Митрич (фрагмент рассказа «Юность»); На походе и др. / публикация и вступ. заметка Я. С. Свице // Истоки. — Уфа, 2019. — № 14 (3 апр.). — С. 8–9.

Литература о Б. Д. Четверикове

85. Бахтин, В. С. Четвериков Борис Дмитриевич // Писатели Ленинграда: биобибл. справ. 1934–1981 / В. С. Бахтин, А. Н. Лурье. — Ленинград, 1982. — С. 329–330.

86. Борзунов, С. Всегда в боях: [о творчестве Б. Четверикова]

// Знамя. — 1968. — № 6. — С. 245–249.
87. Борзунов, С. Сила жизни: [о Б. Четверикове] // Неутоленность / С. Борзунов. — Москва, 1968. — С. 26–47.
88. Выходцев, П. «Мысль народная» и ее воплощение // Нева. — 1958. — № 8. — С.?
89. Дворников, Е. У детства — лёгкое перо: [об иллюстрациях юной художницы из Уфы Ю. Деменковой к книге Б. Четверикова «Уфимские зори»] // Правда. — 1978. — 17 янв.
90. Докучаева, А. Роман «Утро» // Веч. Уфа. — 1981. — 21 апр.
91. Ивич, А. «Деловые люди»: [рец. на роман-памфлет Б. Четверикова] // Лит. обозрение. — 1939. — № 8. — С.?
92. Красильников, В. «Солнечные рассказы»: [рец. на кн.] // Красная новь. — 1929. — № 6. — С.?
93. Кульсарина, И. Г. Башкирские мотивы и образы в творчестве Б. Д. Четверикова // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире: V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию образования Республики Башкортостан, 110-летию создания БашГУ и 10-летию создания Региональной общественной организации «Общество дружбы Башкортостан — Болгария» (г. Уфа, 24–25 окт. 2019 г.) / Башк. гос. ун-т, Великотырновский ун-т им. св. Кирилла и Мефодия. — Уфа; Велико Тырново, 2019. — С. 302–307.
94. Малов, А. Из письма У. В. Каримова вдове писателя Б. Д. Четверикова, Н. Б. Четвериковой, пос. Николо-Берёзовка // История Петербурга. — 2006. — № 4. — С. 99.
95. Назаренко, Я. Роман о Котовском // Нева. — 1962. — № 2. — С.?
96. Назаренко, Я. Через многие годы… // Нева. — 1968. — № 3. — С.?
97. Назаренко, Я. А. Четвериков, Борис Дмитриевич [р. 20.VI(2.VII). 1896, г. Уральск] — рус. сов. писатель // Краткая литературная энциклопедия: в 8 т. Т. 8: Флобер — Яшпал. — Москва, 1975. — Стб. 480–481.
98. Помозов, Ю. Знал, видел, разговаривал: рассказы о писателях / Ю. Помозов. — Ленинград: Лениздат, 1985. — С. 102–103.
99. Разумовская, А. Г. Борис Четвериков: творческая индивидуальность писателя и проблема историзма: автореф. дис. …

канд. филол. наук / Разумовская Аида Геннадьевна; науч. рук. А. И. Хватов; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. — Ленинград, 1991. — 16 с.

100. Разумовская, А. Г. Жизненный и творческий путь Бориса Четверикова // Вклад молодых ученых и специалистов Псковщины в ускорение социально-экономического развития области: тезисы науч. конф. — Псков, 1988. — С. 173–175.

101. Разумовская, А. Г. «Забытый» прозаик Б. Д. Четвериков: (о книге «Стёжки-дорожки») // Вестник Псковского гос. пед. ун-та. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. — 2009. — № 7. — С. 84–87.

102. Разумовская, А. Отзыв на книгу Б. Четверикова «Всего бывало на веку» // Ленинградская панорама. — 1990. — № 8. — С. 40.

103. Рахимкулов, М. Г. «Люблю мои края преданно, самозабвенно»: (Б. Д. Четвериков) // Любовь моя — Башкирия / М. Г. Рахимкулов. — Уфа, 1985. — С.?; то же: От Горького до наших дней. Часть вторая / М. Г. Рахимкулов. — Уфа, 2013. — С. 81–98.

104. Рахимкулов, М. Распахнуты завесы многих лет…: к 80-летию писателя Б. Четверикова // Сов. Башкирия. — 1976. — 2 июля.

105. Рахимкулов, М. Уфимские страницы Бориса Четверикова // Сов. Башкирия. — 1986. — 2 авг.

106. Рубашкин, А. Книга о народном герое: [о «Повести о Котовском» Б. Четверикова] // Звезда. — 1958. — № 5. — С.?

107. Свентицкий, А. Литературные характеристики: Дм. Четвериков // Звезда. — 1925. — Кн. 2 (8). — С. 242–247.

108. Свице, Я. Песни войны и мира Бориса Четверикова // Истоки. — Уфа, 2019. — № 14 (3 апр.). — С. 8.

109. Скоромец, А. А. Писатель Б. Д. Четвериков // Ступеньки к вершинам, или Неврологические сомнения / А. А. Скоромец. — Санкт-Петербург, 2015. — С.?

110. Тимченко, А. Жизнь продолжается в книгах: [о новых изданиях произведений Б. Четверикова] // Веч. Уфа. — 1983. — 26 нояб.

111. Трубицын, В. Борис Четвериков: к 80-летию со дня рождения // Веч. Уфа. — 1976. — 1 июля.

112. Трубицын, В. Памяти писателя-земляка [Б. Четверикова]

// Веч. Уфа. — 1981. — 14 апр.

113. Четвериков, Б. Д. Автобиография // Писатели: автобиографии и портреты. — Москва, 1926. — С. 339–341.

114. Четверикова, Н. Б. Великий труженик и жизнелюб // Всего бывало на веку: [воспоминания] / Б. Д. Четвериков; предисл. и подгот. текста Н. Четвериковой. — Ленинград, 1991. — С. 3–19.

115. Четверикова, Н. «Всего бывало на веку»: [о выходе в свет книги воспоминаний Б. Четверикова] // Веч. Петербург. — 1991. — 6 дек.

116. Четверикова, Н. Б. Из прочного, долговечного рода: [воспоминания о Б. Д. Четверикове] // «Эта пристань есть…»: портреты, размышления, воспоминания о людях и Писательском доме / Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого; сост.: Т. В. Акулова. — Санкт-Петербург, 2012. — С. 141–144, 597–598.

117. Четверикова, Н. Отпечаток души: [об откликах уфимцев на книгу Б. Четверикова «Всего бывало на веку»] // Веч. Уфа. — 1993. — 12 янв.

118. Шмаков, А. А. Прекрасен край Урал: [к 80-летию Б. Д. Четверикова] // Веч. Челябинск. — 1976. — 17 июня.

119. Ясенев, М. Перечитывая заново…: [по уфимским страницам Б. Четверикова] // Уфимские ведомости. — 2018. — № 9 (8 февр.). — С. 16.

СОДЕРЖАНИЕ

Фёдоров П. От «Синей говядины» к «Благословенной Уфе» …..... 3

Четвериков Б. Благословенная Уфа …..... 17
Синяя говядина ……..... 19
Братья ……..... 173
Жестяной ангел ……..... 191
Фатима ……..... 198
Свидание ……..... 206
Благословенная Уфа …..... 235
Стихи об Уфе ……..... 404

Приложение ……..... 405
Свице Я. «Попытать свои силы в писательстве…»: стихотворения, опубликованные в гимназическом сборнике «Мозаика» ……..... 405
Попова Т. О первоначальном заведении Уфимского Благовещенского монастыря …….....…413
Маслова А. «Ваш земляк Борис Четвериков…» ……..…….. 425
Библиография сочинений Б. Д. Четверикова и литературы о нём 436

Книги, вышедшие в серии «Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе»

1. Попов, Б.Л. Уфимские истории / Борис Леонидович Попов; вступ. ст. Г.Н. Ангаровой; подготовка текста А.Д. Матвеевой; дизайн обложки А.В. Кондрова; ред.-сост. П.И. Фёдоров. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2016. – 152 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 1).

2. Храмов, П.А. Инок: роман-воспоминание / Петр Алексеевич Храмов; подготовка текста А.Н. Борецкого и О.Г. Храмовой; предисл. П.И. Фёдорова; коммент. И.О. Прокофьевой, А.Л. Чечухи, Я.С. Свице; дизайн обложки А.В. Кондрова. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2018. – 344 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 2).

3. Осоргин, М.А. Времена: очерки, рассказы и повесть об Уфе и её окрестностях / Михаил Андреевич Осоргин; предисл. и сост. библиографии О.С. Тарасенко и П.И. Фёдорова; коммент. О.С. Тарасенко и Я.С. Свице; дизайн обложки А.В. Кондрова. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2018. – 323 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 3).

4. «Сутолока»: литературный журнальчик 1997-1999 гг. / ред.-сост. А.Г. Касымов ; вступ. ст. Г.Г. Рамазановой ; ред.-сост. републикации П.И. Фёдоров ; дизайн обложки А.В. Кондрова. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2019. – 434 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 4).

5. Вспоминая войну: воспоминания, дневники и письма уфимцев и эвакуированных в Уфу о Великой Отечественной войне / ред.-сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2020. – 280 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 5).

6. Аксаков, С.Т. Семейная хроника / Сергей Тимофеевич Аксаков; ред.-сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров; коммент.: В.В. Кожинов, Г.В. Мосалёва, Я.С. Свице; художники Л.В. Фролова и Н.Ю. Шомовская. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2021. – 440 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 6).

7. Нефёдова, Т.И. Родина Аксакова / Тамара Ивановна Нефёдова; ред.-сост.: П.И. Фёдоров и С.В. Мотин; вступ. ст. Р. Красновой. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2021. – 392 с.: [16 с.] ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 7).

8. Аксаков, С.Т. Детские годы Багрова-внука / Сергей Тимофеевич Аксаков; ред.-сост. и авт. вступ. ст. П.И. Фёдоров; коммент.: В.Е. Угрюмов, А.А. Чуркин, Я.С. Свице, А.П. Маслова; иллюстрации Д.А. Шмаринова и Н.И. Куприянова. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2021. – 448 с.: ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 8).

Борис Дмитриевич Четвериков

БЛАГОСЛОВЕННАЯ УФА

Подготовка текста: С. В. Мотин и П. И. Фёдоров

Редактор-составитель
и автор вступительной статьи: П. И. Фёдоров

Компьютерная вёрстка: А. А. Словохотов

Подписано в печать 28.03.22. Формат 60x90/16
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman
Усл. печ. л. — 9,62 Тираж 20 экз.
Заказ № 12/02

Отпечатано в издательстве А. А. Словохотова
450052, Уфа, ул. Аксакова, д. 72